ISSN 0130 – 6545

6.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

СИНТИЯ ХОДВИК (США). Музыкальное шествие

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ГОД РЕБЕНКА. 1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

6 июнь 1979

Содержание

АГОСТИНЬО НЕТО — Стихи *(Перевод с португальского Мих. Курганцева)* 3

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ — Записки молодого варшавянина *(Роман. Перевод с польского Зинаиды Шаталовой)* 7

МОРИС КАРЕМ — Стихи *(Перевод с французского и вступление М. Кудинова)* 126

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — По ту сторону любви *(Роман. Перевод с немецкого В. Стеженского. Послесловие И. Млечиной)* 135

Критика

Н. РЖЕВСКАЯ — Возвращение к человеку (Новые явления во французской прозе 70-х годов) 199

О. РОССИЯНОВ — «Писать о том, что больно...» (К 100-летию со дня рождения Жигмонда Морица) 206

А. НИКОЛАЕВСКАЯ — Требования жанра и коррективы времени (Заметки об антиутопии в английской литературе 60—70-х годов) 213

Культура и современность

Заметки на полях

И. Тогоева — За право говорить с народом (По страницам африканских журналов) 221

Публицистика

Хо Ши Мин—Памфлеты и стихи *(Из наследия. Переводы К. Северовой и А. Ревича. Вступление, редакция переводов и примечания М. Ткачева)* 227

ДЕТИ ДВУХ МИРОВ

I. Тревоги Запада

Гарри Тобинский — Комната 24... *(Очерк из журнала «Курсбух», ФРГ. Перевод с немецкого М. Сергеева)* 241

Из двух корреспонденций польского еженедельника «Культура». Владимеж Кожицкий — После нас — хоть потоп... Петр Травка — Наркоманы *(Перевод с польского Э. Венгеровой)* 246

II. Против ветра и течения *(Отрывки из книги. Перевод с испанского М. Канторович)* 250

III. Я встаю в шесть утра... *(Из ежемесячного журнала «Нойе дойче литератур», ГДР. Перевод с немецкого Н. Царевой)* 257

Антирубрика

САКИ — Рассказчик *(Перевод с английского Юрия Захарова)* 264

ФРЭНК О'КОННОР — Как я ревновал маму *(Перевод с английского Михаила Загота)* 267

Среди книг

Издано в СССР

Говорит Джанни Родари 273

Издано за рубежом

А. Ермонский — Еще одна история любви ✦ «Почему я море так люблю?..» 275

Из месяца в месяц 279

Авторы этого номера 286

На обложке: детский рисунок, представленный на конкурс, проведенный венгерским журналом «Пайтас».

На стр. 6, 212 — рисунки зарубежных художников.

АГОСТИНЬО НЕТО

Перевод с португальского МИХ. КУРГАНЦЕВА

Возвращение

Не уходи в себя,
на самое дно,
не запирай свою память
в тюрьму бессонных ночей,
в одиночные камеры снов,
заменяющих жизнь.

Африка, вместе пойдем!
На улицу выйдем
и в пестрой одежде станцуем
усталую пляску мужчин,
танец батýке,
простой, как стирка белья,
послушаем вместе
томительный голос тамтама.
Знаем, что коршун
в небе висит над нами,
ждет, когда будет удобней
нас превратить в мертвецов.

Африка, вместе пойдем
открывать настоящую жизнь.
Прочь от западной сцены,
где миллионы людей за кулисами
уравнены
общим убожеством и нищетой,
а на фасадах — слова:
демократия, равенство и христианство.

Африка, вместе пойдем!
Из университетов Европы
вернемся в муссек Буависта[1],
в лачугу, сколоченную
из обрезков старых жестянок.

[1] Муссеки — пригороды Луанды, где живут главным образом африканцы; Буависта и Кайяте — названия муссеков.

Возвращаюсь туда,
где зарабатывал только пинки,
где полиция вламывалась по ночам
в домишки Кайяте,
где мы некогда грелись
у слабых костров
нашей надежды,
где вращается жизнь — колесо
неравноправья и злобы.

Африка, вместе пойдем!
От пружинных матрацев
я возвращаюсь
к сухой обнаженной земле,
где наши тела растоптаны
сапогами солдат,
где потоки бесплатного пота
стекают с коричневых лиц.
Такова наша Африка, наша земля!

Африка, вместе пойдем
к человечности,
к правде.
Снова почувствую,
как не хватало тебя!
Сколько я раз
умирал
в разлуке с тобой —
под чужим пиджаком,
что мне одолжил благодетель,
самый ничтожный из всех.

Африка,
ты не печалься о тех,
кто еще не вернулся.
Мы увидим зарю
за лесом сутулых спин
тысяч собратьев, плетущихся по мостовой.

Человек чернокожий
в тоске, в наготе, в беде!
Я отдам тебе сердце,
и мы вместе увидим зарю
над землей,
где не будет места
свалкам, лачугам, отрепьям,
голоду и разврату,
ржавчине и запустенью
и Величайшей Лжи.

Нас никто не заставит молчать.
Нас не остановит никто.
В наших улыбках читайте
отвращение к смерти
и благодарность живым.

Вместе пойдем
со всем человеческим родом,
отвоюем и землю свою,
и мир на земле.

Руки

Покорные взгляды людей
и морские дороги,
по которым идут
невольничьи корабли,
и наши запястья,
и наши дома
в цепях и колодках,
и вереницы полночных
призраков, полных печали,—
Африка боли,
москитов,
надсмотрщиков,
Африка черных
простаков с белозубыми ртами,
Африка,
что еле дышит
в тисках человеколюбивых хозяев
и умирает
от чужеземных лекарств,
Африка вечно отсталая,
Африка горьких сердец...

Но Африка — это
и множество рук,
достойных быть
изваянными,
руки народа,
что увековечил себя
в легендах,
в боях и работе
на изможденной земле.

Руки,
достойные быть
изваянными,
руки народа,
что строит из прошлого
завтрашний день,
созидает свое
избавленье от смерти.

Вижу любовь,
воскрешенную
в тысячах жаждущих губ,
рожденную
силами жизни,
пламенем необоримых стихий.

Вижу руки,
достойные быть
изваянными,
руки, сплетенные вместе,
чтобы поставить преграду
мутной волне,
идущей из прошлых времен.

Вижу —
всему вопреки
Африка наша жива,
потому что ее берегут
руки,
достойные быть
изваянными,
сильные руки,

имя которым — народ.
В них —
грядущее,
розы и хлеб.

■

ЭЛИЗАБЕТ ХОЭНЗЕЕ.
Гравюра на дереве

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ

Записки молодого варшавянина

РОМАН

Перевод с польского ЗИНАИДЫ ШАТАЛОВОЙ

24 СЕНТЯБРЯ 1938 ГОДА — МОЕ СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ

Я хорошо помню этот день. В мае я получил аттестат зрелости и, согласно недавно введенному закону, должен был вскоре отбыть годичную воинскую службу. День этот я провел в Закопане, куда отец вызвал меня, чтобы представить своей четвертой жене. В вопросах супружеской жизни отец явно опережал эпоху: вместо того чтобы иметь одну законную жену и много любовниц — как было принято в его кругу,— он, располагая временем и средствами, предпочел жить на американский лад, то есть иметь много жен и ни одной любовницы. За каждый развод и последующий брак ему приходилось платить сменой вероисповедания, поскольку иного выхода тогда не было. Так из католика от стал лютеранином, затем некоторое время был православным, а с этой, четвертой, женой бракосочетался в Вильне, где была мечеть, и теперь молился, обратя лик свой исключительно в сторону Мекки.

Людей малознакомых он старался убедить, будто, отвергая традиции и предрассудки нашей католической страны, пытается найти в разных формах монотеистического культа наиболее совершенный способ общения со всевышним. Но я-то хорошо знал, что все дело было попросту в этих его чертовых бабах, и даже радовался, что отец начинал стариться. Законный сын от его первого, католического, брака, я жил с матерью, учительницей истории, и терпеть не мог отцовских жен. Боясь стать посмешищем среди своих товарищей, я от всех скрывал его религиозные метаморфозы. К счастью, отец никогда не появлялся в гимназии и вообще возникал на моем горизонте лишь несколько раз в году, хотя я и оставался его единственным ребенком.

Прибыв в Закопане ночным поездом, я отправился прямо в частный отель «Орлик», где отец снял для меня довольно дорогую комнату с пансионом, намереваясь таким образом отметить сразу и день моего рождения, и аттестат зрелости, и уход в армию, поскольку призывная повестка уже лежала у меня в кармане. Мы с отцом еще в мае, склонившись над картой, изучили расположение военных училищ,

© Jerzy Stefan Stawiński, 1977.

чтобы выбрать наиболее сносное из них и менее отдаленное от Варшавы. В самой Варшаве в то время находилась только санитарная школа подхорунжих — и то для будущих кадровых военврачей. Мне же никогда не хотелось стать врачом, тем паче военным; службу в армии я считал долгом и привилегией и радовался, что скоро надену мундир, однако я считал, что в моей жизни это должен быть лишь краткий эпизод. Отверг я и школу подхорунжих для бронетанковых войск, потому что при одной мысли о железной коробке танка меня начинало подташнивать: некоторые помещения вызывали у меня острые приступы клаустрофобии. В конце концов осталось училище связи в Зегже, и я выбрал его, потому что здесь и служба была техническая, чистая, и меньше беготни по полям, словом, меньше муштры, а больше лекций и практического знакомства с современной техникой. Отец уладил это дело через одного генерала, своего клиента, и я получил повестку с предписанием явиться туда, куда мне хотелось. Таким образом, благодаря протекции отца я смог выбрать род войск, как турист — отель.

С отцом и его четвертой женой я встретился лишь вечером, на позднем обеде в ресторане «Тшаски». Это было накануне мюнхенских событий, и отец рассказывал о крайне напряженной атмосфере на немецко-чешской границе, которую несколько дней назад пересекал вместе с молодой женой на своем «крейслере». Они возвращались из Венеции — туда в свадебное путешествие он возил каждую из своих избранниц.

— На немецкой стороне — сплошь колонны грузовиков с солдатами и мрак затемнения, а у чехов — надолбы и ежи на шоссе, так что приходилось объезжать их, как флажки на трассе слаломиста. Я спросил таможенника, который лениво осматривал мой багажник: «Поддадитесь или нет?» А он крикнул: «Мы будем защищаться!» —но я ему не верю, никакой стрельбы там не будет, они даже пикнуть не успеют, как Гитлер их проглотит.

— Этот таможенник — очень красивый дядечка был,— добавила жена отца, Ядя. Молодая — лет на двадцать пять моложе отца,— она еще не пришла в себя от перемены, наступившей в ее жизни, и поглядывала на отца с некоторой опаской. Он увидел ее на приеме у знакомых, куда она, дочь дворника, была нанята за пять злотых, чтобы подавать к столу. Красота ее поразила отца в самое сердце, он чуть не подавился супом из раков, а на прощанье, когда она помогала ему в передней одеться, сунул ей в руку серебряную десятизлотовую монету и визитную карточку, где под адресом было приписано: «Прошу прийти в четверг, в десять утра. У меня есть для вас интересное предложение».

Предложение оказалось настолько интересным, что они в тот же день выехали на фешенебельный курорт Юрату, и девушка вообще уже больше не вернулась в дворницкую; прожив с ней шесть месяцев, мой старик так одурел от прелестей ее тела, что принял магометанство, чтобы получить развод со своей третьей женой, Марысей — взбалмошной, истеричной актрисой. Теперь-то я могу понять многие слабости отца, но тогда, в мой семнадцатый день рождения, я смотрел на Ядю с ненавистью. Отец отлично видел это и не старался задобрить меня, вероятно, моя враждебность казалась ему естественной, поскольку он считал, по-видимому, что я ревную, да еще не только его, но и ее.

А эта Ядя была действительно очень красивой, смуглой и стройной, с длинными изящными ногами. Как видно, ее мамашу-дворничиху, оплывшую бабищу, когда-то догнал молодой граф или заплутавший гусар. Мой старик радовался, глядя на Ядю, как лошадник, запо-

лучивший породистого коня. Он одел ее богато, по моде, и притом в Италии: у него всегда были за границей деньги, хотя в стране были валютные ограничения. Это тоже бесило меня, как наследника. В тот вечер отец, заметив, видно, что я весь киплю от ярости, поднял вдруг бокал с вином и сказал:

— Я пью за твое будущее, Юрек. Через год, в это время, ты уже отслужишь свой срок в армии и я пошлю тебя в Париж. Хочешь учиться в Сорбонне?

— Конечно хочу! — воскликнул я.— А что бы я там изучал?

— Юриспруденцию или философию...— предложил отец.— Это уж ты сам решай!

Я не знал, что выбрать. Мать пыталась привить мне любовь к литературе. В последнее время она зачитывалась Прустом, который незадолго до того стал мировой знаменитостью. Его книги как раз начали переводить на польский язык. В дорогу она сунула мне «Ночи и дни» Домбровской, но, к сожалению, я так и не смог одолеть эту огромную книгу. Говорить о выборе профессии с отцом мне не хотелось, потому что его и мамины вкусы были полной противоположностью — и притом по любому вопросу. Хотя, конечно, меня привлекала яркая, легкая жизнь отца и его жен, их постоянные путешествия и возможность швырять деньгами. А что могла противопоставить этому мать, вечно склоненная над тетрадями, тихонькая, как мышка, ежедневно записывавшая в книжке расходов: «Яйцо — 5 грошей»? Я с гордостью выпил вина. То, что я мог открыто пить, утверждало мою семнадцатилетнюю зрелость.

— Что слышно в Венеции? — спросил я у Яди, расхрабрившись от вина.— Вы, конечно, в восторге?

— Здорово было,— ответила она.— Я чуть не упала в воду.

Четыре года назад, движимый непонятным приливом отцовской любви и чувством вины перед брошенным сыном, старик взял меня в Венецию, на Лидо, где мы провели три месяца втроем: я, он и Марыся-актриса.

Этой дамочке было тогда тридцать с гаком. Крайне самовлюбленная, она вечно была не в духе и всегда повсюду опаздывала, так как без конца прихорашивалась. Ей нравилось изображать из себя пресыщенную светскую даму, которую ничем не удивишь.

Однажды, когда мы плыли на речном трамвае от Пьяццале Рома по Канале Гранде и я таращил глаза на каменные кружева готических дворцов, а отец с улыбкой наблюдал мое изумление, Марыся вдруг изрекла:

— Венеция есть Венеция, не восхищаться ею нельзя, но мне кажется, что вода здесь и раньше пованивала, а теперь стала вонять еще больше, чем в мой первый приезд.

— Потому что розовое облако любви уже не так плотно окутывает тебя, как прежде,— вздохнул, вдруг расчувствовавшись, отец. Но тут же подмигнул мне.

Они начали ссориться уже на второй день после приезда. Марыся всегда хотела идти влево, когда отец сворачивал вправо, она часами жарилась на пляже, чтобы потом дразнить своим загаром завистливых подружек в Польше, и ничего не хотела посещать в Венеции, кроме лавок с бусами и серебряными украшениями. Отец метался между нами, не зная, быть ли ему с Марысей, иными словами, просиживать ли часами с ней за бутылкой вина в кафе Флориана или показывать мне Венецию, Тинторетто и Тициана, а главное, ездить со мной на речном трамвае — мне это особенно нравилось.

Тогда отец еще желал Марысю: я часто слышал за дверью, соединявшей наши комнаты в отеле «Дарданеллы», как поначалу они ссо-

рились, понизив голоса, а потом раздавался скрип кровати и приглушенные вздохи. Мне это было неприятно. Я вообще решил облегчить отцу жизнь, понимая, что торчу между ними, как колючая проволока, и стал часто выбегать из гостиницы, когда они ложились отдохнуть после обеда. Это помогло мне хорошо узнать Венецию. На речном трамвае я доплывал по Каналу Гранде до вокзала, а там по лабиринту улочек, мостиков и маленьких площадей добирался до Понте ди Риальто, а затем до Дворца Дожей. Всякий раз я шел иным путем, расширяя круг своих прогулок. Я подолгу смотрел с мостиков на воду, потом отправлялся на площадь Св. Марка, где покупал пакетики с горохом и кормил голубей (до войны в Варшаве еще не было такого количества голубей, которое могло бы загадить город, как теперь, а продавали их на знаменитой толкучке Керцеляк).

Колонны Дворца Дожей были оклеены плакатами, изображавшими Муссолини в каске, ремешок от которой стягивал тяжелый подбородок. «V il Duce!»[1] — гласила надпись. Однажды, когда я разглядывал воинственную физиономию человека, который должен был вернуть итальянцам их национальное величие, и застывших рядом с ним карабинеров в треуголках с красным и золотым кантом и в мундирах, какие носили еще сто лет назад, на Пьяццетте появился отряд чернорубашечников. Они маршировали под звуки ритмично повизгивавшего свистка, но толку от этого было мало: ряды колыхались, каждый шел сам по себе, как стадо гусей на шоссе. Под лучами венецианского солнца, на фоне ослепительного бело-розового Дворца Дожей фашисты эти казались какими-то нелепыми шутами, а бумажные плакаты с рожей дуче, уродующие одну из самых красивых готических построек мира, такими же недолговечными афишами, как и те, что были расклеены чуть поодаль уже на обыкновенных стенах и оповещали о представлении оперы «Сельская честь». «Il Duce ha sempre regione!»[2] — орал я в лицо Марысе, когда она возражала отцу. Марыся искренне ненавидела меня.

Слушать оперу «Сельская честь» мы отправились втроем, и на этот вечер между нами наступило молчаливое перемирие. Марыся вырядилась в красное шелковое платье, специально купленное по этому поводу. Отец был в летнем, цвета кофе с молоком, костюме и белой шляпе и походил на богатого плантатора из Бразилии. Я был в коротких штанах, с которыми навсегда прощался после этого сезона.

Такой парадный выход втроем бесил Марысю: не дай бог, кто-нибудь еще подумает, что я ее сын! Ей было больше тридцати, но она твердо решила навсегда остаться юной, и ничто не могло поколебать ее решения. Ядреная, что называется кровь с молоком, бабенка эта любила покрасоваться своими формами и, вопреки моде, обтягивала зад. Она якобы бросила ради отца театр, чем в сердцах не раз попрекала его. Однажды отец тоже не выдержал и без всяких околичностей выложил ей правду-матку: ничего-то она кроме «кушать подано» не играла, а чтобы ей дали приличную роль, ему надо было бы отвалить театру кругленькую сумму, но таких денег у него не было. Все это я обычно слышал за дверью, став свидетелем распада отношений между этими столь не подходившими друг другу людьми. И, может быть, мое присутствие даже способствовало этому. Должен признаться, я решил тогда ускорить сей неизбежный процесс и вылечить сорокапятилетнего глупца от этой чумы. В тот вечер мы плыли с Лидо на представление оперы «Сельская честь». Я, как всегда, бегал по палубе речного трамвайчика, но, оглядываясь то и дело на отца и

[1] «Да здравствует дуче!» *(итал.) (Здесь и далее примечания переводчика.)*
[2] «Дуче всегда прав!» *(итал.)*

Марысю, сидевших этакой нарядной парочкой, сразу же заметил пылкие взгляды, какими обменивались Марыся и красивый черноволосый итальянец с ликторским пучком в петлице. Отец сидел спиной к итальянцу и ничего не подозревал, а меня так и трясло от злости: до чего ж блудлива! Она, конечно, не могла рассчитывать на какой бы то ни было роман с этим незнакомым брюнетом, так что все ее вульгарное кокетство было лишь искусством ради искусства. Видно, распутство было заложено в самой ее натуре.

Я подбежал к ней и, состроив капризную мину, громко потребовал тоном избалованного ребенка:

— Мама, купи мне такой значок, как у этого господина! — и указал пальцем на пламенного фашиста.

Тот сразу же отвернулся, а Марыся — будто ее по щекам отхлестали — зарделась, как девчонка. Отец, изумленный моей небывалой фамильярностью по отношению к Марысе, взглянул иронически сначала на меня, а потом на итальянца.

— Ты тоже хочешь быть фашистом? — спросил он.

— Я хочу быть таким красивым, как этот господин,— ответил я,— чтобы все дамы на меня засматривались.

Тут мой старик, пожалуй, что-то сообразил, потому что сразу же взглянул на покрасневшую до ушей Марысю. До самой площади Св. Марка мы шествовали в грозном молчании. Впереди неслась Марыся, в полушаге от нее—отец, а позади всех, довольный своей проделкой,— я. Теперь скандал был неминуем и мог вспыхнуть каждую секунду: Марыся клокотала от бешенства.

Всемирно известный театр под открытым небом освещали фонари аркад Прокураций и огни над большим оркестром, расположившимся перед сценой-эстрадой. На мраморных плитах площади стояли рядами стулья, в большинстве своем уже занятые зрителями, поскольку из-за Марысиных прихорашиваний мы приехали в последнюю минуту. В первых рядах усаживались сверкавшие бриллиантами дамы. Наши места были довольно далеко, во втором, не то в третьем ряду от конца, что привело Марысю в состояние полной истерии.

— Как,— завопила она,— чтоб я сидела в такой дали?! Да я никогда в жизни дальше третьего ряда не сидела! Я бы вообще не пошла, если бы знала! Отсюда ничего не видно! Это у тебя называется «хорошие места»?

Напрасно отец втолковывал ей приглушенным голосом, что нынешнее представление — торжественное, историческое, что само присутствие на нем — уже честь, что отель «Эксцельсиор» закупил первые ряды для миллионеров и принцев... Взбешенная мадам, задевая сидевших, стала протискиваться меж стульев к выходу — теперь даже мне было ясно, что она выросла в каком-то захолустье, в далекой провинции. Как раз в эту минуту на подиум вышел дирижер. Это был сам маэстро Масканьи, почти семидесятилетний автор «Сельской чести», прибывший сюда, чтобы дирижировать своей оперой и снова пережить триумф, который он одержал сорок шесть лет назад. Появление автора отвлекло внимание наших соседей от бурно негодовавшей Марыси, которая выбралась, наконец, в проход и помчалась к Дворцу Дожей. Красный от злости, но еще, увы, не созревший для разрыва отец пустился следом за ней. И я промучился всю оперу один, так как мне было стыдно снова тревожить людей. К счастью, опера продолжалась всего около часа. Аплодисментам не было конца, но я, воспользовавшись тем, что все аплодировали стоя, нырнул за колонну и помочился, после чего побежал на розыски поссорившейся пары.

Лишь спустя многие годы я оценил красоту этого зрелища посреди знаменитейшей в мире площади. Картина эта очень точно запечатлелась в памяти подростка, и позднее я мог мысленно любоваться ею, словно вынутой из альбома старой фотографией. Особенно часто я делал это в годы боли и страха: теплая, бело-розовая, ярко освещенная огнями Венеция, представление на площади, увертюра, которой дирижировал маэстро Масканьи... может быть, все это и было сном, но его уже никто не мог у меня отнять. И мне было легче переносить тяжкое время. Когда через двадцать пять лет я снова, еще не веря своему счастью, ступил однажды вечером на плиты площади Св. Марка, я увидел уже нечто иное, хотя все было на своем месте: и кони над притвором собора, и мавры с молотками на часовой башне, и магазинчики с бусами под аркадами Прокураций. Все было на своем месте, но все оказалось слишком настоящим в сравнении с яркой, сохраненной в сердце фотографией.

Я без труда нашел их на Пьяццетте, за столиком кафе против Дворца Дожей. Ссора уже состоялась, и они сидели надувшись — отец, попивая фруктовую водицу, она — коктейль (ее якобы приучили в театре пить, и теперь она ежедневно потягивала что-нибудь из крепких напитков). Они молча переживали свои обиды.

— Тебе понравилось? — спросил отец.

Он сказал это ровным тоном и казался спокойным, но я знал, что он сейчас готов был удушить Марысю. Она принадлежала к числу женщин, избалованных любовниками. Уверенная в том, что полностью завладела мужчиной, Марыся даже не пыталась умерить свои капризы и вести себя в границах допустимого. Кроме того, она стала чрезмерно фамильярной. Марыся явно полагала, что вид ее обтянутого зада пробуждает в мужчине самца и автоматически парализует в нем всякую независимость или чувство собственного достоинства. Поэтому она позволяла себе топтать его гордость, глушила в нем всякое проявление характера и вообще делала из него тряпку, как бы доказывая этим собственное превосходство. В тот вечер я каким-то особым чутьем понял, что на этот раз Марыся сильно переборщила и в отце произошла необратимая перемена. Теперь я сказал бы так: количество стычек, скандалов и столкновений перешло в качество, и чары Марыси рухнули. Но тогда я еще ничего не слышал о диалектике и только чувствовал, что наступает неотвратимое: православный период в духовной жизни отца близится к концу.

— Мне очень понравилось! — весело ответил я.— Этот старик Масканьи так энергично размахивал своей палочкой, да и певцы были первоклассные! То-то мама обрадуется, когда я ей все расскажу! Она же так любит музыку... Да она бы, наверное, все отдала, только бы побывать сегодня на этой опере, даже если б ей пришлось сидеть в самом последнем ряду!

Окончательно выведенная из себя Марыся вскочила и, зашипев, бросилась к пристани. Тут уж отец не выдержал. Он быстро расплатился, и мы отправились вслед за ней. Возвращение в отель прошло при полном молчании, да и дома я не услышал за дверью ни ссоры, ни вздохов — вообще ни единого звука. Видно, старик решил проявить характер. В конце концов платил-то за все он. Утром отец сухо сообщил мне, что наш отъезд наступит раньше, чем предполагалось, и на следующий день, который оказался серым и дождливым, мы сели в его «крейслер» и тронулись в обратный путь, в Польшу.

Марыся, перепуганная молчанием отца, немедленно сменила тактику: во время всего путешествия она заботилась о нем как о любимом дитяти. Из страха потерять хорошо оплачиваемое место она подсовывала ему бутербродики и раскуривала для него сигареты, когда

он вел машину, и вообще стала тихой, податливой, печальной и любящей. Но старик больше уже не позволил себя провести, и я полюбил его за это. Он принимал все ее услуги и любезности с вежливой улыбкой, со словами благодарности, но не коснулся и пальца ее. Я заметил в глазах Марыси холодный ужас: если он бросит ее, она нигде не найдет такого хорошего места, потому что время уже начинало слегка портить ее кожу, особенно шею. Когда мы делали остановки, он уходил со мной вдвоем, оставляя Марысю наедине с ее горькими мыслями. В Варшаве она исчезла из моего поля зрения. В школе начались занятия, и Венеция понемногу стала бледнеть в моих воспоминаниях. Лишь через два месяца я узнал, что мой отец снова холост, а Марыся, получив отступного, ушла к какому-то саксофонисту, будущее с которым не внушало уверенности.

Итак, спустя четыре года в день моего рождения, 24-го сентября 1938 года, я сидел со своим отцом-магометанином и его Ядей, дочерью дворника. Они уже вернулись из Венеции. У моего старика была явная склонность к дамам из простонародья. Я знал, что за эти брачные истории его бойкотируют в светском обществе Варшавы. Ни один буржуа, торговец, промышленник, чиновник высокого ранга или даже офицер не мог простить ему этой легкой, хотя и дорого стоившей смены жен: ведь каждый из них мучился с одной и той же супругой десятки лет, как бы ни задыхался он в тисках религиозных обычаев, общепринятых устоев или правил хорошего тона. Они завидовали его наглости и отваге — ведь он открыто делал то, о чем они, неспособные высвободиться из своих оков, могли лишь мечтать, да и то в глубине души, и потому охотно прислушивались к нашептываниям своих супруг, перепуганных поведением отца, пример которого был для них кошмаром, угрозой самому их существованию. Переход в магометанство и брак с Ядей, дворниковой дочкой, стал уже крупным скандалом и окончательно закрыл перед отцом все двери. Теперь он мог рассчитывать только на короткие мужские встречи где-нибудь в маленьком ресторанчике, да и то в полной тайне от «света».

— На опере были? — спросил я.

— Были, на «Паяцах»... к сожалению, мы сидели в последнем ряду,— ответил отец, улыбаясь и заговорщицки поглядывая на меня.— Но Яде очень понравилось.

— Страсть до чего люблю, когда красиво играют и поют,— подтвердила Ядя. Она переживала первый этап их супружеской жизни, восторгаясь всем, что с ней происходило, и не спускала глаз с волшебника-отца в ожидании все новых и новых чудес. Пока что у него не было с ней трудностей. Актрисочка Марыся когда-то тоже была такой. Но затем, после второго этапа, когда она привыкнет к заграничным вояжам, машине, особняку на Мокотове и нарядам, предстоит этап третий: жизнь с лысеющим мужем, который старше ее более чем на двадцать лет,— все это наскучит ей и утомит ее, и она станет оглядываться вокруг в поисках какого-нибудь жеребчика, а потом начнутся капризы, выкрутасы, истерики, что займет от двух до трех лет, и, наконец, наступит катастрофа. Тогда отец сможет перейти в индуизм, если, конечно, ему позволит здоровье.

— Мы стоим у кратера вулкана,— сказал отец.— Вот-вот хлынет лава. Каждый спокойный день я считаю подарком судьбы. Не знаю, правильно ли я поступаю, позволяя тебе идти в армию. Все это непременно обрушится именно на Польшу, так что мы все должны как можно скорее выехать в Америку.

— Да, да, в Америку! — размечтавшись, вздохнула Ядя и робко погладила отца по руке.

— Я иду в армию по призыву,— заявил я.— Это мой долг.

— Я как раз раздобыл для генерала прекрасный «крейслер»,— сказал отец.— И могу завтра же освободить тебя от этого долга так же, как устроил направление в Зегж. Ты выиграешь год жизни и спасешь шкуру.

— Еще чего! — воскликнул я.— И не подумаю!

Отец внимательно взглянул на меня.

— Понимаю,— кивнул он.— Я тоже так мыслил в твои годы и полез в легионы. Потом у меня это прошло.

— Потому что ты взялся за торговлю автомобилями,— презрительно изрек я.— И у тебя много денег. Родина дорога бедным. Я, например, пойду в армию с удовольствием.

— Уж больно паршивое время,— вздохнул отец.

Больше мы об этом не говорили — заиграла музыка. Блестящий поручик в облегающем фигуру мундире звякнул шпорами возле нашего столика.

— Разрешите пригласить вашу дочь! — обратился он к отцу.

— Хочешь потанцевать с паном поручиком, детка? — добродушно спросил отец. Видно, он избрал новую тактику. Ядя растерялась. Конечно, ей хотелось потанцевать с изящным кавалеристом, но она не знала, говорит ли отец серьезно или вздумал ее испытать.— Потанцуй, если тебе хочется,— продолжал отец.— Веселись, пока можно. Кто знает, уцелеет ли мир на этой земле еще хоть три недели!

— Насчет этого не беспокойтесь,— улыбнулся поручик с таким превосходством, будто именно ему были точно известны судьбы мира.

Ядя встала, ничего не понимая, и отправилась танцевать слоуфокс под названием «На седьмом небе». Поручик танцевал по всем правилам, двигаясь пружинисто, изящно и держа Ядю на некотором расстоянии от себя, вел обольстительные речи, чаровал ее своим мундиром. Паркетный круг для танцев заполнился парами, и поручик отплыл от «папеньки» как можно дальше. Я завидовал замечательной упругости его тела, его красивому мундиру, а главное — его звонким шпорам.

— Не знаю, правильно ли ты поступаешь, сынок,— вернулся к своей мысли отец.— Нам грозит огромный взрыв. Эта страна изойдет кровью. Мы смогли прожить двадцать лет спокойно только благодаря удачному стечению обстоятельств, но это уже не повторится. Конечно, я не могу взять с собой еще и твою мать...

— А Ядю можешь! — огрызнулся я.

— Не думай, что я слеп,— ответил отец.— Она хороший материал для лепки. А я последний раз играю в Пигмалиона. В будущем я вижу ее интеллигентной молодой женщиной, любознательной, терпимой, влюбленной в своего создателя, отвергающей поклонников...

Он вдруг умолк, должно быть, я не сумел придать своему лицу выражение должной серьезности. Отец взглянул на меня и почесал лысину.

— Может, об этом не следует говорить, но самое главное — как я себе ее представляю. Меня в данный момент не интересует, какова она на самом деле. Может, Ядя всего лишь глупое создание, а может, и мелкая шлюха, которая пойдет к тому, кто даст больше. Я люблю образ, который представил себе, который сам придумал, и пусть это даже неправда — мне приятно видеть ее с ореолом вокруг головы. Когда я пойму, какая она в действительности, все будет кончено. Не смейся надо мной, молокосос, и не смотри, прижалась ли она к этому офицеришке, когда-нибудь ты это поймешь и простишь отцу его странные поступки.

У старика, наверное, были глаза на затылке, потому что когда

солист пропел: «Пылко ты ко мне тогда прижалась вдруг, и возликовало все вокруг», в толпе мелькнули прильнувшие друг к другу щеками поручик и Ядя.

— Во всяком случае, можешь рассчитывать на меня, мальчик,— сказал отец.— Через год, в твой следующий день рождения, можешь готовиться к отъезду за границу, если, конечно, ничто не помешает. Где бы я ни был, я займусь твоим будущим. Тебе надо только решить, кем ты хочешь стать.

Говоря это, он нежно смотрел на меня. По мере того как отец старился, чувства его ко мне теплели. Но он жил в мире, чуждом мне, поскольку в нем не было места ценностям, любовь к которым привили мне мать и школа. Отец отталкивал и притягивал меня одновременно, иногда я любил его, иногда ненавидел. Будто ревнивая женщина, я хотел, чтобы он все время занимался мной, и мне казалось, что он любит меня тем больше, чем больше тратит на меня денег. Только из этих соображений я и принял его предложение учиться в Париже, а если говорить начистоту, я предпочитал Варшавский университет, где учился бы среди своих.

Поручик подвел Ядю к нашему столику, лихо звякнул шпорами и удалился. Лицо Яди пылало от успеха.

— Он назначал мне свидание на субботу. Я говорю: мы, мол, уезжаем, а он: «Я в Варшаву за вами приеду, украду вас и умчу на коне, тогда папенька на все согласится».

Я расхохотался, отец тоже довольно искренне посмеялся, и мы выпили последнюю рюмку за мое здоровье и успехи в жизни. Мне захотелось полюбить какую-нибудь молодую прекрасную девушку огромной бескорыстной любовью.

Возбужденный вином, я долго вертелся и вздыхал, лежа в снятой для меня комнатке в пансионате. Но полночи я не дождался: в десять часов я уже спал крепким сном праведника.

24 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА — МОЕ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕ

У меня чудом сохранились какие-то отдельные записи, и потому я более или менее верно могу восстановить этот день. В полночь я улегся на письменном столе и накрылся одеялом. Артиллерийские снаряды громыхали редко, и я быстро уснул. В шесть утра меня разбудил капрал Здяра, в ту ночь дежурный по коммутатору. Я знал, в чем дело: прервана линия связи с Замком. По этой причине меня за последние сутки будили уже несколько раз. Я слез со стола, сполоснул лицо водой из таза — водопровод уже был разрушен налетами — и вышел. В комнате на первом этаже, которую я занял, были выбиты все окна, и я основательно мерз, укрываясь лишь одним одеялом. Надо было покончить с бравадой и перейти, как другие, в подвал. Возле коммутатора, установленного в коридоре подвала, меня уже ожидали старший телефонист Карчевский, до войны вагоновожатый городского трамвая, и рядовой Вальчак, слесарь, имевший маленькую мастерскую, оба родом с Праги. Этот район города я теперь только и узнавал толком, потому что до войны жил в северной части, а сюда, на другой берег Вислы, приезжал главным образом в зоосад, полюбоваться обезьянами да покататься на канатной дороге в луна-парке.

В шесть пятнадцать утра мы вышли из здания управления окружной железной дороги на Торговой улице. Слесарь нес полевой телефон и сумку с инструментами, вагоновожатый — шест с рогаткой. Я, моложе их по крайней мере лет на пятнадцать, был подхорунжим и командовал отделением, сколоченным несколько дней тому назад из

остатков всевозможных подразделений. Телефонную связь между артиллерийским командиром, расположившимся в здании управления железной дороги и его начальством в Королевском Замке, мы установили, развесив провод на деревьях, по улицам Тарговой и Брукковой до домика на берегу Вислы, где я сам лично соединил наш провод с подводным кабелем, заготовленным когда-то про черный день; линию по другую сторону Вислы мы уже не обслуживали.

С тех пор как вражеское кольцо вокруг Варшавы сомкнулось, неприятельская артиллерия не только обрывала наш кабель, но часто сбрасывала с деревьев и тех, кто пытался его чинить. Таким образом, работа наша превратилась в постоянное испытание судьбы: попадут? Не попадут? Я никогда не отличался склонностью к азарту, а споры «на американку», когда проигравший обязан выполнить любое требование победителя, просто вызывали во мне страх и отвращение. Война шла всего три с половиной недели, и я не успел еще примириться с внезапностью смерти, хотя вокруг меня люди гибли с первого же дня. Внезапная смерть была понятна на поле боя, где мы стреляли в них, а они — из самого разнообразного оружия — в нас. Сюда же, на Тарговую улицу, смерть прилетала издалека, она была адресована городу, а людям доставалась случайно, как роковой выигрыш в адской лотерее. К несчастью, этих выигрышей становилось все больше, ибо все больше снарядов обрушивалось на город.

В эту пору утреннего обстрела Тарговая была совершенно пуста. Почти во всех подворотнях теснились обозные телеги самых различных частей. Только возле пекарни стояла небольшая толпа, да вокруг колодца во дворе была очередь с ведрами и чайниками: рисковать жизнью стоило только ради хлеба и воды.

Мы шли, держа значительный интервал, чтобы не погибнуть всем сразу от одного снаряда, однако сейчас в воздухе время от времени рвалась шрапнель, поражая все вокруг, и попытки как-то увернуться от нее были лишены смысла. Переходя на другую сторону Тарговой и внимательно оглядывая кабель, протянутый какими-то идиотами прямо по воздуху, словно специально для того, чтобы осколки кромсали его, мы миновали могилы жертв, спешно похороненных посреди скверика: жители Праги лежали там рядом с солдатами — уроженцами самых различных и отдаленных от Варшавы деревушек. Уже в течение нескольких дней дым пожаров заслонял солнце, а сейчас и неподалеку горели дома. Где-то кружили над целью тяжелые бомбардировщики «дорнье»: их гуденье я сразу же распознавал с тех пор, как они налетели на нас у берегов Нарева и наш утренний кофе смешался с кровью.

Вагоновожатый, который шел первым, поднял шест: с дерева печально свисал кабель. Ловким движением он сбросил его на землю и двинулся к следующему дереву. Слесарь уже подключал аппарат к линии. Все это получалось у них молниеносно — их ловкость возрастала от страха. «Дорнье» сбрасывали бомбы где-то в районе Грохова. А над нами рвалась шрапнель. Слесарь вызвал наш коммутатор и, поговорив с дежурным, направился к вагоновожатому, который уже успел устранить обрыв. Я был им совершенно не нужен как командир — их не надо было ни подбадривать, ни вести в атаку, они выполняли техническую работу, с которой справились бы и без меня, я был всего лишь как бы третьим линейщиком, но должен был рисковать своей шкурой, иначе как бы я мог жить вместе с ними? Слесарь дозвонился до Замка, вагоновожатый поддел кабель рогаткой и забросил его на дерево. И тут я вдруг увидел большого попугая, серого, с красным хвостом. Он неподвижно сидел на самой нижней ветке, не обращая ни малейшего внимания на взрывы снарядов и

свист осколков. Я поднес руку к самому его клюву, тогда попугай перепрыгнул ко мне на руку и уселся на указательном пальце. Осторожно неся попугая, я подошел к своим солдатам.

— Это попка,— со знанием дела заявил вагоновожатый.— Попка с красной ж... Королевский попугай. Сидел в зоосаде в большой клетке, сразу же направо.

— Да чего в нем толку-то,— недовольно буркнул слесарь.— Мясо у него, поди, темное и жилистое, с него только блевать будешь. Айда лучше в зоосад, может, какого кабана или хотя бы антилопу подстрелим.

— Этой идеей уже давно воспользовались другие,— успокоил я его.

Я шел быстро, держа попугая на вытянутой руке. Птица вообще не двигалась, как видно, проведенные в неволе долгие годы лишили ее инициативы. Лязгнули, стукаясь о булыжную мостовую, осколки шрапнели. Блеснули горячие куски металла.

— А мы его на суп, бульон из него сварим,— сказал примирительно вагоновожатый — Не то изжарить можно. На сале.

Раздался ужасный свист, и мы плашмя упали на мостовую. При свисте шрапнели мы все падали на землю ничком, и хотя это ни от чего не спасало, удержаться и не упасть было трудно — автоматически срабатывал инстинкт самосохранения. Прижимаясь к породившей его матери-земле, человек чувствовал себя в большей безопасности. Попугай же взлетел с моего пальца и уселся неподалеку на булыжнике. Я встал, попугай снова прыгнул мне на палец, и мы пошли дальше. У стены лежала женщина с рассеченной шеей, пустое ведро скатилось на мостовую. Со стороны левобережной Варшавы в небо бил серо-зеленый дым. Мы вбежали в здание железнодорожного управления. Восстановленная нами линия еще действовала. Я вдруг вспомнил, что сегодня день моего рождения.

— Панове, стыдно говорить об этом в присутствии взрослых, но мне сегодня стукнуло восемнадцать лет,— объявил я.— Приглашаю вас в свою комнату выпить по этому поводу рюмочку.

Мы вошли в мою комнату на первом этаже. Я продолжал нести попугая на пальце. Это была дьявольски равнодушная ко всему птица. Я поставил ее на письменном столе и вытащил из канцелярского шкафа бутылку вишневки, которую нашел в брошенной хозяевами читальне в доме напротив. Закуской должен был послужить паек, выданный на завтрак,— ячменный кофе и кусок хлеба. Я разлил водку по кружкам.

— Идет подмога Варшаве,— торжественно заявил вагоновожатый, когда мы входили в комнату.— С востока шагают красные, с запада в Гдыню плывет громадный английский флот.

— Ладно, Юзек, об деталях не будем, выключай мотор,— прервал его слесарь.— Мы что ни день не одно, так другое про это слышим. Так что веры в человеке вовсе мало стало.

— Вера верой, а как же это понять, если весь мир спокойно смотрит, как из большого города в центре Европы отбивную делают, а?

— Какой же это центр Европы, Юзек! — рассмеялся слесарь.— Так себе городишко, ничего особого, а хлопот с ним вечно не оберешься. Может, когда-нибудь нас и оценят по справедливости, да мы-то уже все в могиле будем...

— Ты что болтаешь! Вот бессовестный! — возмутился вагоновожатый.— Юреку нынче восемнадцать равняется, а ты об могилах речь завел. Ваше здоровье, пан подхорунжий!

Я подсунул попугаю кусочек хлеба. Он принялся медленно есть. Мы выпили вишневки. Было около десяти утра, а в такую раннюю по-

ру мне достаточно было выпить и малую толику, чтобы почувствовать в голове приятное кружение. Пить меня научили в армии. Мать вообще не терпела в доме спиртного, и я мог выпить не больше рюмки. Но в казарме однажды ночью меня схватили ребята: двое держали, а третий лил мне в рот из стакана спирт, подкрашенный «соком Карпинского». Напрасно я прятался в сортире, напрасно бегал от них — в конце концов они все равно меня ловили и я пил. Не мог же курсант военного училища просить пощады в таком серьезном деле! Мало того, я должен был еще и платить за это, потому что курсанты всегда были с деньгами не в ладах, а тут они еще пронюхали про отцовы «дотации». Не имея возможности видеться со мной лично, старик присылал деньги, а однажды, в какое-то из воскресений, когда из-за тревожной обстановки уже перестали давать увольнительные, он явился ко мне на своем «крейслере», к счастью без Яди, потому что и так все училище загудело от новости: «Слыхали? У Бялецкого отец миллионер». Именно за это мне и досталось от младшего сержанта Лукасика, согнавшего с меня семь потов: «... на ту высотку бегом марш, кругом, бегом марш, ложись, встать, ползи. воздух, прячься, я вас накажу, вы, Бялецкий, меня попомните, здесь армия, а не бордель, папенька за вами не уберет, три дня нужники драить, бегом марш, кругом, бегом марш!» Потом, после училища, сразу же перед войной наступили новые страдания, связанные с водкой, но теперь я уже мог спокойно выпить вишневку за собственное здоровье.

И тут снаряд угодил в наше здание. Он попал, вероятно, двумя этажами выше, но, видно, это был снаряд крупного калибра, потому что нас расшвыряло в разные стороны, кофе и вишневку сбросило на пол, а попугай взлетел со стола и уселся на калорифере. «Я люблю-у-у тебя, дурр-рак!» — ни с того ни с сего заорал он.

— Вот те и конец банкету...— вздохнул слесарь.

Мы стряхнули с себя пыль и штукатурку.

— А я здесь, вон, напротив, на Виленской восемнадцать, у одной дамочки бывал, женихался вроде,— сказал вагоновожатый, выглядывая в окно. — Но после быстро скумекал, что она меня при себе держит, чтоб позлить своего разлюбезного, пекарь у нее был, так что я набил ему морду и ушел навсегда. Мог ли я подумать, что буду воевать здесь, рядом с ними?

— Ну как, Юзек, попросим этого попугая пройтиться с нами? — спросил слесарь.— Какое никакое, а горячее обязательно должно быть на день рождения подхорунжего!

— Подарите жизнь этому попугаю, панове! — сказал я. — А я взамен постараюсь угостить вас шикарным ужином.

— К водке и то у них, у бандитов, уважения нету! — вздохнул слесарь, грустно глядя на разлитую по полу вишневку.

Мы всухомятку жевали хлеб, побеленный штукатуркой. В волосах у нас, наверное, тоже было полно песку. Загрохотала полуобвисшая дверь в комнату.

— Обрыв на линии к Замку! — заорал старший рядовой Ямрод. В его голосе послышалось удовольствие от того, что можно нарушить прием, на который его самого не пригласили.

Я подсунул попугаю палец, и мы все вчетвером дружно отправились искать обрыв. Артобстрел несколько утих, зато прибавилось пожаров, потому что самолеты уже несколько дней кряду сбрасывали зажигалки. Обрыв мы нашли на Бруковой улице, у самой Вислы. Оттуда открывался красивейший вид на Варшаву в дыму пожарищ. Конец кабеля запутался в листве дерева, и вагоновожатый не мог снять его шестом. Мы смотрели на это дерево из подворотни, и никому из нас не хотелось выходить на улицу и

карабкаться на него. Мы переживали явный кризис энтузиазма и самоотверженности. А ведь я представил их обоих к награде — «Боевому кресту», еще когда мы прыгали по картофельным и капустным полям далеко от Варшавы: они и впрямь были отважными на поле боя! Но здесь, на улицах варшавской Праги, когда нас окружили в самом сердце страны, отвага уступила место парализующей горечи.

Эта катастрофа перерастала понимание восемнадцатилетнего парня. Я чувствовал себя сопляком, которого выпороли ремнем за несовершенные проступки. Но я был командиром и должен был действовать. Я мог отдать приказ, но вместо этого протянул вагоновожатому винтовку, перебросил попугая на палец слесаря, а сам полез на дерево. Вражеские артиллеристы словно только того и ждали: тут же над головой у меня начали с воем проноситься снаряды. Оба моих приятеля, стоя в подворотне, смотрели, как я высвобождаю запутавшийся в ветвях кабель. Улица немедленно опустела, и только обозные кони во дворах ржали от страха. Их и так вскоре ожидала смерть на бойне во имя спасения жителей столицы, которых надо было обеспечить мясом. Да и куда им было тащить свои телеги? Здесь был конец их скитаниям. Я распутывал кабель непослушными пальцами, а он никак не поддавался мне. И по спине у меня бегали мурашки от страха. В конце концов я вырвал этот чертов провод вместе с веткой и сбросил на землю. Спрыгнув вниз, я так отбил пятки, что боль отдалась даже в коленях. Я взял из рук слесаря попугая, и слесарь, выбежав на тротуар и схватив оба конца кабеля, стал лихорадочно соединять их. Казалось, что по ту сторону Вислы горит вся Варшава.

— Через полчаса наше дежурство кончится,— сказал вагоновожатый. — Я на минутку домой сбегаю, ладно?

— Это как так домой?! — взбеленился я.— Тут война идет, а он «домой сбегаю»! Да я тебя прикажу расстрелять за дезертирство! Вернешься к ужину?

— Если не пристукнут по дороге.

— Не имеют права! — твердо ответил я. — Я даже слушать об этом не желаю, понятно? А уж если в тебя попадут — берегись! Накажу со всей строгостью, так и знай. И что это вообще за идиотство — воевать возле собственного дома!

— Стер-рва! Твою мать! — прокричал попугай.

Мы озадаченно взглянули на попугая. Видно, он подвергался в зоопарке самым разным влияниям. Слесарь соединил, наконец, провода, вагоновожатый дозвонился до коммутатора, и мы вернулись в здание управления. У входа нас обогнал маленький грузовичок, в котором было несколько безжизненных тел. У самого края кузова лежала грузная женщина, обе ноги ее были оторваны выше колен, толстые обрубки-бедра подрагивали от тряски. Я отпустил слесаря и вагоновожатого (каждый день они отправлялись домой отдохнуть) и передал дежурство младшему сержанту Маевскому.

— Нынче ночью вам придется дежурить на коммутаторе, — с удовольствием сообщил он мне.

— Это почему же? — возмутился я.

— Потому что капралу Байко оторвало руку, и вам придется теперь дежурить вместо него.

— И где его черти носили! — проворчал я.

— Стоял в очереди за пирожными на Инженерской,— пояснил Маевский. — Какая-то сволочь пустила слух, что будут пирожные, и сейчас же набежало целое стадо баранов. А откуда тут возьмутся

пирожные, спрашивается?! Пан подхорунжий, уступите попугайчика, а? Заплачу по весу, сколько потянет.

— И не подумаю! — зло рявкнул я, но тут же прикусил язык и вытянулся в струнку, потому что по коридору шел, приближаясь к нам, командир дивизии, а за ним свита офицеров.

Коренастый, плотного сложения полковник с каменным лицом, изрытым морщинами, шел тяжело, слегка наклонившись вперед и глядя куда-то вдаль. Должно быть, его угнетала ответственность и разъедала горечь поражения. Мы стояли неподвижно, как статуи, покамест он не ушел. Я почувствовал себя слабым, трусливым щенком.

Презрительно взглянув на Маевского, я покинул подвальный коридор и, поднявшись на первый этаж, стал поочередно открывать двери служебных помещений в поисках новой квартиры. На этот раз я решил занять комнату с окнами во двор, где вероятность попадания снарядов была меньше.

Мне понравился кабинет начальника отдела с письменным столом, двумя креслами и козеткой. При виде стекол в окнах я радостно потер руки. Еще вчера в этом кабинете работали, но с каждым днем обитатели дома спускались все ниже, и теперь освободились помещения даже на первом этаже. Начиналась варшавская подвальная жизнь. Я не мешкая налепил на дверь бумажку с надписью «Центр связи дивизионной артиллерии», перенес из разгромленной комнаты одеяло и туалетные принадлежности, напоил попугая из пепельницы, поиграл разными печатями и штемпелями на столе начальника, вымыл в тазу нос и кончики пальцев, засунул попугая в вещмешок, запер дверь на ключ и спустился в подвал. Там под охраной дежурного по коммутатору стояло мое сокровище — велосипед. Этот велосипед марки «Ормонд» подарила мне в Сероцке какая-то женщина, муж которой тоже ушел на войну. Ей было жаль смотреть, как я плелся после ста километров отступления. Поражение не остановило взрыва самоотверженных чувств, оно наступило слишком быстро, чтобы люди могли осознать, что это конец. Впрочем, ежедневно ожидалась помощь.

Близился полдень. Я надел на спину вещевой мешок с попугаем, хранившим удивительное спокойствие, и, бодро завертев педалями, отправился в путь. До моста Кербедзя я доехал в одну минуту, так как на Зигмунтовской почти не было обстрела. Горела гимназия Владислава IV. Теперь мне надо было проскочить через мост — и это был немалый риск. Вражеские батареи еще несколько дней назад пристрелялись к мосту, и стоило хоть кому-нибудь появиться на нем, как на него обрушивался шквал шрапнели. Снаряды рвались тут же над железной конструкцией, и осколки звякали, ударяясь о решетки. Все находившееся на мосту неминуемо становилось жертвой артиллерийского обстрела. Вот и теперь лежали трупы солдат, два убитых коня и разбитые телеги — урожай утреннего обстрела. Мост очищали только ночью, когда артиллеристы отдыхали.

Возле моста я слез с велосипеда, чтобы пропустить три обозные телеги, ехавшие в Варшаву. На мосту, тут же возле берега, валялась лошадь с раздавленным хребтом, как видно, еще теплая, ее придавил артиллерийский зарядный ящик. Пока я разглядывал лошадь, к ней бросилось двое гражданских с ножами. В мгновение ока они вырезали из ее зада по куску мяса и пустились наутек вместе со своей кровавой добычей. Телеги, которые я пропустил, уже вовсю неслись по мосту. Обозники изо всех сил хлестали по крупам здоровенных лошадей, а те, ошалев от боли, тяжело топали, круша по дороге

останки людей и лошадей. Мост глухо гудел. Как только отчаянно мчавшиеся лошади достигли середины моста, над ними разорвались первые снаряды. Разогнавшиеся першероны вдруг взвились на дыбы, разрывая упряжь и переворачивая телеги, на мостовую посыпались мешки, лопаясь и сея вокруг что-то серое. Спустя минуту снова воцарилась тишина. К нашему берегу опрометью бежал единственный уцелевший обозник.

Теперь подошел мой черед: я вскочил на велосипед и с какой-то безумной яростью нажал на педали. Мне пришлось лавировать между лошадьми с развороченными животами, трупами солдат, оторванными человеческими конечностями, дышлами телег и кучами рассыпавшейся крупы. К счастью, опыт последних дней сделал из меня первоклассного велосипедиста. Да и противнику было лень стрелять из пушек по воробьям: подумаешь, какой-то сопляк на велосипеде! Мое обозленное воображение рисовало мне этих артиллеристов греющимися на сентябрьском солнышке возле своих орудий где-нибудь в Авре или под Виляновом, я так и видел, как они дымят своими сигаретами «Ремс» и жрут наших кур, а наблюдающий за мостом, глядя в мощный цейсовский бинокль, кричит в радиотелефон со своего наблюдательного пункта или из самолета: «Одиночный велосипедист!» «Черт с ним! — сплевывает командир батареи и, отпив из бутылки пива, заканчивает спор о польской войне словами: — Если бы их Пилсудский был жив, до всего этого не дошло бы!» В то время немцы относились к числу тех немногих народов, которым официальная пропаганда могла внушить для успокоения совести все что угодно.

Итак, я продолжал шпарить среди останков людей и лошадей, и мне удалось проскочить через мост. Разогнавшись от страха, я сразу же одолел крутизну Нового Зъязда. Королевский Замок продолжал дымить, как полупогасший костер, купола часовой башни словно и не бывало, а от черепичной крыши осталось одно воспоминание. Сюда, до подвалов Замка, и была протянута наша чертова линия связи. Я въехал в Краковске Пшедместе: черный дым валил в небо из домов между Медовой и Трембацкой, а люди бегали с ведерками, как муравьи в разворошенном муравейнике. Я пронесся по Медовой и вылетел на площадь Красинских.

У памятника Килинскому, прямо под открытым небом возник мясной ряд с самообслуживанием: здесь были свалены собранные со всего района конские трупы, и толпа любителей вырезала из них куски мяса. Возле тротуара уже третий день стояла новехонькая голубая «шкода популяр», брошенная кем-то из-за отсутствия бензина. Придет и ее черед: после капитуляции, успокоив голод, предприимчивые мясники иного рода обдерут и ее до самого железного скелета.

На Бонифратерской шмыгала из ворот в ворота еврейская беднота в развевающихся лапсердаках — им уже было не уйти от своей судьбы.

Теперь мне предстояло проскочить Жолибожский виадук над путями Гданьского вокзала. К нему вражеские артиллеристы тоже пристрелялись, осыпая его снарядами в промежутках между принятием пищи. Рядом, на валах форта Траугутта, в первые дни сентября разместилась зенитная батарея, мы радовались тогда ее новеньким пушкам и ловкости орудийных расчетов. Теперь здесь остались лишь огромные воронки и мертвая, накренившаяся зенитная пушка. Со стороны цитадели доносились разрывы снарядов. На виадуке догорал разбитый грузовик и торчало, нацелившись в небо, дышло нагруженной пестрым тряпьем извозчичьей пролетки. На мостовой

лежало корыто с большой дыркой посредине. Я удачно проскочил виадук и спокойно покатил по пустым улочкам Жолибожа.

Вскоре я остановился у невзрачного домика, какие строились тут в двадцатые годы. Домик этот оставил матери и мне мой отец, когда впервые менял вероисповедание. Двери были открыты. Я втащил велосипед в коридор и крикнул: «Я здесь, мама!» Мать вышла из кухни как привидение. Я заметил в темноте, что волосы ее совсем побелели.

— Что случилось? — воскликнул я. — Ты поседела от страха?

Мать тряхнула головой, отчего вокруг поднялась туча пыли.

К ней вернулся дар речи:

— Ты же сам велел мне прятаться во время обстрела подальше от наружных стен!

— Конечно, там меньше риска!

— Ну вот я и спряталась подальше от стен, — ответила она с горечью и распахнула дверь клозета. Он действительно помещался между кухней и маленькой комнаткой, так что с каждой стороны его ограждало по две стены. В клозете сейчас все было завалено штукатуркой и щебнем. Среди обнажившейся на потолке дранки зловеще торчал стальной клюв артиллерийского снаряда.

— Да это же чудо! — заорал я. — Он застрял прямо у тебя над головой, не взорвался!

— Никакое не чудо. Скорее вредительство, — проворчала мать. — Ведь я сегодня полдня мыла клозет! У нас стояли солдаты, деревенские парни, которые не умели пользоваться стульчаком. Они все время становились на него ногами, и не было силы, которая могла бы их убедить, что на него надо садиться. Нам столько еще нужно сделать для просвещения нашей страны, а немцы разрушают Варшаву! Ты только посмотри, как выглядит мой бельевой шкаф!

Я помчался на второй этаж. В спальне матери под туалетным столиком лежал снаряд калибра 155 без детонатора. Он влетел через крышу, пробил потолок и здесь, в комнате, развалился: набитый взрывчаткой корпус бессильно откатился к стене, а детонатор наискось пробил шкаф с бельем и пол и застрял в дранке над клозетом, тут же над головой матери.

— Посмотри на это белье! Посмотри на простыни и скатерти! Посмотри на мою венецианскую шаль!

Я родился через девять месяцев после свадебного путешествия родителей в Венецию, так что кремовая шаль была несколько старше меня. Теперь в ней чернела огромная, обгоревшая по краям дыра. Шаль эта была единственным вещественным напоминанием о недолгом счастье матери.

— Кажется, чешского производства,— сказал я, рассматривая снаряд. — Что ж, да здравствуют чехи! А пожевать есть чего-нибудь?

Мать, женщина в высшей степени нервная, бросилась вниз по лестнице и уже у самой кухни крикнула мне:

— Да ведь сегодня у тебя день рождения! Мой руки!

Я вымыл в тазу руки, шею и лицо, а потом, в той же воде, еще и ноги. Они потели в сапогах, и я старался мыть их как можно чаще.

Только сейчас я вспомнил о попугае. Я вынул его из мешка и поставил на столе в столовой. Он недовольно отряхнулся и закричал: «Я люблю-у-у тебя, дурр-ррак!»

Снаряд не разбил ни одного окна. Стол был накрыт на три персоны, стояли три рюмки, посреди стола поблескивал хрустальный графинчик с настоянной на лимонных корочках водкой. Из кухни вкусно запахло. Спустя минуту мать внесла на тарелке огромный бифштекс.

— Боже! — вскричал я.— Откуда это у тебя?

— Из сада, — пояснила мать. — Солдаты похоронили здесь любимого коня и дали мне кусок вырезки для больного ребенка.

Я взглянул в окно, выходящее в сад. Посреди газона желтый квадрат свеженасыпанной земли говорил о том, что именно здесь и нашел упокоение бывший рысак.

— Не ходи туда, потому что они повсюду разбросали гранаты. Здесь был вчера твой отец и чуть не лишился руки.

— А что у отца? — воскликнул я обрадованно, так как с самого начала войны ничего не знал о нем.

— Бомбежки сделали его более человечным,— сообщила мать.— Напугали они его, что ли, во всяком случае, твой отец принес мне сахар, кофе, чай, бутылку спирта и три коробки шоколада «Ведель». Он решил, что теперь я продержусь до конца войны, до самого падения Берлина. К сожалению, здесь была бабушка, и между ними сразу же вспыхнула ссора.

— Бабушка сказала ему все, что думает о его последней жене?

— Не только. А потом, крикнув, что в доме, где бывает эта Синяя Борода, ее ноги больше не будет, она хлопнула дверью и ушла, хотя был обстрел.

Бабушка, мать моей матери, отличалась двумя чертами: великой энергией и тем, что говорила всем правду в глаза. Она постоянно уходила из чьего-либо дома — от каких-нибудь знакомых или родственников, заявляя, что ее ноги там больше не будет.

— Вот и сегодня ее нет,— вздохнула мать.— Пойду схожу к ней. А то ведь там тоже мог упасть снаряд.

— С бабушкой ничего не случится! — убежденно воскликнул я.

Мать снова вздохнула и героически подняла рюмку. До сих пор она никогда не пила при мне спиртного.

— За твой успех в жизни, Ежи! — сказала она.— Мне страшно за тебя. Я бы хотела, чтобы ты прожил жизнь умно... Когда ты поступишь в университет, Юрек?

Я пожирал бифштекс, как оголодавшее животное. Не время было думать об университете, когда все вокруг рушилось. Мать выпила свою рюмку маленькими глотками, в глазах у нее блеснули слезы. Голодный попугай подполз к моей тарелке и клюнул последнюю картофелину.

— А у тебя все глупости в голове,— вздохнула мать.— Ты хоть что-нибудь читаешь в свободное время?

— Напротив нас читальня,— сказал я, облизывая тарелку.

Мать подала чай и открыла коробку шоколада.

— Что ты сделаешь с этим попугаем? — спросила мать.

— Может, он принесет мне счастье?

— Какое же может быть счастье, когда кругом столько несчастья! А может, этот попугай вытянет билетик с известием, что к нам идут на помощь? Ведь только помощь может спасти нас! Почему она не приходит, Ежи? Что говорят офицеры?

— Помощь, помощь! — обозлился я. — А когда это хоть кто-нибудь приходил к нам на помощь? Преподаешь историю в школе, а задаешь такие вопросы?

— Но ведь у нас есть союзники! — воскликнула она.

— Мы должны справиться сами! — твердо заявил я. — Что это за народ, который только и делает, что ждет помощи?

— Ох, сынок, да ты не умнее этого попугая... — покачала головой мать. — Если нам никто не поможет, мы снова исчезнем с карты мира. Боже, как недавно это было...

— Что? — лениво спросил я, целиком поглощенный шоколадками.

— Независимость... Какое это было для нас счастье... И вот снова... — она замолчала, боясь расплакаться.

Я слопал полкоробки конфет и допил чай. Пора было двигаться. Поднявшись и снова сунув попугая в вещевой мешок, я поцеловал мать.

— Придешь завтра обедать? — спросила она.

— Если...

— Если тебя не убьют, если не взорвут мост Кербедзя, если не захватят Варшаву... У меня остался еще один бифштекс. Дай бог, чтобы следующий день твоего рождения мы могли отпраздновать в радости...

— О, до него еще столько времени!

Мать прижала меня к груди и поцеловала. Только сейчас я увидел вдруг, как сильно она похудела, каким серым стало ее лицо. Должно быть, теперь, когда я сидел по ту сторону Вислы, а школа матери была закрыта, жизнь ее состояла из одной сплошной тревоги. Меня охватило странное чувство, что-то вроде угрызений совести.

— До завтра, мама,— сказал я. — Не переживай за человечество.

Я не мог знать, что назавтра на нас обрушится шквал огня, что у нас будет кровавый понедельник и я не приду доедать бифштекс, потому что буду чинить линию и копать среди дыма и пожарищ могилу слесарю.

Я заломил набекрень пилотку, сел на велосипед и отправился в город. Было два часа пополудни, и молодчики из немецких артиллерийских расчетов, видно, отдыхали в этот солнечный воскресный денек — разрывы слышались изредка.

До Мокотова я доехал в два счета. Люди, выбежав из домов, торопливо сновали по улицам в неутомимых поисках — главным образом искали воду. На Маршалковской пожарники забрасывали землей горящий дом. Город начал гноиться, и с каждым днем росло число его нарывов. В улочке на Мокотове, где жил отец, стояла тишина, на западе слышалась канонада. Дети играли в немцев и поляков: побитые немцы удирали с ревом и криком «мама!».

Вилла отца, построенная лет десять назад, стояла нетронутой, а полоски белой бумаги, крест-накрест наклеенные на окнах, свидетельствовали, что все стекла целы. Я толкнул калитку и вошел в сад. Хотя линия обороны проходила всего несколькими улицами дальше и сейчас отчетливо слышался треск пулеметов, здесь все пребывало ненарушенным, цвели красные розы и оранжевые георгины. Двери были открыты. Я вошел в коридор, повесил на вешалку вещмешок с попугаем и увидел сидящих за столом отца, Ядю и неизвестного мне полковника в полевом обмундировании. Они пили послеобеденный кофе. Я вошел и вытянулся в струнку.

— Пан полковник, подхорунжий Бялецкий прибыл. Разрешите присутствовать? — лихо отчеканил я. Полковник взглянул на меня с некоторым изумлением.

— Это мой сын,— пояснил отец.

— Ваш сын? — еще более изумился полковник и добавил не без иронии: — Вам не удалось освободить его от армии?

— Он не разрешил мне даже попытаться это сделать,— вздохнул отец.

— Садитесь, подхорунжий,— с улыбкой сказал полковник. — Поздравляю, у вас отличная выправка. Впрочем, я сейчас ухожу. Приятно было в двух шагах от линии фронта попасть в столь госте-

приимный дом. К сожалению... пожалуй, уже не будет случая нанести вам визит.

— Что это значит? — спросил отец.

Полковник прислушался. Канонада явно усилилась. Теперь в молотьбе принимало участие много орудий. Как видно, послеобеденный отдых пошел этим проклятым артиллеристам на пользу.

— Лупят по Мокотовскому форту,— сказал полковник.— Наверное, завтра они попробуют взять его.

— Нет надежды? — тихо спросил отец.

— Первый акт кончается катастрофой,— ответил полковник.— Будем ждать следующих.

— Вы верите, что конец будет оптимистичным, полковник? — спросил отец.

— О, разумеется,— улыбнулся полковник.— На нашей стороне закон, справедливость, правда.

— Вот именно,— согласился отец.— И потому нечего удивляться, что они так легко нас уничтожают. Вот если бы мы смогли когда-нибудь решиться на беззаконие и цинизм, на ложь... Увы, мы слишком маленький народ — бог обрек нас на добродетель.

— Цинизмом тоже ничего не добьешься.— Полковник снова прислушался.— Теперь они обрушили огонь на Круликарню. Надо идти. Мы не можем отдать им Круликарню.

— А что это такое? — спросил я.

— Небольшой дворец восемнадцатого века, окруженный садом,— пояснил полковник. — Они разрушают его, потому что Круликарня не только замыкает Пулавскую, но и возвышается над Скарпой. До свиданья.

Я вскочил, вытянулся по стойке «смирно». Мне нравился этот суховатый полковник с эмблемами Высшей военной академии на воротнике и крестом Виртути милитари на груди. От этого лысоватого, с веселыми голубыми глазами человека исходило спокойствие, он знал, в чем его долг, и видно было, что он выполнит его до конца. Я снова почувствовал себя слюнтяем. Уходя, полковник улыбнулся мне.

— Желаю успеха, подхорунжий! — сказал он.

Мне не пришлось больше увидеть его. Назавтра немецкая пехотная дивизия действительно захватила Круликарню. Ведя своих солдат в контратаку, полковник погиб в саду, окружавшем руины дворца восемнадцатого века.

Снова грохнули взрывы, и Ядя опасливо поежилась. Несмотря на все, оба они с отцом, сидя за покрытым скатертью столом, выглядели в своих добротных костюмах совсем как в довоенные времена.

— Богатым все нипочем! — вдруг взвился я.— Вы вон как... а в городе люди ютятся в подвалах с крысами, и у них не только света, но и воды нет, и еды!

— У нас тоже нет воды и света,— сказал отец.— А подвал нас ни от чего не спасет.

— Небось доверху забит продуктами! — буркнул я.

— Что ж, я виноват, что ли, если немцам нравится крушить большие дома?

Я презрительно фыркнул. Все в этом доме раздражало меня.

— Каким это чудом ты остался здесь? — язвительно поинтересовался я.— Как это ты позволил запереть себя в этой ловушке? Ведь не из любви же к Родине?

— Ну, скажем, из-за недостатка денег,— улыбнулся отец.

— Что, что?!

— Из-за этого военного беспорядка я не получил крупной суммы, которая бы наполнила мои карманы,— снисходительно пояснил он.

— А твои доллары? А твои должники за границей?

— Вот мы и решили остаться в Польше,— продолжал, как бы не слыша моих вопросов, отец.— К сожалению, меня не захотели взять в армию, хотя я капитан запаса.

— Но ведь правительство смылось за границу,— не унимался я.— А за ним куча богачей. Я думал, что вы уже давно во Франции!

— Вот именно! — согласился отец.— Я еще дорого заплачу за эту ошибку. Сам не понимаю, как это произошло. Мы уже упаковали чемоданы... даже машина за нами приехала... не наша, правда,— нашу реквизировали для военных нужд. Приехал представитель фирмы «Дженерал моторс», Уилдкомб... Он убеждал, кричал, что это последний шанс на спасение, а я вынул бутылку коньяку, наполнил рюмки, велел ему выпить за победу и катить без нас. Ему очень нравилась Ядя, вот он и навязывался со своей помощью. Наверное, хотел по дороге отбить ее у меня. Так что, сам понимаешь, в таких условиях я не мог воспользоваться его предложением.

— Он был рыжий и совсем мне не нравился! — с горечью воскликнула Ядя.

— Чего не сделаешь, чтобы удержать любимую женщину! — вздохнул отец.

— Я приехал, потому что сегодня мой день рождения! — перебил его я.

— Да! Конечно же! — вскричал отец.— Вот уж действительно эти взрывы память отшибли. Ты же должен был ехать в Сорбонну! Но, как говорится, «что отсрочится — не просрочится», никуда это от тебя, сынок, не уйдет. Несмотря на все, я оптимист!

Он тут же вытащил из буфета бутылку коньяку. Это был никудышный коньяк, польский «Марто», но в тех условиях не следовало привередничать. Впрочем, я тогда еще не любил коньяка, мне казалось, он пахнет мылом. Я вспомнил о попугае. Бедная птица продолжала молча страдать. Я вытащил ее из вещмешка и посадил на спинку стула. Попугай отряхнулся.

— Я люблю-уу тебя, дурр-рак!— четко произнес он, пробормотав сперва что-то невнятное. Ядя смотрела на него с восторгом.— Стерррва! Твою мать! — добавил попугай и замолк. Я был горд им.

— Оставишь его нам? — умоляюще спросила Ядя.— Я всегда мечтала о попугае!

— Меняю на бутылку водки и закуску,— ответил я.— И давайте веселиться, а то неизвестно, продержится ли этот дряхлый мир хотя бы еще три недели!

— Полковник говорил, что у вас боеприпасов на три дня,— заметил отец, разливая коньяк.— Я горжусь тобой, сынок. Помни, что ты свидетель конца эпохи: после этой войны ничто не будет таким, каким было прежде. Я рад, что прожил жизнь весело, ведь теперь мне уже не дождаться добрых времен.

— Но мы победим! — воскликнул я. — На западе, наконец, начнут наступление!...

— Ладно, ладно,— сказал отец.— За твое здоровье! Я знаю, что ты до конца выполнишь свой долг. Я тоже в твоем возрасте сражался за свободу Родины. Как мы радовались этой независимости, как трудно было в нее поверить... Это было чудо!

Из рассказов матери я знал об участии отца в первой мировой войне. Он служил в легионах Пилсудского, а потом в военном министерстве, где выполнял вроде бы важную штабную работу. Мать познакомилась с ним на Маршалковской улице в 1919 году, когда он шел, чеканя шаг, в отлично сидевшем мундире, с медалями на груди — настоящий победитель и герой. Она призналась, что, увидев его, затре-

петала, у нее сильно забилось сердце — после ста тридцати лет польской неволи это было прекраснейшее из зрелищ. Она робко спросила его, как пройти на такую-то улицу: она как раз приехала в Варшаву учиться. Он проводил ее. В последующие встречи барышня, хоть и была влюблена в него по уши, все же проявила твердость, строго следуя правилам провинциальной морали. Через год он женился на ней, так ничего и не добившись до свадьбы. К сожалению, идиллия продолжалась только три года. Мать считала, что стала жертвой привитых ей жестких принципов: ведь отдайся она ему до свадьбы, он бросил бы ее не женившись и не сломал бы ей жизни. Конечно, я тоже был причиной ее жизненного поражения: она отказала нескольким кавалерам, чтобы не приводить в дом отчима, что могло бы окончательно сделать меня несчастным. Я не разуверял ее.

— Но чудо кончилось,— продолжал отец.— То, что было в тысяча девятьсот восемнадцатом году, никогда не повторится. В этой части Европы наступит новый порядок, и тут уж ничего не поделаешь.

— А ты, Ядя, как думаешь? — спросил я.

— Я в этом не разбираюсь,— ответила она.— Стась вот что ни день пугает меня: придут, мол, в Польше к власти большевики, отберут у нас нашу виллу, и пойдем мы оба к моему отцу в сторожку жить, под его присмотр. Отец твой, говорит, может, для нас самый бесценный человек будет. Видал, какие шуточки у твоего папаши!

— Я буду отпирать-запирать подъезд и мести улицу,— пояснил отец.— А вот ты бросишь меня и уйдешь к какому-нибудь комиссару, чтобы опять ездить на машине, если машины вообще будут. Но хватит об этом. Вы же мне все равно не поверите. И у нас впереди еще большая война.

Чтобы мы не забывали об этом, канонада теперь не замолкала.

— А может, нам в центр города переехать?— робко предложила Ядя.— Они же сюда, того и гляди, прорвутся.

— И не подумаю,— ответил отец.— Если уж погибать, так с удобствами: в собственной столовой, за рюмкой коньяку, а не среди сутолоки, грязи и тьмы.

— Почему это погибать! — испугалась Ядя.— Ты же не солдат какой-нибудь! Возьмем белую простыню и уйдем из Варшавы... Они нас обязательно пропустят, если ты им про своих знакомых скажешь, про этих, которые в Берлине...

— Нет, ты слышишь, что она говорит!— рассмеялся отец.— Это все от любви... Она боится за меня. Может быть, ты думаешь, что я выйду из дома и остановлю войну, а?

В этот момент ухнуло так близко, что на столе зазвенела посуда. Отец быстро налил коньяку.

— Давайте-ка выпьем еще, пока они не разбили нашу бутылку,— сказал он.— Ну-с, пью за то, чтобы в следующий день рождения ты въезжал в Берлин на триумфальной колеснице!

— Ты что, с ума сошел? — вскричал я.— Эта война будет длиться целый год?!

— Стер-рва! Твою мать! — заорал попугай.

— И ты хочешь держать здесь эту вульгарную птицу, Ядя? — удивился отец.— Для того ли я уже целый год работаю над твоей речью, чтобы теперь эта птица снова учила тебя сквернословить?

Ядя тихо заплакала, закрыв лицо руками.

— Господи... ну зачем ты такой... мы же могли спокойно уехать... удрать от этого всего... Мы бы уже в Париже были или даже в Америке... и пускай бы нас немцы в одно место целовали... Почему ты так ко всему относишься, жизнь — она же не шутка, а тебе все хиханьки да хаханьки. Все эти твои шуточки плохо кончатся, я знаю, я сон ви-

дела! А меня ты вовсе даже и не любишь, плевать тебе на меня, я для тебя игрушка только...

— И не стыдно тебе, Ядя? — Выпив коньяк, отец встал.— Не женись, сынок, ни к чему это. Все равно ни одной женщине никогда не угодишь! Просто это вообще невозможно! Ну, мне пора. Пойду выполнять долг. Я начальник противовоздушной обороны, в моем ведении шесть домов с садиками, так что я пошел дежурить. Привет, Ядя!

Он перебросил через плечо противогаз, а на голову надел белый тропический шлем, привезенный когда-то из Италии. Я упаковывал в вещмешок водку и продукты.

— До свидания, Юрек,— сказал отец, сжав мои плечи.— Надеюсь, ты выйдешь из этого невредимым. А если нет...

— Dulce et decorum est pro patria mori[1],— подсказал я.— Я только работаю на линии связи. У меня столько же шансов, сколько и у тебя.

Я помахал на прощанье попугаю, погладил по голове зареванную Ядю и ушел. Мне вдруг стало жалко эту глупенькую телку.

Время близилось к четырем, когда, проскочив мост Кербедзя, я добрался до управления железной дороги. По сравнению с Варшавой на Праге, казалось, горело всего несколько домов. Лишь на следующий день мы по-настоящему узнали, что такое горящий город. К вечеру обстрел притих и линия связи с Замком действовала бесперебойно.

Ни слесаря, ни вагоновожатого я не застал — они еще не вернулись — и решил отправиться в читальню. Она размещалась в частной квартире, на втором этаже дома, напротив наших окон со стороны Виленской улицы. Дверь читальни была открыта — хозяева куда-то сбежали,— и я мог менять книги в любое время дня и ночи. Хотя я пользовался читальней уже около десяти дней, мне ни разу никто там не встретился. Книги не входили в число благ, ради которых стоило бы рисковать жизнью, пробираясь под разрывами шрапнели, как, например, за водой или хлебом.

До сих пор я выбирал на полках разное чтиво, стараясь отвлечь себя от размышлений. С другой стороны, я восполнял пробелы, возникшие из-за воспитательских принципов моей матери, которая подсовывала мне только «ценные произведения». Прочитав еще дома всевозможных Маннов, Келлерманов, Вассерманов, а также Эптона Синклера и Синклера Льюиса, Анатоля Франса, Франсуа Мориака, Де Крайфа и Карреля, я набросился на Эдгара Уоллеса, Антони Марчинского, Марка Романского, Михала Зевако и Питигрилли — первейшего среди тогдашних воспевателей распутства и сексуальной разнузданности. Что касается Питигрилли, то меня ждало большое разочарование, ибо ничто меня в нем не потрясло. А может, виной тому были бомбы и снаряды, которые не давали сосредоточиться или, напротив, расслабиться. Все же я постоянно думал о них. Правда... отец Яди во время обстрела так прижался с перепугу к своей дворничихе, что спустя девять месяцев у них появились близнецы, которых я видел позднее собственными глазами. «Во, каких пистолетов сработал!» — смеялся тесть моего отца, показывая свой единственный зуб. Нечего и говорить, что вся тяжесть содержания новорожденных шуринов легла на моего отца — справедливое наказание за его легкомысленное отношение к жизни.

Итак, я взял в комнате, где когда-то выдавали книги на дом, томик Марчинского под названием «Когда пробуждается бестия» и поднялся на второй этаж, в читальню. Кто-то здесь, однако, рылся сегодня: на столе высилась кучка книг. Были там Мнишек и Зажицкая, Родзевич и «Камо грядеши?», Оссендовский и «Жизнь Иисуса» Ренана. Я пре-

[1] Сладостно и почетно умереть за отчизну *(лат.)*

зрительно фыркнул и уже направился было к полке, дабы сорвать очередной запретный плод, как двери из соседней комнаты вдруг отворились, и в них появилась очень молодая и очень красивая девушка. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Передо мной стояла изящная худенькая блондинка, светлоглазая, розовощекая, с полными губами и слегка вздернутым носиком. Одета она была в темно-синюю плиссированную юбку и белую блузку.

— Вот... книжки поменять пришел,— пояснил я.

— У вас есть абонемент? — спросила она.

— Могу уплатить за сентябрь.

Я вытащил из кармана мундира пачку новехоньких ассигнаций достоинством в два злотых: эти бумажки заменили на время войны прежние серебряные монеты, мне только что выплатили ими жалованье.

— Я не хозяйка. Тетя уехала на восток.

— Но сейчас-то вы здесь живете?

— Вчера у нас был пожар. А вы, вместо того чтобы сражаться, читаете книжки?

— К сожалению. Я несу службу напротив, и днем у меня бывает немного свободного времени. Я прирожденный библиофил. Вы учитесь в гимназии?

— Кончила этой весной. А вы, наверное, тоже выпускник?

— Да. Значит, мы оба только входим в жизнь.

— Хоть бы успеть войти,— вздохнула она.

Я глазел на нее, и она нравилась мне все больше. Я сел за стол и сделал вид, будто собираюсь рыться в книжках.

— Вы мне нравитесь,— решил я сообщить ей и добавил убежденно: — Вы первое, что мне понравилось за эту войну. Садитесь.

Девушка, ничуть не смутившись, села и серьезно посмотрела на меня.

— Я не что, а кто,— спокойно возразила она.— И мне нет никакого дела, нравлюсь ли я вам, пан подхорунжий, или нет.

— Я рад, что встретил вас. Как знать, может, когда я выйду отсюда, меня шарахнет шрапнелью, и мы больше не увидимся.

— Зря пытаетесь меня растрогать. Точно так же может шарахнуть шрапнелью и меня, по-моему, нечем хвастать.

— Нечем,— согласился я.— А вообще, каждую минуту снаряд может угодить и сюда, в этот дом, так что мы погибнем вместе. Вместе-то оно все-таки веселее. Это ваша любимая книжка? — я ткнул пальцем в томик Мнишек.

— А ваша любимая книжка эта? — Она коснулась титульного листа «Бестии».

— Чем вы намерены заниматься в жизни? — спросил я вместо ответа.

Она взглянула на меня с некоторым удивлением.

— Ну и любопытны же вы! Зачем вам это знать?

— Это самый главный вопрос!

— А вы что хотите делать?

— Жить как можно веселее,— убежденно сказал я.

— И все?

— Влюбляться до потери сознания...

— Ну, это уже лучше. А еще что?

— Делать что-нибудь интересное...

— Например?

— У меня нет способностей к математике.

— Наверно, у вас богатый папенька.

— Откуда вы знаете?

— Уж больно нагло разговариваете.

— Папенька меня бросил.

— И правильно сделал. Наверное, сейчас горят его дома...

— Возможно. А ваш отец?

— Работает на почте. Сейчас по приказу властей эвакуировался.

— Ай-яй-яй, бросил свою единственную дочурку!

— Откуда вы знаете, что я единственная?

— Уж больно дерзко разговариваете.

— А-а-а... Ну, вот мы немножко и познакомились.

Поборов робость, я протянул ей руку. Она быстро спрятала свою.

— Познакомиться познакомились, но не настолько близко,— заметила она.— И, пожалуйста, не растаскивайте книг. Они еще пригодятся после войны.

— Я всякий раз возвращаю все книги до единой,— вежливо ответил я.— Давай перейдем на «ты»?

— Ладно. Это будет мой вклад в оборону. Ведь у наших солдат настроение должно быть отличное: бодрое, боевое.

— И бросаться в бой они должны с именем любимой на устах.

— Меня зовут Тереса.

— А меня Юрек, то бишь Ежи. Пожалуй, я возьму сегодня почитать что-нибудь эдакое возвеличивающее, что облагородит меня. Может, что-нибудь из Сенкевича, ну, к примеру, «Огнем и мечом»?

Я направился прямо к нужной полке: что и где стояло в этой библиотеке, я знал уже наизусть. Взяв книгу, я сообщил:

— Мне пора. У меня сегодня ночное дежурство, а завтра, после полудня, я приду опять.

— Опять за книжками?!

— Нет, к тебе. В гости,— прошептал я и подошел к ней. Она резко отпрянула от меня и попятилась к двери.

— Не бойся, Тересочка, я очень робкий,— вполне искренне сказал я.

Было ясно, что к этой девушке не применим ни один из тех хваленых мальчишечьих приемов, какими якобы легко достигают любовных побед: надо, мол, наброситься на нее с жаркими мужскими поцелуями, сжать в объятиях, сорвать с нее одежду... и т. д.

Я наклонился и поцеловал ей руку, а в ответ почувствовал легкое теплое пожатие. Я вышел, неся книгу гордо, как рыцари носили платочек дамы сердца. На следующий день мне не удалось ее увидеть, вокруг все рвалось и горело, и мы с вагоновожатым, оставшись вдвоем, целый день беспрерывно носились по улицам. Встретились мы с Тересой лишь в среду, 27 сентября, уже после объявления о капитуляции Варшавы, когда я принес ей несколько полевых аппаратов, чтобы она спрятала их от немцев. Но тогда мы оба были очень печальны и думали только о поражении. Она отвернулась от меня, чтобы скрыть слезы, я прикоснулся к ее плечу, и мы сидели оба застывшие, исполненные отчаяния. Но вернемся ко дню моего рождения.

Придя из библиотеки в наш дом напротив, я застал вагоновожатого и слесаря на месте.

— Панове, пожалуйте на роскошный ужин,— сказал я.

Мы уселись в моем новом кабинете. При виде целой банки консервированной ветчины у моих гостей заблестели глаза. Слесарь открыл банку штыком, и мы разлили «Выборову». Воцарилось веселое настроение.

— Говорят, англичане в пух и прах Берлин разбомбили,— начал как всегда с новостей вагоновожатый.— А чехи взорвали военный завод.

— Зато нам божья матерь посылает дивизион архангелов,— язвительно добавил слесарь.— Это все, конечно, ни хрена нам не поможет. Но мы должны держаться до последнего. Зачем это надо, чтобы во всяких странах говорили, будто Польша сдалась через неделю!

— В пятницу четыре недели будет,— заметил вагоновожатый.— Мало времени прошло. И до пятницы еще целых пять дней...

— Мы должны продержаться как можно дольше,— вмешался я.— Мы же даем союзникам возможность подготовиться к сражениям.

— Я так понимаю, что мы сейчас только за одно свое доброе имя воюем,— сказал слесарь.— Чем больше нас на этом костре изжарится, тем больше про нас трубить будут, когда войну выиграют. Кумекаете, братцы?

— Ты что ж, все улицы могилами изрыть хочешь? — ужаснулся вагоновожатый.

— Тебя-то я, как полагается, на кладбище похороню,— пообещал слесарь.

— Ишь ты какой! Это еще неизвестно, кто кого похоронит,— возмутился вагоновожатый.

— В таком разе давай жребий тянуть,— предложил слесарь и вытащил спички.

— И не думайте! Этого не хватало! — заорал я.— Сегодня день моего рождения!

— За твое здоровье, Юрек! — сказал слесарь и, подняв кружку, выпил водку.— Ты, конечно, барчук и маменькин сынок балованный, птичьим молочком вспоенный, но все ж таки мозги у тебя жиром не заплыли. Как подрастешь, поймешь кой-чего, так что будь здоров и расти большой. Таким, как ты, везет. И ты обязательно всех нас похоронишь, потому что ты самый младший.

— Ни хрена подобного! — воскликнул я.

— Давай об заклад? — быстренько предложил слесарь.

— Я насчет жизни ни на какой заклад не согласен,— вмешался вагоновожатый.— У меня двое ребят, и не дай бог беду какую накликать. Трамваи всегда нужны будут.

— Трамваи погибают на баррикадах,— рассмеялся я и разлил остаток водки по кружкам.

За окном стемнело. Надо было переходить в подвал, поскольку нечем было занавесить окна. Взрывы мерно ухали, к этому было легко привыкнуть, и я уже не испытывал страха.

— Мастерскую-то мою начисто разбомбило, а механика убило,— пожаловался слесарь.— И почему это нам так крепко под зад дают?

— Не знаешь разве, что к чему? — спросил вагоновожатый.

Мы замолчали. Не хотелось ругать правительство, смывшееся в Лондон. Поражение было таким неожиданным и наступило так быстро, что наши головы не успели осмыслить происходящее, мы были угнетены своим унижением и испытывали острое чувство ненависти. Падение с вершин победоносного патриотизма на дно поражения ошеломило и оглушило нас.

— Не о чем тут говорить,— сам себе ответил вагоновожатый.

Я очень к ним привязался, к вагоновожатому и слесарю, и они — ко мне, молокососу и маменькиному сынку. В течение всего времени, пока мы вместе воевали, я старался заслужить их уважение и подавлял в себе страх столь успешно, что они, пожалуй, считали меня отважным. Нас теперь объединяло нечто, заставлявшее забыть о разнице в возрасте, культурном уровне или происхождении.

— За нашу встречу после победы! — предложил я.

Слесарь скептически поморщился, но выпил одним духом и закусил сардинкой. Это был его последний ужин.

— Бедные мы муравьишки, под какой же мы железный сапог угодили! — грустно улыбнулся он.— Пан подхорунжий, это как, до конца сожрать можно или же на завтра чего оставлять будем?

— На завтра ничего оставлять не будем,— ответил я.— И вообще не будем думать про завтра.

Мы все съели и выпили, а так как близилось время моего дежурства, я спустился в подвал. Вагоновожатый и слесарь тоже спустились вместе со мной и улеглись в углу, обсуждая что-то вполголоса. Я знал, что они говорят при мне не все, но с этим уже ничего нельзя было поделать. Я сел за пульт. Работали все линии. Я углубился в чтение ночных приказов командира. Это было свидетельство печали и нищеты: «Время 01.00, батарее номер два обстрелять четырьмя снарядами район Марек». «Время 03.15, батарее номер один обстрелять пятью снарядами район Зомбек...».

За всю ночь нам предстояло выпустить пятнадцать снарядов, получив в ответ тысячу или больше. Нельзя было сказать, что мы ведем обстрел вражеских позиций, наша стрельба походила скорее на сигнализацию, говорившую немцам: «Наши батареи не дремлют, а если бы у нас еще были и боеприпасы, мы бы не позволили вам разлеживаться так спокойно тут же рядом с нами».

К сожалению, у нас не было ни боеприпасов, ни какой-либо надежды на них.

Чтобы не показаться Тересе простаком, я днем взял с полки «По направлению к Свану» Пруста и теперь, дежуря у коммутатора, раскрыл эту великолепную книгу. Наступила относительная тишина, бодрствовало лишь несколько орудийных расчетов, самолеты готовились к утренней бомбежке. Из темных углов доносились самые разные переливы храпа, а я пробегал глазами длинные изящные абзацы, совершенно не понимая их, ибо все мое существо было поглощено совсем другим. Что легче: перенести катастрофу целого народа или личное крушение? Готов ли я отдать жизнь или хотя бы руку, чтобы сентябрьское поражение превратилось в победу?

Я читал описания парижских салонов, а видел подходившие на помощь нам войска: из лесов вылезала пехота, по шоссе грохотали танки, небо расчерчивали звенья бомбардировщиков. Все они шли к Варшаве. Лопалось неприятельское кольцо вокруг пылающего города, ревели от страха враги, вопили от радости варшавяне! Ох, елки зеленые, ну и праздник же это был! Все целовались друг с другом над могилами павших, на развалинах домов! А потом парад. Мне с детства очень нравились парады. Нас часто кормили парадами для подкрепления духа и для демонстрации мощи нашей армии. Последний парад Победы происходил перед войной, десять месяцев назад, 11 ноября 1938 года, когда мое военное училище в шесть утра уже выстроилось на Мокотовском поле, чтобы проследовать оттуда через весь город по Королевскому Тракту, от Бельведера до самого Замка. И вот сейчас я чеканю парадный шаг и выискиваю среди восторженно кричащей толпы отца с Ядей, мать с ее сопливыми учениками и даже эту Тересу, с которой сегодня познакомился. Я отложил Пруста до лучших времен. Помню, что перед самой полуночью на коммутаторе опало несколько клапанов. Разумеется, я стал подслушивать разговоры. Говорили о движении вражеских войск. Готовятся к наступлению? А может, отступают от осажденной Варшавы? Этой крепости с толстыми стенами из каменных тротуарных плит, опрокинутых трамваев и полированных до блеска гардеробов. В полночь, передавая на батарею номер один приказ обстрелять тремя снарядами Радзыминское шоссе, я вспомнил, что в эту минуту кончается мой восемнадцатый день рождения.

24 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА — МОЕ ДВАДЦАТИДВУХЛЕТИЕ

Это была пятница. Если бы не война, я, должно быть, прощался бы с Сорбонной (а что бы я изучал? Юриспруденцию? Общественные науки? Это были размышления о нереальном уже мире, все более удаляющемся во мрак прошлого) и искал бы для себя подходящее занятие в Варшаве. Университет? Министерство иностранных дел? Адвокатура? Отец с его широкими связями несомненно вывел бы меня на нужную орбиту, и меня ожидало бы блистательное будущее в рамках санационного режима. В эту пятницу, 24 сентября 1943 года, я встал, как обычно, без десяти семь, мгновенно умылся и оделся, выбежал на улицу и, пробежав несколько сотен метров, влетел в здание на площади Инвалидов, где на втором этаже в последнюю минуту расписался в списке присутствующих. После этого я сразу же вернулся домой завтракать.

Уже целый год я выполнял обязанности помощника референта фининспекции. Карьеру эту я выбрал только потому, что фининспекция была единственной конторой, расположенной близко от моего дома. Чтобы обезопасить себя на случай уличных облав и принудительной отправки на работы в Германию, мне нужна была надежная справка с места работы. Я решил устроиться на работу в самом деле, а не пользоваться липовым аусвайсом [1]. Устройство оказалось сравнительно легким: отец познакомил меня со своим соседом, который до войны был начальником отдела в Министерстве финансов, а ныне заместителем немецкого «Финанцинспектора», и тот вскоре представил меня своему шефу, доктору Гуфскому — хозяину доброй половины всех фининспекций Варшавы. Об этом чехе говорили, что хоть он и ренегат, ему, однако, все же присущ какой-то минимум человеческой порядочности, и это отличало его от остальной оккупантской «знати» Варшавы. Он не ответил на мой поклон, не подал мне руки и ни разу не обратился ко мне, разговаривая только со знакомым отца. Я стоял у дверей, как раб, выставленный на продажу. Гуфский окинул меня изучающим взглядом и подписал все, что было нужно. Кажется, отец что-то сунул в карман своему знакомому, а поделился ли тот с Гуфским — осталось тайной.

Расписавшись о приходе на работу, я вернулся домой, чтобы спокойно позавтракать. Времени у меня было достаточно, поскольку служба продолжалась десять часов, до пяти дня.

Моей матери уже год как не было в живых. Когда однажды она вышла из школы, где под видом уроков труда учила детей истории Польши, на улице вспыхнула стрельба. Ее убило гранатой, брошенной с машины в подбегавших жандармов. Мне даже не удалось узнать, жертвой чьего налета и на кого она стала. Я видел ее за день до гибели. Мы вернулись, каждый из своих походов, перед самым комендантским часом. На ужин был пайковый хлеб и мармелад. Мать переживала в этот день кризис воли: ничего не делала, даже не проверяла тетрадей, как обычно, а сидела, тупо уставившись на лампу. Я был слишком поглощен собственными делами, чтобы обратить на это внимание. Мать была для меня чем-то настолько повседневным, что я просто не замечал ее присутствия в моей жизни, и лишь ее уход отозвался во мне мучительной болью. Когда после ужина я хотел уйти в свою комнату, она коснулась моего плеча:

— Ежи... Ты веришь в бога?

Такой вопрос в устах учительницы, насквозь пропитанной мирскими идеалами, был более чем неожиданным.

[1] Удостоверение, выдаваемое оккупантами вместо отобранных польских паспортов.

— Мне сейчас отвечать или можно немного погодя? — огрызнулся я.

— Знаешь... Мы вообще не разговариваем друг с другом. Я даже не знаю, о чем ты думаешь...

Я нетерпеливо посмотрел на нее. Мои собственные дела казались мне самыми главными.

— Мне надо подготовиться к завтрашним занятиям! — резко сказал я и тут же добавил более мягко, потому что в ее лице было что-то поразившее меня: — Поговорим в воскресенье, ладно?

И ушел. В моей памяти навсегда осталось ее печальное, печальное лицо, и в течение долгих лет я упрекал себя в бесчувствии и грубости. На похороны пришло множество ее учеников, но отца не допустила бабка — как морального убийцу и предателя. Смерть матери была для меня первым личным потрясением. Но каждодневная жизнь требовала беспрерывного действия, и только иногда, по ночам, мои глаза увлажнялись.

После смерти матери ко мне переехала бабка, которая до этого жила одна из-за своего трудного характера. Моя бабушка была независимой и колючей особой, не считавшей нужным сдерживать свою искренность. «И чего ты сюда пришел, дурак? — спрашивала она пришедшего в гости кузена.— Твоя мать была глупой, и ты тоже никчемный. Лучше бы натесал лучины для печки, чем сидеть и болтать глупости». Подобными речами она разогнала всех, кто любил прийти в гости поесть-попить на дармовщинку. Меня она по-своему любила и подсовывала мне все лучшее, что только можно было раздобыть в то время.

Оказалось, что я стал неплохо зарабатывать. Взятка, уплаченная за мое устройство, быстро окупила себя — доктор Гуфский знал, куда меня послать. И сегодня завтрак, приготовленный бабушкой, состоял из хлеба, грудинки, масла и кофе с молоком и сахаром. О роли грудинки, поддерживавшей в годы оккупации твердость национального духа, можно бы написать целый трактат. Итак, я уселся за стол, уставленный упомянутыми яствами, и включил приемник, ловко вмонтированный в подставку настольной лампочки. Это была дважды нелегальная деятельность: я не только слушал враждебные немецкому порядку известия из Лондона, но и нарушал запрет пользования днем электроэнергией. В том 1943 году нам разрешалось пользоваться электроэнергией только два часа в день: с восьми до десяти утра или с десяти до двенадцати вечера, на все остальное время пробки полагалось вывертывать. За плату, соответствующую важности просьбы, некий специалист, которому можно было доверять, провел нам провод прямо от уличной сети, минуя наши пробки и счетчик. Таким образом, у нас было столько электроэнергии, сколько нам было нужно, и вдобавок совершенно бесплатно. Достаточно было лишь подсоединить один проводок к другому, как весь наш домик начинали обогревать электропечки и освещать яркие лампочки.

Воровство это я подкреплял определенными распоряжениями: оккупанты не могут допустить простоя электростанции, значит, они должны будут поставлять ей угля тем больше, чем больше киловатт мне удастся украсть, иными словами, я вынуждал их к большему расходу энергии, но на мои личные нужды, а не на их преступные цели. Делать все, что шло во вред немцам, считалось обязательным повсюду, даже в трамваях, где никто, как правило, не брал билетов. Бабушка слушала известия вместе со мной, а известия эти после Сталинграда и капитуляции Италии становились все более утешительными. Особенное удовольствие доставило мне утреннее, привычное уже, но продолжавшее волновать сообщение о массированных налетах союз-

ников на Рурский бассейн, Гамбург и многие другие города. Сообщение о сброшенных на них тысячах тонн взрывчатки звучало как музыкальная фраза из моцартовской симфонии G-moll.

— Аты-баты, шли солдаты...— презрительно проворчала бабушка, когда я повернул подставку лампы, выключив таким образом радиоприемник.— Сколько лет это еще продлится? И тебя поймают, и я умру, ничего не дождавшись! Знаешь, сколько стоит курица? Восемьдесят злотых! Ну и что из того, что война! А знаешь, сколько она стоила в первую мировую войну? Пять копеек. И чтоб дожить до этого, я мучаюсь на белом свете семьдесят лет? Ну скажи, внучек, чего мне еще ждать? Дочку я уже похоронила, да и раньше ей жилось не сладко, ведь этот негодяй уже давным-давно разбил ей жизнь... Сын пошел на войну и погиб где-то, наверное, я и могилы-то его никогда не увижу! Ну чего мне еще ждать? Пока и тебя застрелят на улице?

Я вытер после завтрака рот, встал и быстро побежал на службу. Мы сидели вместе с референтом по подоходным налогам и налогам с оборота магистром Антони Яновским, помощником которого я числился. Финансовый работник, еще до войны ставший гордостью отдела, он совершенно растерялся в оккупационной действительности. Я внес в его отдел сумятицу, постоянно проявляя чисто юношеское пренебрежение ко всем чиновничьим порядкам, а именно они-то и придавали смысл его существованию. Еще не старый человек (немногим за тридцать), хорошо воспитанный, скромный и честный, он смотрел на мои действия широко открытыми глазами.

Я получал жалованье в сумме ста шестидесяти злотых в месяц и натурой: крупой, маргарином, яйцами и свекольным мармеладом, а иногда мягкой, как желе, колбасой немецкого изобретения.

— Дорогой коллега,— сказал магистр Яновский, когда я вернулся после завтрака.— В коридоре ожидает пан Каблонк. Вы примете его?

— Приму,— ответил я, прекрасно зная, в чем дело.— А вы, пан магистр, выйдете?

— Выйду,— поспешил согласиться магистр и, взяв со стола несколько папок, выбежал из комнаты. Я выглянул в коридор, напустив на себя официальный вид.

— Прошу,— сухо сказал я, как и положено чиновнику. Пан Каблонк вошел, изобразив милейшую улыбку, и сел на стул возле моего стола, а свой доверху набитый портфель поставил на полу у стены. Тут, пожалуй, следует кое-что пояснить. Каблонк, мужчина огромного роста и бычьего, впрочем достаточно пропорционального, телосложения, числился военным инвалидом, хотя на вид все у него вроде было на месте. Ему удалось обзавестись концессией на продажу сигарет, и он, получая ежемесячно в табачной монополии некое количество сигарет по государственным ценам — например, по пять грошей за штуку,— тут же перепродавал их мелким торговцам по пятьдесят грошей за штуку, что давало ему прибыль в тысячу процентов. Свой киоск он открывал на полчаса в день, только для видимости. Все знали об этом, но никто ничего не говорил. Так же обстояли дела и с водкой, и эти счастливчики концессионеры, валяясь на диванчиках у себя дома, становились не только богачами, но и представителями оккупационной элиты.

Каблонк пришел, чтобы дать отчет о квартальном обороте его «киоска» и вырученном доходе. Я взял у него бланк отчета, и мы разыграли положенную сцену: он показывал сумму дохода в десять раз меньше подлинной, я делал вид, что принимаю его сведения без малейшего сомнения. После этого я мгновенно подсчитывал полагавшийся ему грошовый налог, и наступала кульминация — продажа сигарет. Каблонк ставил портфель на стол и начинал вытаскивать из

него сигареты: две сотни «Махорочных» (по пятидесяти грошей штука), две сотни «Египетских» (по злотому за штуку) и две сотни «Юнаков», прокоптивших весь город (по тридцать злотых штука). И сегодня я тоже получил товару по рыночной цене на триста шестьдесят злотых, а заплатил за него, тщательно отсчитав денежки, ровно в десять раз меньше. Мы пожали друг другу руки, и Каблонк, не сказав ни слова, вышел. Здесь вообще не были нужны никакие слова. Минуту спустя в комнату вернулся магистр Яновский, довоенные принципы которого не позволяли ему брать взятки. Для грязной работы существовал я. Честно поделив сигареты, я пододвинул ему его долю.

— Прошу вас, пан магистр,— сказал я.

Он сделал такой жест, будто хотел отгородиться от вещественных улик своего служебного преступления. Он так и не смог до сих пор перейти Рубикон, одна нога у него все еще оставалась на том берегу.

— Вы, коллега, способный,— вздохнул он.— Вы далеко пойдете. Я бы тоже хотел избавиться от угрызений совести...

— Лучше спрячьте сигареты, а то кто-нибудь войдет и вам придется угощать, и, пожалуйста, не читайте мне нотаций! Каблонк в восторге, мы увеличиваем свою нищенскую зарплату, а немцы лишаются дохода.

Магистр Яновский так молниеносно смахнул со стола в ящик сигареты, будто они жгли ему глаза.

— Боже, как это унизительно! — брезгливо простонал он.

— Да ведь у нас нет выбора! — попытался я облегчить ему жизнь.— Я не могу взять с Каблонка налог, соответствующий его подлинному обороту, так как разоблачил бы фиктивность немецкого порядка в «генерал-губернаторстве», а он не может не дать мне сигарет, так как поступил бы нечестно и не мог бы спокойно спать. Вот мы и...

— Нет, нет! Я финансовый работник и горжусь этим! — негодующе перебил меня магистр.— Прошу не причислять меня ко всей этой оккупационной мрази! Вы пришли сюда работать в момент, когда рушатся все подлинные ценности! Вы меня ужасаете, молодой человек! Вы погибшая душа! Немцы уйдут, мы снова обретем независимость, а вы, привыкнув к легкой жизни, будете продолжать брать взятки и совершать злоупотребления!

— Неужели вы думаете, что я хоть один день буду работать здесь после войны?! — искренне расхохотался я.

— Финансы — очень интересная область знаний, о которой вы не имеете ни малейшего представления,— с достоинством ответил магистр.— И пожалуйста, не относитесь к этой работе, как... Для вас — это всего лишь место укрытия на время войны! Я знаю, для всех вас теперь нет ничего святого...

— Налоги святы! — возразил я.— Поэтому я стараюсь дать их немцам как можно меньше. Это мой вклад в борьбу за независимость. А знаете ли вы, что сегодня ночью сброшено десять тысяч тонн бомб на Рурский бассейн? И что русские как раз сейчас входят в Смоленск?

Магистр Яновский с ужасом посмотрел на меня:

— И вы уже об этом знаете?

— Знаю,— безжалостно ответил я.

— А я не хочу знать! И пожалуйста, не рассказывайте мне с утра таких вещей! Я ничего этого не слышал!

— Мне это приснилось,— успокоил я его, вкладывая в портфель папки с бумагами.— Я пошел инспектировать точки, пан магистр.

— Боже!—только и простонал он. Ему легко работалось со мной.

Я взял портфель, мило улыбнулся и вышел. В коридоре я обменялся вежливым рукопожатием с начальником. Это был молодой еще человек, очень симпатичный и терпимый к людям. Наш отдел пользовался у Гуфского хорошей репутацией, потому что в нашей отчетности все сходилось до единого гроша.

В этот момент меня догнала наша сотрудница, пани Заблоцкая: в руках у нее был какой-то список.

— На бухгалтерию, коллега Бялецкий! — воскликнула она.

Каждый месяц мы, работники налогового отдела, выплачивали служащим бухгалтерии как бы дотацию. Лишенные непосредственного контакта с налогоплательщиками, они не имели возможности брать взятки, что обрекало их на голодное существование. Я вручил ей триста злотых для бедных коллег.

— Не спешите,— прошептала Заблоцкая.— Взгляните к окно.

Я подбежал к окну, выходившему на площадь Инвалидов. Как это часто бывало, крытый жандармский грузовик опередил трамвай и остановился посреди площади, не доезжая до трамвайной остановки. Жандармы выскочили из грузовика прямо на рельсы, отчего вагоновожатый вынужден был резко затормозить. Секунда, и жандармы уже вытаскивали из вагонов людей, ощупывали их, рылись в их покупках, проверяли аусвайсы. Подозрительных, а таких всегда находилось десятка полтора, тут же заталкивали прикладами в грузовик, и те карабкались в него, готовясь к далекому путешествию. Вдруг какой-то молодой человек в габардиновом пальто, едва выскочив из трамвая, выхватил из кармана пистолет и выстрелил несколько раз подряд. Толстый жандарм закачался и упал на колени, словно прося небо о снисхождении. Молодой человек бросился наутек прямо через газон, но теперь застрекотали «бергманы» жандармов, и он упал ничком и застыл, широко раскинув руки. Мы молча наблюдали все это из окон нашей конторы. Одни жандармы подняли и понесли раненого коллегу, другие стали загонять в кузов тех, кого схватили раньше, и тех, кто попал под руку случайно. Минуту спустя набитый до отказа грузовик уехал, трамвай двинулся своим путем, и только на огромном пустом газоне остался лежать мертвый молодой человек с распростертыми руками.

— Уже можно идти,— сказал я.

Мой первый клиент жил неподалеку. В этом доме меня ждал жирный куш. Я пересек площадь Инвалидов, свернул в Алею Войска и немного погодя остановился у домика, изрешеченного пулями во время обороны Варшавы четыре года назад. Дыры залатали кирпичами, но стены не были оштукатурены, потому что об этом не мог мечтать даже самый большой богатей времен оккупации. Я покрутил ручку металлического звонка, и мне тут же открыл дверь одетый в пальто высокий седоватый мужчина лет сорока с небольшим. Видно, он собирался уходить.

— Пан Якубович? — спросил я.

— Он самый,— неохотно ответил мужчина.

— Из фининспекции,— сказал я, показывая ему удостоверение.— Мне надо получить у вас сведения относительно ваших доходов.

— Что это, почему? — ужаснулся Якубович.

— Финансовые органы имеют право потребовать сведения от любого. Если вы предпочитаете, чтобы вас вызвали в управление... Тогда пожалуйста...

Якубович с минуту колебался. Охотнее всего он раздавил бы меня, как клопа, но, к сожалению, не мог себе этого позволить.

— Прошу вас,— наконец сказал он, решив, что лучше не откладывать нашего разговора.

Он снял пальто и ввел меня в гостиную на первом этаже. Это была большущая комната, захламленная множеством вещей,— зрелище, часто встречавшееся во времена оккупации, когда людям приходилось размещать свое добро в одной комнате вместо пяти. Вдоль стен стояли диван, кушетки, буфеты, серванты, какие-то столики и шкафчики, а посредине красовалась так называемая «коза» — распространенная тогда железная печурка с длинной трубой. Видно было, что эта комната служила одновременно и столовой, и спальней, и кабинетом. Я сел в кресло возле круглого столика и вытащил свои папки.

— Каковы источники вашего дохода? — официально спросил я.

— Какого дохода? — рассмеялся он.— У меня нет никаких доходов! Продаю, что могу, и живу на это. Картины, мебель, семейные реликвии.

— Сколько человек на вашем иждивении?

— Жена и дочь. И больная мать,— добавил он, подумав.

— И вы вчетвером живете на то, что продаете?

— Я был богат до войны,— с гордостью ответил он.— У меня была строительная контора. Теперь я болен... серьезно болен... Я даже пробовал работать, но из этого ничего не вышло.

Он никак не выглядел больным, но дело ведь все равно было не в этом. Я начал быстро писать. Все нужные мне формулы я давно выучил наизусть.

— Пожалуйста,— сказал я через несколько минут.— Я прочту вам протокол допроса. Якубович Антони... проживающий в Варшаве... предупрежденный об уголовной ответственности по статье сто восемьдесят шестой УК за дачу ложных показаний, сообщил следующее: «С сентября 1939 года до сего дня я по причине хронической болезни работал только периодически. Никаких постоянных доходов у меня не имеется, и я вместе с женой, дочерью и больной матерью существую на средства, получаемые от продажи движимого имущества». Правильно записано?

— Правильно! — подтвердил Якубович, явно обрадованный тем, что так легко отделался.

Я дал ему расписаться в протоколе, который спрятал затем в портфель, и вытащил новую бумажку. Я знал, что сейчас нанесу удар ниже пояса, но считал, что Якубович другого и не заслуживает.

— Нам сообщили из таможенного управления, что пятого декабря тысяча девятьсот сорок второго года вы получили из Германии по железной дороге строительные материалы на сумму пятьсот тысяч злотых,— и я ткнул пальцем в бумажку.— Цемент, гипс, дверная арматура и прочее. Разумеется, рыночная цена этих материалов намного выше. Что вы скажете об этом?

Удар пришелся в самую точку, но Якубович тут же улыбнулся. Это наверняка был тертый калач. Информацию о нем я лично выписал из акта таможенного управления и вместе с несколькими другими бумагами такого же свойства спрятал в отдельную папку, не дав им служебного хода. Об этом не знал даже магистр Яновский — весь спектакль был моим личным делом.

— Ах... да,— Якубович торопливо придумывал, как бы выкрутиться.— Я разрешил воспользоваться своей фамилией одному знакомому, который по некоторым причинам не мог назвать своей собственной. Я даже не знал, что это такое серьезное дело, такая большая сумма... Он пригласил меня поужинать в «Альбатросе», и вот...

— Значит, вашему знакомому придется заплатить налог и штраф,— пояснил я с невинным видом.

— Налог? А сколько бы это составило?

— Не могу вам сказать точно, надо проверить цены этих материалов. Но мы займемся этим. Конечно, к налогу прибавится штраф за сокрытие сделки. Я думаю, что вашему знакомому удастся отделаться суммой... что-нибудь тысяч в двести.

— Боже! — ахнул Якубович. В глазах его сверкнуло неподдельное отчаяние. Он заработал на этой сделке по меньшей мере миллион.

— Двести тысяч налога это не так много,— сухо пояснил я.— Будьте любезны сообщить фамилию и адрес вашего знакомого.

Что-то надломилось в нем. Он быстро пришел к единственно возможному решению.

— А нельзя ли уладить это... так сказать, между нами? — прошептал он.— Вы же, пан референт, понимаете, наверно...

— Ничто человеческое мне не чуждо,— намекнул я. Это была моя формула для интеллигенции.— К сожалению, о сообщении таможни уже знают власти...

Якубович вскочил, бросился к буфету и вернулся к столику, неся бутылку и две рюмки. Моя работа воистину была нелегка: все угощали меня водкой, и служение идее грозило обернуться для меня тяжелым алкоголизмом. Выпивка вообще висела надо мной как дамоклов меч, и я без устали вел с ней яростные сражения. Якубович решил угостить меня коньяком «Винкельхаузен», который был теперь «Nur für Deutsche»[1]. Этот негодяй торговал с немцами и с ними же пил, обмывая свои темные сделки или организуя их. Он разлил коньяк по рюмкам, и рука его чуть дрожала.

— А где же ваша супруга? — спросил я.— Где дочка? Где больная мать?

— Отдыхают у знакомых в деревне,— ответил он.— Варшавский воздух вреден.

— Только вы один здесь мучаетесь,— посочувствовал я.

— Как раз вчера я продал старинный письменный столик,— пожаловался мне Якубович.— И у меня есть немного денег. За ваше здоровье, пан референт!

Он поднял рюмку и чокнулся со мной. Мне пришлось выпить: это означало, что я согласен на полюбовную сделку. Несмотря на все, «Винкельхаузен» не был отравой. Якубович проглотил содержимое рюмки с алчностью, хотя еще не было и десяти утра, видно, он был настоящим алкоголиком.

— Сколько? — доверительно спросил он.

— Двадцать,— ответил я твердо.— И прошу не спорить. Сумма до смешного ничтожная. Вы сэкономите по крайней мере сто.

Он посмотрел на меня с некоторым восхищением. Моя все еще мальчишеская внешность никак не вязалась с такой решительностью. Но он хорошо знал, что опытный взяточник потребовал бы в три раза больше.

— Могу ли я быть уверенным, что ко мне снова не явятся с тем же? — спросил он.

— Единственное доказательство — эта бумага. Я ее порву при вас. Получали ли вы еще вагоны с материалами? В этом году?

— В этом году... два,— признался он как на исповеди.

— Я займусь этим, когда потребуется. Можете быть спокойны,— пообещал я.

[1] Только для немцев *(нем.)*.

Якубович подошел к секретеру, склонился над ним и долго рылся в ящиках. Я скромно отвернулся. Спустя минуту возле моей рюмки лежало сорок новеньких «гуралей» [1], выпущенных эмиссионным банком Польши. Я старательно пересчитал их.

— Спасибо,— сказал я и порвал наконец бумажку с таможенной информацией на мелкие куски, бросив их в хрустальную пепельницу. Этот мерзавец не продавал, а покупал антикварные вещи, чтобы реализовать таким образом бумажные оккупационные деньги. Я зажег спичку и поднес ее к пепельнице, желтенький огонек весело запрыгал от клочка к клочку. Мы почтили минутой молчания акт жертвенного сожжения.

— А теперь надо по второй, чтоб не охрометь, а топать по земле обеими ногами,— сказал уже совсем весело Якубович. Видно, ему с самого раннего утра нужна была заправка, да и отделался он от меня дешево. Мы выпили по второй, и я встал.

— До свидания в будущем финансовом году,— сказал я.

— Так мило с вашей стороны, что вы потрудились прийти лично!

— Что ж, не зря и тащился...— ответил я и вышел на улицу.

На площади Инвалидов убитого уже не было. Должно быть, труп убрали «синие», как мы называли довоенных польских полицейских за их мундиры. Теперь «синие» стали могильщиками, в обязанность которых входило собирать убитых на улицах.

Следующая инспекция была для меня очень тягостной. Вдоль края жолибожского района, тут же возле путей Гданьского вокзала, тянулись возникшие уже много лет назад бараки для бездомных, отделенные от остального Жолибожа полосой бурого поля. Бараками этими пугали детишек («Подожди, подожди, придут барачные и утащат тебя»). Барачные, то есть банды посиневших от холода подростков в лохмотьях, из года в год появлялись в районе, где жили офицеры, чиновники и государственные служащие, не для того чтобы красть хорошо откормленных деток, но чтобы добыть кусок хлеба, разжиться старой одежкой или чем-нибудь из вещей, стоивших хоть несколько грошей. Бараки были рассадниками нищеты, грязи, болезней и пороков. Теперь, во время войны, жизнь барачных резко изменилась, они стали — все, кто только мог двигаться,— ходить в деревню за продуктами и потом спекулировать ими. Барачные по-прежнему жили в норах с прогнившими стенами, но ели грудинку, купить которую не могли себе позволить порой даже жены офицеров, одиноко жившие теперь в своих домиках. В борьбе за существование в годину войны побеждала голытьба — ей все было нипочем, любое усилие.

Слегка возбужденный выпитым коньяком, я преисполнился отчаянной решимости и вошел на территорию барачных. Здесь кишмя кишели дети, возившиеся в лужах, на всех жирных от грязи улочках. Небольшие группки мужчин в пиджаках с поднятыми воротниками (о существовании пальто здесь давно и думать забыли) стояли у входов в бараки, бдительно следя за каждым проезжающим вдали автомобилем. Жандармы уже несколько раз окружали бараки, пытаясь выловить работоспособных жителей, но и здесь барачные выказывали свое превосходство над остальными жолибожцами: с детства привычные к полицейским облавам, они мгновенно рассеивались по углам, по каким-то вагонам на боковых путях, и фургоны уезжали почти пустыми, не выполнив плана по улову бесплатных работников.

В центре поселка между бараками помещалось предприятие, которое мне предстояло проинспектировать. Это была будка с пивом, конфетами, булками, грудинкой, колбасой и самогоном — место встреч

[1] Купюра достоинством в пятьсот злотых.

и приемов, клуб алкоголиков, старых проституток и воров. Магистр Яновский никогда не отважился бы появиться здесь. Сейчас у будки, точно такой же черной и сгнившей, как и бараки, пировало несколько мужчин в тесноватых пиджачках из дешевого материала и кепочках, похожих на жокейские. Мужчины потягивали мутную жидкость из плохо вымытых стаканов и изредка роняли какое-нибудь словцо. После утреннего дождя показалось не по-сентябрьски теплое еще солнце, в воздухе стояли испарения, от бараков несло тяжелым квасным духом. Меня стало подташнивать, и я старался дышать ртом, чтобы не сплоховать ненароком. Подойдя к будке, я увидел за стеклом толстую бабу. Я был здесь впервые и не знал ее. Мужчины у будки окинули меня тяжелым, злобным взглядом: интеллигентик с портфелем означал в этой обстановке только какую-нибудь неприятность. Если уж говорить по правде, они могли бы затащить меня в любой из бараков, раздеть донага, четвертовать и кинуть мои потроха под колеса проезжавшего мимо поезда — никакая полиция не стала бы искать меня в нашем городе, где ежедневно не возвращались домой сотни людей. Мужчины отступили на полшага, и я с трудом протиснулся к окошку.

— Я из фининспекции,— сказал я.— Мне надо проверить книгу регистрации закупок.

Женщина за стеклом внимательно, с некоторым удивлением оглядела меня и широко улыбнулась. Видно, оценка была положительной — с таким сопляком не будет трудностей.

— Пошли, пошли, господа хорошие! — приказала она стоявшим.— Тут служебное дело!

Мужчины покорно отступили на два шага, но не перестали следить за мной. Я смог, наконец, вытащить служебные бумаги.

— Дайте, пожалуйста, книгу регистрации закупок! — потребовал я. Книгу эту выдумали немцы, в нее следовало записывать все товары, выставленные на продажу. К сожалению, почти все, что продавалось в будке: самогон, булки, грудинка, колбаса,— считалось нелегальным товаром, за продажу которого полагалось тюремное заключение или лагерь, поэтому, естественно, никто не вписывал в книгу этих продуктов, и она превратилась в чистую фикцию. Жизнь неустанно боролась с приказами, которые пытались задушить ее. Торговка протянула мне книгу, а точнее, рваную и мятую толстую тетрадь, где корявыми буквами были выведены названия дозволенных товаров: уксус, горчица, овечий сыр, лимонад и конфеты.

— Н-да! — вздохнул я, принимаясь заполнять рубрики огромного инспекторского листа. Я, конечно, и не думал упрекать ее в чем бы то ни было, ибо торговля колбасой или булками тоже служила обществу. Торговка не стала равнодушно смотреть на ненавистные действия чинуши: в окошке будки появился недомытый стакан с сероватой жидкостью.

— На-ка, пан референт, отведай угощения,— сказала она, высовывая в окошко улыбающуюся рожу.

В нос мне ударила кошмарная вонь: чайный стакан был доверху наполнен гнуснейшим самогоном из патоки. Вонь эта забивала даже кислый смрад, стоявший над бараками. Я с отвращением глотнул слюну. Какая-то глупая муха робко села на ребро стакана и тут же упала на прилавок, суча в агонии ножками.

— Спасибо, я не пью,— ответил я, торопливо заполняя рубрики фиктивными данными.

— Все пьют,— убежденно заявила торговка.— Самогонка добрая, не сомневайтесь, сама гнала. Вы же не хочете мне зла, пан референт?

— Что вы, что вы! — воскликнул я изменившимся голосом.— Я

принимаю товар, как записано в книге. Горчица, уксус, конфеты и сыр! Ничего больше я и не пишу.

— Ясно! — кивнула головой торговка и отрезала от колбасного круга кусок сантиметров в двадцать.— Вы ж, пан референт, молодой еще, наверно, без закуски не пьете!

— Самогон хороший, пан начальник,— вмешался вдруг один из мужчин в кепочке. В голосе его звучала не только ирония, но и угроза.

— Разве что вы, пан начальник, только вид делаете,— прошепелявил другой, со шрамами на губах.— А сами чего-то там немцам написать хочете, чтоб будку закрыли, а Ядю нашу увезли и казнили...

— Да вы что, с ума сошли, панове! — воскликнул я с отчаянием.— У меня и в мыслях не было сделать этой женщине что-нибудь плохое! Она только заплатит несколько злотых налога, и все! Нате, сами прочтите!

— Э, э, чего там бумажки ваши читать... Мы в них не разбираемся,— ответил тот, что вмешался первым.— А вот ежели вы, пан начальник, не желаете нашей Яде зла сделать, так почему же вы, пан начальник, не пьете?

— Который человек не врет, тот всегда выпьет! — добавил шепелявый.

Они стояли вокруг меня вчетвером, и всякий путь к отступлению был отрезан. Грудь мою жгли «гурали» Якубовича. Я схватил кошмарный стакан.

— До дна, пан начальник! — закричал тот, первый, с горящими глазами.— Доброго здоровьица пану начальнику! За здоровье пана начальника!

Я вдруг вспомнил, что сегодня день моего рождения. А может, дать им взятку, парочку «гуралей», чтоб они меня отпустили? Нет, этого нельзя было делать ни в коем случае. Обнаружить, что при мне деньги? Да они бы меня...

Мужчины допили остаток самогона. Я зажмурил глаза и влил в глотку как можно больше едкой жидкости, но стакан опорожнился не более чем на треть... Глаза мои наполнились слезами, я откусил колбасы и попытался улыбнуться окружившим меня мужчинам.

— Это что ж, как птенчик все равно,— проворчал шепелявый.— Ты, пан начальник, до дна давай! Ну, смелей!

Я изо всех сил старался не дышать носом, потому что твердо знал: вдохни я еще раз этого запаху, я сразу верну все, что проглотил сегодня вообще, включая и бабушкин завтрак. Надо было кончать с этим. Я схватил проклятый стакан и, открыв обожженный рот, стал лить в него мерзкую жидкость, пока не захватило дух, потом переждал, снова отпил, схватил кусок колбасы, закусил и, не ставя стакан, выпил все до дна. Мое истерзанное нутро тут же взбунтовалось. Теперь мужчины смотрели на меня с некоторым дружелюбием.

— Техники, оно, конечно, еще нет, но желание выпить видать,— заметил первый.— Теперь мы хотя бы знаем, что вы, пан начальник, точно к нашей Яде с дорогою душой относитесь, а то, ежели бы что, так мы...

И он умолк, не досказав своей угрозы.

— Распишитесь вот здесь,— простонал я, торопливо глотая слюну. Выпитая пакость уже ползла к горлу.

Торговка коряво расписалась под протоколом и протянула руку к литровой бутыли с надписью «уксус».

— Может, второй стаканчик пропустите, для ровного счету? — спросила она.

— Не-ет!!!— заорал я и, схватив бумаги, в паническом ужасе обратился в бегство.

Мужчины громко рассмеялись, а меня начало заносить то в одну, то в другую сторону. По полю я двигался зигзагами, спотыкаясь о кучи мусора, о старые кастрюли и разный железный хлам, то и дело попадая ногой в грязь. Я взглянул на расплывающийся перед глазами циферблат, было одиннадцать утра. Мне оставалось еще проконтролировать маленький продуктовый магазинчик в южной части Жолибожа, где инспектора всегда сажали за обильно уставленный стол в хозяйской квартире позади магазинчика, поили под разную закуску чистой «монополькой», а рядом с тарелкой клали конверт с «гуралем». При мысли о водке меня снова начало тошнить, и я решил отложить инспекцию на завтра.

К половине двенадцатого я кое-как причалил к дому, и хорошо, что это пришло мне в голову: на улице возле моего дома прогуливалась Тереса. Да, та самая Тереса из читальни на Виленской.

— Тересочка!— умилился я по-пьяному.— До чего ж я рад тебя видеть!

К сожалению, язык у меня заплетался, да и спиртным, видно, от меня несло изрядно, потому что Тереса раздраженно взглянула на меня.

— Рано обрадовался,— сказала она.— А ты случайно не пьян?

— Пошли,— решительно предложил я. Должно быть, случилось что-то серьезное, если Тереса появилась здесь в полдень. Мне довольно быстро удалось попасть ключом в замок, и я ввел Тересу в коридор. Из столовой немедленно высунулась голова бабушки.

— Добрый день,— вежливо поздоровалась Тереса.

— Какой это теперь день бывает добрым!— с бешенством выпалила бабушка и хлопнула дверью.

— Твоя бабушка меня очень не любит,— улыбнулась Тереса.— Боится, что я заберу тебя у нее.

— Не разуверяй ее, пусть заблуждается,— ответил я с горькой иронией.

По лестнице я карабкался еле-еле, но несмотря на сильное головокружение действительность воспринимал совершенно четко. Видно, я не столько опьянел, сколько отравился. Мы вошли в мою комнату.

— Ты способен понимать то, что я тебе говорю?— спросила Тереса.

Она села в кресло, и я не мог не посмотреть на ее ноги.

— Что случилось?— резко спросил я.

— Альбин не вернулся домой,— сказала Тереса.

Это, пожалуй, отрезвило меня. Я очень любил Альбина — двадцатилетнего худощавого парня с ангельской внешностью, гения с девичьей улыбкой. Ныне он выиграл бы все математические олимпиады и стал бы великолепным рационализатором. Тогда он под видом радиомедицинских аппаратов монтировал в мастерской ультракоротковолновики. Это были рации ограниченного диапазона, работавшие на коротких волнах. Жил он с матерью в комнате, которую они снимали, и дружил с невысокой девушкой Кристиной, неотступно следовавшей за ним, точно он был собачкой, которая тянет ее за поводок. Мне всегда казалось, что мысли его витали далеко-далеко. Когда я ругал его за что-нибудь, он лишь прятал улыбку.

— Ты была у Кристины?

— Они расстались вчера в шесть часов,— рассказывала Тереса.— И условились встретиться сегодня в девять утра. Альбин не пришел, Кристина побежала к его матери, та сказала, что он не вернулся ночевать. Они собирались пойти купить ему ботинки — у него уже пальцы торчали наружу.

Мы знали, что Альбин — парень непрактичный, живет в нужде, хоть мы и платили ему ежемесячную зарплату. Он, механик высокой квалификации, посвящал все свое время изготовлению для нас ультракоротковолновиков. Мастерской руководил инженер Забава, мужчина сорока восьми лет, самый старший в нашей группе, душа нашего предприятия. В перестрелке у Политехнического института он потерял единственного сына, но справился со своим отчаянием и поклялся отомстить немцам. Забава вступил в ряды нелегальной организации и сражался тем оружием, которым владел лучше всего,— познаниями в области радиотехники. Он чертил необходимые схемы, он же доставал и нужные детали. Казалось, Альбин заменил ему сына: часами разъясняя что-нибудь своему ученику, показывая или вычерчивая отдельные узлы, Забава служил ему всем своим опытом, укреплял знаниями его талант. Таким образом Альбин как бы учился в Политехническом. Его арест был для нас тяжелейшим, если не смертельным, ударом.

— Всех, кто под угрозой, предупредили? — спросил я.

— Всех. Ты последний,— ответила Тереса.— Он знает твой адрес.

— Спящая красавица!— воскликнул я.— Наверное, попал в облаву по рассеянности! Я думаю, его выпустят... Видно же, что он витает в облаках!

— Наконец-то ты заговорил трезво,— язвительно заметила Тереса.— Забава спрашивает, надо ли ликвидировать мастерскую.

— Пусть спрячет все, что не сможет официально документировать,— решил я.— И пусть вместе с Протоном уйдет в город.

Тереса сняла трубку телефона, который стоял на письменном столе, и набрала номер.

— Пан Юзеф? Это Тереса. К сожалению, я должна отвезти маму в больницу, и притом немедленно. В квартире нужно сделать дезинфекцию. Может оказаться, что это тиф. Нет, приходить к ней не надо! Да... Спасибо.

Тереса улыбнулась мне. По спине у меня пробежали мурашки. Я любил эту ее печальную улыбку.

— Быстро извести Густава,— сказал я.— Я буду в кондитерской через час. Может, Альбин все-таки не выдаст...

— Ты уже похоронил его? — спросила Тереса, вставая.

Вдруг я вспомнил о деньгах. Вытащив бумажник, я вынул из него сорок новеньких «гуралей» Якубовича.

— Двадцать тысяч на приобретение оружия, дар богатого торговца.— Я протянул ей деньги.— Хватит как раз на четыре пистолета. Дашь сообщение в рубрике [1].

— Господи, да у тебя просто тьма знакомых купцов-патриотов! — удивилась Тереса и спрятала деньги.— Как подписать?

— Минутку... Я уж и позабыл из-за всего этого... Цемент... нет... ага, вспомнил, гипс!

— Гипс! — повторила Тереса.— Ну, я пошла.

Я напряг всю силу воли, чтобы не схватить ее в объятия. Ее каблучки застучали по лестнице. Я выскочил за ней. Внизу уже дожидалась бабушка.

— И не стыдно вам среди бела дня отираться по углам с этим парнем? — воскликнула она.— Если война, так уж все дозволено? Стыда у вас нет?

Тереса в ужасе застыла. Я кинулся между ней и бабушкой.

— Замолчите, бабушка! — заорал я.— Вы же ничего не знаете!

---

[1] В рубрике «Пожертвования для организации» нелегальная пресса ежедневно публиковала сообщения о полученных суммах и вымышленные имена пожертвователей, что одновременно служило и распиской в получении упомянутых сумм.

— От вас самогонкой несет! — возмутилась бабушка и настороженно потянула носом.— Содом и гоморра! С утра пораньше!

— Насчет этого ничего не скажу, тяпнуть мы любим! — нагло признал я.— Сегодня у меня день рождения, бабушка.

Я обнял Тересу и поцеловал в щеку. Она не возражала, потому что этого требовали интересы дела.

— Еще раз желаю тебе всего самого лучшего, Юрек! — сказала она.

Я отворил ей дверь, и она выбежала на улицу. Эта девушка двигалась с необыкновенным изяществом.

— Если вы еще раз скажете ей что-нибудь подобное, я буду к ее приходу запирать вас на ключ.

— Ой, напугал! — фыркнула бабушка и ретировалась в столовую, притворив за собой дверь.

Я поднялся наверх и, войдя в ванную, подставил голову под струю холодной воды. День моего рождения начался невесело. Хуже всего было, когда людей хватали случайно или из-за их глупости. Альбин, наверное, шел по улице, мечтая или думая об этой своей Кристине, и угодил прямо жандармам в лапы. «В наше время нельзя влюбляться, мальчик!» — подумал я с иронией, потому что сам, если уж говорить о влюбленности, был в идиотском положении. Прошло четыре года со дня нашей первой встречи с Тересой, и я увяз в своей любви к ней по самые уши. Не всегда удавалось мне скрыть это чувство. Уже в 1940 году я завербовал ее в нашу организацию, она стала связной, и теперь мы встречались по нескольку раз в неделю.

Я ужасно страдал и напрасно искал противоядия в случайных приключениях. Не в силах справиться со своим чувством к Тересе, я обрек себя на девушек доступных и неинтересных. Первый такой роман я завел с дочерью продавщицы цветов на кладбище Повонзки, по-своему красивой восемнадцатилетней телкой. Она оказалась девицей, и дело кончилось визгом в близлежащем лесочке. Мне расхотелось женщин по крайней мере на год. О степени моего падения можно судить по истории с Зулей. Зуля была проституткой военного времени, с которой я познакомился в баре «Темпо» на Алеях Ерозолимских. Эта девятнадцатилетняя, очень изящная, хоть и мелкого сложения девчонка с хорошенькой вульгарной мордашкой не снимала с головы тюрбана из шарфа, даже когда на ней не было уже ничего остального, потому что немцы наголо обрили ее в тюрьме. Она разговаривала хриплым голосом старой пьяницы и, изображая страсть, преувеличенно громко визжала. Вечер в ее обществе стоил сто пятьдесят злотых, и мы сложились на него втроем, после чего воспользовались ее услугами в квартире одного из нас.

Это мрачное переживание стало для меня очищающим потрясением. Но что было делать? Коснуться Тересы я не мог, хотя обостренный инстинкт влюбленного говорил мне, что она испытывает ко мне нечто большее, чем просто чувство дружбы. Увы, между нами была непреодолимая преграда: весной, накануне войны, Тереса познакомилась с красавцем подпоручиком и влюбилась в него первой, глупой любовью семнадцатилетней девчонки. Начались прогулки, дело дошло до объятий, признаний и поцелуев. Красавец приезжал к ней из Модлина. За неделю до начала войны она видела его в последний раз: он отправился со своей частью на западную границу. Она оплакивала его по ночам, пока он не прислал письмо из лагеря военнопленных. В восторге от того, что он не погиб, она излила ему в ответном письме все свои любовные и патриотические чувства. Тереса была уверена, что он вернется к ней через год.

Между тем уже подходил к концу четвертый год их переписки

(Тереса регулярно посылала ему и посылки), однако о конце разлуки все еще приходилось только мечтать. В обычных условиях время справилось бы и не с таким чувством, но моя Тереса держалась твердых принципов, не казавшихся тогда ни старомодными, ни смешными. Девичья влюбленность в херувимчика-офицерика давно уже уступила место благородному самопожертвованию. Бедного пленного, брошенного в барак, обреченного на невыносимое бездействие, живущего только от одного ее письма до другого, не спускавшего глаз с ее фотографии, обидеть было невозможно; она не могла не только бросить его, но и изменить ему. Такая подлость смертельно ранила бы его, а ее до конца дней наполнила бы презрением к самой себе.

Я со злостью разглядывал фотографию, стоявшую как знамя у ее тахты, где был изображен улыбающийся болван. Она говорила, что этот Ромек играет в лагерном театре Офелию. И ее вовсе не смешила, а трогала эта попытка любой ценой быть активным. Я ничего не мог с этим поделать. Даже если бы я вдруг обрел доказательства того, что лагерная жизнь превратила этого красавчика в педераста, я все равно не сказал бы ей ни слова. Долгое время я боролся с желанием написать ему (письма отправлялись на специальном бланке, который выдавался военнопленным каждые две недели: на одной половинке писали они, на другой разрешалось писать ответ. Бланк, однако, нетрудно было купить на черном рынке) и придумывал по вечерам убедительные доводы. Он должен вернуть ей свободу, написать черным по белому, что уже не любит ее, что детская любовь не должна сломать ей жизнь только потому, что он оказался в плену, что нынче не те времена и у жизни свои права, что я сделаю ее счастливой и мы оба будем молиться за него и так далее и тому подобное. К сожалению, я не мог послать такого письма, ибо навсегда потерял бы Тересу, узнай она хоть что-нибудь. Таким образом, я продолжал пребывать в дурацком положении, но, хоть я и бесился, хоть и кипел от злости, страдая и стеная, возмущаясь и злопыхательствуя, я не только уважал Тересу, но и восхищался перед такой романтической личностью, и, может, потому любил ее еще больше, еще сильнее.

Я прилег, чтобы, поспав, избавиться от самогонного угара. К сожалению, тревога и раздражение не дали мне уснуть. Поэтому я встал и занялся уничтожением деловых бумаг, которые спускал в унитаз. Я часто делал это у себя на службе, стараясь внести в дела как можно больший беспорядок. Перспектива контроля со стороны доктора Гуфского меня совершенно не беспокоила — война ведь близилась к победному концу! Когда я выбежал из дому, была половина первого. На трамвайной остановке я увидал своего школьного приятеля Земовита, он как раз выходил из трамвая. Как и вся наша школьная компания, он тоже состоял в организации, но, будучи подхорунжим-артиллеристом, действовал в другой группе.

— Привет, старик! — улыбнулся он.— Чего это ты так летишь? Тише едешь, дальше будешь, разве не знаешь?

— Да у меня маленькая неприятность случилась,— ответил я в том же шутливом тоне. Впрочем, мы все так разговаривали друг с другом.— А что ты купил в городе? Икру или устриц?

— Духи Гэрлена,— пояснил он.— Собираюсь на именины к одной знакомой.

— Желаю успеха! — воскликнул я, вскочив в трамвай.

Земовит изящно помахал мне и пошел своей дорогой. Я мог бы дать голову на отсечение, что в свертке, который он нес, был пистолет или пластик [1], но Земовит никогда не признался бы в этом.

[1] Мягкий, как пластилин, взрывчатый материал английского производства.

В эту пору трамваи ходили довольно пустые. Я остался стоять на площадке, чтобы внимательно следить за улицей: в последнее время уличные облавы участились, и я чувствовал себя, как окруженный охотниками олень — многое зависело от моего слуха, обоняния и быстроты ног. Среди руин гетто слышались взрывы. Это сносили остатки домов, сгоревших во время восстания. По протянутой сюда узкоколейке эсэсовцы вывозили железные балки, металлический лом и вообще все, что могло для чего-нибудь сгодиться. На этот раз я беспрепятственно доехал до угла Маршалковской и Алей Ерозолимских. Чуть подальше, не доходя улицы Видок, в ряду одноэтажных магазинчиков помещалась кондитерская, где продавались пирожные — талантливые произведения пани Стефании и ее помощниц. Эти необыкновенно вкусные пирожные по шести злотых штука привлекали сюда толпы лакомок. Право, ремесленное кондитерское искусство никогда уже больше не достигло в Варшаве таких высот. Войдя в магазинчик, я заказал «каймак» и «мокко», а потом забился в угол, где стоя жевал пирожные и дожидался, пока из кондитерской уйдут покупатели. Хозяйка, крашеная блондинка в летах, не обращала на меня ни малейшего внимания. Когда наконец две последние девочки, проглотив по пяти пирожных, вышли, мурлыкая от счастья, я подошел к пани Стефании.

— Густав будет ждать вас через полчаса у Тересы,— шепнула она.

— Не принимайте пакетов от Густлика,— ответил я и полез в карман за деньгами.

— Нет, нет, сегодня мы угощаем,— улыбнулась она.— Примите самые лучшие пожелания по случаю дня вашего рождения.

— Откуда вы знаете? — изумился я.

Она полезла под прилавок и вытащила круглую коробку, обернутую в бумагу и перевязанную веревочкой.

— И это тоже для вас,— сказала она.

Я поблагодарил и, схватив подарок, выбежал на улицу. К счастью, у тротуара стояла свободная коляска рикши. Я сел в нее и велел везти себя на Алею Неподлеглости. Рикша, молодой человек интеллигентного вида, изо всех сил крутил педалями своего велосипеда. Вдруг на углу Хожей он остановился как вкопанный.

— Облава! — вскрикнул он.

За углом бодро выскакивали из фургонов жандармы. Рикша лихо развернулся, и через секунду мы уже неслись обратно, свернув на Вспульную, а затем на Познаньскую и Кошиковую улицы.

— Наверное, вашей коробочке не хотелось бы встретиться с жандармами,— сказал рикша, прерывисто дыша от усилия.

— Конечно,— улыбнулся я.— Это торт, подарок на день рождения.

— Меня-то не проведете! Стал бы такой, как вы, возить на рикшах торт,— усомнился он.— Ну уж нет!

— Нет так нет,— согласился я.— Скажу по секрету: в коробке взрывчатый материал, надо кое-что взорвать.

— Вот это больше похоже на правду,— решил рикша.

Проехав мимо будок постовых у военных зданий на Алее Неподлеглости, мы выскочили вскоре на Мокотовское поле. Здесь было спокойно, и только возле пересечения Алеи с улицей Нарбутта из-за угла выполз на мостовую патруль. Пятеро жандармов шли не торопясь, вспарывая воздух дулами выставленных вперед автоматов. Я часто смотрел на эти красные, жирные морды, сросшиеся со стальными касками, и старался вообразить их себе в какой-нибудь из знакомых мне саксонских или баварских деревушек. Это были те самые

парни, которых я видел из окошек отцовского автомобиля. Тогда они работали в поле, или стояли у кирхи в маленьком живописном городке, или пили пиво в подвальчике под ратушей. Каска, мундир и автомат отрезали их от прошлого и превращали в машину, выполнявшую лишь несколько движений. Командир патруля поднял руку, останавливая нас, и рикша уже ничего не мог сделать, потому что вчерашние деревенские парни держали пальцы на спусковых крючках.

— У, зверюги! — выругался рикша и остановился.

Я не очень боялся: такие патрули занимались не облавами и угоном граждан, а проверкой документов и свертков. Правда, в сомнительных случаях они убивали тут же, на месте, но уже несколько раз после подобных встреч я оставался целым и невредимым.

— R-r-rauss! [1] — крикнул вахмистр.

Этот гортанный рев был слишком выразительным: я выскочил из коляски, как дрессированная собачка. Они взяли у меня из рук сверток и разорвали шнурок. Мы с рикшей обменялись взглядами. Жандарм быстро ощупал меня, лапы его остановились на фонарике в кармане пальто и поехали дальше. Второй жандарм уже снимал с коробки крышку, из-под нее вынырнул торт «Мокко», гордость пани Стефании. Посреди торта было выведено кофейным кремом «22» — столько, сколько мне исполнилось. Это был прекрасный возраст.

— Geburtstag[2],— сказал я, тыкая себя в грудь.

Жандармы смотрели на торт тупо, но и с некоторой тоской, что уже само по себе противоречило дисциплине. Вахмистр вынул из ножен кинжальный штык и проткнул торт в нескольких местах. Никакого твердого предмета обнаружено не было.

— Аусвайс!— злобно рявкнул он, явно растревоженный аппетитным запахом. Там, в глубине их победоносной империи, ничего подобного им даже не снилось. Он не знал, как бы еще поиздеваться над тортом, просто отобрать и сожрать торт у него не хватало смелости. Ему было легче застрелить меня, потому что это дозволялось приказом, а о конфискации тортов в приказах ни слова не говорилось. Я вынул свое служебное удостоверение, и жандарм стал сверлить его маленькими глазками, пытаясь углядеть что-нибудь подозрительное. Нет, все было в порядке: фотография не могла вызвать сомнений, печать, на которой красовались орлы со свастикой, как и подпись моего благодетеля доктора Гуфского, подтверждали достоверность документа. Вахмистр вернул мне аусвайс, со злобой швырнул в коляску торт и, отвернувшись, обвел взглядом улицу в поисках новой, более подходящей жертвы. Солдаты двинулись за ним, мерно стукая сапожищами.

Рикша изо всех сил бросился вертеть педалями.

— Значит, действительно торт,— сказал он.— Вам повезло.

— Просто это новейший английский взрывчатый материал в виде кофейной массы,— снисходительно пояснил я.— На вид торт как торт, а если что, то и половину Алей взорвать можно.

Рикша улыбнулся, как если бы я рассказал хороший анекдот, но уверенности в том, что я пошутил, у него не было. Расстались мы как приятели. Я потому так подробно описал этот незначительный эпизодик, что собираюсь точно восстановить весь день, о котором идет речь.

Минуту спустя я стоял у дверей Тересы. Она жила только с матерью, потому что отец ее, почтовый работник, год назад попал в засаду, расставленную гестапо в помещении, где распределялась неле-

[1] Выходи! *(нем.)*

[2] День рождения *(нем.)*.

гальная польская пресса, и был вывезен в Освенцим, пока был еще жив. Тереса посещала занятия подпольного университета[1]. Там вместе с подружкой, которая втянула ее в это дело, она изучала социологию, дома помогала матери вышивать салфетки — это занятие наряду с торговлей пирожными и мешочничеством стало еще одним источником существования вдов и жен находившихся в плену или концлагерях военнослужащих.

Дверь открыла Тереса. Когда мы вошли в ее комнату, она протянула мне небольшой пакет.

— Поздравляю, желаю всего самого лучшего! — сказала она.

Я подставил щеку, Тереса поцеловала меня, чуть коснувшись губами. Я слегка придержал ее в объятиях, самую малость — большего я не мог себе позволить,— и развернул пакет. В нем лежал свитер из серой овечьей шерсти.

— Альбин так и не вернулся,— сказала Тереса.— Тебе нельзя ночевать дома.

— Спасибо за подарок, только он слишком дорогой.

— А мы опять получили посылку из Португалии,— сообщила Тереса.— Сплошные сокровища: кофе, чай и сардины. Просто странно, что немцы не крадут этого.

— Немцы не воруют посылок,— объяснил я.— Это народ с высокоразвитым чувством уважения к чужой собственности.

— Интересно, кто нам посылает эти посылки?— подумала вслух Тереса.— У нас за границей никого нет.

— Наверное, какой-нибудь комитет помощи. Может, они узнали, что твой отец в Освенциме?

— Может,— ответила Тереса и испытующе посмотрела на меня.

Я смотрел прямо в ее зеленые глаза, и, видно, взгляд мой стал слишком выразительным, потому что она отвернулась и села на тахту. К счастью, послышался условный стук в дверь. Мы с Тересой не могли оставаться вдвоем, если не были заняты чем-либо конкретным,— сразу же наступала многозначительная тишина. Думаю, Тереса мучилась не меньше, чем я. Я заметил на столике бланк «Kriegsgefangenenpost»[2]. Мученик из лагеря военнопленных давал о себе знать регулярно, каждые две недели. Я с бешенством посмотрел на его фотографию. Возле нее, как всегда, стояли цветы, на этот раз астры. Маленький алтарь, ухаживая за которым Тереса черпала силы для борьбы. Нынче, когда верность сохраняется главным образом из-за отсутствия достаточно интересной замены, все это может показаться смешным, но тогда...

Тереса ввела Забаву. Мы пожали друг другу руки. Гражданский и по внешнему виду и по характеру, он никогда не играл в военного: не вытягивался в струнку, не рапортовал, не щелкал каблуками, что с восторгом проделывала наша молодежь, выражая этим бунт, заключавшийся в точном следовании армейскому уставу. С охотой и по собственной инициативе ребята выполняли в четырех стенах или под прикрытием леса все то, к чему еще четыре года назад младший сержант Лукасик принуждал нас криком «на горку и обратно бегом марш». Часто приходилось сдерживать их и даже нещадно ругать, если они, встретив меня где-нибудь на улице среди прохожих, вдруг лихо вытягивались в струнку.

---

[1] Оккупировав Польшу в 1939 г., немцы закрыли все учебные заведения, и занятия как средних, так и высших школ проводились тайно, в частных домах.

[2] Почта лагеря военнопленных *(нем.)*.

Видно было, что Забава торопился, идя сюда, потому что он с трудом переводил дыхание. Вытащив из кармана кеннкарту[1] и удостоверение личности Альбина, он бросил их на стол.

— Вот... он оставил документы дома, когда уходил,— сказал Забава.— Я разговаривал с его матерью и Кристиной и выудил у них правду. Тайком от меня он смонтировал дома ультракоротковолновик. Его заказал кто-то из его товарищей якобы для партизанского отряда, обещал платить по десять тысяч за штуку. И подумать только, что он клюнул на такую дешевку!

Я даже свистнул от удивления. Производство такой радиостанции в нашей мастерской обходилось нам примерно в четыре тысячи.

— Альбин долго колебался,— продолжал рассказывать Забава.— Но в конце концов соблазнился такими деньгами и договорился сделать четыре штуки. Ты знаешь, какое это богатство для такого парня, легко сказать!

— Да он же никогда не интересовался деньгами!— воскликнула Тереса.

— Он вообще не понимал, что сколько стоит!

— Но Кристина понимала,— сказал Забава.— Он хотел снять квартиру и поселиться с ней там. Она очень не ладит с родителями, да и вообще они ютятся вчетвером в маленькой комнатке. Альбин сказал ей, что вот-вот получит кучу денег и они счастливо заживут вместе.

— Ну и стерва,— не удержался я.

— За каждую женщину так или иначе платишь,— философски заметил Забава.— Он боялся, что Кристина бросит его.

— Как вам не стыдно!— возмутилась Тереса.

— При Тересе не пристало говорить, что женщин покупают!— пояснил я.

Тереса раздраженно взглянула на меня, не понимая, говорю ли я серьезно или насмехаюсь над ней. И надо же было мне нарваться именно на такую принципиальную девицу! Лишь позднее я понял, что только подобный бескомпромиссный характер и мог привлечь меня: я всегда боролся со своей ужасной нерешительностью и склонностью к лавированию, в Тересе же я нашел все, к чему напрасно стремился сам.

— Первый приемник надо было отдать вчера, и он сразу получил бы десять тысяч. Альбин работал при коптилке всю прошлую ночь, а матери приходилось топить печку, чтобы он мог разогревать на ней свой паяльник. Днем он еле двигался в мастерской, я даже давал ему порошки, потому что у него болел живот. В шесть вечера он вышел из дома, чтобы отнести приемник в условленное место, и больше не вернулся.

— А куда он должен был отнести приемник?— спросил я.

— Этого никто не знает,— вздохнул Забава.— То ли провокация, то ли схватили на улице...

— Провокация!— решил я.— Таким образом они узнали, какой у нас приемник и на каких частотах работает!

— Это как раз не страшно,— успокоил меня Забава,— все коротковолновики, ну хотя бы в танках, работают на той же самой частоте. Радиус их действия невелик, и опасность подслушивания очень маленькая. А вот за парня я боюсь... Он такой чахлый и такой впечатлительный...

— Сам во всем виноват,— сказал я сурово, хотя мне совсем не хотелось быть в этот момент суровым.— И заслужил наказание.

[1] Удостоверения, как и аусвайсы, выдаваемые оккупантами вместо ликвидированных польских паспортов.

В любом случае нам пришлось бы убрать его из мастерской и из отряда.

— Но он же погибает! — воскликнула Тереса.— Как ты можешь говорить только о вине и наказании?! Ведь он такой прекрасный парень!

— Все мы прекрасные!— раздраженно ответил я.— Всех нас жалко! Но если мы должны погибнуть, то давайте погибать за Родину, а не из-за квартиры! Он сопляк, понимаешь!

— Он погибает не из-за квартиры, а из-за любви,— спокойно возразила Тереса.— Я знаю, что ему нет оправдания, но нельзя обвинять его в корысти. Он не смог бы раздобыть этих денег иначе.

— Второго такого мне уже не найти,— сказал Забава как бы самому себе.— Боже, до чего это был способный парнишка...

— Хватит!— рявкнул я.— Не пытайтесь мне внушить, будто он герой античной трагедии! Он всегда был слюнтяем!

Меня так и распирало от бессмысленной злости на Тересу за эту ее слабость к Альбину и от злости на самого себя, потому что я тоже был слюнтяем и не годился для этой войны, и на протяжении всех четырех лет нелегальной жизни я ежедневно делал огромные усилия, чтобы скрыть это от окружающих и прежде всего от Тересы. Поэтому теперь я был чрезмерно жесток.

— Мастерская провалена,— сказал я.

— Я оставил там только часть медицинских аппаратов,— пояснил Забава.— Но концессия на мое имя. Свой дом я уже ликвидировал, жена с двумя чемоданами выехала на рикше.

Он встал, сгорбленный больше обычного, но тут же улыбнулся.

— В течение нескольких дней я организую что-нибудь новенькое,— сказал он.— У меня же остался Протон — вот мы вдвоем и кончим эту серию.

— Если не кончимся сами,— мрачно пошутил я.— Спасибо, пан инженер. Я представил вас к награде.

— Во славу Родины, пан поручик!— отчеканил он и даже попробовал вытянуться по-военному, но вышло это у него очень неловко, тем более что он был еще и чуть кособок. Забава крепко пожал нам руки и ушел.

Тереса села против меня за стол, и, разделенные им, мы быстро еще раз просмотрели список адресов, известных Альбину. С моим их было шесть. Я проклинал себя за легкомыслие: ведь я сам велел принести мне домой лампочку с приемником — подарок инженера Забавы!

— Он не выдаст,— сказала Тереса.

— Как он может не выдать?— пожал я плечами.— Достаточно надавить на него, как он запоет. В этом парне нет никакой сопротивляемости. Не такие, как он, раскалывались.

— А я уверена, что он не выдаст,— повторила Тереса.

Я иронически поддакнул ей. В дверь снова постучали. Тереса ввела Густава.

Густаву было немногим более тридцати. Коренастый, с плоским носом боксера и редкими светлыми волосами, он обладал удивительно милой улыбкой. Вообще от него исходила какая-то могучая внутренняя сила. Я бездарно пытался подражать ему и радовался, что у меня такой командир, как он. В этот день я видел его в предпоследний раз: восьмого октября, то есть через восемь дней, он проснулся дома, окруженный со всех сторон жандармами. Вместе с другими схваченными в доме мужчинами его привезли в тюрьму Павяк, а по дороге на допрос, не веря в свои силы, он принял цианистый калий. Мы так и не смогли потом отыскать его тело.

Я пожал ему руку и доложил об исчезновении Альбина. С лица Густава сразу же исчезла улыбка.

— Барнаба,— обратился он ко мне, назвав меня моей подпольной кличкой, чем, вероятно, хотел подчеркнуть официальность разговора.— Знаешь, что я об этом думаю?

— Так точно, пан командир!— ответил я, стоя навытяжку.— Но ничего не могу сказать в свое оправдание.

— Ты хорошо знал Альбина?

— Мне казалось, что хорошо. Это очень талантливый парень.

— В мастерской работало только три человека,— сказал Густав, садясь.— Забава вне всяких подозрений. Протон — парень тихий и преданный, он никогда не совершит никакой глупости... Остается только этот поэт. Представляешь, какая для них радость — схватить радиостанцию? Да она для них ценнее десяти автоматов!

— Но ведь это только передатчик УКВ,— перебил я его.— Связь в пределах действий батальона...

— Неважно. Ведь из твоего Альбина вместе с кишками вытянут все, они все равно узнают, что вы начали монтировать более мощные радиостанции, Альбин нарисует им схемы и сообщит частоты, выдаст источники, откуда вы получали детали, опишет наш отряд и его место в общей иерархии организации... Они попали в яблочко, Барнаба, угодили нам прямо в лоб. А все потому, что какая-то глупая соплячка поссорилась с папочкой и мамочкой! Ничтожные щенки, и больше ничего! Странно, что немцы еще не пришли сюда, в этот дом!

— У него не было при себе ни одного документа,— я выложил перед Густавом документы Альбина.— Он, наверное, сообщил им фальшивый адрес.

— Тем сильнее его изуродуют!— пожал плечами Густав.— У него была ампулка с цианистым калием?

— Он не хотел носить ее с собой, боялся,— вынужден был я сознаться.— Альбин был очень эмоциональный малый и боялся принять яд в какой-нибудь момент депрессии.

— Депрессии...— язвительно улыбнулся Густав.— У двадцатилетнего парня? Как у дамочки после климакса? И ты допустил его к серьезной работе!

— У него был абсолютный слух...— защищал я Альбина.

— Ему уже, наверное, оборвали его чуткие уши! — продолжал злиться Густав.— А ты, Барнаба, несешь за все это ответственность, учти, будешь наказан за этот провал!

В его голосе слышалась такая твердость, какой я и не подозревал в нем. У меня чуть слезы на глаза не выступили от огорчения. Не хватало еще, чтобы я разревелся как девчонка, ведь я так дорожил его уважением. На Тересу я боялся даже взглянуть. Видно, Густав в конце концов заметил мое отчаяние и посмотрел на меня помягче.

— Мы живем в мире, где ничто человеческое не принимается в расчет,— сказал он.— Взбесившиеся твари мостят дорогу к своим безумным целям миллионами жизней. Из нас выпускают море крови, и наш долг активно этому воспротивиться, максимально сократить этот поток крови. У нас нет ни самолетов, ни танков, ни орудий, а только злость и упорство, но мы во что бы то ни стало должны иметь еще и трезвый ум. Когда-нибудь наступит время расплаты, и тогда будет учтено все, и эта пролитая кровь тоже, но мы не можем оставить здесь только пустую, усеянную сплошными братскими могилами землю.

— Понимаю,— сказал я, лишь бы произнести что-нибудь.

Тереса молчала, не спуская глаз с Густава.

— Не знаю, кто из нас троих переживет войну,— добавил он.— Может, и никто... Дело в том, чтобы не умирать глупо. Как только я узнаю что-нибудь на Алее Шуха [1] или в Павяке, я тебе сообщу.

Он ушел, и я, снова оставшись наедине с Тересой, взглянул на часы. Было уже без четверти два.

— Есть почта,— деловито сообщила Тереса.

Мы снова могли заняться чем-то. Я начал просматривать бумаги: приказы, инструкции, заказанные нами документы. Вдруг я поднял глаза и встретился с внимательным, серьезным взглядом Тересы.

— Я люблю тебя, Тереса,— вырвалось у меня.— Я люблю тебя все сильнее, и мне уже трудно справляться с этим.

Я мог бы поклясться, что Тереса смотрела на меня с любовью. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не схватить ее в объятия. Мое жалобное признание совершенно не подходило к моменту. Выпалить все это так, ни к селу ни к городу, мог только абсолютный слюнтяй. Я покраснел от стыда. И, пытаясь поскорее затушевать впечатление, какое могла произвести моя оплошность, поспешил сказать как можно более весело:

— Я принес торт, который по дороге искололи жандармы, съешьте его с мамой за мое здоровье.

Тереса положила свою руку на мою. В эту минуту она была прекрасна.

— Прости меня,— прошептала она.— Я уж и сама не знаю... Что мне делать?

Этого я ей сказать не мог. Я мог бы ее обнять и поцеловать, и, пожалуй, она бы не оттолкнула меня, и, кто знает, быть может, рухнула бы, наконец, разделявшая нас преграда. Но я не мог так поступить. Воспользоваться ее минутной слабостью? Мы забрели в тупик, и самим, без вмешательства каких-либо внешних факторов нам из него было не выбраться. Следовало бы перестать встречаться. Тересу с радостью взял бы в связные каждый. И хотя она, вероятно, тоже думала об этом, ни один из нас не находил в себе сил произнести это. Я встал и по-отечески поцеловал ее в лоб.

— Поступишь, как сочтешь нужным,— сказал я и не мог удержаться, чтобы не бросить взгляда на морду улыбающегося военнопленного, которая даже снилась мне.

— В семнадцать ноль-ноль я у Овцы. В случае чего...

— Тебе нельзя ночевать дома,— напомнила Тереса.

— Привет! — бойко простился я и выбежал на улицу.

За углом я вскочил во второй вагон проходившего мимо трамвая. Здесь воняло сигаретами «Юнак». Наклеенные на окнах плакатики расхваливали сок из свежего зверобоя, сделанный по рецепту магистра Гобеца, а также мебель Раделицкого, под рекламой которой красовалось: «Покажи мне свою квартиру, и я скажу тебе — кто ты!». Стекла были замалеваны голубой краской, и внутри вагона царил полумрак. Я вышел на переднюю площадку, чтобы наблюдать за улицей. У Маршалковской я выскочил, но навстречу тяжело шагал жандармский патруль, и я быстро юркнул в магазин с пластинками. Хозяева магазина получали из Германии все новинки, и я часто бывал здесь. Мне повезло — на прилавке лежала Пятая симфония Бетховена в исполнении оркестра под управлением Вильгельма Фуртвенглера. Пластинка стоила столько же, сколько полкило грудинки. Я часто слушал музыку после наступления комендантского часа. Иногда мне удавалось слушать ее вместе с Тересой, нас охватывало волнение, желание стать лучше. Музыка объединяла нас не меньше, чем совместная деятель-

[1] На Алее Шуха находилось главное управление и следственная часть гестапо.

ность. Я сидел рядом с Тересой, слушая и содрогаясь от счастья, с глазами, полными слез, чувствуя рядом ее теплое присутствие. Достаточно было шевельнуть рукой, чтобы коснуться ее руки или плеча, и мое глубокое волнение усиливалось мукой, которую я испытывал от ее близости и недоступности одновременно. Я молниеносно менял пластинку, чтобы не нарушать настроения, царившего во время концерта, и с отчаянием поглядывал на иглу, медленно, но верно приближавшуюся к середине пластинки. Потом украдкой смахивал слезу, и мы возвращались к действительности.

Я купил Пятую симфонию и к трем часам дня добрался до дому. Войдя в сад сзади, через дырку в заборе, я заглянул в окно. Бабушка сидела за столом и читала «Унесенные ветром». Этот роман в те времена вырывали друг у друга все дамы. Когда я вошел в комнату, бабушка встала, чтобы подать мне обед, на еду у меня всегда были считанные минуты.

— Я сегодня не вернусь ночевать,— сообщил я, обжигая горло густым супом.— Иду на вечеринку.

— Нашел время веселиться! — вздохнула бабушка.

— А ты, бабушка, никогда не была молодой? — поинтересовался я.

— Вот дурак так дурак! — возмутилась она.— На балах я, конечно, танцевала, но в квартиры к кавалерам никогда не таскалась!

— Если ночью придет гестапо, скажи, что я уехал в деревню и нанялся на полевые работы.

— Думаешь, я не знаю, что вы там проделываете? Если я старая, значит, слепая и глухая? Вас всех повыловят и поубивают!

— Что поделаешь, бабушка, долг есть долг!

— Да я знаю, что долг...— с грустью согласилась она.— Но ведь только ты один у меня и остался, внучек...

И она, шаркая шлепанцами, отправилась на кухню за вторым. Я и мысли не допускал, что в этой лотерее смерти могу вытащить несчастливый билет. Однажды, еще в 1941 году, взявшись за расчеты, я вычислил согласно теории вероятности, что мои шансы примерно составляют соотношение один (погибнуть) к двадцати (выжить). К сожалению, с каждым годом, по мере того как вокруг множились аресты, это соотношение менялось не в мою пользу. Если бы война протянулась еще год или два, у меня, пожалуй, не осталось бы почти никакой надежды. К счастью, Восточный фронт быстро приближался, и мы рассчитывали, что в ближайшие месяцы он подойдет к Варшаве. Все дело было в том, кто куда постучит раньше: русские в ворота Варшавы или гестапо в дверь моего дома.

Я влетел к себе в комнату, порвал и спустил в унитаз вчерашний номер подпольной газеты, вытащил из-под подушки учебный план военных занятий и спрятал его в крышку табуретки, стоявшей в ванной. Эта табуретка с двойной крышкой, сделанная в одной из наших мастерских и ничем не отличавшаяся от любой кухонной табуретки, служила тайником, где я прятал бумаги. Настольную лампочку с укрытым в ней приемником, гордость инженера Забавы, я поставил на столике возле тахты. Схватив портфель со служебными бумагами, я сунул туда бритвенный прибор и зубную щетку, поцеловал бабушку и уже хотел умчаться, как вдруг зазвонил телефон.

— Наверное, этот негодяй,— проворчала бабушка.— Когда я подхожу к телефону и говорю «алло!», он бросает трубку и правильно делает, а то бы он услышал...

Это действительно был отец.

— Хочу тебя поздравить, сынок, и пожелать тебе всего самого лучшего,— сказал он.— Ядя тоже тебя поздравляет.

— Ты не собираешься разводиться? — любезно поинтересовался я.

— Уже не те времена,— вздохнул отец.— Нам всем надо держаться вместе. Может, забежишь к нам? Мы с тобой всегда виделись в день твоего рождения.

— Может быть, но сегодня лучше не уславливаться о времени.

— Будем ждать тебя до поздней ночи,— пообещал отец.

— Дай бог вам дождаться! — воскликнул я искренне, потому что в последнее время меня часто охватывал страх.

Из дома я снова выбрался через сад, чтобы меня никто не увидел. На наших жолибожских улочках, как в любом маленьком городке, ничего нельзя было скрыть и все тайное становилось явным. Если мы еще и существовали до сих пор, то это можно было объяснить только тем, что гестапо испытывало недостаток в людях, а в шпиках была просто острая нехватка. Во всем нашем районе среди жителей не было, пожалуй, ни единого агента или доносчика. В течение минувших лет оккупации было разоблачено и ликвидировано всего несколько человек. А как известно, без информаторов и шпиков любые репрессии слепы и случайны. Поэтому-то немцы и устраивали постоянно засады и облавы.

Теперь мне предстояло завершить еще одно дело. Уже несколько дней вопреки всяким принципам конспирации я носил в портфеле фальшивые документы для одной еврейской семьи, прибывшей недавно из-под Львова. Находясь в постоянной опасности, они, сняв две комнаты в тихой жолибожской улочке у самых валов цитадели, вообще не выходили из дома. Человек, который просил меня помочь им раздобыть документы, сказал, что они могут хорошо заплатить. Разумеется, я не собирался наживаться на них, но эти люди, привыкшие платить за каждый день своей жизни, настаивали, чтобы я взял у них деньги если не себе, то хотя бы на нужды организации. Познакомившись с ними, я понял, что их внешний вид все равно выдаст их происхождение и что каждый шаг по улице, с аусвайсом или без него, грозит им расстрелом на месте. Поэтому мы с моей знакомой решили сделать из них грузин по фамилии Мининашвили, которые якобы прибыли в Польшу в 1921 году как белые эмигранты. И тогда мои подопечные, получив такие документы, могли бы спокойно ходить по улицам, объясняя в случае чего свою внешность грузинским происхождением. Однако по грузинским документам им полагались особые продовольственные карточки с увеличенным пайком: немцы заигрывали с грузинами, пытаясь восстановить их против русских. Сначала я заказал для них кеннкарты, а потом уж и удостоверения, которые выдавались в управлении недвижимым имуществом, и продуктовые карточки для иностранцев, отовариваемые в немецком магазине Майнля. Взамен, за документы и карточки, они вручили мне некую сумму на конспиративные цели. Две недели назад, когда мы договаривались обо всем с главой семьи, меня поразила его нервозность. Этот черноволосый худой мужчина, немногим старше сорока, совсем не владел собой: он то вскакивал, то снова садился, то закуривал папиросу, то гасил ее, то лез зачем-то в карман, то подбегал к окну и осторожно выглядывал из-за занавески, то отбегал назад и кружил по комнате. Поднимая рюмку за успех, он не мог удержать дрожи в руках. Его жену, полную, еще не утратившую красоты женщину, я видел лишь мельком, через полуприкрытую дверь, за которой чувствовалось и тихое присутствие детей — мальчика и девочки, десяти и двенадцати лет,— как было написано на обороте их фотографий для документов. Я не спрашивал ни его настоящей фамилии, ни кто он по профессии. Внешне он был похож на врача или адвоката. Когда мы договорились обо всем и я встал, чтобы побежать дальше, он на секунду задержал мою руку в своей.

— Спасибо вам за помощь,— сказал он и добавил шепотом, чтобы не услышали его жена и дети в соседней комнате: — Я уже не верю, что мы выживем.

— Почему? — тоже шепотом возразил я.— Это всего лишь вопрос случая и капельки везенья. Ведь вот уже два года вам удается...

— Но напряжение возрастает! Вы не знаете, что такое сидеть вот так, взаперти, и ждать... Каждый звук за окном, каждый шаг на улице, каждая проезжающая машина... Что-то должно случиться! Должно! Я знаю, если бы мы разделились... прятались у людей каждый в отдельности, жена в одном месте, дочь в другом, сын в третьем... у нас было бы больше шансов... но мы не хотим... не можем... да и где? у кого? Мы парализованы... парализованы... когда-нибудь они придут... завтра, через месяц... через год... придут наверняка...

— Приду я, с документами. До свидания.

Он посмотрел на меня глазами, красными от бессонницы и отчаяния. Я с облегчением вышел на свежий воздух. Как много значило то, что я мог бегать по улицам, действовать... В условиях оккупации деятельность, несомненно, помогала людям перебороть в себе страх. По крайней мере так было со мной. Но для этих людей оставался страх, и только страх. Никакого действия. Ожидание в камере смертников.

И вот сегодня, наконец, я шел к ним с кеннкартами для иностранцев, проживающих в «генерал-губернаторстве». Они были сделаны по всем правилам искусства, даже с обязательными, словно от прокола иглой дырками, что свидетельствовало в глазах жандармов об их подлинности. В запасе у меня были не только слова, которые подняли бы дух этих несчастных, но и целая куча веселых новостей; на востоке ведь фронт сдвинулся с места и все быстрее приближался к нам. Я открыл калитку и постучал в дверь. Мне пришлось стучать долго, пока на втором этаже не открылась форточка, в которую высунулась хозяйка дома, жена находившегося в плену полковника. Я знал ее в лицо.

— Добрый день,— приветливо поклонился я ей.— Я пришел к Каминским...

— Боже...— простонала она.— Войдите через дверь с другой стороны дома, быстрее!

Встревожившись, я обежал дом и бросился к лестнице. На верхней ступеньке стояла седая дама, которую я видел в окне. Лицо у нее было серым и мятым. Втянув меня в комнату, она заперла дверь. И заговорила тихо, лихорадочно:

— Позавчера ночью начали ломиться в дверь... я сразу же проснулась... они стучали кулаками, ногами, чем-то железным. Один кричал по-польски: «Откройте! Гестапо!» — а другой рычал: «Sicherheitsdienst Aufmachen!»[1]— и ругался по-немецки. Пан Каминский не открывал, я только слышала внизу какую-то возню, шаги, плач и писк... я боялась выглянуть в окно и ждала, когда они выломают дверь. Но они покричали, постучали еще немного и ушли.

— Ушли?! — изумился я.

— Стук прекратился, и я услышала шаги на ступеньках каменного крылечка. Тогда я выглянула через щелочку между занавесками. Их было трое. Я подождала еще несколько минут и сбежала вниз, чтобы вывести Каминских через сад... В квартире их не было, но я увидела, что открыта дверь в подвал... Боже... я уже никогда не смогу жить спокойно...

Седая женщина закрыла лицо руками.

— Он зарубил топором жену и детей, а сам повесился,— прошептала она.— Наверное, он приготовил все это заранее — и топор, и шнур... ведь они не так уж долго ломились в дверь...

[1] Откройте! Служба безопасности! *(нем.)*

Кровь хлынула мне в лицо. «Они наверняка придут»,— еще недавно шептал мне Каминский.

— И это вовсе не были гестаповцы,— сказала минуту спустя седая женщина.

— Что-оо?!!

— Это были бандиты,— продолжала она.— У них не было машины, а гестаповцы никогда не ходят пешком и никогда не уходят, не взломав дверей. Они испугались, что шум привлечет немцев, и ушли. Если бы у пана Каминского хватило сил подождать немного, все были бы целы. На рассвете я позвонила в полицию, к «синим» разумеется, и сообщила о нападении бандитов. Я сказала также, что наш жилец впал в безумие и убил всю семью. А полицейский в ответ только рассмеялся: «Какое еще там безумие! Это же были евреи!» — и они забрали все вещи Каминских.

— И деньги?

— Наверное. Поэтому они не цеплялись ко мне и не ругались, что я прятала евреев. Просто велели мне молчать и все забрали. Тела тоже. А я всю ночь отмывала кровь...

Она замолчала и отерла глаза платком.

— А эти бандиты? Вы бы их узнали?

— Вряд ли. Я же видела их мельком, при свете луны...

То, что она смогла, наконец, рассказать обо всем, явно принесло ей облегчение.

— На ночь теперь ко мне приходит племянница,— добавила она.— Я хочу продать дом и переехать в центр города.

Я вышел на улицу. На тротуаре девочки играли в классы. Я спустился к обрыву возле цитадели, сел против ее стен, достал кеннкарты и поджег их. Мне пришлось израсходовать целую коробку спичек, чтобы поддерживать огонь. Поочередно чернели и исчезали лица на фотографиях. Я еще посидел некоторое время над обугленными листами картона, потом встал и медленно побрел к трамваю. Оставшись, как всегда, на передней площадке вагона, я на этот раз не смотрел на улицу. Я был крайне угнетен и никак не мог избавиться от чувства тяжести в душе, казалось, что-то огромное навалилось на меня и давит, пригибая к земле.

Когда я доехал до Тарговой, уже наступили сумерки. Здание управления окружной железной дороги, где в сентябре тридцать девятого квартировала моя часть, занял для своих учреждений и казарм вермахт, и теперь у входа торчал постовой, а по Тарговой бродили толпы людей. Свернув в Зомбковскую, я добрался до Бжеской. Во втором дворе, в поперечном флигеле на пятом этаже находилась штаб-квартира группы Овцы. Эту кличку выбрал себе младший сержант Карчевский, вагоновожатый городских трамвайных линий. В середине 1940 года я случайно встретил его, вскочив в пятый номер трамвая, чтобы проехать на Прагу. Первая площадка тогда еще не была «только для немцев», так что я, как обычно, встал рядом с вагоновожатым и лишь спустя минуту узнал его.

— Попка с красной ж...— шепнул я ему на ухо.

Вагоновожатый обернулся и невероятно обрадовался.

— Попугай жив? — поинтересовался он.

— Сдох от хорошей жизни. А ты как поживаешь?

— Все здоровы,— ответил он с иронией.— Женился или нет?

— А может, мы встретимся, поговорим?

— Отчего ж не поговорить!

И он дал мне свой адрес. Спустя два месяца он принял присягу и стал командиром группы, сформированной из жителей Праги.

Я постучал в дверь, окрашенную в вишневый цвет. Открыл хозяин квартиры, восемнадцатилетний малый по кличке Лонгин. Я обрадовался, что это был он, а не гестаповец. Сегодняшний день явно выбил меня из колеи, и мне надо было как можно скорее взять себя в руки, чтобы никто ни о чем не догадался. В квартире воняло капустой и стиркой. В полуоткрытую дверь кухни была видна мать Лонгина, склонившаяся над корытом, впрочем, я никогда не видел ее в другой позе. Когда я вошел в комнатушку, пятеро парней вскочили с места и вытянулись в струнку, а Овца, стоявший точно отец среди сыновей, доложил мне по всем правилам устава. На столе красовалась деревянная коробка рации УКВ. Наши ребята любовно называли ее указвкой.

— Есть связь? — спросил я.

Лонгин нажал на переключатель и проговорил: «Барбара, я — Зофья, Барбара, я—Зофья, что у вас? Перехожу на прием», после чего снова нажал на переключатель, и из наушников сразу же поплыло урчание: «Зофья, я — Барбара, Зофья, я — Барбара, у нас пол-литра и говяжья рулька, на улице облава, пусть поцелуют нас в одно место. Перехожу на прием». У меня не было охоты шутить, так что я схватил микрофон и заорал: «Барбара, я — Зофья, прекратить болтовню! Не то получите сейчас как следует по этому самому месту. Разрешаю только слушать. Все!» И выключил рацию. Ребята смотрели на меня с досадой, недовольные тем, что я лишил их игрушки. Вторая часть их группы находилась в двух километрах отсюда, на Грохове, тоже на высоком этаже — наши передатчики с трудом пробивались сквозь толстые стены.

Ребята слушали мою лекцию рассеянно. Они терпеть не могли теории, им хотелось конкретных действий — вот хотя бы с такой указвкой на плече и с пистолетом в руке. Вагоновожатый уже несколько раз предупреждал меня, что с трудом держит их в повиновении, что почти каждый хранит дома оружие и что они совершают самовольные налеты на одиночных немцев, добывая таким образом пистолеты. Они действительно не выглядели пай-мальчиками. Жители здешнего района всегда славились левыми настроениями, и эти ребята тоже мечтали об участии в операциях против немцев. Надо было как можно скорее дать им такую возможность, не то мог произойти и взрыв — слишком уж трудно им было соблюдать дисциплину. Конечно, можно было придумать для них какое-нибудь нападение на кассу или угон немецкой машины, но прежде всего следовало добиться, чтобы они сдали свое оружие на склад: не мог же я делить оружие на «казенное» и «личное»! Но как отдать приказ, зная, что он не будет выполнен? Ведь выполнение его означало, что они получали бы оружие только перед операцией... Это их «личное» оружие лишало меня сна, ибо, пусти они его в ход самовольно, дело могло бы дойти и до провала организации. Я не видел выхода и только надеялся, что, может быть, наконец нас всех поднимут на вооруженное восстание.

Спустя три недели, в октябре 1943 года, когда мы испещрили стены варшавских домов надписью «Октябрь!» — этим «memento mori» для оккупантов, а они, разъярившись, решили превратить его в «кровавый октябрь» для нас, двое ребят из группы вагоновожатого, Лонгин и Пасер, попав в облаву, разрядили в жандармов пистолеты, которые носили с собой, а сами остались лежать на мостовой. Но сегодня они еще оба сидели за столом, борясь с зевотой, а я заканчивал свою лекцию. Вагоновожатый велел свернуть указвку и спрятать ее на ночь под грудой грязного белья в кухне. Назавтра Лонгин должен был сдать рацию на склад. Мы вышли вместе с вагоновожатым и остановились на трамвайной остановке возле винокуренного завода за Зомбковской. Несмотря на позднее время, из ворот выезжали платформы, груженные ящиками с водкой. Товар широким потоком уплывал в темноту

города. Могучие першероны выбивали искры на базальтовом булыжнике улицы.

— Пожалуй, я нынче напьюсь,— сказал вагоновожатый.— Завтра у меня свободный день. Знаешь, мне ведь скоро стукнет сорок!

— М-да, мне бы дожить до сорока!

— Думаешь, большая радость, ежели тебе уже столько лет? Да еще в такое время! Это же будто тебе все пятьдесят сравняется, а не сорок. Видишь, чего эти немцы проклятые наделали! Я же после войны старый гриб буду! Ну какие для меня еще радости останутся?

— Воздух свободы,— сострил я, потому что был еще очень далек от понимания драмы, какую являет собой старение.— Будешь водить трамваи по улицам, светлым от огней, и твои вагончики будут бежать среди неоновых реклам и ярко светящихся вывесок кинотеатров, кабаре, театров, ресторанов, а ты будешь весело сигналить пешеходам и шикарным авто.

— Ясно. А ты будешь сидеть в таком авто.— Вагоновожатый презрительно поморщился.— Подожди, подожди, еще наступит час расплаты! Это что ж такое, я, выходит, целую жизнь до самой смерти води трамвайчики, а ты что?

— Не знаю,— искренне ответил я.— Ничего не знаю. Чем больше читаю, тем глупей становлюсь. Понятия не имею, что буду делать в жизни. Я вообще не представляю себе, как будет после этих четырех лет...

— Мы-то друг с дружкой знаться не будем.

— Почему?!

— Да потому, что нас только война вместе и держит. А кончится — каждый пойдет своей дорожкой,— ответил вагоновожатый.

Конечно, он был прав, но тогда я не хотел с ним соглашаться. Подъезжал, мигая голубыми лампочками, мой трамвай, и я протянул вагоновожатому руку. Вдруг между нами возникла Тереса.

— Хорошо, что я тебя догнала,— воскликнула она, тяжело дыша.

Я помахал вагоновожатому, и мы с Тересой вскочили в подошедший трамвай. Близилось к шести. Вечером облавы бывали редко, и мы могли спокойно стоять на площадке. На повороте я придержал Тересу за плечо, чтобы она не упала, а потом так и оставил руку на ее плече. В публичных местах мы часто притворялись влюбленными, прижимались друг к другу и даже целовались на глазах у жандармов, чтобы обмануть их собачье чутье, и от этого притворства, которое по-существу притворством и не было, меня еще больше лихорадило. Мы оба понимали, что к чему, но Тереса не противилась этой игре, и, когда она вроде бы тоже прижималась ко мне, я готов был поклясться, что и она сама изо всех сил сдерживается, чтобы не отдаться естественному порыву и не кинуться мне на шею уже без всякой игры.

Сейчас мы молчали, потому что на площадке было еще несколько человек. Я взял ее под руку и стал воображать, что еду с ней в любовное путешествие далеко-далеко, туда, где не будет ни облав, ни комендантского часа, ни лагерей военнопленных с незадачливыми поручиками. Однако мне недолго довелось мечтать: перед мостом Кербедзя послышался вой сирены и нас обогнал мчавшийся на полных парах открытый жандармский грузовик «Überfallkommando»[1] с установленным посреди платформы станковым пулеметом и кучей жандармов вокруг него. Парни из Меклембурга или Швабии мчались на вечерний обмолот. Мы вышли на Краковском Пшедместе, потому что трамвай сворачивал на Медовую.

— У меня для тебя известие от Густава,— сказала наконец Тере-

[1] Специальная выездная команда *(нем.)*.

са.— Записку я прочла и уничтожила. Альбина привезли на Шуха и начали допрашивать. Рация была при нем.

— Кто выдал?

— Еще неизвестно. Когда его перевезут в Павяк, там с ним смогут поговорить наши.

— Если он будет способен разговаривать,— мрачно уточнил я.

Мы замолчали. Итак, произошло самое худшее. Мы подходили к Трембацкой. Как всегда, на углу, у пивной «Zur Hütte»[1], толпились и шумели возбужденные пивом «гемайны» [2], а рядом на Козьей улице стояла большая очередь в солдатский публичный дом. Странно было, что никто до сих пор не бросил сюда хотя бы гранаты.

— Знаешь, что с ним сейчас происходит? — прошептала Тереса.

Я почувствовал, как дрожит ее тело. Она любила Альбина, как и все, кто его знал. Он был нежным и обаятельным, не таким, как другие: не отпускал глупых шуточек, не употреблял вульгарных словечек и всегда как-то рассеянно озирался. Сблизиться с ним было трудно, хотя он и не был замкнутым.

— А он не писал стихов? — спросил я.

— Наверное, писал,— ответила Тереса.— Но Кристина глуха к поэзии.

— Чем же она его так покорила?

— Здоровьем,— пояснила Тереса,— у нее зверское здоровье, а Альбин с детства был болезненным, легко простужался.

— Наверное, у него, как и у многих гениев, были больные легкие,— пошутил я.

— Язвительность здесь неуместна, Юрек,—одернула меня Тереса.

— Извини,— шепнул я, прижав к себе ее локоть.

— Будут какие-нибудь поручения? — холодно спросила она.

— Нет. Надо ждать. Утром, наверное, что-нибудь прояснится.

— Ничего не прояснится,— упрямо заявила Тереса.

И действительно, назавтра ничего не произошло. А спустя несколько дней мы узнали, что Альбин, подвергнутый пыткам, упрямо твердил одно и то же: он самоучка, смонтировал рацию, чтобы заработать, потому что ему нужны были деньги, ни с какой организацией он дела не имел, потому что слишком часто болеет, а радиолампы купил год назад на Окенте у незнакомого солдата. Говорят, он так точно описал этого солдата, что гестаповцы даже были готовы поверить ему. А через несколько недель мы увидели его фамилию в списке агентов Лондона и Москвы на красном плакате, где сообщалось также, что агенты эти могут быть помилованы, но могут быть и расстреляны, если вдруг повторятся бандитские действия. В конце ноября его расстреляли в числе других на Пенкной улице, предварительно связав всем за спиной руки и залепив гипсом рот, чтобы никто не мог выкрикнуть «Да здравствует Польша!». Если бы нас даже заранее предупредили о месте и дате расстрела, мы не смогли бы его увидеть: сначала жандармы очищали от людей всю улицу, затем привозили в закрытых фургонах жертвы, ставили их к стене, уничтожали длинной очередью, кидали тела обратно в фургоны, и весь кортеж торопливо исчезал. Оставались лишь пятна крови на тротуаре да следы пуль на стене.

— Ты не будешь ночевать дома, правда? — спросила Тереса.

— Может, мы уедем куда-нибудь, а? — предложил я.

— В Венецию,— решила Тереса.— Ты замечательно описал мне ее.

— К сожалению, сезон уже кончился. В октябре идут дожди, и на площади Св. Марка воды по колено. В Венецию мы поедем весной.

---

[1] В хижине *(нем.)*.

[2] От нем. Gemein — здесь: солдатня.

А сейчас предлагаю съездить на несколько дней в Казимеж. Это очень красивый городок. Путешествие поездом длится не более десяти часов.

— Вот было бы здорово! — обрадовалась Тереса.— Люблю польский ренессанс, а кроме того, обожаю осень. Все эти золотые и красные краски облагораживают душу и так волнуют меня, что я готова полюбить первого встречного.

Мы остановились на углу Свентокшишской и Нового Свята. Наш разговор о путешествиях был навеян огромной надписью над домом, где прежде помещалось бюро по продаже билетов государственной лотереи. Тогда, до войны, над этим одноэтажным домиком сияла известная всей Варшаве неоновая реклама: «Ищешь счастья — загляни к нам!». Владельцы немецкого бюро путешествий не осмелились, однако, воспользоваться этим призывом и заменили его собственным: «Поезжай в Германию!» Они расхваливали удобнейший поезд, мягкий климат, красоту пейзажей, прелести работы на свежем воздухе в поле или на военном заводе, где щедро платили, и таких мест у них было хоть завались, по всей Германии. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь входил туда. Сюрреалистическое бюро не доставило, вероятно, ни одного парня, который заменил бы тех, в касках, занятых по всей Европе. Поэтому в нашей стране происходили массовые облавы и тысячи путешественников поневоле, подталкиваемые дулами автоматов, вывозились в вагонах для скота.

— А может, махнем в Германию? — спросил я.— Например, в Нюрнберг, поглядеть Вита Ствоша, или в Мюнхен — попить черного пивка? Или в Дрезден — полюбоваться на мадонну? А то еще можно и в Баден-Баден — подкрепить истощенный организм!

— До завтра,— сказала Тереса.— Нечего нам притворяться. Нам вовсе не весело.

Я пожал ей руку, ее светлые глаза блеснули в темноте, и мы разошлись каждый в свою сторону. Я почувствовал себя страшно одиноким. Если бы меня сейчас схватили, Тереса также ходила бы завтра с Густавом, думая обо мне и уверяя, что я не выдам. Всплакнуть-то она, наверное, и всплакнула бы, но повседневные дела заставили бы ее забыть меня, и только наедине с собой она, быть может, пожалела бы, что не подарила мне того, о чем я мечтал, прежде чем провалился в небытие. Эта мысль несколько утешила меня.

Я вскочил в трамвай и доехал до угла Алей Уяздовских и Пенкной. Здесь были густо расставлены ежи и надолбы, поскольку район был немецким и в нем жили все главари террора. Я шел уверенно, как человек, который настолько привык к виду часовых с оружием на боевом взводе, что не обращает на них ни малейшего внимания. Миновав Алею Руж, я свернул в Кошиковую и дошел до Алеи Пшиятюл. До войны эта улица считалась символом роскоши: здесь были построены превосходные, самые современные по тому времени дома для богачей, и плата за квартиру в них значительно превышала месячное жалованье среднего служащего. Теперь здесь под охраной жандармов жила вся гитлеровская знать: офицеры полиции, гестаповцы, служащие немецкой администрации и функционеры национал-социалистской партии. Я прошел по пустой улочке и вошел в один из домов. В его подъездах было чисто и просторно, стены были обшиты деревом. Лестница ярко освещена. Я позвонил в дверь на третьем этаже. Она тут же открылась: передо мной стоял мужчина в коричневом мундире. Я проскользнул в холл.

— Извини, что встречаю тебя в этом,— сказал он по-польски, указывая на мундир,— но я только что вернулся с собрания.

Мы пожали друг другу руки. Он ввел меня в комнату. На письменном столе высился большой «Телефункен», по которому передавали

танцевальную музыку. Радиоприемник, открыто стоявший в комнате на видном месте, поразил меня. Видно, конспирация стала моей второй натурой. Я переключил его на короткие волны и попытался поймать Лондон, «Голос Америки» или еще какую-нибудь станцию по ту сторону фронта. Комната наполнилась громким скрежетом и визгом.

— Малость потише,— улыбнулся хозяин дома.— Мой сосед гестаповец. Выпьешь водки?

Я снова поймал танцевальную музыку.

— Схвачен один из работников мастерской,— сказал я.— На организацию производства в новом помещении уйдет по крайней мере не меньше недели. Не приноси ламп в кондитерскую, пока я не дам тебе знать.

— Они у меня дома,— ответил тот.— Могут подождать здесь. Кто-то выдал?

— Нет, попал по собственной глупости,— вздохнул я, усаживаясь поудобнее в кресло.— И угораздило же его прямо в день моего рождения!

Мой хозяин просиял и налил мне рюмку сливовицы.

— Всего тебе самого лучшего! — воскликнул он, пожимая мне руку.— Через год, в это время, в свободной Польше! Прозит!

— Ну, тогда я закачу целый пир! — пообещал я и выпил.

Я очень любил его. Этот на редкость сердечный малый был готов на все и, казалось, совершенно не знал страха. Несколько месяцев назад мне порекомендовали его как специалиста по радиотехнике. Его заставили надеть немецкий мундир, поскольку он был силезским немцем, но он вырос среди поляков и ни за что не хотел воевать против них. Ему удалось отвертеться от фронта под предлогом какой-то болезни, он попал на предприятие Филипса и занял пост директора. Приходило в голову: уж не поражения ли немцев на фронтах толкнули его вступить ради будущего в подпольную организацию? Он оказывал нам огромные услуги, и я ни секунды не сомневался в его искренности. Позднее его отвага и презрение к смерти заставили и других отказаться от всяких предположений о его возможном корыстолюбии или расчетливости.

— Раз у тебя сегодня день рождения, получай подарок! — торжественно сказал он, открыл ящик стола и вынул «вальтер» калибра 7,65, новехонький и блестящий, о каком подпольщик мог только мечтать. Я жадно схватил пистолет, это был царский подарок.

— Густлик, ты гений! — вскричал я.

— Немцы сдали Смоленск,— сказал он,— но по-прежнему ждут чудодейственное оружие.

— Со дна ада! — угрюмо проворчал я.

— Это будет оружие, которое изменит ход войны,— пояснил Густлик.— Оно падет на врагов, как молния, низвергнутая Вотаном, разрушит Лондон и Москву и даже достигнет Нью-Йорка, плутократы, евреи и коммунисты станут просить пощады на коленях. Месть будет страшной! На, держи мой отчет.

И подал мне бумагу. Время от времени он составлял такие рапорты о моральном состоянии немцев в Варшаве. Я передавал их по служебной линии дальше. Немцы ожидали нового оружия, как иудеи прихода мессии.

— Бомба? — спросил я.— Огромная, как этот дом?

— Бомба. А может, снаряд дьявольской силы, который перепрыгнет моря и океаны,— ответил он.— Это обещал не только фюрер, но и Шпеер. А Шпееру верят все. Один обергруппенфюрер клялся мне, что вот-вот...

— Может, не успеют? — всерьез расстроился я, ибо вовсе не был склонен преуменьшать немецкие таланты в этой области.

— Может, не успеют! — ответил он.— Прозит!

И снова мне пришлось выпить. Уже пробило семь, и у меня оставалось немного времени. Я не имел права брать с собой этот пистолет перед самым комендантским часом, но мысль о том, что с ним надо расстаться, огорчила меня так сильно, точно я был ребенком, у которого отнимают игрушку.

— Можешь проводить меня? — спросил я.— Без необходимости мне нельзя ходить с оружием.

— Я могу тебя отвезти,— с гордостью ответил он.— Внизу стоит моя служебная машина. Вообще, вели всем быть поосторожнее, готовятся крупные облавы и всякого рода экзекуции. Варшава истечет кровью. Мы приняли решение покончить с нами,— добавил он с улыбкой.

— Может, вы не успеете?

— Может, не успеем,— согласился он.

Положение стало казаться мне довольно мрачным. Теперь уж мне действительно захотелось напиться, чтобы хоть немного отдохнуть от своих страшных мыслей, забыть об ответственности, заглушить любовь к Тересе, избавиться от возникавшего то и дело образа истязаемого Альбина. Но я был командиром Густлика и не мог обнаружить при нем своей слабости.

Это стремление не ударить лицом в грязь заставило меня несколько недель назад пережить тяжелое испытание. Одним из моих подчиненных был стоматолог, доцент университета, который открыл обычный зубной кабинет, чтобы не умереть с голоду. Во время одного из сборов он внимательно приглядывался ко мне, а когда я уходил, шепнул мне по секрету: «Пан поручик, у вас два передних зуба в большой опасности». Я подумал о Тересе, потому что только для нее мне хотелось быть красивым, и решил навестить доктора. Когда я пришел к нему, он начал сверлить мне подпорченный зуб, и в какой-то момент, когда сверло въехало слишком глубоко, я вдруг почувствовал дикую боль. Но я был его командиром и не мог позволить себе даже пикнуть! Что бы он подумал обо мне, начни я стонать и кричать от какой-то там бормашины?! Да он наверняка решил бы, что, оказавшись в гестапо, я сразу все выдам под пыткой, сообщу все адреса и фамилии, выдам и его самого! И я сидел в кресле не двигаясь, вцепившись в поручни мокрыми от пота руками, а кошмарная боль наполняла меня всего с головы до пят. Доцент чистил мой зуб старательно, не торопясь, довольный тем, что я так спокоен. Время шло адски медленно, на глазах у меня выступали слезы, и я думал, что вот-вот потеряю сознание. Это уже была самая что ни на есть пытка, наверное, гестапо не смогло бы причинить боли сильнее.

— Сполосните, пожалуйста,— сказал он наконец,— было не больно, правда?

— Было зверски больно! — спокойно сказал я.

Доцент с ужасом посмотрел на меня:

— То есть как?! Я был уверен, что это мертвый зуб! Как вы могли это выдержать? Почему вы не кричали?!

— А зачем кричать, если нет необходимости? — ответил я, небрежно пожимая плечами.

Это была моя маленькая победа над трусом и слюнтяем, который сидел во мне. В глазах доцента я был теперь человеком из железа, а этого-то мне и хотелось.

Мы с Густликом вышли на лестницу, и в ту же минуту в дверях

соседней квартиры появился коренастый мужчина с обезьяньим личиком под тирольской шляпой. Он окинул нас гестаповским взглядом и вскинул руку в приветственном жесте.

— Хейтлер! — гавкнул он.

— Хейтлер! — отгавкнул Густлик в ответ с не меньшей ловкостью.

Его сосед выглядел заправским мясником, и я без труда представил себе, как он бил ногами в живот или топтал сапожищами лица заключенных...

— Zur Arbeit?[1] — сочувственно спросил Густлик.

— Für die ganze Nacht[2],— пояснил довольно уныло столп режима.

Может быть, и в его башке мелькали мысли о том, что прежнее рвение теперь уже не имеет особого смысла, и вообще, того и гляди, придется драпать и прятаться от мести; что он избрал не самую лучшую профессию, а истязания людей явно себя не оправдывают и что, чем большее усердие он проявляет, чем больше выслуживается, тем падение будет ощутимее. Я бы многое дал, чтобы прочесть мысли этого индивидуума. Ведь он был совершенно новым для меня видом homo sapiens, рожденным в Европе в двадцатом веке, после стольких столетий терпимости, когда орудия пыток стали лишь экспонатами музеев. Я и сам всего несколько лет назад рассматривал их там вместе с отцом, испытывая дрожь от любопытства и ужаса, но это не касалось нас, европейцев двадцатого века, наследников девятнадцативековой надежды.

Мы спускались по лестнице первыми, он, верный своему профессиональному инстинкту, шел позади, и я не мог отогнать от себя мысли, что вот сейчас он вдруг накинется на меня сзади и потащит в свою камеру пыток. Ничего такого не произошло, он не искал жертв в доме, где жил. На улице соседи снова пролаяли друг другу «Хейтлер!», мы с Густликом уселись в маленький «оппель-кадетт», а сосед Густлика потащился пешком выполнять свои тяжелые обязанности. Конечно, я не сказал Густлику, куда еду, и только попросил его подвезти меня к парку Дрешера, откуда мне было уже рукой подать. Мы бодро проезжали мимо постов, патрулей и укреплений, опоясывающих район. Если кто-нибудь и заглядывал в «оппель», мундир Густлика делал свое дело. Близился комендантский час, и люди торопились добраться до дома, пронзительно звенели набитые битком трамваи, быстро скользили рикши.

— Я вчера был в «Палладиуме»,— сказал Густлик.— Смотрел цветной фильм «Купанье в ванне», конечно «только для немцев». Когда шлюха в фильме поливала всех мыльной водой из своей ванны, зал гоготал, а я не мог улыбнуться даже тогда, когда она съезжала в ванне с горки.

— Это говорит о том, что у тебя есть настоящее чувство юмора,— утешил я его.

— Не в этом дело,— поморщился Густлик.— Иной раз я тоже люблю посмеяться, когда кто-то кого-то пнет в зад. Но тут... Я все время думал: что я вообще делаю здесь, в этом кинотеатре, полном немецких мундиров, в самом центре Варшавы?.. Да мне просто все это снится... Летом, перед тем как вспыхнула война, я собирался открыть в Сосновце радиотехническую мастерскую. Барнаба, я боюсь, что спячу, не выдержу: выхвачу вдруг «вальтер» и начну стрелять в кого попало.

— Ну уж не вздумай! — сказал я властно.— Мы очень нуждаемся в тебе!

---

[1] На работу? *(нем.)*

[2] На всю ночь *(нем.)*.

— Я всего-навсего техник! Я не могу иметь два обличия!

— Будешь иметь их столько, сколько понадобится,— резко ответил я.— А потом, если переживешь войну, откроешь свою мастерскую и помрешь от скуки.

— Может, ты и прав,— сказал он и вдруг рассмеялся.

Когда мы доехали до парка Дрешера, улицы были уже совсем пусты. Я пожал ему руку, взял у него пистолет и сунул в карман. Кругом было темно и тихо, и я без препятствий добежал до виллы отца. Немцы ввели принудительное уплотнение, и отец самоуплотнился со свойственным ему чувством юмора: на втором этаже, в соседних комнатах, у него жили теперь еврей и немец. Старик и Ядя разместились в двух комнатах на первом этаже.

— Пришел! — сказал отец с улыбкой.— Ты, конечно, заночуешь?

— Вместе с этим.— Я вытащил пистолет.

Отец взял мой пистолет и положил в карман халата.

— Никто сюда за тобой не придет? — спросил он.

— А я никому не говорю, что у меня есть отец! — весело ответил я.

Отец смущенно улыбнулся. За эти четыре года он очень сдал: как-то полинял, виски у него почти совсем поседели, морщины стали гораздо глубже. Я вошел в бывшую гостиную, которая теперь служила столовой. Отец исчез, чтобы спрятать мой пистолет.

— Спасибо за посылки из Португалии,— сказал я, когда он вернулся.

— В разные времена бывают разные формы ухаживания,— заметил отец.— Я своим девушкам покупал бриллианты.

Не знаю уж какими путями, но моему старику удалось установить контакт с друзьями в Англии, и они оплачивали в Португалии посылки для Тересы. Отец ни о чем не спрашивал меня, но и сам ни словом не обмолвился о подпольной стороне своей жизни. Он однажды встретил меня с Тересой на улице, и тут же, старый шельмец, заметил что-то в моем взгляде, ибо на следующий день поздравил меня с красивой возлюбленной. Он даже и предположить не мог, что я до сих пор не сумел завоевать Тересу, а я ни за что на свете не стал бы разуверять его.

— Искренне завидую твоей влюбленности,— сказал отец.— Это самый лучший способ пережить тяжелые времена. Только страстная любовь и способна так затуманить глаза, что человек почти перестает видеть всю эту мерзость. К тому же любовь дает еще и силу побеждать страх, и ты становишься таким, каким тебя хочет видеть твоя драгоценная: смелым, благородным, непримиримым. Черт, если б я был моложе хоть на десять лет! Влюбился бы без памяти и чихал бы на все!

Тут как раз вошла Ядя. Напялившая в борьбе с нынешними сквозняками теплый жилет поверх толстого свитера, она ничем не напоминала Галатею довоенных времен, которая развлекалась с отцом в заграничных вояжах. В руках у нее была посуда — Ядя собиралась накрыть на стол. Я встал и церемонно поклонился ей. Она безрадостно улыбнулась в ответ. Война снова сделала ее прислугой, хотя по штату она и была хозяйкой дома. Отец, некогда изумительный чародей, превративший ее жизнь в сказку, теперь стал обыкновенным маленьким человеком, стареющим мужчиной в вылинявшем халате. Он требовал ухода и забот, взамен чего давал еду и жилье.

— Я бы тоже влюбилась, если бы не эта топка, уборка да готовка,— сказала Ядя с раздражением.— Тем более что мне не надо быть моложе на десять лет. И я не уродка вроде бы.

— Конечно! Ты действительно красавица,— признал отец со всей серьезностью,— а война придала тебе особую красоту. Ты перестала

быть куклой, которую возят по курортам и приемам, ты теперь полноценный товарищ, который делит со мной горькую участь и не покинет меня до конца моих дней. Рядом с тобой я не боюсь ни голода, ни холода, ни болезней, потому что сила твоего характера, закаленного в трудные годы юности, преодолеет любые невзгоды. Я горжусь, что оценил тебя и выбрал в спутницы, когда еще ничто не предвещало сегодняшнего ужаса.

Закончив свою тираду, он поцеловал ее мокрую от мытья посуды руку. Ядя, наверное, не могла понять, говорит ли отец серьезно или подсмеивается над ней — он был большой мастер шутливо говорить о серьезных вещах и, наоборот, говорить серьезно о смешном.

— Ладно, ладно, вот надоест мне здесь, я уйду и не вернусь больше,— проворчала Ядя на всякий случай.— Уж лучше ездить с матерью в деревню за продуктами. По крайней мере хоть заработок будет стоящий.

— Что ты говоришь, Ядя! — ужаснулся отец.— Ты готова облепить свое прелестное тело кусками сала и свинины, как все эти торговки, которые обманывают жандармов? Вложить меж персей масло? А что будет, если жандармы все-таки разглядят твою красоту? Они же вытащат тебя из вагона и отправят в военно-полевой бордель!

— Тогда я убегу к какому-нибудь богатому купцу или спекулянту! — не сдавалась Ядя.— Вон сколько людей только сейчас и разбогатело по-настоящему! У меня будет прислуга, десять пар танкеток, духи «Коти», двадцать платьев и мешок золотых двадцатидолларовых монет, а перед домом меня всегда будет ждать рикша!

— Хорошо, что только ты один и слышишь эту болтовню! — сказал мне отец.— Кто-нибудь другой мог бы ей еще и поверить. Эта девушка горячо любит меня и способна ради меня на самые великие жертвы. Да что там, она готова отдать за меня свою молодую жизнь! Сознание этого укрепляет во мне мои пошатнувшиеся устои.

— Так я тебе и отдала свою молодую жизнь,— проворчала Ядя, но спорить перестала.

Она уже накрыла на стол и принесла всевозможные колбасы и ветчину. Отец вынул бутылку «рябиновки» и открыл коробочку сардин. Несмотря на все, они жили не так уж плохо. Я подозревал, что старик прячет где-то золото и валюту, а ограничений придерживается лишь из принципа, не желая выделяться своим благополучием среди повсеместной нужды. На руинах своего предприятия он создал новую контору — техторгбюро, помещавшееся в одной комнатке на улице Вильчей, где производилась торговля электромоторами. Это также приносило ему кой-какой доход. Лишь позднее я узнал, что под вывеской этого бюро действовала разведка, изучавшая военную промышленность «генерал-губернаторства». Отношения между нами не позволяли мне задавать отцу лишние вопросы.

— Итак, забудем на минутку о действительности,— сказал отец, разливая водку по рюмкам.— Мы празднуем день рождения Юрека, моего единственного сына! Кто знает, может, через год, в это время, тебе и удастся поехать в Сорбонну? Я пью именно за это, мальчик!

Он чокнулся со мной, а я с Ядей. В этот день я поистине весь пропитался алкоголем. А от Сорбонны я был далек так же, как от луны. Я услышал над головой тихие шаги: это ходил по комнате еврей, до войны — торговец автомобилями. Ему удалось удрать из огромного здания суда на Лешне, где судили также и евреев из гетто, и в тот же вечер он постучал в дверь отцова дома. Нынче он проживал под именем Яна Забелло, инженера-конструктора, и то ли со страху, то ли из потребности действия так увлекся своей вымышленной профессией, что, обложившись книгами, изучил за год полный курс политехническо-

го института. Впрочем, ему посчастливилось выйти целым из этой резни, и после войны, хотя ему уже было почти сорок, он все же получил диплом инженера. Сейчас он совершал ежедневную прогулку по комнате, шагая из угла в угол и считая шаги: он должен был пройти в день не менее пяти километров.

— Как и все дамы в Варшаве, Ядя тоже учится английскому. Уроки ей дает наверху пан Забелло. Это красивый брюнет из Восточной Польши, по-видимому, в его жилах есть и татарская кровь, а похож он на грека или итальянца. Я даже боюсь, как бы чего между ними не вышло. Из него, должно быть, так и бьет эротизм, ведь он больше года не касался женщин.

— А меня хотят мужчины, которые касались женщины даже за минуту до встречи со мной! — возмутилась Ядя.— Но если ты считаешь, что этому бедняге следовало бы облегчить страдания, я готова пожертвовать собой. Это будет мой скромный вклад в дело войны.

— Ты заметил, как правильно она говорит по-польски? — восторженно воскликнул отец.— Я тебя еще пять лет назад уверял, что она очень способная!

— Боже, я прожила с ним уже пять лет! — простонала Ядя.— Пять лучших лет моей жизни!

— Ну, разумеется, лучших! — согласился отец.— Когда меня не станет, ты будешь плакать по ночам от тоски и горя! Ты даже еще и не понимаешь как следует, что я для тебя значу!

Как обычно, я думал о Тересе. Каждый вечер меня отделял от нее комендантский час. Если б она только захотела, я женился бы на ней сию же минуту, и тогда мы вообще не расставались бы. Я так размечтался, так явственно почувствовал ее в своих объятиях, что у меня даже кровь вдруг прилила к лицу. И все же я мгновенно услышал урчание мотора и писк шин затормозившего возле дома автомобиля. Я бросился к балконным дверям, чтобы выскочить в сад, а там перепрыгнуть через забор и удрать через соседнюю улочку. Моя молниеносная реакция уже дважды спасла мне жизнь.

— Стой! — вскричал отец.— Это же Ульманн!

Я забыл о его жильце-немце. Не снимая ручки с задвижки балконной двери, я подождал с минуту, но вместо гестаповского грохота в дверь услышал легкий скрежет ключа в замке. Я вернулся на место. Ядя разглядывала меня с неким восхищением, видно, я ей казался военным ковбоем, с бедра стреляющим в эсэсовцев на улице. Такой репутацией можно было вскружить голову не только ей, но меня-то угораздило наскочить на Тересу, воспитанную на сенкевичевских традициях. Ее верность фотографии злила меня, но и вызывала восхищение. Если бы она, наконец, пала мне в объятия, я требовал бы от нее такой же преданности до самой смерти. Немалую роль в этом играл отталкивающий пример отца, который давал волю своим капризным вожделениям. В двадцать два года я был приверженцем любви до гробовой доски. Я не мог еще понять, что накал моих чувств увеличивали препятствия. Лишь позднее, когда настала эпоха упрощений в сердечных делах, завоевание любимой перестало ассоциироваться у меня с верностью на всю жизнь. Но это уже были иные любви.

Машина рявкнула и уехала, хлопнула входная дверь, минуту спустя на пороге появился немец в форме лейтенанта вермахта. Я всегда сначала смотрел на оружие немца, а потом уже на него самого. По торчавшей из кобуры рукоятке я узнал парабеллум, жильца же этого видел впервые. Это был Ульманн — один из работников «Оппеля», довоенный партнер отца по торговле автомобилями. Будучи мобилизованным, он укрылся от фронта в Варшаве, где пристроился комендантом авторемонтных мастерских. Однажды вечером он тоже постучал к от-

цу в дверь: военное гетто было ему нестерпимо, и он раздобыл разрешение снять комнату в городе. Ремонт машин приносил тогда не меньше прибыли, чем и теперь, и к отцову жильцу подлизывались даже генералы. Отец не отказал ему, что привело меня в ярость. Следовало, я считал, невзирая на последствия, захлопнуть дверь у него перед носом.

И вот он стоял на пороге — полноватый мужчина в очках, с улыбкой на добродушной физиономии. К сожалению, его мундир делал из него моего смертельного врага. Я хорошо знал немецкий, но не собирался произнести на этом языке ни полслова. Отец улыбнулся своему жильцу.

— Входите, пожалуйста,— пригласил отец.— Может, рюмочку водки?

Ульманн вошел в комнату, поцеловал руку Яде, пожал руку отцу и улыбнулся мне.

— Это мой сын,— представил отец.

Я смотрел на немца так, что он с минуту поколебался, прежде чем протянул мне руку. Я с бешенством оглянулся на отца, но он показал мне глазами, что надо поздороваться. Пришлось пожать немцу руку. Он сел за стол.

— Ваш сын считает меня врагом, и формально он прав,— сказал Ульманн.— Нося в Варшаве этот мундир, я рискую получить пулю из-за угла. Можете порадовать вашего сына, все это продлится уже недолго.

— Несколько сотен тысяч вы еще успеете уничтожить,— зло ввернул я по-польски. «Рябиновка» сделала меня более откровенным, хотя это не меняло сути дела.

— Господин Ульманн ремонтирует автомобили,— спокойно пояснил отец.

— А если бы я ему предложил доливать в бензин воды или насыпáть в цилиндры песку, он бы согласился? — спросил я.

— Сомневаюсь,— ответил отец.— Он всегда был страстным любителем хорошей работы.

— Потому что он, наверное, еще не верит в поражение Германии! — воскликнул я.— А отремонтированные им фургоны везут людей на казнь!

Ульманн, видно, что-то понял, потому что быстро замахал рукой.

— Извините, молодой человек! — теперь он обращался непосредственно ко мне.— Я ни разу не выстрелил из этого пистолета и, бог даст, ни разу не выстрелю до конца войны. Я не умею стрелять, у меня очень слабое зрение. К сожалению, меня никто не спрашивал, надо ли завоевывать Польшу. Диктатура никогда не спрашивает мнения граждан, она все знает лучше, чем они. А вообще-то по натуре я либерал и предпочитал бы торговать здесь «олимпиями» и «кадеттами». Увы, мы живем во времена, когда никто не может делать то, что он хочет. Нам дозволено только носить мундир и дружно, хором, кричать до тошноты одни и те же идиотские лозунги.

— Господин Ульманн оказал тебе доверие,— заметил отец с едва ощутимой иронией.— Ты мог бы донести на него в гестапо, и он был бы отправлен в концлагерь или погиб бы на Восточном фронте.

— На меня пусть не рассчитывает,— ответил я.

Наш спор был внезапно прерван: где-то на улице послышались выстрелы. Должно быть, молодчики с берегов Рейна заметили в темноте, как кто-то куда-то скользнул.

— Не о чем нам говорить,— буркнул я.

Воцарилась тишина. Выстрелы за окном тоже утихли.

— Удалось ли вам узнать что-нибудь о Соболевском? — спросил отец, и я сразу же утратил всю свою воинственность, ибо речь шла об отце Тересы.

— Я все еще жду известий,— ответил Ульманн.— Мне приходится действовать со всей осторожностью. Тот человек тоже боится, там ведь все доносят друг на друга. Надо найти какой-нибудь очень убедительный довод, чтобы освободить его.

— Но он же ничего не сделал! Ни в чем не виноват! — воскликнул я по-немецки, забыв, что еще пять минут назад бойкотировал этот ненавистный язык.— Он только вошел в квартиру своего коллеги, почтового работника!

— О, это уже очень много! — улыбнулся Ульманн.— Вы же, наверное, знаете, по какому принципу действуют засады — так называемые «котлы». Ну ничего, попробуем сделать из него сумасшедшего.

— Еще неизвестно, не сошел ли он с ума на самом деле! — воскликнул я.— Больше года в Освенциме! Вы знаете, что это такое?!

— Слышал, к сожалению,— ответил Ульманн.— Мы сделаем из него опасного душевнобольного и сначала переведем его в больницу за пределами лагеря.

— Да они же уничтожают сумасшедших на месте! — вскричал я.

— Человек, который может помочь, придет в мастерскую за машиной,— сказал Ульманн.— Я должен действовать осторожно. Положитесь на меня.

И взглянул мне в глаза. В его словах все же была надежда на то, что Тереса не получит коробку с прахом отца.

— Полагаюсь,— ответил я.— У меня нет другого выхода.

Господин Ульманн улыбнулся мне, встал и совсем не по-военному поклонился:

— Спасибо. Желаю всем доброй ночи.

И ушел. Я слышал, как его сапоги застучали по лестнице, а потом у меня над головой.

— Если бы у каждого в доме был такой немец, было бы легче пережить все это,— сказала Ядя.

— Не раздражай именинника глупыми рассуждениями,— сделал ей замечание отец.

— Почему ж глупыми! — Такая забота о моем настроении рассмешила меня, и я улыбнулся.— У всех, как и у вас, был бы кокс для обогрева дома, и все круглосуточно пользовались бы электроэнергией. К сожалению, не у всех есть виллы, да и добрых немцев явно маловато для наших нужд.

— Весь район косо смотрит на нас,— сообщил отец.— Считают наш дом подозрительным.

Отец в последнее время пил немного, что-то у него прохудилось в кишках от его бывшей роскошной жизни, а врачи велели быть поосторожнее еще и с сердцем. Война крала у него последние, оставшиеся до старости, годы, и он, наверное, с отчаянием наблюдал, как они уплывают один за другим. Но ни о чем таком он никогда не говорил и вообще не показывал виду, что ему туго, и за это я уважал его. Сейчас за окнами была тишина, но я подсознательно все время ждал, что вот-вот ее взорвут новые очереди автоматов или у дома запищат шины. Этот их писк снился мне еще много лет после войны, и я иногда вскакивал с кровати, готовый выпрыгнуть в окно.

— Я пошла спать,— сказала Ядя, зевая.— Завтра опять начинай все сначала.

Я подумал о завтрашнем дне. Мне надо было заскочить домой, чтобы проверить, не навестил ли меня кто-нибудь ночью, а потом явиться на службу. Магистр Яновский объявил об очередном «упоря-

дочении дел»; он был совершенно не в силах понять хоть что-нибудь во вверенных мне делах — в папках этих царила сплошная неразбериха. И сегодня мне предстояло «упорядочить» все дела, чтобы завтра же внести в них еще большую путаницу. Магистр Яновский, по всей вероятности, скоро сойдет с ума. Я вдруг снова представил себе, как избитый Альбин валяется на полу в гестапо, и меня тут же начало тошнить. Я не мог просить отца о спасении еще одного человека, Ульманн наверняка отказал бы со страху: две такие просьбы вызвали бы у его клиента-гестаповца весьма серьезные подозрения. Я взглянул на часы: до полуночи и, следовательно, до окончания моего дня рождения оставалось еще почти два часа. День этот, как и многие другие, я до краев заполнил деятельностью — это давало мне силы держаться.

Ядя ушла в спальню. Я должен был спать здесь, на тахте отца.

— Ну что ж, сынок,— сказал отец.— Война, можно сказать, уже позади. Может, нам даже удастся выйти из нее целыми и невредимыми. Важно, что будет дальше. Здесь будут происходить самые разные вещи.

— И, конечно, ты уже знаешь, как Польша будет выглядеть после войны?

— Сюда придет коммунизм,— ответил отец.— Он уже недалеко.

— Ты беседовал со Сталиным?

— Я разговаривал со многими другими. Это неизбежно.

Тогда я не считал это неизбежным. Наоборот, все мое воспитание, все с детства привитые мне понятия в высшей степени отрицали коммунизм как таковой. Ничего, кроме ужасов, я о нем не читал и не слышал.

— И что ты собираешься делать? — спросил я отца.— Спокойно ждать?

— Я уже однажды мог бежать отсюда,— напомнил он.— Теперь ты получал бы от меня посылки через Португалию.

— А какими же машинами ты будешь торговать? — засмеялся я.— Тебя посадят в кутузку или же вовсе пристукнут.

— Может, так, а может, и нет,— улыбнулся отец.— Я ведь инженер-механик. И вообще, я раз и навсегда решил мучиться в своей стране. А вот тебя я могу отправить за границу после поражения Германии.

— В Сорбонну? — фыркнул я.

— Как бы там ни было, а кончать хороший университет лучше, чем плохой.

— За границу я поеду только на каникулы,— грубо ответил я.

Над нами хлопнула дверь. Послышался смех Ульманна.

— Они с Забелло подружились и играют вместе в карты,— пояснил отец.— Забелло говорит, что ежедневное общение с человеком, на груди которого красуется свастика, хорошо действует на его психику.

— Ульманн знает, что Забелло еврей?

— Мы не касались этой темы,— ответил отец.

— Лишь бы только это все не кончилось плохо,— вздохнул я.

— Да разве сейчас угадаешь, что может плохо кончиться? — пожал плечами отец.

Он был очень спокоен, даже казался довольным чем-то. Видно, игра, которую он теперь вел, увлекала его больше, чем торговля «крейслерами» и очередные матримониальные перипетии. Может, он, наконец, дождался той великой минуты, когда в азартной игре мог поставить на кон жизнь?

— Пойду! — вдруг поднявшись, сказал я, к изумлению отца.

— Ты с ума сошел? — воскликнул он.— Ведь комендантский час давно наступил!

— Я должен идти.

Отец внимательно взглянул на меня:

— Рискуешь, как глупый щенок.

— Мне обязательно надо.

Больше он не пытался отговаривать меня. Сила, которая заставила меня выйти в убийственную тьму, не отступила бы ни перед какими доводами.

— Извини меня,— прошептал я.— За пистолетом я приду завтра.

— Если доживешь,— только и сказал отец.

Он поцеловал меня в щеку и погасил свет, чтобы открыть балконную дверь. Я выбежал в сад, а там, сорвав с клумбы три георгина, как потом оказалось — красный, желтый и фиолетовый, пролез через дыру в заборе и побежал по тропинке между садиками. Алеи Неподлеглости я достиг очень быстро. Здесь начинались поля, тянувшиеся до самого Оконте. На углу Одынца одиноко торчал недостроенный шестиэтажный дом. Я быстро направился к нему. От улицы Нарбутта, куда я торопился, меня отделяло кварталов пять-шесть. Темнота и пустынность улиц навевали мысли о совершенно безлюдном городе, где все население арестовано или расстреляно и только каратели все еще кружат в поисках жертв. Теперь я уже шел по застроенным улицам. Вдруг послышался рокот мотора. Я решил не прятаться и продолжал идти по тротуару, размахивая цветами. Автомобиль приближался медленно, освещая дорогу ручейками лучей, которые пробивались сквозь специальные отверстия в затемнении фар.

И все же я не выдержал напряжения: в последнюю минуту отпрянул в нишу подворотни и, трусливо прижавшись к запертым воротам, пряча за спиной светлые пятна цветов, стоял не двигаясь, пока машина не проехала. А потом быстро побежал на цыпочках, чтоб производить поменьше шума. Я снова был трусливым зайцем во ржи, окруженным охотниками,— стоило высунуть нос, как тут же прогремели бы выстрелы. Эта ситуация противоречила моему идеалу рыцарской битвы лицом к лицу, с открытым забралом. Спасая свое достоинство, я заставил себя перейти на спокойный шаг.

В нескольких метрах от улицы Мадалинского я услышал немецкую речь и гортанный смех. Я не бросился наутек, хотя вдоль моей заячьей спины прокатилась парализующая судорога страха, а в висках застучал взбесившийся пульс. Выставив вперед цветы, я продолжал идти как человек беззаботный и чуть под хмельком. Из-за угла на Алею выползло пятеро солдат. Один из них рассказывал анекдот, остальные гоготали. Солдат, заметивший меня первым, мгновенно положил руку на кобуру пистолета — ведь они постоянно боялись, что ночью на них могут напасть польские бандиты,— но тут же успокоился, увидев, что я продолжаю мирно шествовать, помахивая цветами: любовник, идущий на свидание. Остальные только внимательно оглядели меня, но не окликнули. Лишь когда я миновал их, позади послышался грозный вопрос по-немецки: «А что он тут делает ночью, этот поляк?» — и сразу же ленивый ответ: «Брось, Герман, пусть этим занимается полиция!» Раньше, когда они перли вперед, они вели себя иначе: в 1940 году я удирал, прыгая по столикам кафе до самой кухни, где спрятался в подвале, а за мной с пистолетами в руках гнались двое летчиков, пытавшихся изуродовать или пристрелить меня только потому, что им не понравился мой взгляд. Они долго бегали по двору и по улице, а я рассматривал из подвала их сапоги. Тогда я впервые услышал, какую чушь о Польше и поляках вбивала в головы своих граждан официальная немецкая пропаганда. Не было

ничего удивительного, что немецкие летчики с таким удовольствием бомбили нас.

Я беспрепятственно добрался до дома Тересы. Будить привратника в моем положении было бы сверхглупостью, поэтому я обошел дом, перелез через высокий забор и пробрался к черному входу, который всегда был открыт. Взбежав по лестнице, я тихо постучал в дверь условным знаком. Открыла перепуганная Тереса. В голубой ночной рубашке она выглядела как в бальном платье. Я протянул ей георгины:

— Непременно хотел нынче преподнести тебе эти цветы.

— Не шути,— прошептала она, беря георгины.

— А я вовсе и не шучу. Я должен был это сделать. Что-то заставило меня принести их тебе, не понимаешь?

Она не ответила и ввела меня в свою комнату. Возле тахты шипела карбидная лампа, рядом лежала брошенная книга: «Психология толпы» Ле Бона. Я сел. Дольше тянуть было уже нельзя.

— Квартира у меня накрылась,— соврал я.— Если разрешишь, я посплю до утра в этом кресле.

Тереса смотрела то на меня, то на цветы. Подозревала, что я лгу? До сих пор я никогда не прибегал ни к каким уловкам и вообще не пытался как-нибудь подействовать на нее.

— Когда в дверь позвонили, я выскочил в сад, а там перемахнул через забор,— пояснил я.— Должно быть, они пришли за кем-то, кто скрывался на втором этаже особняка. Извини, Тереса, ты живешь ближе всех...

— Господи,— ужаснулась Тереса,— хорошо еще, что там был сад и забор. Появись они здесь...

Она задрожала. Я дотронулся до ее руки, она задрожала еще больше. А я даже и не подумал о том, что вот она стоит передо мной голая, в одной тоненькой рубашке. Мое чувство к ней было столь благородным, что тепло ее руки целиком заменяло мне прочие телесные наслаждения.

— Пойду согрею чайник,— быстро сказала она.— Заварю тебе настоящего чая из Португалии. Вот в какой роскоши мы закончим день твоего рождения.

Спустя некоторое время Тереса вернулась с двумя стаканами и несколькими кусками торта, над которым надругались жандармы. По комнате разнесся восхитительный аромат чая. Обычно теперь все пили вместо чая подслащенный сахарином отвар из разных придорожных трав. Хоть я и встал сегодня, когда еще не было семи, мне совсем не хотелось спать. Мы принялись за праздничный пир. Внезапно все, чем я жил весь этот день, кануло во тьму. Увидев светлеющий уже от зорьки край неба, я воспарил мечтами к лучшему будущему и даже на фотографию херувима возле тахты взглянул без всякой злобы.

— Мы будем жить долго и прекрасно! — сказал я.— И у нас всегда будет настоящий чай! Когда все это кончится...

— Когда все это кончится, исчезнут все волнения,— сказала Тереса с некоторой иронией.— Жизнь пойдет как по маслу, уйдут в прошлое морозные зимы, появятся южные фрукты, и толпы счастливцев будут танцевать на улицах ночи напролет.

— Да! Именно так и будет! — подтвердил я.— А мы поедем в Венецию и проведем там самые прекрасные дни в нашей жизни! Эта картина живет в моем сердце, и она так великолепна, что мне хочется воспеть все это в стихах, хоть я и не поэт. Вот мы сидим с тобой на солнышке, у аркад, что против Дворца Дожей, а вокруг лениво, не торопясь, кружит беззаботная толпа, над нами гудит колокол, белый большой корабль движется к лагуне, розовые стены дворца темнеют, потому что заходит солнце, вот мы допиваем «кампари», встаем, идем

на площадь, а там уже понемногу заполняются ряды кресел и зажигаются огни вот сейчас на подиуме появится дирижер, выйдут певцы...

Тереса улыбалась, но глаза ее были опущены. Карбидная лампа догорала, пламя в ней дрожало, вода булькала, вот-вот могла начаться страшная вонь, и надо было кончать банкет. Тереса вынесла карбидку, а я приставил к креслу стул и попробовал улечься на них. Слышно было, как Тереса шепчется с матерью, через минуту, однако, она уже вернулась, подняла, потянув за шнур, штору оконного затемнения, открыла форточку и села на кровать. Голова ее ясно вырисовывалась на фоне бледневшего окна. Вдруг я услышал, как она тихо-тихо всхлипнула. Я подбежал к ней. На глазах у нее блестели слезы.

— Тересочка, не надо... Я тоже мог бы разреветься, но как бы мы завтра оба выглядели, а?

— Да я совсем и не плачу! — ответила Тереса.— Я немножко простудилась, когда таскалась на эту Прагу. Давай спать, ладно? А то мне уже скоро вставать. Надо помочь Забаве перевезти радиостанцию.

— После обеда я сдам тебе новый пистолет на склад,— сказал я.— Это единственная польза от сегодняшнего дня.

— Черный день был,— подумала вслух Тереса.— Спокойной ночи, Юрек.

— Спи спокойно, Тереса,— шепнул я, коснулся ее руки и вернулся на кресло.

Так закончился день моего двадцатидвухлетия.

24 СЕНТЯБРЯ 1944 ГОДА — МОЕ ДВАДЦАТИТРЕХЛЕТИЕ

Этот день рождения снова пришелся на воскресенье, как и пять лет назад, в 1939 году. Я проснулся в подвале сразу же после шести утра, и вокруг еще звенела тишина. На соседнем матрасе никого не было. Видно, мой заместитель Витольд уже умчался проверять, как действуют вверенные ему указвки. Я откинул одеяло, натянул сапоги, заправив бриджи в голенища, и вышел из котельной. Вдоль стены большого подвала спало человек десять ребят и девушек, все в серо-стальных рабочих комбинезонах из дешевого материала. После шумного вчерашнего дня тишина еще баюкала их, и они еще что-то видели во сне, но кое-кто уже с неохотой открывал глаза. Я подошел к табурету в углу, на котором стоял таз, налил черпаком из ведра воды, умыл лицо и руки — большего я не мог себе позволить. После этого я надел американскую военную куртку времен первой мировой войны, в которую были упакованы автоматы, сброшенные нам в контейнере с канадского самолета. Тереса выстирала ее, подштопала и пришила к погонам звездочки, вырезанные из консервной банки. За маленьким окошком уже виднелось серое небо и ветвь яблони без листьев, облетевших от взрывных волн. Я отправился в маленький подвальчик. Здесь у коммутатора сидела Тереса. Коснувшись в знак приветствия ее плеча, я взял трубку и услышал чей-то голос:

— Четыре «пантеры» на Пулавской от станции железной дороги... Все. Нет, еще не все! Еще три «пантеры»... в восьмистах метрах от Круликарни...

Я вернул Тересе трубку.

— Наверное, пришел наш черед, Юрек.

— Сегодня пятьдесят пятый день восстания,— сказал я.— Сколько времени может продолжаться такое восстание в Варшаве?

— Сегодня же день твоего рождения,— вдруг вспомнила Тереса.— Примите наилучшие пожелания, пан поручик!

Она встала, шутливо вытянулась в струнку и поцеловала меня в щеку. Я на минуту задержал ее в объятиях.

За этот год между нами произошло очень многое. Примерно через месяц после моего дня рождения (помню, что это было в субботу и что жандармы отплясывали в городе свой кровавый танец) как-то после полудня я появился у Тересы, чтобы просмотреть полученную почту и отправить свою еженедельную. Я слегка запыхался, так как удирал, точно заяц, из трамвая на Маршалковской. Тереса открыла мне дверь с таким мрачным и растерянным видом, что я приготовился услышать какую-нибудь трагическую новость. Первым делом я подумал, что, наверное, пришло извещение о смерти отца в Освенциме. Такие послания ежедневно приносили почтальоны, вестники несчастья. Атропы тех времен. Семью Тересы парализовал даже сам вид почтальона: стоило ему появиться во дворе, как Тереса с матерью следили за ним из окна кухни, прислушивались к шагам по лестнице, разглядывали, что у него в руках — письмо из лагеря военнопленных или же извещение из крематория.

— Что случилось? — спросил я, леденея от тревоги.

— Ромек вернулся,— прошептала Тереса.

Ромек и был тот самый херувимчик с фотографии, Офелия из лагерного театра, патриотическая повинность Тересы. Самые разные чувства охватили меня, но больше всего мне хотелось, чтобы он поскорее убрался отсюда ко всем чертям.

— Его освободили?

— Он бежал,— пояснила Тереса.— Ищет связи. Мы должны свести его с нашими. Пошли.

Не дожидаясь, пока я очухаюсь от этой новости, она ввела меня в комнату. Тот, кого я искренне проклинал все эти годы, стоял у окна, разглядывая собственную фотографию. Он несколько похудел, возмужал и, пожалуй, утратил свою детскую миловидность, а в глазах его я, к собственному удивлению, заметил блеск решимости. Нет, это не был тот изнеженный плакса и слюнтяй, который жил в моем воображении.

— Мой командир, поручик Барнаба,— представила меня Тереса.— Он знает о тебе все, Ромек.

— Кроме того, как вы бежали,— добавил я, пожимая ему руку.

Его пожатие было по-мужски энергичным. Нет, слюнтяем был не он, а я... Меня охватили самые горькие предчувствия. Мы взглянули в глаза друг другу. Не знаю, прочел ли он мои мысли или же приписал хмурое выражение моего лица суровости подпольщика.

— Мы бежали из лагеря втроем,— сказал он.— Те двое тоже ищут связи с организацией через старых товарищей. Я знал, что Тересочка не может остаться в стороне. Она слишком благородна и непримирима для этого.

Он взглянул на Тересу с такой любовью, что у меня все внутри перевернулось.

— Вас могут искать здесь, пан поручик,— сказал я, немедленно приняв тон командира, понимающего свою ответственность.— У вас же с Тересой была постоянная переписка.

— Я сейчас же исчезаю отсюда! — согласился он.— Но должен же я был хоть посмотреть, как живет моя Тереса...

Я взглянул на Тересу. Она опустила глаза. Положение ее было не из завидных, за свое благородство она расплачивалась сейчас мучительными переживаниями. Ромек нежно взял ее руку и поцеловал с почтением и галантностью, которую, как видно, он сумел сохранить в лагере наряду с другими добродетелями. Мы здесь уже давно не целовали рук нашим девушкам, относясь к ним как к товарищам по

борьбе. К сожалению, даже самая боевая девушка-солдат, готовая стрелять и погибать, тоже в конце концов не устоит перед цветами, нежным лобзанием рук и вообще перед всей этой довоенной галантностью. Мой соперник, явившийся как привидение с того света, в этом отношении был для меня опасным противником. Хоть проклинай ротозейство лагерных стражников!

— Вы не сказали, каким образом вам удалось бежать,— поспешил напомнить я, чтобы прогнать от себя гнусные мысли.

— Да тут не было ничего особенного,— улыбнулся Ромек.— Мы просто вышли через ворота. Двое оставались узниками, а третий переоделся стражником.

— Но откуда же вы взяли мундир, винтовку, документы?

— Мундир из полотна, винтовка из деревяшки, документы нарисовали тушью,— пояснил он.— Когда сидишь столько лет, от отчаяния можно сделать все.

Тереса украдкой поглядывала на Ромека, сопоставляя свое представление о нем с живым человеком. Должно быть, она испытывала сейчас тяжелое потрясение: то, что до сих пор было идеей, долгом и достойным чести самопожертвованием, обернулось вдруг носом, губами, ногой и, что хуже всего, мужчиной, который слишком долго постился. Я попытался представить себе мою любимую, мою Тересочку, эту монашку по призванию, в объятиях изголодавшегося самца... От ужаса кровь ударила мне в голову.

— Должен признаться, я был инициатором этого побега,— продолжал Ромек.— И обязан этим Тересе. Ее письма ободряли меня. Они не только поддерживали во мне жизнь, они не позволяли мне опуститься, поддаться лагерной депрессии. Я черпал в них силу, надежду, веру, и мне было наплевать, что в обед нас кормили жидким супом или что нам дали слишком мало картошки на ужин. Когда меня одолевало малодушие, я вынимал ее письма, читал их от первого до последнего, и мне снова хотелось жить, действовать, бороться... Поэтому наш побег удался. Я вступил в лагерный театр, чтобы все там подготовить для побега. Немецкий мундир я сделал из костюма Офелии.

— Да здравствует Шекспир, пан поручик! — воскликнул я с деланной веселостью.— А путешествие через Германию?

— Заняло три недели,— ответил Ромек небрежным тоном, словно речь шла о пустяке.— Из-за бомбежек поезда ходили нерегулярно.

В ответ на такую скромность мне оставалось лишь и самому быть как можно скромнее: кисло улыбнувшись, оставить их вдвоем.

— Отведешь пана поручика к Сатане,— сухо распорядился я.— А он свяжет его с кем надо. Желаю успеха, пан поручик. Вы явились в горячую пору. Они пробуют раздавить нас.

— После бездействия в лагере — это живительная обстановка,— улыбнулся Ромек.— Я все еще не могу поверить, что я уже здесь, с вами. Мне хотелось бы начать действовать как можно скорее.

— Вы покинули самое надежное убежище во всей гитлеровской империи,— сказал я.— В офицерских лагерях для военнопленных живут спокойно даже евреи.

— Именно поэтому я и уехал оттуда,— ответил он.— Там немцы придерживаются женевской конвенции, а здесь убивают всех подряд. Такая несправедливость невыносима!

Я написал заявку о выдаче Ромеку документов, условился с Тересой и вышел. В этот день жизнь казалась мне пустой, несмотря на то что я беспрерывно что-то делал. Мой соперник был из числа людей-монолитов, а они всегда пробуждали во мне зависть. Служение Родине было для них понятием всеобъемлющим и не подлежащим обсуж-

дению: Родине следовало отдать жизнь, и они никогда не проявляли страха, выполняли любой, даже самый безумный приказ, готовы были по собственной инициативе совершить самый отчаянный, самый смелый поступок. Устремленные лишь к одной цели, они никогда не совершали подлостей и не пробовали их совершить, поддавшись страху. Они принадлежали к очередному поколению порабощенного и угнетенного народа, который ради сохранения духа был вынужден провозгласить смерть на поле брани величайшим благом. Это были наследники Польши шляхетской, Польши романтической и Польши мученической, Польши — твердыни и Польши подавленных восстаний. Недалекие в своих убеждениях, националисты поневоле, убежденные в духовном превосходстве поляков, они сражались за Польшу, образ которой вынесли из прочитанных книг. Это была Польша гусаров и девиц из дворянских гнездышек, Польша мазурки Домбровского и смерти князя Юзефа в водах Эльстера, Польша подхорунжих из «Ноябрьской ночи» и мелкопоместной шляхты, сложившей головы на берегах Немана во время январского восстания[1]. Целиком поглощенные идеей независимости, они не умели и не хотели видеть социальных проблем, от которых, как они утверждали, несло миазмами востока: ведь сами-то они не испытывали притеснений, и голод им тоже в глаза не заглядывал.

Со дня приезда Ромека моя жизнь очень изменилась. Работа в условиях конспирации развела нас в разные стороны, и в следующий раз я увидел его лишь спустя несколько месяцев на одном из собраний, где было довольно много народу. Он весь так и светился энергией, желанием действовать. Тересу, однако, я видел почти ежедневно. Боясь, что Ромека могут искать у нее, мы перенесли наши деловые свидания из ее дома в другое место. Но гестапо появилось в поисках беглеца не у нее, а у матери Ромека в Кельцах, и, конечно же, безрезультатно, поскольку он ни разу там даже не показал носа. Между мной и Тересой установился молчаливый уговор — мы никогда не говорили о Ромеке. И все же он как бы стоял между нами при каждой встрече. Я стал держаться неестественно, фальшиво, был постоянно раздражен. Мне было известно, что Тереса встречается с ним. Но я продолжал утешать себя мыслью, что физическое присутствие чужого, по сути, человека положит конец этому плакатному самопожертвованию. В разговорах с ней я принял нарочито товарищеский тон, перестал бросать на нее пылкие взоры и ни разу, даже случайно, не коснулся ее руки. И с радостью отмечал про себя, что Тереса перестала даже улыбаться.

Иногда я терзал сам себя, точно мазохист, пытаясь отгадать, удалось ли Ромеку затянуть ее в постель. Что-что, а уж это ему полагалось по всем правилам сей благородной игры. И часто вечерами при мысли об их переплетенных телах кровь ударяла мне в голову. Он снимал где-то комнатку, и они, должно быть, вытворяли там бог знает что. Тереса, наверное, отдалась ему с блеском отчаяния в глазах и пошла на это сжав зубы, будто отправлялась на бой, превращая это столь приятное обычно занятие в еще одну жертву на алтарь отечества. Я упорно гнал от себя мысль, что она могла бы полюбить его, да и весь вид ее ничем не напоминал счастливой девушки, переживающей медовый месяц.

[1] Юзеф Понятовский (1763—1813) — известный политический деятель, участник восстания Костюшко; мазурка Домбровского — марш польских легионов, созданных в составе французских войск в 1797 г. генералом Яном Генриком Домбровским, соратником Костюшко; подхорунжие из «Ноябрьской ночи» — имеются в виду герои одноименной драмы польского классика С. Выспянского о польском восстании 1830 г.; январское восстание — польское национально-освободительное восстание 1863—1864 гг.

Действительность доставляла нам все больше потрясений. Чем ближе был конец войны, тем острее разгоралась борьба, тем больше становилось жертв. Каждое утро я вставал, отмечая со вздохом облегчения, что ночь прошла спокойно и возле дома не раздался скрип тормозящей машины. Каждый вечер я радовался, что прошел живым через весь день. Это немного напоминало состояние человека, сраженного инфарктом и ожидающего смертельного исхода болезни: ежедневно утром ему кажется, что это произойдет именно сегодня, и он благодарит бога за каждый подаренный день. И хотя ему ясно, что удар наступит наверняка, в минуты хорошего настроения он тешит себя иллюзией, что именно его-то судьба пощадит и ему удастся проскочить мимо, побыть в живых по крайней мере еще один годик. А я был совершенно здоров и с отвращением отталкивал от себя всякую мысль о смерти.

Борьба со страхом требовала много усилий. Не подать виду, что он одолевает тебя, и хотя бы внешне выглядеть как тот полковник, что погиб в сентябре тридцать девятого, защищая Круликарню, или как этот поручик Ромек, который без денег и документов пересек всю до отказа нашпигованную жандармами Германию с такой легкостью, с какой современные молодые люди путешествуют по Европе автостопом. Если Тереса заметит эту разницу между нами, я погиб! Когда все вокруг требует борьбы, девушка не может любить слабака и слюнтяя, даже если он обладает прекраснейшей душой и незаурядными талантами. Я тоже чувствовал себя рожденным для высших целей (для каких именно, я еще не знал) и пробовал утешиться мыслью, что в духовном отношении превосхожу этого монолита Ромека, взращенного только для борьбы, готового к внезапной смерти без каких-либо колебаний, этого благословенного простака, не знающего, что такое скептическая мысль и книги философов, подвергающих сомнению все и вся.

Таким образом, я дошел до гнусной попытки подкрепить свою трусость философией. К сожалению, это помогло немного. Варшава 1943 года даже и не снилась ни одному философу, а их произведения не давали ответа на главные вопросы: как пережить эту ежедневную резню? Какую занять позицию? Следовало, конечно, положиться на свою интуицию и здравый смысл. И я старался быть рыцарем без страха и упрека не только перед Тересой, а это давалось мне с большим трудом.

Я боялся, что Тереса попросит перевести ее в отряд Ромека, но ничего подобного не произошло. Она по-прежнему безупречно справлялась со своими обязанностями, и я никогда не мог ее ни в чем упрекнуть, разве что в излишней браваде и энтузиазме: она то и дело выполняла задания, не входившие в ее обязанности. К сожалению, я беспрерывно ощущал присутствие в городе Ромека: он появлялся среди нас всегда улыбающийся, влюбленный в Тересу, убежденный в ее взаимности, ухаживающий за ней с величайшей галантностью. Он совершенно пренебрегал опасностью и вообще был исполнен восторга от всего, что с ним происходит.

В один из декабрьских дней 1943 года, когда я выходил от Тересы после какого-то собрания, впереди вдруг мелькнула красивая физиономия Ромека. Он стоял в очереди у продовольственного магазина, и я миновал его, ничем не выдав нашего знакомства, ибо так предписывали законы конспирации. Он, однако, нагнал меня и прошептал:

— Я ждал вас!

— Хорош подпольщик! — буркнул я.

— Я не хотел говорить обо всем при Тересе,— пояснил он.— Завтра я уезжаю.

— Не спрашиваю куда, потому что вы, надо полагать, все равно мне не скажете.

— Далеко,— ответил он, не смущаясь моей сухостью.— И неизвестно, когда вернусь. Я хочу, чтобы вы знали это.

— В наших условиях чем меньше знаешь, тем лучше.

— Между мной и Тересой все кончено,— сказал он.— Действительность и ее мечта оказались слишком далекими друг от друга.

Тут уж я взглянул на него. Должно быть, он заметил, как блеснули у меня глаза.

— Вы, вероятно, понимаете, что я не мог принять такой жертвы, а она не умеет притворяться или лгать. Если бы я не бежал из лагеря, я мог бы тешить себя иллюзиями до конца войны. Знаете ли вы, что мы даже назначили день свадьбы?

— А может, вы ошибаетесь? — спросил я.— Может быть, вы были бы хорошими супругами?

— Ясное дело, мы были бы хорошими супругами,— ответил он.— Но этого мало. Писать письма в лагерь — одно, а жить вместе — совсем другое. Тереса делала все, чтобы я ни о чем не догадался, но это было сильнее ее. И я вскоре понял, что она не любит меня, что она стала жертвой собственной экзальтации... Я освободил ее от всех обязательств. Вы понимаете, это было совсем не просто для меня, потому что я очень, очень полюбил ее.

Все сказанное им должно было невероятно обрадовать меня, но вместо этого его благородство лишь раздражило меня. Редко кто в его положении — ведь это был молодой, сильный, прекрасный мужчина! — признался бы, что девушка не любит его и не хочет, хотя он сделал все, чтобы завоевать ее и удержать рядом. Этот херувим снова дал мне урок. Я молчал.

— Позаботьтесь о ней,— добавил он минуту спустя.— Вы знаете ее лучше...

Некоторое время мы шли молча.

— Можете быть спокойны, пан поручик, — сказал я наконец.

— Догадываюсь, что и вы ее любите. Если только я был преградой...

— Это очень благородная девушка,— ответил я.

Теперь уже было сказано все. Ромек остановился.

— Привет! — сказал он.— Я тороплюсь.

Мы пожали друг другу руки, и он ушел быстрым шагом, немножко смешной в своем потертом пальтишке. В иные времена он был бы салонным львом, любимцем женщин и вообще плейбоем. Я постоял на углу, пока он не исчез в темноте.

Больше я Ромека не видел. Его послали курьером в Берлин, поскольку он блестяще знал немецкий. Снабженный первоклассными документами, он без труда добрался до Берлина, но там, в гостинице, его настиг ночной налет англичан. Извлеченный из-под развалин в бессознательном состоянии, он был перевезен в больницу, где, по-видимому, сказал что-то в бреду по-польски, и какой-то из добропорядочных немцев — товарищей по несчастью обратил на него внимание гестапо. Проверив как следует его документы, они не трогали его две недели, дав ему подлечиться, а потом перевезли к себе и переломали ему в своих застенках все кости и ребра, которые уцелели во время налета. Разумеется, он не вышел оттуда живым.

Как я теперь понимаю, эти мои воспоминания никогда не возвысятся до уровня литературного произведения, потому что едва сложится та или иная ситуация и наметится конфликт или драма, позволяющие глубже проникнуть в психологию героев, как кого-то из них

сражает внезапная смерть. И наш драматический треугольник тоже был разрушен не нашими поступками, а вмешательством гестапо.

О смерти Ромека мы узнали в январе 1944 года. Конечно, я ничего не говорил Тересе о моем последнем разговоре с ним, и внешне после его отъезда в наших с ней отношениях ничего не изменилось. Однако в день его отъезда я не смог утерпеть и преподнес ей букет алых роз.

Известие о смерти Ромека оказалось для нее сильным ударом, она не смогла сдержать слез. Я сидел рядом, с мрачной, как на похоронах, миной, готовый, как и она, оплакивать смерть своего соперника. Оказалось, что хотя его уже не было в живых, а может быть, именно поэтому, он продолжал стоять между нами. В естественном порыве я обнял Тересу за плечи, она не сопротивлялась, но я чувствовал в ней лишь печаль и скорбь. Мы сидели так довольно долго, и мне пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не обнять ее покрепче, — сердце мое учащенно билось. Я чувствовал рядом это теплое тело любимой, но не сделал ни малейшего движения, чтобы не спугнуть ее и не оскорбить. Наконец, она заговорила:

— Он из-за меня поехал туда, я виновата в его смерти, понимаешь?!

— Чепуха! — горячо воскликнул я.— Никто теперь не повинен ни в чьей смерти! Он же поехал туда по приказу! Да и вообще он всегда искал опасности, какое это имеет к тебе отношение?!

— Это он из-за меня искал опасности! — Тереса была безутешна.— Я не сумела... Мой долг был любить его. Если б ты знал, как он мучился!

— Надо было сразу порвать с ним! — не удержался я.

— Ну что ты! Слишком много мы наворотили в этой нашей переписке... Назад пути не было. Я решила выйти за него замуж.

— Глупые принципы! — проворчал я.

— Конечно глупые! — неожиданно согласилась она.— Но если бы я их нарушила, я была бы еще несчастнее. К сожалению, я не сумела притворяться. Он искал во мне пылкой любви, а меня все это так мучило, что я встречала его мрачным молчанием вместо радостной улыбки. Но хуже всего было...

Она умолкла. Надо было терпеливо ждать. Женщина всегда скажет то, что хочет сказать.

— Ты, наверное, понимаешь, что я имею в виду,— прошептала она.— Когда дошло до этого, я расплакалась от боли и стыда... Но как я могла сказать «нет», я же поклялась в письмах хранить ему верность до самой смерти! Он все понял. Я даже не ожидала, что он окажется таким чутким. Большинство мужчин считает, что они дают девушке величайшее счастье, а если она, глупая, малость поплачет,— подумаешь, велика беда! Он постарался уехать... И когда прощался со мной, уже не сказал ни слова о нашей свадьбе. Наоборот, он сказал, что мы ничего не можем загадывать, что сейчас не время основывать семью, поскольку вся наша жизнь принадлежит Польше, что он будет теперь исчезать на длительное время и, может быть, вообще не сумеет увидеть меня до конца войны. Я сразу поняла, что он дает мне возможность изменить прежнее решение. Я не знала, что он едет в Германию... И согласилась на все. Он поцеловал меня в лоб, улыбнулся и спокойно, как, впрочем, и всегда, ушел.

Она снова умолкла. Я плохо чувствовал себя в роли приятеля, с которым делятся интимными переживаниями. Увы, я понимал, что мне придется проявить еще много терпения, пока память о Ромеке сотрется временем. Я ждал.

— Извини, что я рассказываю тебе об этом,— снова начала она, помолчав.— Но я могу говорить об этом только с тобой.

— Можешь сказать мне все. Ты самый для меня близкий человек.

— Спасибо,— прошептала она.

Ей явно хотелось сказать еще что-то, но она колебалась. Наконец она решилась.

— Я беременна! — с трудом выдавила из себя Тереса.

Это уже был выстрел прямо в сердце. Я снял руку с ее плеча и встал.

— Наверняка? — глупо спросил я.

— Наверняка,— подтвердила она.— Ты должен помочь мне.

— Не понимаю...

— Я не могу иметь ребенка,— сухо сказала она.— Это слишком большой риск. Я, вероятно, не переживу этой войны.

— Ты что, с ума сошла?!

— Я прошу тебя помочь мне,— повторила она.— Если ты не хочешь, я сделаю все сама.

Конечно, я не отказал ей и неделю спустя проводил ее к одному коновалу, которого мне порекомендовали товарищи. Он принимал на Краковском Пшедместе и вовсе не делал секрета из своего нелегального в то время занятия: разве немцы могли иметь что-нибудь против умерщвления плода каких-то поляков? Это лишь экономило их собственный труд. Тереса отправилась туда как на казнь. К счастью, в городе шли облавы, и нам пришлось добираться кружным путем, так что, когда мы уже оказались у цели, времени для траурных церемоний не осталось. Я просто не отдавал себе тогда отчета, каким психическим потрясением может оказаться аборт для девушки такого склада, как Тереса. Ее угнетенное состояние я принял за одну из форм женской истерии: в эпоху внезапных смертей удаление плода не могло казаться мне величайшей трагедией.

Коновал встретил нас радостной ухмылкой. Несмотря на то что еще не пробил полдень, от него несло водкой. Когда я представил ему жену, он понимающе подмигнул мне и повел к себе отчаянно взглянувшую на меня Тересу. В приступе алкоголической эйфории он даже обнял ее за плечи. Хоть в данном случае я страдал за грехи покойного и все это не должно было бы волновать меня, я очень тяжело прожил последующие два часа. В голову мне приходили самые ужасные мысли, хотя люди, имевшие дело с хозяином этого дома, предупреждали меня, что он, как правило, оперирует в нетрезвом состоянии, но ему все чрезвычайно хорошо удается, и он, богатея, покупает под Варшавой один земельный участок за другим.

Я выскочил на улицу и начал кружить по городу без всякого смысла и цели, мысленно молясь всем святым, потому что перед глазами у меня неотступно стояла бледная как призрак Тереса. Время тянулось бесконечно, и я продолжал бегать по кругу: Краковске Пшедместе, Новы Свят, Ордынацкая, Коперника, Карася — рядом с прежним Польским театром, где теперь играли только для немцев «Веселую вдову», и, наконец, по Обозной снова до Краковского Пшедместя. Выскочив в очередной раз с Обозной, я лишь минуту спустя сообразил, что попал в самую гущу облавы: жандармы запихивали мужчин в фургон. Пути к отступлению не было, и я, не замедляя шага, прошел по опустевшему тротуару через кордон молодчиков из Баварии или Восточной Пруссии, стоявших ко мне спиной. Никто не остановил меня — ведь Тереса нуждалась во мне! Вскоре мне удалось найти извозчика, которому я пообещал кучу денег, если он подождет нас, и подъехал к дому доктора.

Тот вышел ко мне в коридор, со своей пьяной ухмылочкой на лице.

— Женушка еще лежит,— сообщил он.— Все прошло прекрасно, она большой молодец, поздравляю вас с такой красивой и изящной подругой. Но в будущем все-таки будьте поосторожнее и уж не вздумайте пользоваться нынешними презервативами. Это же эрзацы, они все лопаются! У меня из-за них руки от работы немеют...

Он засмеялся, а меня затошнило. Я сунул ему деньги, он ушел и через минуту вывел Тересу. Она была очень бледна и еле передвигала ноги. Я взял ее под руку, и мы сошли вниз, медленно ступая со ступеньки на ступеньку. В пролетке она полулежала, тупо глядя вдаль, а я держал ее за руку, и так мы проехали весь Новы Свят. Помню, что шел густой снег, что на самом углу Алей Ерозолимских вермахтовский «вандерер» сшиб рикшу с пассажиром и на мостовой валялись два трупа — жертвы гололедицы, неудачники военных времен, закончившие жизнь так нелепо... Тереса ничего этого не видела. Я поднял воротник ее пальтеца, и ей не было холодно. Жандармы уже набили фургоны людьми и исчезли. Когда мы доехали до дома, я помог ей добраться до квартиры. Она заглянула в комнату матери, совершенно нормальным голосом сказала (мать ни о чем знать не должна была!), что в городе уже все спокойно, и наконец, дотащившись до своей комнаты, рухнула на тахту. Я немного посидел возле нее, но меня еще ждало множество встреч, так что надо было бежать дальше. Мы говорили только о делах, я приказал ей, как советовал коновал, лежать три дня в постели.

— Смотри, буду проверять ежедневно! — предупредил я. —Я не позволю тебе лишаться здоровья из-за...

Я не докончил фразы. Она молча посмотрела на меня, и я почувствовал, что благодаря этому чертову самаритянству очень выигрываю в ее глазах. Это был жалкий способ завоевания женщины, требующий невероятной терпеливости, самоотречения, подавления в себе естественных рефлексов, против чего бунтовала вся моя натура. К несчастью, я втюрился в Тересу по уши. Меня вдруг охватила злость.

— Спасибо тебе, Юрек,— сказала она, кладя свою руку на мою.

— Хуже нет связываться с девицами, у которых есть принципы! — проворчал я со злостью.— Уж тут-то тебя обязательно вляпают в какую-нибудь кретинскую историю!

И, спустив таким образом благородную драму Тересы с небес, я с достоинством удалился. На следующий день я принес ей цветы, купленные за взятку, которую получил в парфюмерном магазине.

Несколько месяцев потребовалось Тересе, чтобы оправиться от перенесенного потрясения. А за это время произошли самые разные вещи: гестапо, можно сказать, уже припирало нас к стенке. В апреле мне пришлось окончательно сбежать из дому и расстаться с финотделом. Меня предупредили о провале в последнюю минуту, и я ночевал по соседству с собственным домом, а гестапо в это время крушило там мою мебель и вытряхивало из мешочков крупу. Однако табурет с документами уцелел, как уцелели и ночник с радиоприемником, и бабушка, сидевшая в своем кресле гордая, исполненная презрения.

Я увидел ее в этом же кресле, но уже лишь в 1946 году, она была серьезно больна. «Вот и ты, внучек! — сказала она при виде меня после двух лет разлуки.— И как это тебя не застрелили?» — «Но ведь и вы, бабушка, пережили все это!» — ответил я. «Тьфу! — поморщилась она.— Стоило выживать, чтобы теперь так волноваться до самой смерти! Да знаешь ли ты, сколько стоит нынче курица? Сто пятьдесят злотых!»

Гестапо забрало из альбома мою фотографию и показывало ее арестованным на Алее Шуха, а на двери моей комнаты налепило бумажку с печатью: «Reichsministerium des Inners»[1].

Пришлось немедленно менять шкуру. Еще несколько месяцев назад я расстарался и достал себе целый комплект настоящих документов на другую фамилию. Процедура эта требовала времени: через доверенных лиц я получил в Черняковском приходе метрику на имя Збигнева Кравчинского. Этот Кравчинский был старше меня на год и погиб в сентябре тридцать девятого, а может быть, и жил где-нибудь вдали от Польши. С помощью наших людей в городском управлении я прописал этого Кравчинского (конечно, дата тоже была проставлена прошлогодняя) у моей далекой родственницы на Грохове, после чего, хоть и с некоторой дрожью в коленках, лично отнес в паспортное бюро его метрику, справку о прописке и заверенные фотографии. Спустя месяц я без всяких хлопот получил кеннкарту — фальшивую, ибо на Кравчинского, но настоящую, ибо выданную немцами. С помощью отца я раздобыл документы о том, что работаю монтером в фирме электроуслуг. Так что в течение некоторого времени у меня было два комплекта совершенно легальных, неоспоримо подлинных документов: один — на имя Ежи Бялецкого, другой — на Збигнева Кравчинского. И когда за Ежи Бялецким пришло гестапо, я на следующий же день, уничтожив его документы, влез в шкуру Кравчинского и поселился у своей родственницы, некоей пожилой незамужней дамы, которая была в восторге от того, что в ее бедной событиями жизни появился молодой мужчина.

В то время мы копили оружие и боеприпасы, готовясь к последней схватке за свободу. Гестапо вскоре вынуждено было заняться собственными делами: его сотрудники теперь усиленно ломали голову, как бы, не прослыв дезертирами, смыться до прихода фронта, потому что польская земля уже горела у них под ногами, а мысль о Красной Армии лишала сна. В июле, перед самым покушением на Гитлера, вернулся домой отец Тересы, живые мощи, одно воспоминание о здоровом и веселом человеке. Господин Ульманн сдержал слово. К сожалению, я не смог даже поблагодарить его: за несколько месяцев до того его перевели на Восточный фронт, потому что от фронта уже не освобождали никакие связи. «Проваливаюсь во тьму»,— сказал он, уезжая, отцу. Оттуда он уже не вернулся.

Я не раз задумывался, почему всегда погибают самые честные, а негодяи, как правило, выходят из всех передряг целехонькими. Это касалось не только войны, это происходило в любой критический период истории. Самый большой моральный капитал человечество накопило среди преследуемых и погибших, и уж особенно это касается, пожалуй, истории нашего народа. Отец Тересы не хотел говорить об Освенциме, пока немцы были в Варшаве, он уже достаточно настрадался. «Дай боже, дети, чтобы вам не пришлось увидеть ад при жизни», — только и сказал он. Он почти все время молчал, много дремал, почти ничего не ел, а руки у него беспрерывно дрожали. Его возвращение не было радостным. Но вскоре в городе вспыхнуло восстание, и кончилось время, когда можно было проливать слезы над чьей бы то ни было судьбой.

Однако вернусь к своему дню рождения. Итак, я стоял, держа в объятиях Тересу, которая поздравила меня и поцеловала в щеку. Щелкнули опавшие клапаны, и ей пришлось отойти к коммутатору, снова поступали сообщения о танках. Было уже шесть утра, и Тереса передала дежурство Кристине, маленькой девушке со светлыми воло-

[1] Министерство внутренних дел *(нем.)*.

сами. Это была та самая Кристина, возлюбленная Альбина, делавшего наши указовки. Она пришла к Тересе через несколько месяцев после расстрела Альбина и попросила принять ее в организацию, чтобы, как она выразилась, «искупить вину за его смерть». Когда-то для этого шли в монастырь, теперь она пришла к нам.

Пользуясь тишиной, дежурные принесли в подвал завтрак. Как всегда, он состоял из куска хлеба, искусственного чая и искусственного меда: фабрику, выпускавшую этот мед, мы захватили, овладев районом. От сладкого у меня тут же заныли зубы, в которых были дырки, и несколько минут я страдал от ужасной боли. Ребята подходили за завтраком, быстро съедали его, кляня мед, и сразу же отваливали спать, потому что ночью мотались на линии. Никаких особых приказов я не отдавал, да и о чем? Ведь сейчас, в 6.30, только и действовали линии связи, что между командованием да отрядами, засевшими в полуразрушенных домах по улицам Пулавской, Воронича, Алеи Неподлеглости и Алеи Шустра. Не готовилось ли случайно наступление танков на Круликарню? Эта Круликарня была для меня неким символом: точно пряжка она соединяла в моем сознании начало и конец войны. Мы здесь ходили воевать за несколько улиц от собственного дома. Наверное, солдаты великих держав, которых забрасывали на далекие фронты за несколько тысяч километров от родины, позавидовали бы нам: мы дрались с комфортом, не зная никаких эшелонов, погрузок-разгрузок или форсированных маршей. Можно было пешком дойти от дома до поля боя и остаться там навеки.

Я вышел в сад покурить. Вилла, в подвале которой мы укрывались, еще держалась, хотя стены ее от постоянных сотрясений покрылись трещинами и достаточно было какого-нибудь пинка, чтобы она рухнула и погребла нас под собой в подвале. Подумать только, что еще месяц назад мы танцевали здесь в салоне, освещенном люстрой, и я прижимал к себе Тересу под звуки «Tea for two»[1] из хозяйской коллекции пластинок, что мы блаженствовали, пользуясь роскошной ванной, и рассматривали с ребятами японский порнографический альбом, оказавшийся среди позолоченных томов шедевров литературы!

Ныне перед калиткой торчали скелет сожженного польского «фиата-508», реквизированного нами для нужд связи, и изрешеченная осколками будка часового, которого я давно оттуда убрал. Часовой этот, впрочем, был с самого начала вооружен винтовкой без затвора, правда, это не имело значения: после четырех лет жизни в подполье нам хотелось создать настоящую военную обстановку. А в случае чего часовой должен был хрястнуть подозрительного прикладом по башке. На деревьях вокруг из-за постоянных взрывов не осталось почти ни одного листика. В сад вышел, покончив с завтраком, вагоновожатый, сержант Овца, комендант центра связи. В частных разговорах мы были с ним на «ты». Он натянул глубоко на лоб свой темно-синий форменный берет с белым орлом и значком «V», что равно могло означать как его сержантское звание, так и «Victoria», то есть «Победа».

— Тереса нынче про твой день рождения напомнила,— сказал он.— Сам знаешь, Юрек, я тебе всего самого лучшего желаю, но кричать «ура» не буду, не могу, мы за эти пять лет так наорались, дальше некуда. Когда на Виленской, помнишь, угол Таговой, мы с покойным слесарем пили за твое здоровье, нас вовсю лупили по заднице и немцы побеждали. Нынче, спустя пять-то лет, нас, конечно, опять по заднице лупцуют вовсю, но и немцам тоже достается, и к тому же у нас на глазах.

[1] «Чай для двоих» *(англ.)*.

Мы накурились с ним до остервенения, обсуждая всю безнадежность нашего политического и стратегического положения, ничтожные шансы на помощь, намерения стратегов, а также пагубность влияния хорала «С дымом пожаров», который лондонское радио включало после каждой передачи для Польши. Только посвященные знали, что этот хорал служит условным знаком, означавшим, что сегодня ночью сброса груза с самолетов не будет. Большинство считало исполнение этого хорала траурной церемонией над нашей общей могилой — столичным городом Варшавой. Никто при жизни не любит участвовать в панихиде за упокой собственной души.

— На этот раз с трамваями будет похуже,— сказал я.— Не хватает не только вагонов, но и улиц. Просто жуть до чего много улиц исчезло. Пожалуй, тебе придется сменить профессию. Будешь, например, водовозом. Как ты на это смотришь, а?

— Еще несколько дней, и всем нам каюк,— мрачно ответил он.— Наши тела сгниют под развалинами, и сами мы исчезнем навсегда из истории. Ты как думаешь, Юрек, будет народ считать нас героями или нет?

— Неужели это имеет для тебя такое значение?

— Я ведь вдову с двумя детишками оставляю, которые, может, и выживут в Воломине, а сам разрушаю свой родимый город, да еще с жизнью прощаюсь, что ж, полагается мне хоть что-нибудь или нет?

— Не знаю, запомнит ли вообще кто-нибудь все наши фамилии,— вздохнул я.— Может, мы будем неизвестными повстанцами? Но меня еще в школе учили, что герои погибают, а народ продолжает жить. Наша смерть — еще не конец света, и история пойдет своим чередом.

Мне не хотелось делать обобщений по поводу нашего положения, и неудобно было вслух обвинять в поражении командование. Все мое существо бунтовало против смерти, и я не хотел верить в нее, несмотря на свои иронические разговорчики. Когда первого августа около двух часов дня я мчался на велосипеде, чтобы поспеть к месту сбора повстанцев, я мечтал только пережить ближайшую ночь. Казалось, что мы или сразу завладеем Варшавой, или сразу погибнем. Тем временем возникла идиотская ситуация: шла к концу восьмая неделя восстания, а смерть все еще была впереди, все еще поджидала нас. Притаившись, она то и дело выхватывала кого-нибудь, пожирала одного, но пробегала мимо другого, все еще продолжая забавляться игрой в свою проклятую лотерею.

В течение этих недель немцы занимались тем, что, несмотря на небольшой гарнизон, систематически, по плану, улицу за улицей разрушали Варшаву. Они работали с утра до вечера, не жалея снарядов, бомб и мин. Трудно сказать, сколько бы времени им потребовалось, чтобы сровнять с землей миллионный город, пользуясь старыми средствами разрушения (атомная бомба тогда только дозревала в лабораториях). Если бы не осложнения на фронтах, они, вероятно, разделались бы с городом за неделю. Средства для разрушения Варшавы были наспех выделены из прифронтового резерва, где и так всего было в обрез. Сюда перебросили артиллерию, минометы, авиацию и всевозможные подразделения второго эшелона: от жандармов и саперов до снятых с самолетов летчиков, а также отряды власовцев, украинских, литовских, латвийских фашистов. А вчера наши линейщики на Пулавской прочитали на рукаве мертвого блондина «Герман Геринг».

Значит, немцы оттянули с фронта танковую дивизию «Герман Геринг»! Она должна была с ходу проутюжить город танками, используя внезапное затишье на Висле, ликвидировать этот мелкий варшавский инцидент и проследовать дальше для выполнения более важных задач.

Взгляните на гигантский размах Восточного фронта и на город Варшаву, сдавленный между огромными армиями. Тридцать тысяч сопляков вздумали нарушить гармонию мировой стратегии! «И лишь Варшава над твоей глумится силой!» — писал сто одиннадцать лет назад великий романтик[1]. Но теперь ее можно было разрушить до основания.

Это варшавское восстание грызло немцев как слепень, который впился в зад и высасывает кровь, отчего зад и зудит и болит, а убить слепня нельзя, потому что руки и ноги все время заняты, все мышцы до предела напряжены, но тело все равно ползет назад под напором силы, удержать которую оно не в состоянии. Едва напор этот хоть на минутку ослабнет, высвободившаяся рука хлопнет по заду и раздавит слепня.Так выглядело наше положение.

На Круликарню должны были наступать танки дивизии, носившей имя Германа Геринга — героя первой мировой войны (двадцать две победы в воздухе), человека ренессанса, изверга, который любил напяливать на себя лиловое кимоно и красные чулки, вора, который крал произведения искусства, Петрония гитлеризма, занятого игрой в детскую электрическую железную дорогу, разложенную на полу, гордеца, рейхсмаршала и «великого егеря», второго человека режима и его шута.

Увы, танки «пантеры» были не шутовскими, а грозными, последней, 1943 года, модели: вес 45,5 тонны, толщина лобовой брони 120 миллиметров, пушка 75 с большой начальной скоростью, мотор 600 лошадиных сил, великолепнейшее достижение этой войны, верх немецкой техники, экипаж — пятеро парней, люди в Европе бывалые, не новички, но удивленные, поди, этим наступлением на дымящийся город тут же за их линией фронта, где в них стреляют засевшие в развалинах исхудалые бандиты с пылающими глазами, а из подвалов выползают ослепшие дети. Они готовились сейчас к охоте в этих развалинах-джунглях так же, как их беззаботный патрон — к охоте на крупного зверя в своих лесах близ Берлина.

— Это же ты говорил, что умирать, мол, надо со смыслом, а? — снова заговорил вагоновожатый.— Дыму-то мы на весь свет напустили, а толку что? Ладно уж, если б это на войну повлияло, а так... И вообще, что у нас имеется против нынешних бомбардировщиков, танков, минометов? Не старомодные ли мы среди ихней техники? Я лично, пан поручик, так думаю: хотя нашу отчаянную борьбу, может, кое-где и отметят, но в душе-то они только посмеются над нами. Вот, скажут, поляки психованные! Жертвуют собой и столицей своей почем зря, без всякого понимания политической и стратегической обстановки. Ведь просто так погибают, чтоб только доказать, какие они разэтакие смельчаки... И это у самого порога победы!

— Мы с тобой, Овца, слишком давно знакомы, чтоб я тебе пытался внушить казенный оптимизм,— сказал я.— Да, у нашей борьбы нет шансов на победу, но ведь мы не можем судить объективно! Мы же смотрим с близкого расстояния, а большое по-настоящему видно всегда только с соответствующей дистанции. И может, именно это восстание окажется великой датой в нашей истории...

— А мы будем добродушно ухмыляться да поглядывать с неба, как ее торжественно отмечают,— добавил с иронией вагоновожатый.— Да, Юрек, в общем, крупно нас облапошили.

— Нельзя поддаваться отчаянию,— сказал я без особой уверенности.— А вдруг нам еще удастся выскочить из этого пылающего дома?

[1] Адам Мицкевич. «Редут Ордона».

На этот риторический вопрос я уже не получил ответа, поскольку со всех сторон завыло, засвистело и заревело — начался обстрел бешеной силы. Мы побежали в подвал. Маленькая Кристина металась у коммутатора.

— Ванда не отвечает! — воскликнула она взволнованно.

— Через пять минут вообще никто не ответит,— мрачно сказал я.

Теперь вокруг стоял однообразный гул, а дом беспрерывно трясся. Я не мог поверить, что он выдержит до вечера. Спавшие уже проснулись и быстро вставали — погибнуть лежа им почему-то не хотелось.

— Линейщикам приготовиться к выходу! — крикнул вагоновожатый и выразительно взглянул на меня.

Я знал, что на деле это, конечно, был сизифов труд. При такой интенсивности обстрела ни один кабель не выдерживал больше пятнадцати минут. Связь осуществлялась только с помощью связных и указок, отчего теперь неожиданно возникла новая проблема: «пантеры» и «тигры» пользовались той же частотой, что и мы, поэтому мы слышали друг друга. После ураганного обмена польскими и немецкими ругательствами мы были вынуждены замолчать, чтобы немцы не догадались, где находится наше командование. Мой заместитель, Витольд, который всегда был на первой линии, решал на месте, не воспользоваться ли в виде исключения передатчиком.

Я наткнулся на внимательный взгляд Тересы. Как и всегда в ответственные моменты, она ожидала моего слова. Я по-прежнему старался выглядеть в ее глазах цельной натурой, хотя женская интуиция, вероятно, подсказала ей правду обо мне. Такого обстрела, как сейчас, мы еще не знали, но я не мог оставаться с ними в этом подвале, корчась от страха в ожидании, пока нас засыплет или пока сюда нагрянут танки дивизии «Герман Геринг».

— Сейчас вернусь! — крикнул я и взбежал по лестнице наверх. Крыша виллы еще держалась, хотя взрывные волны и осколки смахнули большую часть черепицы. Чтобы не застрять в подвале, не дать страху загнать себя в угол, я что было сил помчался на чердак, где занял свой наблюдательный пост у слухового окна. В блаженно тихие вечера августовского спокойствия я наблюдал отсюда уничтожение сначала Старого города, затем Повисля и Срюдместя. Уже по одному тому, как летели бомбардировщики, я догадывался, какую часть города они сейчас примутся молотить. Их было не больше восемнадцати, этих стервятников. Они взлетали на моих глазах один за другим и летели, выстроившись журавлиным клином по три штуки или по шесть. Потом они пикировали над районом, подлежавшим обмолоту, сбрасывали свой груз, возвращались на Окенте и приземлялись. Пока самолеты загружались новыми бомбами, летчики успевали перекинуться друг с другом словечком и снова подымали машины в небо. В течение всех этих недель ни с одним из них ничего не случилось. Это была обыкновенная работа, однообразная, как вождение трамвая, да и аэродром находился тут же, возле цели. Нынче так работают самолеты, опыляющие поля. Борьба с вредителями: взлет, работа, приземление, вечерком шуточки в столовой, прогулка в пивной бар, сон, с утра снова за работу, с восьми до пяти.

Молотьба оживилась первого сентября — в пятую годовщину начала войны. Немцы как раз принялись за нашу Садыбу, находившуюся в полуминуте лета от Окентя. Из моего оконца на чердаке все было видно, как в панорамном кино. Они летели туда и обратно, пикировали один за другим, а вокруг ухало и грохало, потому что стреляли еще и пушки, и тяжелые — более чем полуметрового калибра — минометы, так что над фортом Домбровского стоял сплошной черный дым и самолеты сбрасывали бомбы в этот огромный костер. Пять лет назад, во

время обороны Варшавы, немцы уже брали с боя форт Домбровского и взрывали его вместе с гарнизоном, а теперь его казематы заполнили повстанцы, и его снова надо было брать с бою.

Я тогда смотрел на это, пока меня не позвали вниз, потому что прервалась связь. Всех троих моих связистов вместе с их хозяйством завалило в подвале. Садыба быстро пала, немцы взялись за Повисле и центр города. Теперь настала наша очередь. Самолеты летали у меня над головой, и я не испытывал ни малейшего сомнения в том, что нас быстро сомнут и погребут под развалинами.

Вообще наша вилла оказалась в центре событий. Все пушки и тяжелые минометы, прозванные нами «коровами» за рев, который издавали в полете их мины, тоже прозванные нами «коровами», лупили то по Пулавской, то по Алее Неподлеглости, то по Воронича и Круликарне, то прямо в серединку, то есть по нашей вилле. Особенно сильный дым стоял сейчас над Круликарней, потому что ее молотили перед броском притаившихся «пантер». Я стоял на стремянке, высунув голову в оконце, а вокруг лопались крыши, взвивалась вихрем черепица, носились в воздухе обломки ветвей. От одного только грохота человека вполне могла хватить кондрашка. Пришла наша очередь, и теперь те, из Срюдместя, могли наблюдать, как стервятники кружат над нашими домами, из которых валят клубы дыма разного цвета. Сейчас штукасы[1] как раз снова поднимались с Оценте и взмывали ввысь, как на параде: первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой... вот они легко качнулись в воздухе и помчались прямо к моему маленькому чердаку.

Они разделились на две группы, первая пошла над Пулавской, должно быть к Круликарне, а вторая подлетела прямо к нам, и ее ведущий уже кинулся, как ястреб, в пике. Завывая, он с изящным и грозным проворством падал прямо на меня, и мне уже были хорошо видны три бомбы у него под фюзеляжем — одна большая посредине и две маленькие по бокам, а также дула пулеметов. Я не выдержал напряжения, этот вой сбросил меня со стремянки, тень самолета пронеслась над крышей, совсем близко, снаружи раздался вой и ужасающий свист, домик подскочил вместе с воздухом, посыпались остатки черепицы. Бомбы, конечно, упали где-то рядом. Я встал, отряхнулся, снова изобразил на лице отвагу и с достоинством спустился в подвал.

— Все линии нарушены! — доложила Тереса с какой-то обидой в голосе.— Что ж, мы так и должны сидеть здесь, у этого коммутатора?

— Да, должны, пока я не дам приказа выйти отсюда! — обозлился я.— Овца!

Овца подошел ко мне, попытался улыбнуться.

— Я послал линейщиков,— доложил он.— Они должны вот-вот объявиться.

Я представил себе работу линейщиков. С количеством убитых теперь уже никто не считался (а впрочем, кто и когда с этим действительно считался?). В первый день восстания ребята с пистолетами в руках атаковали дома, ощетинившиеся дулами автоматов и пулеметов, и падали на мостовую, не успев даже швырнуть гранату. Теперь, на пятьдесят пятый день восстания, никто не помышлял о капитуляции: до сих пор она означала только расстрел у стены.

— Что ж, хорошо,— ответил я.— Именно теперь связь особенно необходима.

Я подумал о ребятах, которые отправились латать линии. Еще совсем недавно они спали здесь в углу. Кто из них доживет до вечера? Это все были главным образом семнадцати- и восемнадцатилетние

[1] Легкие немецкие пикирующие бомбардировщики («юнкерс-87»).

юноши, пришедшие к нам уже во время восстания. Один из них, рядовой Улик, застрявший дома из-за высокой температуры, был вместе с матерью схвачен шаулисами в эсэсовской форме, когда те окружили дома по всей улице. Вместе с другими жильцами шаулисы загнали его с матерью в подвал, куда затем бросили через оконце фосфорные бомбы и гранаты. Мать прижала его к полу своим телом. Наполовину сожженная, она умерла, но спасла его от огня, и ночью он дополз до наших позиций. Теперь Улик и его товарищи отправились в это дрожащее пекло. Отвечал ли я за их жизнь? В тот момент я об этом не думал. Мы погружались в ад постепенно, в течение пятидесяти пяти дней, испытывая то отчаяние, то надежду, не переставая мечтать о помощи и подкреплении.

— Подожди,— сказал я Тересе.— Пойду к командованию.

— Слушаюсь! — сухо отчеканила она.

Меня не утешала мысль о том, что вот сейчас бомба может свалиться на нас и мы погибнем здесь, в этой котельной — несчастные, красивые, молодые возлюбленные, так и не успевшие замарать утехами плоти весеннюю чистоту чувства. Увы, среди этой бойни мы ни у кого не вызвали бы сочувствия, а закон больших чисел обрек бы нас на безымянность, затерянность среди множества жертв. Мной овладело дикое отвращение к такой смерти. Я уже пять лет играл в эту лотерею, но теперь вероятность полного проигрыша весьма и весьма увеличилась.

Взбешенный, я выбежал на улицу и, нырнув в самую гущу гула, свиста и грохота, шел даже не пригибаясь, потому что из окошка могла смотреть Тереса. Впрочем, все попытки укрыться от стального дождя все равно были бессмыслицей, ведь эти пушки и минометы метили не в меня, они просто стреляли в заданный квадрат — по всему нашему району. Под прикрытием пятиэтажных домов вдоль Пулавской торопливо продвигался, направляясь, по-видимому, к Круликарне, небольшой отряд. Невысокий парнишка с противотанковым ружьем на плече, бежавший в реденькой цепочке предпоследним, вдруг перекувырнулся и застыл на месте. Тот, что бежал сзади, нагнулся над ним на секундочку, схватил противотанковое ружье, оттолкнул тело к стене и помчался дальше.

Я быстро шел вдоль улицы меж двойного ряда деревьев, не желая больше жить как заяц. Это заячье состояние с его постоянной беготней и попытками удрать было больше нестерпимо. Да я и не нашел бы при всем желании ни единой дыры, ни единого уголка, которые могли бы дать надежное укрытие от этого дождя из снарядов всевозможных форм, видов и калибров, от этой сверхсовременной техники убиения Anno Domini 1944, а потому следовало плюнуть на все и шагать напрямик, с высоко поднятой головой. Впрочем, я был зайцем вооруженным, при мне был «вальтер» калибра 7,65, подарок Густлика ко дню рождения в прошлом году, так что я мог убить врага на расстоянии полутора десятка метров, если б он пожелал настолько приблизиться ко мне. Теперь-то уж нигде не было ни души, но я по-прежнему не собирался пригибаться, хотя такого обстрела я еще до сих пор не видывал, и беготня под шрапнелью во время обороны Варшавы казалась мне теперь столь же безопасной, как прогулка по площади Св. Марка в Венеции.

За эти пять лет враги добились огромных успехов в усовершенствовании методов разрушения столиц. Когда я перебегал через маленькую площадь позади больницы сестер эльжбетанок, снова взревели «коровы» — это означало, что сейчас на нас обрушится очередная серия мин. В последнее время мы стали бояться их больше, чем авиабомб, потому что от них напрягался воздух и дома вокруг лопались

даже от одних взрывных волн. И все же я шел дальше, ожидая взрыва. Бабахнуло через несколько секунд после рева, задрожала земля, заходил ходуном воздух, взрывная волна швырнула меня на могилу капрала Яцека с такой силой, что некоторое время я лежал с ощущением полной пустоты в голове.

Эту могилу мы выкопали возле других могил пять недель назад, когда жертв было еще немного и мы даже могли дать прощальный салют из трех винтовок. Нам не было жалко этих трех патронов, потому что капрал Яцек, малый с улицы Радной на Повисле, четыре года был подпольщиком, всегда готовым выполнить любое задание. Жадный к знаниям, этот рабочий электростанции теперь наверняка был бы выдающимся инженером или строителем крупных турбоагрегатов. Убитый снарядом из танковой пушки, он был похоронен по высшему классу — в гробу из досок, а Тереса и другие девушки приносили ему на могилу свежие цветы из близлежащих садиков.

Придя в сознание, я почувствовал себя оглушенным и разбитым. Рядом с могилой Яцека зияла огромная воронка от бомбы, поглотившая несколько соседних могил. Какие же трудности с установлением личности придется претерпевать тем, кто будет выкапывать кости на этих улицах и скверах! Я отряхнул с себя комья мокрой земли и побежал к вилле, где находился штаб. Домику этому уже несколько раз досталось: второй этаж весь продырявлен, ни одной оконной рамы, ни одной двери на месте. В подвале было людно, но я сразу же увидел своих ребят, выполнявших здесь роль связных.

В углу на лавке сидел мой друг Густлик, от него нестерпимо воняло. Его резиновые сапоги, брюки и куртка были облеплены слоем зловонной жижи из канализационных каналов, а землистое лицо ничем не напоминало о румяном парне в коричневом гитлеровском мундире, развалившегося на тахте в роскошной квартире на Алее Пшиязюл. Он почернел и исхудал от недоедания и недосыпания. С первых дней восстания Густлик изыскивал в подземных каналах новые проходы к центру города, постоянно единоборствуя с врагом, который забрасывал в люки динамит, гранаты, бомбы и вообще все что мог, чтобы прервать связь с центром. Электротехник из Силезии стал героем темноты и ночи. Сейчас, несмотря на грохот и взрывы, он боролся со сном, с трудом подымая тяжелые веки.

— Чего спать не идешь? — спросил я.

— Сейчас обратно в Срюдместе с донесением потащусь.

— Рад тебя видеть целым, Густлик.

— Да, нынче оставаться целым не просто, сам знаешь,— улыбнулся он.

— В случае чего сможешь снова влезть в ту шкуру,— пошутил я. — Выйдешь из канала и начнешь кричать: «Не стрелять! Я немец! Спасите меня!»

— Пусть сами спасаются, у меня есть пистолет и три гранаты.— Густлик почесал лоб.— Поспать бы вот... Хотя бы часика три...

Мы спокойно переждали минометную очередь, которая тряханула стены так, точно они были из фанеры: постоянная опасность притупила страх. Я стряхнул с себя пыль и открыл дверь в большое помещение. Майор, освещенный карбидными лампами, говорил по телефону. Это означало, что какую-то из линий моим ребятам все же удалось восстановить.

— ...хорошо... пришлю взвод с противотанковым гранатометом... смотрите только, чтобы вас не засыпало! Что?! Что?! Вот, черт...

Он отложил трубку и заметил меня.

— Обрыв,— сказал он спокойно и позвал: — Связной!

Связной явился немедленно. Это был один из моих ребят, блондинчик с детским личиком, единственный сынок богатых родителей, владельцев мармеладной фабрики, выращенный на пуховых перинках. Теперь это был перепачканный в крови и грязи малый, с одной щеки у него была содрана вся кожа. Он улыбнулся мне. Майор быстро писал приказ.

— Беги, парень!— сказал он.

Блондинчик схватил бумажку и побежал. Больше я его никогда не видел.

— Мы исправляем линию,— доложил я.— Но вы понимаете, что под таким огнем...

— Под Тобруком было хуже,— улыбнулся майор.— Самое главное для меня — связь с Воронича. Постарайся, Барнаба, если можешь.

Он вышел со мной в коридор и увидел Густлика. Тот спал. Майор дотронулся до его плеча, Густлик сейчас же встал. Майор протянул ему пакет.

— Возвращайтесь с ответом,— приказал он.

Густлик не мог щелкнуть каблуками и лишь кивнул в ответ. Прогулка по каналам в центр и обратно продлится не меньше пятнадцати часов. Я откозырял, приложив два пальца к пилотке, и мы с Густликом вышли наружу. Он шел тяжело, как усталый рыбак. Я уже успел привыкнуть к его вони. Старец и мальчик тащили окровавленную женщину к больнице сестер эльжбетанок. Приближались штукасы, трудолюбивые, как муравьи. Мы спрыгнули с Густликом в окопчик, вырытый в саду, потому что самолеты уже пикировали и мне снова казалось, что они летят прямо на нас.

— Я познакомился в Срюдместе с девушкой,— вдруг сказал Густлик.— Красавица, санитарка в госпитале. Перевязывала мне плечо. У нее уже нет ни отца, ни матери, ни даже брата. Я должен спасти эту девушку, но она и слышать не хочет о том, чтобы оставить раненых.

— А ты бы бросил раненых?

— Видишь, у меня на висках уже седые волосы,— сказал Густлик.— Мне исполнилось тридцать пять лет. Ей двадцать. Но я так влюбился, что не могу думать о смерти. Я выведу ее из Варшавы, Барнаба, выведу по каналам в поле, я уже подготовил дорогу, я не дам ей умереть.

— А раненых ты тоже выведешь?

— Что ж, она должна погибнуть с ними? — возмутился Густлик.— Когда здесь уже всех раздавят танки и исчезнет последняя надежда на помощь, я проберусь к ней и мы убежим далеко отсюда.

— И будете счастливы до самой смерти,— добавил я.

— Она должна жить и созидать жизнь,— твердо сказал Густлик.— Я знаю все дороги. Во всей Варшаве никто не знает каналов так, как я. Только я могу ее спасти, и я сделаю это, даже если мне придется ради этого сдохнуть.

Штукасы улетели, и мы вылезли, хотя артобстрел продолжался. Густлик преодолел свою сонливость и шел энергично, как человек, знающий, что ему нужно сейчас сделать. На перекрестке мы простились — здесь он спускался в канал. Я встретил его лишь через год, в Австрии, после освобождения из немецкого лагеря. Он не сумел спасти свою девушку, потому что она отказалась бросить раненых, и у него лишь осталось на всю жизнь воспоминание об их прекрасной любви, от которого на душе становилось светлее.

А ведь я тоже хотел жить и вырвать из этого ужаса Тересу. Вообще, чем больше вокруг погибало, разрушалось и горело, тем больше мне хотелось жить. Но мне не хватало решимости Густлика. Наша цель была не в спасении шкуры, а в том, чтобы выстоять до конца.

Уж коли нас вопреки всякому смыслу втравили в это дело, надо было поступать последовательно, то есть погибнуть вместе с Варшавой, а если и остаться в живых, то как бы против своей воли, в силу необыкновенного стечения обстоятельств. Давать поблажку инстинкту самосохранения, то есть прятаться, кланяться снарядам и забиваться в мышиные норы — такое можно было бы еще простить человеку гражданскому, но никак не солдату. Воодушевленные традицией, движимые внутренней необходимостью, мы повиновались наказу борьбы. Бой шел за само существование нации. И потому каждый был готов идти на смерть, и нам нельзя было трусить, хотя все тело наше жаждало жизни. Ведь мы были в этой борьбе добровольцами — без мобилизации, призывных повесток и долга, определяемого строгими предписаниями.

Я душил в себе инстинкт самосохранения, но это удавалось мне с переменным успехом, и я даже пытался усмотреть в своей многолетней любви к Тересе смягчающее обстоятельство. Жаждать жизни в минуту, когда смерть — единственный достойный выход? Спастись? А потом в соответствующий момент нацепить на грудь соответствующую медаль и выйти на пенсию? Но ведь дело было в том, что все эти годы днем и ночью человек жил только ради Родины, без права на другие мысли. Можно жить только любовью к женщине, только работой, только тем или иным стремлением, только болезнями, только ненавистью к кому-нибудь, а также ненавистью к определенному классу или ко всему миру. Но жизнь только ради Родины была величайшим самоотречением, ибо питались не какими-то временными переживаниями, не мимолетной страстью, иллюзией или борьбой за лучшее существование, а привитым понятием и неуловимой, нематериальной потребностью. Потребность же эта, ничем не обнаруживающая себя в обыденной жизни, перед лицом неотступной угрозы смерти или тюрьмы проявлялась вдруг (вопреки разуму, вопреки опыту, вопреки интересам) как донкихотское единоборство с картой Европы, как лихорадка и паранойя, как гибель от шрапнели на Тарговой или под рухнувшими домами Свентокшишской, под огнем «коров» на Пулавской или минометов у главного вокзала, под авиабомбами на Садыбе или от голода в лагере смерти и, наконец, просто как иррациональная вера во что-то, чего нельзя сосчитать, взвесить, измерить тоннами или метрами, обменять на наличные деньги, что не повысит жизненного уровня и вообще не принесет никакой конкретной выгоды.

Это было бескорыстное чувство, тяжелая ноша, унаследованная от предков-поляков, но и от смешавшихся с ними ассимилированных евреев, татар, армян, немцев и разных прочих чудаков, заселявших земли по обе стороны Вислы, заядлых патриотов, черт знает почему пораженных любовью к этой стране, готовых гибнуть на баррикадах, на улицах, на чердаках домов и в подвалах, опрокидывающих трамваи и киоски, вытаскивающих из домов гардеробы, диваны и кушетки, чтобы они послужили им защитой от танков и всей остальной могучей техники, готовых подставить грудь навстречу снарядам, бомбам и вообще всем существующим в двадцатом веке средствам уничтожения, вместо того чтобы бежать, уехать последним поездом, повеситься, принять другое гражданство, переселиться как можно скорее в Австралию, Канаду, Африку или на один из архипелагов Полинезии.

Мы всегда были достойны восхищения, нас всегда оплакивали, нам глубоко сочувствовали, на наши мучения взирали со слезами на глазах, воспоминания о нас появлялись в траурных рамках, но гибли мы всегда в одиночестве, без всякой надежды на помощь. И теперь, пробираясь под рвущимися снарядами вдоль маленькой улочки между Пулавской и Алеей Неподлеглости, я ощущал, как это проклятие,

тяготевшее над судьбой поляков, давит и на меня, уродуя мою психику,— ведь я даже перед самим собой стыдился желания выжить несмотря ни на что, спастись вместе с Тересой, моей несчастливой любовью, остаться в живых вопреки извечной традиции восстаний, поражений, тюрем, виселиц, расстрелов у стены, похорон в братских могилах, потому что я хотел любить, читать книги и вообще дожить до каких-то серьезных свершений, а эти мысли были изменой и дезертирством в момент, когда горела Варшава и погибали все самые лучшие, самые бескорыстные, одержимые одной идеей, одной горячкой. Я шел по улице Мальчевского, там, где теперь ходит автобус 114, шел среди грохота и свиста, терзаемый противоречивыми чувствами — волей к борьбе и страхом, с трудом преодолевающий в себе трусость и тягу к компромиссу.

Так я добрался до центра связи и с облегчением отметил, что никаких снарядов, пока меня не было, в наш домик не попало. Из подвала выскочил Улик с английским «стеном» в руках, за ним — парнишка с немецким МП-40. Это были автоматы — оружие, о котором линейщики и телефонисты могли до сих пор только мечтать.

— Откуда это у вас? — спросил я.

— Завалило целый взвод, и теперь оружия больше, чем людей,— ответил он.— Прошу разрешения отбыть в сражающуюся группу!

Так я потерял Улика и его напарника, пожалуй, лучшую мою пару линейщиков, но я не мог не отпустить их, потому что они все равно убежали бы. Им надоело чинить кабели. Они прекрасно понимали, что наступила последняя возможность сразиться с врагом, что положение уже безнадежно, что они продержатся лишь несколько часов или самое большее до вечера, но они готовы были отдать жизнь ради этих нескольких часов борьбы с оружием в руках — недоступным им раньше автоматом, предметом непрестанных, но тщетных ожиданий и воздыханий, мечтой куда более сильной, чем нынешняя мечта об автомобиле марки «феррари». Оба парня смотрели на меня сверкающими глазами, возбужденные, нетерпеливые, точно опасаясь, что я задержу их и они не успеют пострелять из своих автоматов, потому что, если даже «пантеры», прорываясь, пройдут и не по их телам, им уже негде будет сразиться с ними: лопнет тонкая линия обороны, все рухнет и молчание смерти завладеет районом.

— Идите,— разрешил я. Они вытянулись, козырнули, приложив два пальца к беретам, и побежали, радостно улыбаясь,— так теперь их ровесники бегут на вечер танцев или на футбольный матч, где разыгрывается кубок Европы. Больше я их уже не видал.

В подвале Тереса стояла у коммутатора, а Кристина поочередно вызывала молчавшие станции.

— Все линейщики в разгоне,— сказала Тереса.— Сержант Овца сам пошел чинить «Ванду». Он звонил с линии, но что-то ухнуло, и разговор прервался... боюсь... как бы...

Я взглянул на нее. Она была бледной, невыспавшейся. Сегодня ей пришлось всю ночь дежурить у коммутатора.

— Юрек... — прошептала она.

— Назначаю тебя исполняющей обязанности коменданта центра связи до моего возвращения. Эту линию необходимо восстановить.

— Позволь мне пойти с тобой! — воскликнула Тереса. Глаза ее лихорадочно блестели. Из угла, хромая, вылез бронебойщик Гервазий, дважды раненный и полуслепой, весь обмотанный бинтами. Он ни за что не хотел оставаться в госпитале и теперь пугал нас своим видом. Тереса смотрела на меня как побитая собака. Мы никогда не бывали здесь одни. Каждый из нас выполнял свои обязанности, и нам было

не до вздохов при луне. Мою любовь я отложил до иных времен, точнее сказать — возложил ее на алтарь восстания.

— Смени ему повязку,— сказал я, кивнув в сторону Гервазия.— Он же весь в крови, не видишь, что ли!

Я оставлял их в этом сотрясавшемся от взрывов подвале, как в могиле. Теперь всякое расставание, даже на миг, могло оказаться последним. Но я не мог поцеловать Тересу на глазах у девушек и Гервазия.

— Сейчас вернусь,— сказал я, словно шел за газетой.

На одно плечо я повесил полевой аппарат, на другое — сумку с инструментами, презрительно брошенную Уликом, едва он дорвался до «стена», и выбежал в садик. Серый провод тянулся по траве и среди развалин. Я нагнулся и шел, согбенный, вдоль него, не спуская с него глаз, точно ищейка по следу. Моросило. Обстрел приутих, но с юга доносились взрывы и трескотня выстрелов, видно, танки жирного Германа приступили к работе. Я перебежал улицу Красицкого, где кабель сохранился каким-то чудом, потому что на мостовой воронки от снарядов буквально соприкасались друг с другом, и добрался до садов, когда над головой взревели мины. Пробираясь за кабелем, я сразу же запутался в кустах крыжовника. «Коровы», однако, взорвались где-то подальше, и воздушная волна, долетевшая до меня, была не сильной, но тут же снаряд угодил в соседний садик, а я, перескочив ров — местное противовоздушное убежище,— сорвал на ходу последний георгин, махровый, нагло желтевший на фоне сплошь серого, хмурого неба, клубов дыма, оголенных деревьев, развороченной земли. Я заткнул цветок за портупею на груди — авось, чудом уцелевший, он сохранит от ран и меня.

Провод тянулся дальше, и мне пришлось выскочить за ним на улицу. Я приближался к линии боя — домам на Пулавской и школе на Воронича, на которые сыпались тонны взрывчатки. На тротуаре кабель исчез под кучей кирпича, и я принялся разбрасывать ее, действуя с лихорадочной быстротой, потому что вдоль улицы Красицкого несся сплошной поток стали, а кроме того, уже возвращались, направляясь в очередной рейс, безотказные штукасы. Мне мешала сумка, мешал болтавшийся на боку телефонный аппарат, но я в несколько секунд разбросал кирпичи, собрал обратно высыпавшийся из сумки инструмент и помчался дальше. Кабель вился теперь вдоль железной сетки, отделявшей сады от улицы. Присев у ограды на корточки, я дрожащими от спешки руками воткнул булавку в кабель, а в клумбу рядом — провод заземления. Кристина отозвалась, едва я крутанул ручку аппарата.

— Нет, сержант Овца не объявился. Связь с Барбарой есть, но двое ребят ранено. Они сами добрались до перевязочного пункта.

— Тереса там? — спросил я.

Тереса откликнулась немедленно. Теперь эта девушка, пожалуй, хотела принадлежать мне без всяких возражений и оговорок. Но все это пришло слишком поздно, и нам, должно быть, не суждено пережить хоть несколько дней счастья. Эти развалины придавили нас, испепелили наши души, и мы уже не могли ничему радоваться.

— Мне осталось только двести метров,— деловито сказал я.— «Пантеры» уже подъезжают.

— Пожалуйста, будь осторожен,— тихо сказала Тереса.

— Но я же взял шарфик,— ответил я.— Отбой.

Слово «отбой» означало, что меня не разорвало во время разговора, что я сам прекратил его в добром здравии и по всем правилам. Выдернув булавку и провод, я перебросил через плечо сумку и аппарат и рысцой на полусогнутых побежал через улицу Нарушевича, пе-

рескочив которую попал, следуя за кабелем, в следующий садик. Здесь вилла была целиком разрушена, должно быть «коровой», из-под груды кирпича торчала нога в темно-синей штанине и зашнурованном полуботинке. Кабель вился вдоль сеточки ограды, а потом в траве. По мере того, как я приближался к боевым позициям, обстрел становился все плотнее, слышно было также гудение «пантер».

В исходе этого боя я не сомневался: стерев в порошок наши позиции в развалинах Круликарни, в домах на Пулавской и школе на Воронича, «пантеры» пойдут дальше. Сколько домов еще осталось? Сколько среди этих восемнадцатилетних мальчишек еще может держать в руках оружие? Переживем ли мы еще один рассвет?

Каким-то странным образом уцелел кабель, протянутый в нескольких метрах от дома, превращенного в груду щебня. Я нырнул за кабелем в кусты и остановился у щели, выкопанной жителями виллы, чтобы прятаться от авиабомб и «коров». И тут я услышал стон. Это стонал вагоновожатый. Полуприсыпанный землей, он лежал на боку, во рву, рядом со старушкой в темном пальто — ее поблекшие глаза были выпучены в предсмертном ужасе. Здесь-то и висел конец оборванного взрывом кабеля. Я спрыгнул в ров и увяз по колено в мягкой земле. Вагоновожатый был в сознании.

— Привет, поручик,— сказал он.— Хорошо, что ты пришел. Я думал, мы уже не увидимся.

Я обеими руками сгреб с него землю, потом обхватил за талию и потянул что было силы. На груди его кровавым панцирем засох песок. Оттащив труп старушки, я принялся вытаскивать Овцу за плечи. Видно, ему было очень больно, он побелел и стиснул челюсти. О, ему тоже было не к лицу кричать, хотя наверняка жуть как хотелось. Какую же надо было иметь волю, чтобы столько времени изображать из себя не знающих страха и боли героев, о которых пишут в романах! Я стал из последних сил тянуть его. Мы оба тяжело дышали. Когда наконец мне удалось вытащить его из щели на траву, где-то неподалеку завыло целое стадо «коров». Я лег рядом с вагоновожатым отдохнуть и переждать воздушную волну. Чтобы не помять георгин на груди, я прикрыл его рукой. Оголенные деревья навевали мысль о ноябре, хотя еще стоял сентябрь.

— Кабель,— сказал вагоновожатый.

У меня не было с собой перевязочного пакета, как в сентябре тридцать девятого, и надо было очень торопиться, потому что комбинезон вагоновожатого, несмотря на облепившую его землю, сочился кровью. Я сполз в ров, нашел под кучкой земли второй конец кабеля, связал его плоским узлом с первым и обмотал изоляционной лентой. Стальная проволока исколола мне пальцы, и я слизал с них кровь. Затем присел во рву, включил аппарат и покрутил ручку. Я старался не смотреть на старушку. Немедленно же отозвалась Кристина, а вслед за ней сразу и капрал Кмитич.

— Рад слышать вас, дети,— сказал я.— Кристина, докладывай майору, что связь налажена. Вы где теперь, Кмитич?

— Все еще в школе на Воронича,— ответил Кмитич.— В подвале. Да я и не могу выйти отсюда. Над нами, должно быть, уже нет ни одного этажа.

— Барнаба! — услышал я голос Тересы.— Барнаба, где ты? Может, тебе помочь?

— Мне надо отвести Овцу в госпиталь,— ответил я, отключил аппарат и вернулся к вагоновожатому.

Тот пытался встать, но сумел подняться только на четвереньки и стоял теперь на коленях, опираясь на одну руку. Я медленно поднял его, обхватил за талию, а он выпрямился, насколько смог, и мы пота-

щились, обходя воронки и развалины, еле-еле передвигая ноги, то и дело спотыкаясь и останавливаясь, чтобы передохнуть.

Выбравшись на улицу, мы заковыляли по тротуару, потому что там было легче идти, хотя вагоновожатый все равно был для меня слишком тяжел, и спустя некоторое время я запыхтел как паровоз. Кое-где между домами мелькали фигуры пригнувшихся людей в темно-серых комбинезонах, с винтовками в руках, однако я не мог морочить им голову, требуя помощи для какого-то неизвестного раненого, когда они бежали на выручку своим товарищам, погребенным под обвалившимися домами. И я упрямо тащил вагоновожатого сам, шаг за шагом, а он становился все тяжелее по мере того, как у него из легких или еще откуда-то вытекала кровь, и мне вдруг стало страшно, что я притащу труп, если мы оба вообще не погибнем здесь на тротуаре, неуклюжие, незащищенные, выставленные как мишень для снарядов. Как тут проявлять отвагу и извечные воинские доблести, когда вокруг не поле боя, а скоростной демонтаж города с помощью всевозможных взрывчатых материалов? Где тут место для романтической смерти, воспетой вековыми традициями? А может, надо бросить этот провод и телефонные аппараты, уже ненужные теперь, и по примеру моих ребят бежать, пока не поздно, в один из домов на Пулавской, систематично, точно бульдозерами, разрушаемых «пантерами»? Может, удастся перед смертью застрелить хоть какого-нибудь, неосторожно вылезшего откуда-нибудь врага?

Положение становилось нестерпимым. Выбиваясь из сил, движимый уже лишь отчаянием и страхом, я дотащил вагоновожатого до улицы Мальчевского, где виднелось полуразрушенное здание больницы сестер эльжбетанок. Несколько недель назад на крыше этого дома кто-то наивно нарисовал огромный красный крест на фоне белого круга. Это позволило молодчикам из артиллерийских расчетов и пилотам штукасов быстро засечь отчетливо видимую цель, по которой они и стали с охотой лупить. Да и при чем тут красный крест, в этом гнезде термитов, которое должно быть сровнено с землей? И кто вообще в нашу эпоху считается с этим символом, сентиментальным знаком девятнадцатого века, века иллюзий? Почему должны выжить раненые, если приговор вынесен вообще всему, что существует на берегах Вислы?

Чтобы достичь больницы, нам оставалось только перебраться через поросший травой участок на стыке улиц Тынецкой и Мальчевского, где земля была густо нашпигована могилами погибших, а теперь еще и изрыта воронками от бомб и снарядов. Эта открытая территория очень не нравилась мне, и, прежде чем мы вылезли на это незащищенное поле, я прислонил вагоновожатого к забору, чтобы немножко передохнуть. С юга по-прежнему слышались стрельба и взрывы. Как долго удержится в этих руинах горсточка защитников? Что может сделать майор, перебрасывая от дома к дому свой резерв из пятнадцати или даже тринадцати измученных парней?

— Видишь, Барнаба, вот и меня шарахнуло,— заговорил вдруг вагоновожатый, с усилием произнося слова.— И знаешь, мне даже полегчало малость! Первый шаг сделан... Как ни говори, а раненому легче издыхать, чем здоровому. Ты только попроси врача — пускай он мне эту хреновину даст, которую крысам сыплют, чтоб я спокойно заснул навек, не дожидаясь конца.

— Чего мелешь-то! — рявкнул я.— Тебя всего-навсего прострелило. И ты прекрасно из этого выкарабкаешься.

— С меня, брат, хватит,— поморщился вагоновожатый.— Мне теперь уж с... на это на все. Я сорок лет прожил, из них десять клади на войну, десять на голодуху, а еще десять, не самых плохих лет, я про-

работал вагоновожатым. Хватит. Как я родился в городе Варшаве, так вместе с ним, с этим городом, и подыхаю и даже не спрашиваю тебя, Барнаба, почему, ведь ты знаешь не больше моего.

— Нечем мне тебя утешить,— ответил я.— Может...

— Что может? — спросил вагоновожатый. Глаза его были закрыты.

— Может, тебе придаст сил сознание, что тут происходит нечто... великое... исключительное...

Я подхватил его, и мы двинулись напрямик через поле. Я проклинал хозяина участка за то, что он не застроил его, и ожидал самого худшего, поскольку снаряды неслись на нас со всех четырех сторон света и осколки так и сыпались вокруг, а мы передвигались чертовски медленно. Вагоновожатого покидали последние силы, улетучиваясь из него, как воздух из продырявленного шарика, хотя он и силился как ни в чем не бывало продолжить со мной разговор.

— Преступление я вижу, вот что! — хрипел он.— И дурость вижу, хотя и геройство тоже, потому что народ плюет на смерть и повсюду жертвует собой. А еще я несчастье вокруг вижу, развалины и костер всесожжения, слышу вонь тел, которые на этом костре сожгли, и смрад дерьма в каналах... Может, это все, ежели вместе взять, и есть то великое, про которое ты говоришь?

— Так мне кажется... черт бы все... побрал... — отвечал я, громко сопя.— Уже недале...

Я не кончил, потому что... вот уж воистину — не говори «гоп»! Что-то свистнуло, а потом бабахнуло позади нас, меня обдало сзади жаром, воздушная волна опрокинула нас обоих на чью-то перекопанную могилу. Мне явно везло на эти могилы в мои дни рождений! Я провел рукой по заду: на брюках дырка, на руке кровь. Ранен. Осколок в левой ягодице. Все рыцарские традиции обрекали меня на осмеяние и презрение. Как я взгляну Тересе в глаза?! Стоило мне пошевельнуться, и рана тут же отозвалась резкой болью — ведь там сидел кусок раскаленной стали! А может, я заслужил этот позор своей скрытой трусостью и нежеланием умереть на поле боя? Подавив стон, я встал, поднял вагоновожатого, отчего пот залил мне глаза, и мы заковыляли дальше.

Мой зад пылал, как костер, за каждое движение левой ногой я расплачивался мучительнейшей болью. Это была настоящая пытка, и если бы меня сейчас допрашивали, я, наверное, выдал бы все, что знал, лишь бы только это кончилось. Должно быть, мы с вагоновожатым напоминали упившуюся пару, сплетенную в хмельном объятии, не способную держаться на ногах, шатающуюся из стороны в сторону. И все же мы двигались вперед, стены больницы медленно приближались, я тянул своего сержанта из последних сил, кровь стекала у меня по ноге и хлюпала в сапоге, но я знал, что от дырки в заднице не умирают, потому что там нет никаких артерий, и меня ожидают всего лишь насмешки и издевки. Вагоновожатый почти лежал на мне, а весил он, наверное, тысячу килограммов, так что меня шатало все сильнее и сильнее.

Несмотря на зверскую боль, я завидовал вагоновожатому оттого, что у него геройская, достойная поэтического воспевания рана в грудь, и в какой-то момент мне даже захотелось, чтобы рядом снова разорвался снаряд, но только уже спереди, чтобы меня ранило еще куда-нибудь, например в руку, и я смог бы предстать перед Тересой не с опущенной головой. Однако ничего такого не случилось, и мы, наконец, доплелись до больницы, в которую вошли через дыру в стене. Я не был здесь дней пять, и меня поразило то, что я теперь увидел: подвальные коридоры, похожие на освещенные свечами катакомбы,

заполнены телами, которые лежат впритык друг к другу, вверху — оконца, забаррикадированные мешками с песком, на полу — дети без рук и без ног, бойцы с побелевшими лицами, старики, испускающие дух среди стонов и оханий. Над всем этим стоял тяжелый смрад.

За несколько повстанческих недель большая, прекрасная, ярко освещенная больница (электроэнергией снабжала ее иногда станция, а иногда наш теперь уже разбомбленный агрегат) уменьшилась на две трети, съежилась, вползла в подземелье, почернела, загноилась, захрипела в предсмертном дыхании. Взрывы, заглушаемые стенами, но, может быть, поэтому еще более опасные, предвещали ей близкий конец и последнюю резню, подобную тем, что уже были во всех больницах, захваченных молодчиками из Альтмарка или Нижней Саксонии.

Люди, прикованные здесь к кроватям и матрасам, брошенным на пол, ожидали смерти с еще большим ужасом, чем те, кто мог двигаться. Они были лишены даже той капельки свободы, которая остается у человека в его последний час. Я сразу же заметил доктора Вацлава, в глазах у него была пустота. Вагоновожатого уже держала санитарка, которую я мельком видел когда-то, лицо у нее сейчас было такое же белое, как ее халат. Я оперся спиной о стену, чтобы не были видны порванные сзади штаны.

— Ты должен спасти моего приятеля, сержанта Овцу,— сказал я Вацлаву.

Он подошел к вагоновожатому и внимательно осмотрел панцирь из земли и крови на его груди, после чего расстегнул его комбинезон.

— На стол! — распорядился Вацлав.

Вагоновожатого потащили в подвальное помещение, где при свете карбидных ламп оперировали раненых. Он махнул мне рукой, но сказать что-нибудь на прощание был уже не в силах. По коридору пробирались две монашки-эльжбетанки, которые тащили окровавленного гиганта в мундире вермахта. Будучи немками, они проявляли явную склонность к спасанию своих земляков.

— Только не жди от меня никаких обещаний! — предупредил Вацлав.— Мы режем тем же способом, что и в восемнадцатом веке, и только сильные организмы способны выкарабкаться из этого. Твой сержант ранен в грудь, ему развороти́ло правое легкое, а поскольку он мужчина в расцвете лет, не могу сказать, что у него много шансов выжить на этой бойне. Что-то наверняка произойдет если не завтра, то послезавтра. А где мы будем послезавтра, Барнаба?

— Может, на Елисейских полях? — вздохнул я.

— Сделаю все, что смогу. Я не дам ему умереть на операционном столе, хотя, может быть, он предпочел бы умереть именно так, чем растаять от жара фосфорной бомбы.

— Я подожду,— сказал я.

Вацлав скрылся в своей операционной норе. Я просто изнывал от боли. Мой зад пылал, казалось, он снова разросся, приняв огромные размеры, и весь я теперь состоял из гигантского зада и переполненной отчаянием головы. Надо было взять себя в руки. Немедленно. И сейчас же вернуться к своим. Но перед тем я должен был нанести здесь еще один визит. Я не мог быть уверен, что через несколько минут у больницы не зарычат «пантеры» и не застучат по лестнице сапоги, что коридоры и своды не заполнятся гортанным ревом, а на тела лежащих не обрушатся автоматные очереди и гранаты. Вернусь к операционной, когда Вацлав управится с вагоновожатым, решил я, пока нанесу визит по соседству, и я поплелся мелкими шажками, перенося тяжесть тела на правую ногу, но каждое движение все равно жгло и терзало меня сверлящей болью. Все же я дотащился до комнатки в подвале, где в углу лежал мой отец.

Его перевезли из полуразрушенной виллы неделю назад, ибо с ним случился сердечный приступ, называемый теперь инфарктом. Во время восстания сердечные приступы никого не волновали, впрочем, в эти дни вообще стало значительно меньше каких бы то ни было болезней, потому что от страха люди становились здоровее. Во всяком случае, тогда не было слышно ни о неврозах, ни о раках, ни о сосудистых заболеваниях или иных бедствиях мирного времени, словно организм, настроенный на внезапную смерть, решил воздержаться от ненужных дополнительных страданий. Это было лечение голодом и страхом. У отца, однако, отказало сердце, и Ядя отыскала ему место в углу больничного подвала, где он неподвижно лежал на матрасе, мочился в бутылку и глотал какие-то пилюли.

Я застал их в этом углу обоих, освещенных собственной роскошной карбидной лампой. Отец полулежал, опираясь на локоть, укрытый шотландским пледом в серо-красную клетку. Это было все, что у него осталось от богатства и роскоши, от всех радостей жизни: место в углу подвала и этот легкий яркий плед из тончайшей шерсти, который пылал огненным пятном среди серости и муки. Я подошел к ним, стараясь держаться как можно свободнее. Ядя сидела возле отца на детской табуреточке, неподвижная, как индеанка возле раненого воина, и кормила его из ложечки. Лишь теперь обнаружились ее достоинства, которые никогда не могли бы выявиться в их прежней веселой жизни, заполненной приемами, путешествиями, поездками на машинах, гондолах и в дорогих спальных вагонах: умение приготовить кашу, вымыть больного, терпение и отсутствие брезгливости при уходе за ним, суровая нежность, верность и самоотверженность.

Пережив золотой сон, Ядя вернулась в действительность, и уже никакое зло не способно было сломить ее. Этой силой обладают все те, чье детство проходило в нужде, страхе и непреодолимом желании во что бы то ни стало выжить. Старику повезло, что он, словно предчувствуя свою судьбу, увел у дворника Ядю, ибо продолжай он жить со своей предыдущей дамой, актрисочкой Марысей, его ждала бы одинокая смерть среди груды отбросов, поскольку Марыся была пуп земли и баловень мужчин, которые довольно рано начали носить ее на руках (разумеется, в постель), осыпая при этом подарками и деньгами, и в такой ситуации ее наверняка хватили бы истерические спазмы от страха и отвращения. Она первая слегла бы, сказавшись больной, стеная, сопя и призывая небо в свидетели своих страданий. Марыся была хороша только в условиях роскоши, неги, полного обслуживания. Яде же бомбы, голод, болезнь отца, весь этот ад позволили проявить свою человечность.

— Как самочувствие, дорогой отец? — мягко спросил я. Отец, бледный, исхудалый и покрывшийся морщинами, улыбнулся мне.

— Ваша гекатомба обойдется уже без меня,— ответил он.— Моя должность коменданта машинного парка стала лишней с той минуты, когда последняя из пяти машин погибла под развалинами гаража.

— Подозреваю, что ты переживешь нас.— заметил я.

— Мне вовсе не было бы от этого весело,— вздохнул он.— Я не собираюсь жить на свете, не пользуясь его радостями. Известно ли тебе, что я уже никогда не смогу ни пить, ни курить, ни есть фазанов или омаров, ни носить на руках женщин, ни даже быть рядом с ними мужчиной? Я не смогу подняться на Акрополь, ни даже на могильный холм Костюшко, и, что уж совсем смешно, я больше не смогу водить машину! А чего стоит такая жизнь, сынок? Садись вот тут, с краешку, посиди со мной в моем логове смерти.

— Спасибо, я постою,— ответил я.— Но ты, во всяком случае, можешь писать воспоминания. Зачем ты остался в Варшаве, папа?

Еще утром первого августа я сообщил отцу, что в пять часов дня в Варшаве начнется восстание, и настаивал, чтобы он упаковал все что можно и немедленно уехал с Ядей хотя бы в Гуру Кальварию или Подкову Лесьну, пока туда еще ходили поезда. Он поблагодарил меня за сообщение, но сказал, что у него есть еще часок-другой для размышления.

— Ты знаешь, как я люблю путешествия,— тихо сказал он теперь.— И я охотно отвез бы Ядю не только в Гуру Кальварию, но, скажем, в Швейцарию, ты знаешь, у меня есть масса знакомых и друзей. Мы бы поселились в Бруннене, у озера Четырех Кантонов, дышали бы альпийским воздухом, катались на пароходе, гуляли бы по берегу, поднимались бы в вагончиках на Риги Кульм и любовались бы снежной панорамой под лучами закатного солнца. Это изумительная страна, сынок, там не было восстаний со времен Вильгельма Теля. Увы, такая поездка невозможна. Слишком огорчительно было бы для меня читать известия о Польше и особенно сообщения о восстании.

— Ерунду городишь! — воскликнул я и тут же понизил голос, потому что на соседнем матрасе застонала умирающая девушка с обугленными ногами.— Ведь ты совсем не был здесь нужен!

— А кто здесь был нужен? — улыбнулся отец.— Может, ты и твои друзья с пистолетиками? Или, может быть, все эти люди вокруг? Чтобы страдать от голода, ран и ужаса в ожидании смерти? Если уж ты об этом заговорил, голубчик мой, то позволь тебе заметить, что я нужен здесь так же, как и ты. Единственное право, которое у нас осталось, это право на смерть. Я тоже могу умереть, если мне это нравится.

— Но ты собираешься умереть от болезни сердца! — возразил я.— Так не лучше ли это было сделать в Швейцарии? По крайней мере хоть Ядя выскочила бы из этого пекла живой!

Отец взглянул на Ядю. Та словно бы и не слышала моего восклицания: протянула руку с ложечкой, отец открыл рот и послушно глотнул серую жижицу.

— Ты не мог бы присесть? — снова спросил он.— А то так не очень удобно разговаривать.

— Не могу я присесть! Меня ранило осколком в зад!

— Вот и хорошо! — обрадовался отец.— Это отучит тебя задирать нос. Ты считаешь, что смерть от сердечного приступа, вызванного бурными переживаниями последних недель, хуже, чем, например, смерть от гангрены зада? А о Яде ты не беспокойся, она вовсе не хотела бы скучать, сидя в Швейцарии. Путешествие доставляет наслаждение, когда ты в любую минуту можешь вернуться домой, но когда ты знаешь, что именно сейчас горит твой дом, у тебя пропадает охота любоваться восхитительными пейзажами. Оставим лучше этот разговор. Если нас сейчас и ожидает какое-нибудь путешествие, то только уже последнее. А твоя рана... Ты отступал? И означает ли этот непрекращающийся обстрел, что конец близок?

— Пожалуй, означает,— ответил я.— Может, это продлится еще день или два.

— Я тоже так думал, слушая этот адский грохот. Спасибо тебе, Юрек, что ты пришел. Я знаю, сколько присутствия духа нужно только для того, чтобы просто стоять при таком ранении, и вижу теперь, я тебе не безразличен. Я не прошу тебя поцеловать меня на прощание, тебе надо было бы наклониться, и, таким образом, наше прощание могло бы оставить у тебя слишком болезненное воспоминание. Помни только, что после всего этого здесь снова будет жизнь.

— Жизнь!

— Понимаю, сейчас это трудно представить. Ты молод. Иди перевяжи свою почетную рану. Может, ты еще вырвешься из всего этого, а я-то уж вряд ли смогу.

— Если мне удастся прийти сюда еще раз... принести тебе что-нибудь?

— Рюмку коньяку,— ответил отец.

Ядя взглянула на меня усталыми глазами. Вопреки моим давешним предположениям, она, должно быть, очень любила отца. Ядя снова протянула руку с ложечкой, и сейчас эта рука немного дрожала. Я был рад, что не оставляю отца в одиночестве. Возле неподвижной уже девушки с обугленными ногами сидела пожилая женщина. Я нагнулся, несмотря на боль, и поцеловал отца в щеку. Поцеловал я впервые в жизни и Ядю.

В операционную я вернулся, когда вагоновожатого как раз снимали со стола. Он казался трупом. Я подошел к Вацлаву, который мыл руки в маленьком тазу.

— Воспаление,— сказал он.— У нас нет медикаментов. Если бы его перевезти в нормальную больницу...

— Спасибо за совет,— ответил я. В этот момент внесли следующего раненого. Тогда я решился: — Вацлав, что-то там воткнулось мне в сиденье. Будь столь любезен, вытяни это быстренько, а то мне трудно ходить.

Вацлав с изумлением взглянул на меня. Я спустил штаны.

— Глупая история,— сказал я.

— А ну марш на стол! — приказал он.

Я взял георгин в руку, чтобы не измять его, и лег на живот. Операция продолжалась минуты две, но мне казалось, что мой зад сейчас взорвется. Однако я снова должен был изображать из себя монолит, мне нельзя было издать ни стона. Здесь людям вскрывали животы и ампутировали руки, и моя операция была для Вацлава не более чем забавным эпизодом. Пока он возился со мной, одна из его любезных санитарок, как умела, зашивала мои штаны: я сказал ей, что мне грозит утрата авторитета среди подчиненных.

— Вот тебе твой осколок,— сказал Вацлав. Это был кусочек артиллерийского снаряда величиной с горошину, не более. Незнакомая мне, к счастью, санитарка — дама средних лет — опоясала бинтами мои бедра, и я смог надеть штаны.

— Не рассказывай об этом, ладно? — попросил я Вацлава.

— Ладно. А ты всегда поворачивайся к снаряду задом, тогда наверняка переживешь войну,— рассмеялся он и подошел к обнаженному уже парню с развороченным животом.

Меня затошнило от вони, которая тут стояла, и, взяв свой желтый георгин, я поспешил покинуть больницу. Повязка мешала идти, но боль заметно уменьшилась, и я смог двигаться значительно живее. Артобстрел по-прежнему был не слишком сильным, тем явственнее слышна была перестрелка где-то неподалеку. Низко проносившиеся над головой темные дождевые тучи увеличивали ощущение трагизма. Я беспрепятственно добрался до нашей виллы. К счастью, в нее больше не попал ни один снаряд. Я осторожно спустился по лестнице, выставляя вперед левую ногу. Вокруг коммутатора сидели все наши девушки. Тереса вскочила со стула.

— Вот он, поручик Барнаба! — воскликнула она.— А мы уже боялись...

Все-таки она любила меня. До чего ж она была изящна в этом комбинезоне с бело-красными нашивками на воротнике! Стройный, мальчишеский силуэт, нарочитый отказ от женственности, когда требовалась выдержка и сила. Ума не приложу, как наши девушки умели

сохранять опрятность и свежесть в условиях подвальной жизни, где на счету была каждая капля воды, а в воздухе носилась штукатурка. Я протянул Тересе георгин.

— Купил в цветочном магазине, последний.

Она так взглянула на меня, что меня всего пронизала дрожь, но тут же официально доложила:

— Круликарня пала. «Пантеры» стоят на углу Воронича.

Я подошел к коммутатору и взял трубку из рук Кристины. Глаза ее были полны слез. Линия, которую я исправил, еще каким-то чудом держалась. Хоть не напрасно мы с вагоновожатым пострадали.

— Мы готовим контратаку! — говорил майор.— Вы должны удержать этот дом! Они тоже дошли! Мы должны к сумеркам отбить Круликарню и снова перекрыть Пулавскую...

— Вместе с танками?— спросил его собеседник.— Здесь «пантер» как собак нерезаных.

— Ближе к сумеркам они отступят! — успокаивал его майор.— Продержитесь до сумерек!

— Легко сказать! — простонал тот.— Ведь этого дома уже почти нет! Оба противотанковых ружья заело от песка, а для «пиата» [1] осталось три снаряда!

— Ну что ж, пропустите их к нам сюда и любуйтесь, как нас всех перестреляют,— спокойно предложил майор.

— Ну, этого-то мы не сделаем,— послышалось в ответ.— Прежде они отправят на небо всех нас.

Я вернул трубку Кристине.

— Ты чего разнюнилась? Такой из тебя солдат, да?!

С минуту Кристина удерживала рыдания, отчего подбородок у нее дрожал, как у ребенка, но потом разревелась вовсю. Закрыв обеими руками свое лицо ангелочка с цветных картинок, она безутешно рыдала.

— Тереса, смени ее у коммутатора,— заорал я.— Пусть отправляется к своей мамочке!

Тереса подошла к Кристине, ласково обняла ее за плечи и отвела в угол, где лежал матрас. У коммутатора села теперь Иоанна, восемнадцатилетняя девушка с курносым носиком и задорным взглядом. При виде ее все парни теряли покой. В первый же день восстания она вынесла из-под обстрела очень много раненых. Тереса отвела меня в сторону.

— Пожалуйста, не кричи на Кристину,— прошептала она.— Она только что узнала, что Улик погиб в Круликарне.

— Вон куда его занесло! — с бешенством процедил я. Я был в том состоянии, когда известие о чьей-либо смерти вызывает больше злости, чем сожаления.

— Она ужасно влюбилась в него,— пояснила Тереса.

— Когда же это? Что-то я не заметил!

— Ты многого не замечаешь,— вздохнула Тереса.— У них уже несколько недель роман, у тебя под носом. Она хотела сегодня бежать с ним, я ее еле удержала. Пусть она выплачется... Ведь у нее погибает за эту войну второй парень...

— А из-за Альбина она тоже так плакала?!

— Не знаю,— ответила Тереса.— Она считает, что приносит несчастье ребятам, которых любит, и тоже хочет погибнуть...

— А, чтоб вас черти!..— взорвался я.— Пусть теперь подождет влюбляться, хоть несколько дней. Дать бы вам всем ремнем по одному месту как следует!

---

[1] Английский противотанковый гранатомет.

Забыв о ране, я сделал резкое движение, и у меня в заду сразу же кольнуло. Тереса смотрела на меня без улыбки.

— Уж не стал ли ты женоненавистником случайно? — спросила она.

— Стал, стал! — торопливо согласился я, избегая ее взгляда.

Где-то поблизости грохнуло. Наверное, мина. Вбежало двое ребят, вернувшихся с линии: капрал Брода и рядовой Темны. День разгрома становился днем осуществления их мечты: у обоих болтались на груди автоматы.

— Разрешите доложить, линия до Барбары действует,— отбарабанил капрал Брода. Он напряженно смотрел на меня. Я знал, чего им хочется. И разве я мог отказать им, лишить их возможности пережить в эти несколько последних часов настоящий душевный подъем, почувствовать, наконец, удовлетворение? Я должен был отпустить их, даже если потом мне пришлось бы самому, с моей дырявой задницей, лазить в поисках очередного обрыва, даже если бы я вообще остался здесь без ребят, с одними девчонками.

— Нечего с таким оружием по тылам околачиваться,— спокойно сказал я.— Школа на Воронича еще держится.

— Так точно, пан поручик! — воскликнул капрал Брода с радостным удивлением. Больше я ничего не мог для них сделать.— Когда все утрясется, возвращайтесь обратно,— добавил я, пожимая им на прощание руки.

Это прозвучало слишком уж лихо, потому что «утрястись» все могло бы только в том случае, если мы все станем трупами. Так, во всяком случае, мы думали 24 сентября 1944 года. Мой приказ показался капралу Броде удивительным лишь потому, что ни один командир не отказывается добровольно от своих солдат — ведь это противоречит самому смыслу его существования! А я как раз думал в это время о том, что лучше всего было бы отправить всех моих людей в те дома и развалины, где еще идет сопротивление, а я бы остался один с этим бездействующим коммутатором, ненужным уже на этом сужающемся кусочке свободной земли, где вскоре все объединятся в общем предсмертном вопле.

Чему должна была служить эта мысль, пришедшая в день рождения? Не трусливому ли увиливанию от ответственности? Многих из этих людей я сам вербовал для борьбы, которая должна была завершиться победой. Я завел их на край пропасти, и теперь они один за другим летели в нее. Но могли ли вообще рассчитывать на успех участники какого бы то ни было польского восстания? Не будем раздирать зажившие раны в бесплодной в конце-то концов дискуссии. Я не был тогда знаком с принципами политической мудрости, тактики и реализма; об этом должны были заботиться генералы и руководители. А теперь все эти рассуждения и вовсе ни к чему: причины варшавской трагедии давно уже широко освещены прессой.

В тот день рождения я отгонял от себя мысль о всякой ответственности перед моими людьми, но когда отдавал приказ капралу Броде, девятнадцатилетнему парню, присоединиться к защитникам обреченных позиций, предупредив таким образом его просьбу, я вдруг опустил глаза. «Я охотно отправлю вас, чтобы не видеть ваших вываленных из черепа мозгов; я знаю, вы со слепым доверием слушали все, что я говорил вам, и, не сломленные пятью годами оккупации, шли на баррикаду с верой в победу. Я не хочу смотреть вам в глаза в минуту смерти». И это опять-таки были рассуждения слизняка, а не монолита-героя, который считает единственным своим долгом в сражении безусловное выполнение приказов начальства, даже если они ведут к полному поражению. Армия, обреченная на разгром, быстро разлагается,

исчезает дисциплина, все рассыпается, растет хаос, начинается бегство. Мы были одной из тех исключительных армий мира, в которой угроза разгрома и даже полного уничтожения почти никого не склонила бросить оружие, бежать из города или спрятаться в самом далеком углу самого глубокого подвала.

Оба парня ушли, простучали по ступенькам их сапоги, и я остался один с девушками и раненым бронебойщиком Гервазием. Меня позвали к коммутатору. Звонил мой заместитель Витольд.

— Как дела? — спросил я.

— Школа еще наша,— доложил он.— Контратака на Круликарню захлебнулась в огне.

— Перестань щеголять военной терминологией! — взбеленился я.— Как там на самом деле?

— Дай боже продержаться до темноты,— сказал он.— Так что давай думай об эвакуации нашего семейства.

— Куда?! В ад?!

— За парк Дрешера. В высокие дома. Командование переходит туда сегодня ночью.

— Никуда я без приказа не переселюсь! Как указовки?

— Я им, этим хамам в танках, сказал, что я о них думаю,— похвастался Витольд.— И притом на хорошем берлинском диалекте.

— Отбой! — сказал я и отдал трубку Иоанне. Та смотрела на меня огромными черными глазами.— Боишься, Иоася? — спросил я.

— Боюсь, пан поручик! — сразу же ответила она, но взглянула на меня так живо и кокетливо, что в слова ее было трудно поверить. Я знал, что Витольд положил на нее глаз, и подумал, что эта девушка, если, конечно, она унесет отсюда ноги, перекроит жизнь не одному пареньку.— Эти два месяца восстания были такие прекрасные,— сказала она.— Как сон! И мне совсем неохота просыпаться. Я только хотела бы иметь отдельную могилу, и то ради мамы.

— Глупости говоришь! — рявкнул я и повернулся к Тересе: — Нет ли у вас здесь какой-нибудь еды? — Мне хотелось разрядить обстановку.— Обеда нам при таком обстреле не принесут, это же ясно.

— Обед подан,— доложила Тереса.

Я подошел к столу. В подвальном полумраке на нем можно было различить тарелки и блюдо, на котором дымились макароны. Рядом, на отдельной тарелочке, лежали четыре помидора. Предстоял роскошный пир! Я с тоской вспомнил золотые времена защиты Варшавы, когда на площадях лежали кони, из которых можно было вырезать мясо на отбивные. Здесь у нас не было ни одной лошади, и даже ни одной собаки или кошки я давно не видел. Пожалуй, для нынешнего пейзажа больше подошли бы коршуны, гиены и шакалы. Я должен был сейчас занять за столом место командира. Стулья, на которых обычно сидели мужчины, останутся пустыми, если не считать бронебойщика Гервазия, которого Тереса тоже кормила. А еще неделю назад за стол садилось вечером человек десять и шуткам не было конца, потому что мы еще рассчитывали на какое-то чудо, которое изменит ситуацию.

Немцы тогда как раз взорвали мосты на Висле. Сразу же после этого 9-й полк 1-й Польской армии переправился на лодках через Вислу в районе Чернякова и занял там плацдарм. Ночью советские «кукурузники» сбрасывали нам противотанковые ружья и продовольствие, а ровно в полдень на следующий день прилетели американцы, целых сто самолетов, и куда попало сбросили на парашютах контейнеры. Мы, внизу, думали некоторое время, что это свалилась с неба нам на помощь бригада парашютистов, и прыгали, и плясали, и целовались в упоении от счастья: наконец-то изменится наше положение! Но радость миновала быстро, потому что назавтра наступил обычный

повстанческий день: штукасы отправились после завтрака в свой обычный рейс, «коровы» начали реветь в восемь, а тяжелый миномет полуметрового калибра вообще гремел всю ночь без перерыва: как видно, его обслуживали в три смены.

Мне предстояло сегодня сесть за стол всего лишь с тремя девушками. Временная ситуация, сохранять которую нет ни возможности, ни смысла: командир без войска сидит в подвале, прислушиваясь, не рычат ли «пантеры», потому что они могут всякую минуту оказаться здесь и шугануть из своей пушечки в оконце крепости, обороняемой единственным пистолетом «вальтер» калибра 7,65. Сесть мне тоже было трудно из-за моего ранения, но, хоть это и может показаться смешным, я решил не говорить Тересе о своей постыдной ране, готовый скорее терпеть пытки, нежели подвергнуться страшному унижению. Исполненный отчаянной решимости, я подошел к столу, отодвинул стул и медленно, как это делает очень усталый человек, сел на него. Мне показалось, что я сажусь на непогасший еще костер, но все же мне удалось сдержать гримасу боли. О том, что придется вот так сидеть и беседовать, было даже страшно подумать. Я перекинул тяжесть тела на правую ягодицу — это принесло мне некоторое облегчение — и даже улыбнулся.

— Отличные макароны! — похвалил я.— Вместе с этими помидорами они действуют гипнотически, перенося мое сознание в нереальные времена путешествия в Венецию, когда я не мог взять в рот макароны, ибо они были густо заправлены пармезаном. Но человек зреет, вкусы его меняются, и теперь, если бы мне предложили эти великолепные итальянские блюда, я с алчностью сожрал бы все и вылизал тарелки...

Я замолк, потому что Кристина вдруг начала тихо всхлипывать. Она сидела неподвижно, не касаясь еды, и только губы ее подрагивали от еле сдерживаемых рыданий. Снова близко грохнуло, подвал вздрогнул, и Баська, некрасивая девушка со следами лишая на лбу, напряженно посмотрела на Тересу.

— Ну скажи, Тереса,— умоляюще попросила она.

Тереса выглядела очень похудевшей. Она все время недосыпала и пребывала в состоянии постоянного напряжения. Я часто пробовал ее успокоить, снять с нее это напряжение, шутил, пренебрежительно говорил об опасности и изображал философское спокойствие, хотя у меня самого сосало под ложечкой от страха. Но вся эта моя поза оказалась напрасной. Быть может, Тереса разгадала мою многолетнюю мистификацию, мое притворство, когда я бездарно изображал из себя монолит? Поняла, что эта фигура всего лишь гипсовая и только тоненький слой краски придает ей сходство с бронзовой? Непрерывное напряжение в дни восстания притупило мое чувство к Тересе, и, хотя я продолжал любить ее, я уже не заглядывал ей в глаза, как теленок. Да и разве позволяло время, в которое мы жили, строить какие бы то ни было планы? В эти дни мы отдалились друг от друга: я играл роль командира, она сверхусердно выполняла свои обязанности.

— Может, сейчас и неподходящий момент для того, что я скажу,— вдруг торжественно произнесла Тереса,— но считай это официальным рапортом. Как командир отделения телефонисток, прошу перевести нас в сражающиеся подразделения.

— Да вы что, спятили, что ли? — завопил я.— Коммутатор же еще действует!

— Сегодня действует,— возразила Тереса.— Но завтра, если так пойдет, не будет действовать. Нас самих-то уже наверняка тут не будет. Мы не хотим дожидаться конца по подвалам.

Она смотрела на меня с вызовом. Я почувствовал себя штабной крысой.

— Хорошо,— кивнул я.— Если станет невозможным поддерживать телефонную связь, пойдете к Земовиту.

Тереса продолжала смотреть на меня. В ее взгляде было что-то похожее на жалость. Наступило молчание, только за оконцем слышалась стрельба. От коммутатора доносился приглушенный голос Иоанны, которая шутливо перебранивалась с капралом Кмитичем. Я уже давно заглотал макароны и мог, к своему великому облегчению, встать. Подойдя к коммутатору, я взял у Иоанны трубку:

— Кмитич? Что слышно?

— Яцека рубануло в ногу, и он пошел на перевязочный. Толстяк ищет, чего бы пожрать. Мы теперь сидим в развалленном домишке за школой, здесь сохранился кусочек подвала.

— А положение?

— Может, сегодня не успеют доколошматить нас,— ответил он.— Им после обеда чего-то меньше охота стрелять.

Я вернул трубку Иоанне. По ступенькам спускались двое линейщиков, осторожно поддерживая под руки вагоновожатого. Тот был очень бледен, но довольно бодро передвигал ногами.

— Это что значит?! Тебя отпустили?!

— Я бы вам, пан поручик, не пожелал, чтобы вы в этой больнице лечились,— неохотно ответил он.— Лучше уж тут, среди своих концы отдать. Спасибо вам, ребята.

Ребята щелкнули каблуками и направились к коммутатору. Тереса помогла вагоновожатому улечься на матрасе.

— Водочки маленько не найдется у тебя? — спросил он Тересу.

— Не будет тебе никакой водки! — рявкнул я.

— Я ему дам чаю,— сказала Тереса.

Она взглянула на меня как-то понимающе и нежно, чувствовалось, что ей хочется восстановить со мной контакт, прерванный за столом. В этот момент у меня не было ни малейшего желания поддерживать какую бы то ни было беседу даже с ней. Куда больше мне хотелось лечь на живот и немножко отдохнуть, но я не мог себе позволить этого. Время близилось к четырем, и взрывы слышались все реже, потому что «пантеры» уже добыли свою сегодняшнюю порцию пищи, сожрав Круликарню и несколько домов на Пулавской, а также надкусив школу, но завтра они со свежими силами набросятся на следующие жертвы и, по всей вероятности, встретятся с танками, которые притаились для прыжка на бастионы у Алеи Неподлеглости. Встреча одних «пантер» с другими произойдет, по-видимому, где-то около нашего подвала и завтра от нас ничего не останется, разве что мы успеем смыться на север, как советовал Витольд, за улицу Одынца и парк Дрешера, укрывшись в каком-нибудь из высоких домов позади Пулавской, где-нибудь на Балуцкого или Шустра, и это будет последнее место нашего укрытия.

Я снова взял трубку и стал слушать, что говорит майор, который как раз отдавал приказы командирам участков. Оперируя профессионально-штабной терминологией, он планировал перегруппировку и контратаку. По тому, как правильно, умно и логично он передвигал боевые группы и продумывал позиции, подготавливая ночные действия, план которых излагал сейчас, видно было, что он хорошо знал свое дело. Кто-нибудь, незнакомый с положением на местах, мог бы подумать, что майор располагает крупной тактической единицей, командуя по меньшей мере дивизией, которая способна вести наступательные действия, дать отпор противнику или даже уничтожить его. Я слушал голос майора, и мной овладевало спокойствие. Я даже забыл

на минуту, что эти боевые группы с самыми различными кодовыми наименованиями — всего лишь горстки смертельно усталых ребят, палящих из своего жалкого оружия по броне двенадцатисантиметровой толщины, отчего на стальной поверхности танка вспыхивают лишь веселые искорки — горестное доказательство меткости выстрела. Я отложил трубку, спокойный голос майора вселил в меня надежду, что еще не все потеряно: мы отразим атаки «пантер», к нам подоспеет какая-нибудь помощь, нас сверх головы обеспечат оружием, и мы продержимся на этих нескольких улочках до прихода русских. Эта наивная эйфория продолжалась лишь до нового взрыва мощной мины. Иоанна закричала:

— Обрыв на линии к «Еве»!

— Пошли, Тереса! — сухо сказал я.

Я мог бы послать ребят, которые привели вагоновожатого, мог бы вызвать еще одну пару линейщиков, которые запропастились где-то на Шустра, на автоматической станции, введенной в действие в августе и уже разбитой «коровами», но я почувствовал, что именно сейчас я сам должен выйти на улицу и именно вместе с Тересой устранить обрыв на линии. Такое уж я назначил ей свидание. Тереса радостно взглянула на меня и схватила аппарат, я забросил за спину сумку с инструментами. Обоим ребятам я приказал охранять наш центр связи, вагоновожатый же погрузился в сон и не заметил нашего ухода.

На улице стреляла только артиллерия — в сравнении с утренним адом это казалось легкой щекоткой. Начинало смеркаться, дождь перестал, но тяжелые тучи висели над головой, а холодный ветер напоминал об осени. Погода тоже требовала от нас конца нашей затеи, ибо как думать о боях, если вокруг холод и сырость, нет топлива, а мы сидим в разбитых домах без окон и одеты в одни комбинезоны из перкаля? Пора было умирать.

Мы шли с Тересой вдоль змейки провода к Алее Неподлеглости. Я двигался медленно, мелкими шажками, потому что мой зад не дремал. Провод был протянут вдоль забора и часто пропадал в зарослях дикого винограда. Теперь можно было разогнуть шею и осмотреться вокруг. Эта часть города, до недавнего времени бывшая почти сплошным цветущим садом, где среди зелени алели черепичные крыши, сейчас выглядела как обглоданный скелет и, вся изрытая воронками, была черной от дыр, серой от развалин и коричневой от голых ветвей. Мы шли с Тересой молча, потрясенные этой картиной агонии. Обрыв пришлось исправлять на улице Вейнерта, где кабель был развешен на деревьях и мотался, оборванный по обеим сторонам улицы. Увы, моя рана не позволяла мне влезть на дерево.

Я взглянул на Тересу, она вскарабкалась на дерево с ловкостью акробата. Я всегда восхищался ее физической подготовкой, приобретенной благодаря занятиям гимнастикой. Тереса молниеносно ухватила кабель и спрыгнула с ним на землю, после чего так же быстро вскарабкалась на дерево на противоположной стороне улицы, сбросила с него кабель и протянула мне оба конца, чтобы я срастил их. За все это время мы не проронили ни слова.

Мне было жаль своей загубленной любви, и при этом загубленной не по нашей вине, но сейчас мне казалось, что я уже ничего не могу сделать для нас. Наверное, я хотел бы умереть вместе с Тересой, ибо чего же, кроме смерти, я мог ожидать в этот мой день рождения? Но я даже не умел выразить своих чувств так, чтобы они не показались смешными.

Мы не были склонны тогда к пафосу и пышным фразам. Умирая, ребята не кричали «Да здравствует Польша!», как первые жертвы экзекуций, прежде чем немцы стали заливать им рот гипсом. Никто и

так не услышал бы нас в грохоте взрывов. Что я мог сказать сейчас Тересе? Она же сама все понимала. Я нуждался в ее присутствии.

— Спасибо, Тересочка,— ласково сказал я и принялся соединять оборванные концы. Тереса уже приготовила аппарат, подала мне трубку и покрутила ручку индуктора: она старалась как можно лучше служить своему мужчине. На сигнал сразу откликнулась Иоанна, а через минуту, с другой стороны, отозвался мой друг Земовит.

— Ну наконец-то! — сказал он.

— Рад, что ты жив, Земовит! — воскликнул я.

— Привет, старик! — тепло сказал он в ответ.— Где гуляешь?

— В двух шагах от тебя. Вышли с Тересой маленько прошвырнуться.

— Может, заглянете попить чайку? Скоро пять часов. Я непременно хотел бы вас видеть.

— Постараемся,— ответил я и передал по проводу в противоположную сторону: — Иоанна, мы с Тересой у Земовита.

Когда мы пошли, я снова засеменил.

— Что это ты так странно ходишь? — спросила Тереса.— Будто краковяк танцуешь.

— Это я со страху,— ответил я.— Поджилки-то трясутся, боюсь, как бы не лопнули.

Тереса промолчала, хотя явно хотела что-то сказать. А я вдруг понял, какое сильное влияние, вот уже пять лет, оказывает на мою жизнь эта девушка. Обстрел значительно уменьшился, а на ближайших боевых позициях стрельба то возобновлялась, то затихала, и паузы становились все более длительными. По мостовой четверо ребят тащили полный котел супа.

Мы подходили к Алее Неподлеглости. На ней краснел одинокий шестиэтажный кирпичный дом. До войны его не успели достроить, и он простоял в таком незаконченном виде пять лет, пока не наступила пора и его героизма — теперь это был один из наших бастионов. Верхние этажи были разрушены, но довоенный железобетон долго сопротивлялся пушкам и бомбам. Мы спустились в окоп, который вел к дому. Из дыры на втором этаже на нас поглядывал часовой — парнишка лет пятнадцати, который, опираясь на винтовку, застыл как памятник. Лицо его, серое от грязи и пыли, выражало гордость от того, что вот он стоит — важный и нужный — и что он дождался-таки того часа, когда ему больше не надо завидовать взрослым. Восстание стало событием, во время которого осуществились все его скопившиеся за годы оккупации мечты. Пятнадцатилетний парнишка с винтовкой, если и переживет войну, все равно никогда уже не возвысится до такой безграничной самоотверженности, до такого бескорыстия. Прожив годы, он сочтет эти минуты самыми важными в своей жизни, а все, что последовало потом,— всего лишь компромиссом.

Мы вошли с Тересой в подвал, где по углам спали солдаты. Сам Земовит ожидал нас в своем маленьком подвальчике, роскошно освещенном двумя карбидными лампами. У стены лежал матрас, покрытый персидским ковром, а возле круглого, в стиле «бидермайер», стола ясеневого дерева, сверкавшего полировкой, как в порядочном буржуазном доме, высились два огромных мягких кресла, обтянутых кожей. На столе в фарфоровой вазе стояли три темно-красных георгина. Не следовало ничего спрашивать и ничему удивляться.

— Очень хорошо, что вы пришли,— сказал Земовит и протянул для приветствия левую руку — правая у него была на перевязи.

— Схлопотал? — спросил я.

— Свою долю уже заприходовал,— улыбнулся он.— Рад, что вы в хорошей форме. Сейчас будет чай. Пшибыслава, мы ждем!

Последние слова он бросил куда-то в темноту подвального коридора. И оттуда сразу же вынырнула голова девушки с хорошенькой детской мордашкой.

— Несу, пан поручик!

Мы хорошо знали ее. Никто никогда не мог догадаться, с кем живет Земовит, но при нем всегда была хорошенькая девица. Пшибыслава же, как он окрестил эту девушку, потеряла свой отряд на Раковецкой; их разгромили в первый же день восстания, и она пробиралась ночью по полям в сторону Служевца. Там-то она и наткнулась на Земовита, который убеждал беглецов вернуться, поскольку на Мокотове разбили отнюдь не всех и удирать в лес некрасиво.

У Пшибыславы, светлой пышнотелой блондинки, были всегда печальные глаза. Она ничего не хотела говорить о себе и была послушна Земовиту не как солдат, а как арабская жена. Я всегда завидовал умению Земовита обращаться с девушками, которые становились рядом с ним тихими, податливыми и преданными, словно он отуманивал их наркотиками. А может, он просто выбирал таких? В то время мои познания о женщинах ограничивались наблюдениями отцовской семейной жизни, а они, хоть и были яркими, не могли пригодиться мне, поскольку случаи были нетипичными. Глядя на девушек Земовита, я в своих мечтах воображал и Тересу покорной, заглядывавшей мне в глаза, как верный пес.

Между тем Тереса села в кресло, изящно заложив ногу на ногу. Я тоже медленно опустился в мягкую пропасть, отчего мой зад не преминул напомнить о себе, но это было уже терпимо. Вошла Пшибыслава, которая несла на подносе три чашки. Я сразу же почувствовал аромат настоящего чая. Дрожащей от почтения рукой я взял из серебряной сахарницы два кусочка сахара. Снаружи то и дело погромыхивало, и я все время ждал жуткого взрыва, от которого нас засыплет. Как-никак, а мы находились на передовой — перед домом было поле, а на поле стояли танки. Однако спрашивать о них хозяина дома было как-то неудобно.

— А почему ты себе не принесла чаю, Пшибыслава? — спросил Земовит.— Тебе что, не нравятся наши гости?

Пшибыслава густо покраснела.

— Да нет... почему же... я сейчас принесу...— и выбежала из подвальчика. Это была маленькая запуганная собачка.

— Она очень впечатлительная девушка,— пояснил Земовит,— и очень робкая.

— А может, она только при тебе такая робкая? — спросила Тереса.

Тон у нее был весьма задиристый. Я заподозрил, что Земовит очень нравится Тересе, и потому она хотела бы сразиться с ним. Может, она рассчитывала на победу в этом состязании и уже видела свой триумф — тихого, влюбленного Земовита, который не сводит с нее преданных глаз? Это задело и обозлило меня. Но тут ухнуло совсем близко, стены подвала задрожали, и я сейчас же вспомнил, что никакая ревность уже не имеет смысла. Я содрогнулся от переполнившей меня печали и страха перед неизвестностью.

— Я не стараюсь ни в ком вызывать робость,— улыбнулся Земовит.— Я лишь не склонен к излишней фамильярности. Вы заметили, как у нас со вчерашнего дня испортилась погода? Ветры, дожди, низкие тучи... Слишком быстро миновало лето. Я даже ни разу не успел поплавать... Очень неприятный год, этот сорок четвертый. А ведь сама по себе цифра сулила столько надежд!

— Помнишь, как мы встречали Новый год? — воскликнул я.— Пили белое вино, добытое у немцев, а они за окнами стреляли в виде

исключения не в нас, а просто в честь Нового года. Мы бы дали голову на отсечение, что в этом новом году нас ожидают одни радости, тем более что это подтверждали пророчества Нострадамуса [1] и Вернигоры [2]...

— Эти пророчества каждые два-три месяца распространяются заново. Для поднятия духа соотечественников,— Земовит рассмеялся.— Я знаю парня, который этим занимается. Но в жизни сбывается всегда только самое плохое. Несмотря на это, надо действовать до конца, другого выхода ведь нет.

— А я верю, что все хорошо кончится,— вмешалась Тереса.— Нельзя допустить, чтобы события раздавили нас!

— Нас раздавят стропила! — ядовито уточнил я.— Разве что произойдет чудо...

— Может, я должна сказать себе, что все, что я делаю, бессмысленно? — возмутилась Тереса.— Что все эти жертвы напрасны? Что мир не желает этого знать? Что всем наплевать на нас? Что естественные порывы моей души — всего лишь глупость и кто-то воспользовался моей наивностью? Ну уж нет! Никогда не соглашусь с этим! Я знаю, что поступаю правильно, и, даже если бы мне заранее сказали, какая судьба меня ждет, я все равно делала бы то же самое!

— Ты еще не знаешь, что тебя ждет...— сказал Земовит.— К счастью...

Вошла с чашкой чаю Пшибыслава и села на краешек матраса. Она не носила комбинезона, как Тереса — за право носить этот мундир девушки сражались уже несколько недель,— а была в черной юбке и чистой белой блузке; в наших условиях эта чистая блузка должна была стоить ей сверхчеловеческих усилий. Она выглядела примерной ученицей накануне выпускного экзамена. С такими девушками я, бывало, танцевал на школьных вечерах, задыхаясь в тесном, жестком воротничке белой рубашки и с трудом поддерживая разговор.

— Только не притворяйся, что тебе все безразлично, Земовит! А ты, Барнаба, перестань подражать ему как обезьяна! — вдруг взвилась Тереса.

Ее упрек очень задел меня, потому что я еще в школе бессознательно подражал элегантным манерам Земовита. Он был из семьи служащих, но гордился своим блестящим дворянским происхождением, доказательством чему служили его перстень на пальце, а также глубоко консервативные убеждения.

— А что я должен делать, о моя романтическая барышня? — язвительно поинтересовался я.— Плакать, распевать псалмы, а может, выбежать навстречу «пантерам»?

— У нас здесь «тигры»,— пояснил, пряча улыбку, Земовит.

— Ну что ты кривляешься, Барнаба! Ты же ни слова не говоришь искренне! Брось свое позерство! — обрушилась на меня вконец обозленная Тереса.

— А что же нам осталось, Тереса, если не поза! — вступился за меня Земовит.— Именно в соответствующей моменту позе мы и должны перейти в историю! — Он наклонился к Пшибыславе.— До меня донесся неприятный запах,— сказал он, взял у нее из рук чашку, понюхал и с отвращением поморщился.— Ну, конечно! — возмущенно воскликнул он.— Что это ты налила себе вместо чая? Заварила траву, которую нарвала в поле?

[1] Французский астролог и врач XVI в., изложивший свои пророчества на ближайшие пять веков в форме четверостиший.

[2] Легендарный запорожский казак XVIII в., автор мистических предсказаний о судьбах Польши.

— Чай у нас уже кончается,— прошептала, снова сильно покраснев, Пшибыслава.

Земовит выплеснул содержимое чашки в ведро и пододвинул ей свою.

— Не будешь ты пить всякую гадость в такой торжественный день! Пей, пожалуйста, вот это!

Пшибыслава взяла его чашку и пригубила. Рука девушки слегка дрожала, веки были опущены, могло показаться, будто она пьет цикуту из чарки. Мне вдруг пришло в голову, что Земовит, быть может, организовал здесь коллективное самоубийство и насыпал в неизвестно где добытый чай цианистый калий, чтобы избавить себя и нас от жестокой смерти. Такой Петрониев жест, перенесенный в нашу действительность, был вполне в его стиле, и я еще раз понюхал чай, чтобы проверить, не просочится ли сквозь аромат чая горьковатый запах миндаля. Но чай пах только чаем.

— А что же это за торжественный день сегодня? — спросил я.

— Чай кончился,— вздохнул Земовит.

— Лишь бы боеприпасы не кончились! — воскликнула Тереса.

— Скоро и они кончатся,— сказал Земовит,— я не знаю случая, если припомнить нашу историю последних веков, когда у поляков было бы достаточно боеприпасов.

В подвал вбежал заместитель Земовита, капрал Брона. Он занял этот пост несколько дней назад, когда его школьный товарищ, подхорунжий Яцек, пал, слишком близко подойдя во время караульной службы к Мокотовскому форту. Брона искренне оплакивал друга, но был очень рад повышению. Вытянувшись в струнку, он доложил:

— Пан поручик, докладываю, что танки вроде бы зашевелились...

— Извините, я на минутку,— сказал Земовит и вышел с Броной.

Я не мог совладать с собой — мне казалось, я весь облился холодным потом. Однако надо было продолжать играть роль монолита.

— Семнадцать тридцать,— я взглянул на часы.— Солнце заходит. В это время они наверняка не начнут. Пожалуй, нам пора возвращаться, Тереса.

Она тут же встала, готовая выполнить приказ. Вид у нее был как нельзя более официальный.

— Я хотела попросить Земовита, чтобы он нас взял к себе, если...— она не кончила фразы, с такой злостью я посмотрел на нее. Оказывается, все механизмы ревности и задетого самолюбия продолжали действовать.

— Если этот дом падет, танки раздавят нас,— сказал я тоном командира.— Мы будем вынуждены немедленно эвакуироваться. Понадобятся все способные переносить аппаратуру.

— Значит, ты отменяешь свое согласие? — спросила Тереса.

— Отменяю,— твердо ответил я.

Тереса опустила глаза. Пшибыслава сидела неподвижно, вперив взгляд в пол с таким видом, словно вообще не слышала ничего, что говорилось рядом. Где-то близко разорвался снаряд, и дом задрожал так, что подпрыгнуло все даже здесь, в подвале. Наверное, снова попали в какой-нибудь уцелевший кусок верхнего этажа. Тереса вызывающе смотрела на меня. Я почувствовал, как теплая влага потекла у меня по ноге, должно быть, я слишком вертелся, и рана снова начала кровоточить. Осторожно подтянувшись на руках, я поднялся и стал спиной к стене, чтобы в случае чего девушки не могли заметить на бриджах пятна. В этот момент в подвал вошел Земовит. Видно было, что он принес какое-то чрезвычайно важное известие.

— Ну как там хищники? — спросил я.

— Трудно сказать,— ответил он.— Уже слишком темно, ничего не разглядишь, наверное, проверяют моторы, поэтому такой рев. Но не будем сейчас забивать себе этим голову. Я пригласил вас на небольшое торжество. Мне бы хотелось, чтобы оно удалось нам как можно лучше, несмотря на неблагоприятные условия. Пшибыслава, ты готова?

Пшибыслава встала.

— Что я должна делать? — тихо спросила она.

— То, что тебе велит обстановка,— ответил Земовит и подошел к двери.— Прошу войти, мы ждем! — громко произнес он.

В подвале появился ксендз в сутане, а за ним несколько ребят из взвода Земовита. Земовит схватил руку Пшибыславы.

— Вот невеста,— сказал он.— А вот свидетели.

И указал на нас с Тересой. Значит, он не собирался устраивать коллективное самоубийство. Пшибыслава встала, глаза ее расширились. Это была самая покорная невеста, какую я когда-либо видел. К несчастью, у новобрачных было очень мало надежды пережить завтрашний день. Но Земовит любил жесты. Ксендз вынул из портфеля епитрахиль и надел на шею. Вместо свечей на столе горели две карбидные лампы. Земовит взял из вазы георгины и протянул Пшибыславе. Она прижала их к груди естественным и очень красивым жестом. Земовит взял здоровой рукой Пшибыславу под руку и подвел к ксендзу. Я отодвинул кресло, и мы с Тересой стали чуть позади них, а за нами образовался полукруг из жениховых товарищей по оружию, за спиной у них торчали автоматы, за поясом — гранаты. Хоть худшая половина моей души и шипела ехидно, что все это поза, липа и вообще юродство, глаза мои все же наполнились слезами, когда ксендз перекинул епитрахиль через их соединенные руки и стал произносить положенные слова.

Пожалуй, эта пара и в самом деле не расстанется до смерти, ведь та притаилась в нескольких сотнях метров, прочищая дула и смазывая моторы, чтобы кинуться на них спозаранку, едва они очнутся от сна в теплых объятиях первой брачной ночи. В подвальчике царила тишина и только голос ксендза гремел, перекрывая приглушенные звуки взрывов за стеной, где пушки стреляли словно бы в честь молодой пары — моего изысканного товарища в свежеотглаженном сером комбинезоне из перкаля, с рукой на перевязи, и робкой девушки, смотрящей на него, как на святого, еще не способной поверить в то, что вот, слово стало делом. Видя, какие взгляды она бросает на Земовита, какого они исполнены детского обожания и готовой на все любви, я понял, что эта слащавая церемония именно здесь и именно теперь имела особый смысл.

Карбидные лампы шипели и мигали, бросая тени на сосредоточенные лица, играя бликами на оксидированных стволах автоматов. Не хватало только Гротгера [1], который набросал бы черным и белым мелком композицию: «Венчание повстанцев, Варшава, 1944». Совершенно не отдавая себе отчета в том, что делаю, я взял Тересу под руку. Она смотрела на свет лампы, но когда я дотронулся до нее, вздрогнула и взглянула на меня. Глаза ее были влажны. Я крепко прижал к себе ее руку: Тереса казалась мне самой прекрасной девушкой на свете. Я продолжал крепко сжимать ее руку и не чувствовал никакого сопротивления. Спустя минуту церемония закончилась, Земовит обнял Пшибыславу и нежно, почти отечески, поцеловал в

[1] Гротгер Артур (1837—1867) — польский художник. Знаменит рисунками, посвященными восстанию 1863 г.

губы. Теперь новобрачная уже не могла сдержать всхлипываний. Я слегка подтолкнул Тересу к ним. Однако мы не смогли произнести ни слова и просто молча по очереди поцеловали их. Пшибыслава дрожала от рыданий. Земовит крепко обнял меня в ответ и прошептал:

— Вот видишь, старик...

Теперь к ксендзу подходили другие — святить оружие. Вдруг я схватил Тересу за руку и подвел к ксендзу.

— Мы тоже хотели бы обвенчаться,— торжественно заявил я.

Ксендз был сед и очень стар. Казалось даже странным, что он до сих пор не рассыпался от взрывных волн. Он серьезно посмотрел на нас. По лицу Тересы пробежала судорога, но она не сказала ни слова и даже не взглянула на меня.

— Не могу в таких условиях отказать вам, дети мои,— ответил ксендз, будто речь шла о соборовании.

— Браво, старик! — воскликнул Земовит, и обряд начался снова. Касаясь плеча Тересы, я чувствовал легкую дрожь ее тела. Мы все еще не взглянули в глаза друг другу. Я даже позабыл на все время церемонии о своем заде. «Да» Тересы было тихим, но решительным: им завершилась моя пятилетняя мечта о ее любви. Во время исполнения обряда дом несколько раз сильно встряхивало, но на это уже никто не обращал внимания. Я крепко поцеловал Тересу. Она ответила мне теплыми, мягкими губами. Куда-то совершенно исчезла ее задиристость, из-за которой еще полчаса назад мы чуть не поссорились. В своем комбинезоне она больше напоминала пятнадцатилетнего мальчика, чем двадцатитрехлетнюю женщину. Теперь Земовит прижал меня к груди.

— Будем ходить друг к другу в гости, старик,— сказал он.— И будем вместе отмечать годовщины свадьбы. А потом поженим наших детей.

— Если бы мне кто-нибудь сказал об этом утром... — улыбнулась Тереса.

— Да разве я мог подумать, что стану жениться в день собственного рождения! — вздохнул я. Земовит пошел в угол и вытащил из шкафчика две бутылки французского вина.

— Десять помидоров за них заплатил! — похвастался он.

Капрал Брона, как старший по званию среди гостей, произнес тост. Насколько мне помнится, это звучало так:

— Внимание! Смирно! Пью за здоровье и счастье нашего любимого командира, гражданина Земовита, который под пулями и бомбами служит нам примером смелости, а также за его жену, связную Пшибыславу, пальчики которой перевязали раны многих и многих и которую мы все любили как сестру, но которая выбрала его, и неудивительно, потому что командир — он командир и есть! Да здравствуют молодожены, пусть живут счастливо, нарожают дюжину детей во славу Родины и пусть дождутся победы, потому что должна же холера в конце концов взять это чудовище, и оно уже сдыхает в конвульсиях страшной агонии, но еще пришибает нас своим хвостом! А мы его за этот хвост держим в Варшаве и держать будем, покамест оно не испустит свой адский дух! Виват! Да здравствует Польша! Да здравствует молодая пара!

Раздались возгласы «виват!», «виват!», все выпили по глотку вина, но качать молодоженов не стали, потому что своды подвала нависали у нас над головой так низко, что, например, телефонист Длуги, мой подчиненный, метр девяносто ростом, должен был нагибать голову. Теперь поднял свой бокал Земовит:

— А я пью за счастье наших гостей, второй молодой пары — моего друга поручика Барнабы и его жены, капрала Тересы! Вы, дорогие, теперь объединились, чтобы быть вместе в счастье и в беде, а если потребует многострадальная наша Родина, то и умереть вместе, потому что, дабы не погибла она, мы неустанно должны питать ее нашей кровью. Такова спокон века участь поляков всех поколений.

Тут он умолк, поняв, видно, что его повело не в ту сторону — слишком не походила его речь на свадебный тост, который должен призывать к продолжению жизни, а не к смерти. Виной тому, конечно, было волнение, и Земовит, спохватившись, быстро исправил положение, воскликнув:

— Виват, молодая пара! Оркестр! Мазурку!

Оркестра не было, поэтому все просто выпили также и за нас, а поскольку вино кончилось, подошло к концу и торжество. Я позвонил Иоанне, сказав, что мы возвращаемся. Уже стемнело, бои почти прекратились, и съежившаяся еще больше свободная территория Мокотова готовилась к последней, быть может, ночи.

Мы вышли из подвала в окоп, по которому добирались к дому днем. Кое-где мигали огоньки фонариков.

— Не знаю, как долго нам удастся удержать связь, если завтра начнут,— сказал я.— Если тебя выкурят отсюда, Земовит, пошли ко мне связного. Я бы не хотел, чтобы танки помешали нам доесть нашу порцию искусственного меда.

— Спите спокойно, дети, и любите друг друга,— ответил Земовит.— Плохие известия и так дойдут до вас.

Тереса поцеловала Пшибыславу, та по-детски прижалась к ней.

— Ну что, моя милая, ты довольна?

— Хоть бы все это уже кончилось! — прошептала Пшибыслава. Она думала теперь только о своем супружестве.

Мы двинулись в темноту. Я еще раз обернулся. Развалины были отчетливо видны на фоне чуть более светлого, чем они, неба. Пока мы сидели в гостях, дом несколько изменил свою форму — артиллерия снесла очередной этаж. Когда завтра пойдут в атаку танки, от дома останется только подвал. Земовита я видел сейчас в последний раз: на следующий день, в понедельник, 25 сентября, в девять утра, он падет от пули, которая угодит ему в глаз. А Пшибыславу даже ничто не заденет. Как об этом поется в старинной солдатской песне, она все вытерпит и останется в живых, хотя не только не будет прятаться от пуль, но даже станет искать смерти. Лишь в лагере под Ганновером, куда она попадет, как захваченная в плен участница восстания, Пшибыслава поймет, что беременна. Сын ее родится в Варшаве, в июне 1945 года, в двух минутах ходьбы от того места, где погиб Земовит. Как и пристало героине солдатской песни, она уже никогда не выйдет замуж и будет вести тяжелую, полную лишений и суеты жизнь. Когда на лице ее сына появится улыбка, очень похожая на улыбку Земовита, она почувствует себя счастливой и будет делать все, чтобы дитя улыбалось как можно чаще.

А пока мы шли с Тересой по темным улочкам. Пользуясь наступлением ночи, вылезли из подвалов немногочисленные уже жители, и повсюду вокруг слышались голоса. Мы спотыкались о ветви, оборванные снарядами, и продолжали идти молча. Да и что можно было сказать? Я не сумел бы выразить своих мыслей, все, что мне приходило в голову, звучало или помпезно, или фальшиво. Следовало как можно скорее выскочить из состояния возвышенных переживаний. Вдруг Тереса тихо рассмеялась. Это изумило меня.

— Жаль, что я не смогу рассказать об этом нашим детям! — воскликнула Тереса.— И что это тебе вдруг пришло в голову?

— Наконец-то я поступил как мужчина. А то между нами ничего не произошло бы, не прими я вот так, с бухты-барахты, решения. А теперь все. Отступление отрезано.

Тереса перестала смеяться, засунула руку под мой локоть и, сменив шаг, пошла со мной в ногу, как бы давая понять, что приняла наши новые отношения.

— Отступать вообще некуда,— сказала она.— Хорошо, что все так сложилось.

Я прижал ее локоть и поцеловал в щеку. Во мне не было страсти, я был полон одной только нежности. Торжество в подвале Земовита сейчас казалось мне сном, чем-то нереальным, плодом возбужденной фантазии. Действительной зато была эта девушка, которая шла рядом со мной среди догоравших домов, чьих-то голосов во тьме, топота шагов, миганья фонариков, душной пыли и зловонной гари.

Пропустив ее вперед, я медленно сошел по ступенькам в наш подвал. После прогулки пешком мой зад снова стал разрываться от боли. Внизу оказалось более десятка человек: вернулись линейщики, пришли телефонисты со станции. Все они чистили оружие или хлебали суп, доставленный нам после наступления темноты. К счастью, «пантеры» дивизии «Герман Геринг» боялись охотиться по ночам. При виде меня все замолчали, словно ожидали, что я скажу что-то важное. Мне нечего было сказать им, поэтому я спросил:

— Все линии действуют?

— Все,— ответил со своего матраса вагоновожатый. Он полулежал на каких-то толстых одеялах и выглядел гораздо здоровее, чем несколько часов назад.

— Готовится контратака на Круликарню,— тихо доложила Иоанна.— Ночью в штабе будет совещание.

— Готовится контратака на Круликарню! — громко повторил я, чтобы все услышали. Любое известие о нашем наступлении поднимало в них дух, даже если все, что о нем говорилось, было лишь мечтой. Майор перебросит на Пулавскую еще несколько десятков ребят, оголив при этом другие участки, и все эти сто или двести человек ворвутся в парк Круликарни, где их заставит залечь шквальный пулеметный огонь. Тогда они бросят гранаты и чуть-чуть постреляют в невидимого врага, многие из них погибнут, кого-то вытащат на себе товарищи, после чего быстро восстановится тишина. А сейчас мне надо было делать вид, что сегодняшний вечер точно такой же, как и те шестьдесят предыдущих вечеров, какие мы уже пережили.

— Передали «С дымом пожаров»,— сказал Витольд, мой заместитель. После целого дня беготни он всегда являлся на ночь домой.

— А ты ожидал чего-то другого? Этот хорал больше всего и подходит к нашему положению. Что нового?

— Две указки завалило в развалинах,— доложил он.— Да от них все равно уже мало радости. Зато я немножко пострелял по движущейся цели!

— Витольд! — торжественно сказал я.— Сообщаю тебе, что я только что женился на Тересе.

— Конечно. Это следовало узаконить.

— Что следовало узаконить?

— Вашу связь.

— У нас не было никакой связи. Мы держимся старомодного принципа: «все после свадьбы».

Витольд расхохотался.

— Да ведь все же знают, что вы с Тересой уже много лет любите друг друга! — сказал он.— Мне очень жаль, что я не был приглашен на это бракосочетание.

— Просто подвернулась исключительная оказия,— пояснил я.— Но вечером состоится свадьба.

— Свадьба? — засмеялся Витольд.

— Свадьба! — подтвердил я.— Присутствие обязательно.

— Слушаюсь! — он щелкнул каблуками.— Почему бы и не быть свадьбе?

И снова улыбнулся, отчего вокруг рта у него разбежались морщинки. Он был старше меня на десять лет. Мы вместе проходили военную службу в Зегже, перед самой войной. Я поступил в тамошнюю школу подхорунжих (по протекции отца) сразу после экзаменов на аттестат зрелости. Витольда же, инженера-электрика с дипломом варшавского Политехнического института, призвали как ценного специалиста. Я был в роте самым молодым, семнадцатилетним, солдатом, он — кутила с черными усиками — самым старшим, двадцатисемилетним. Со студенческих времен у него сохранилась чрезмерная склонность к спиртному, но я понял это только летом 1939 года, когда, закончив школу подхорунжих, мы оказались на стажировке в маневренном батальоне в Зегже и питались оба в клубе младших офицеров.

Этот последний июль и последний август второй Речи Посполитой запомнился мне не как драматический пролог апокалипсиса, но как жестокое время насилия над собственным организмом. Витольд не признавал обеда без четвертинки, а я, будучи глупым щенком, не мог противиться взрослому коллеге. Глаза мои слезились, я ненавидел вкус водки, не любил состояния опьянения и все же два раза в день отравлял самого себя, испытывая глубокое отвращение к Витольду и к себе, пропивая, вопреки своему желанию, все деньги, которые у меня были. Уже на рассвете я начинал дрожать при мысли о пятидесятиграммовых стопках, содержимое которых я не мог влить в глотку, не подавившись.

Витольд совершенно не обращал на это внимания и с наслаждением заглатывал свою порцию, после чего, раскрасневшись, прелестно рассказывал о своих студенческих приключениях и о любимой, умной, красивой девушке, свадьба с которой у них была назначена на октябрь, когда он закончит военную службу. Витольда уже ожидала хорошо оплачиваемая работа на заводе Шпотанского, и от полного счастья его отделяли только эти несколько недель службы в Зегже.

Каждый день во мне вспыхивал бунт, и я подготавливал соответственную речь. Витольд был пьяницей и нуждался в активном собутыльнике, который со звоном чокался бы с ним — без этого он не испытывал удовольствия. Я же, давясь, кашляя и обливаясь слезами, ждал, как избавления, сентября, когда мы сможем вернуться домой. А дождался начала войны и бомб, посыпавшихся на мост через Буго-Нарев. В тот же день мы, к моему облегчению, разъехались в разные части. Я встретил Витольда на улице в октябре 1939-го, когда мы с трудом приходили в себя после сентябрьского шока. Он был одет в какое-то тряпье, не брит, с налитыми кровью глазами, изо рта у него неприятно пахло, как это бывает при больной печени, и вообще он весь вонял перегаром и селедкой. Увидев меня, он просиял, по-пьяному радушно засуетился и потянул в первый попавшийся бар, чтобы рассказать мне свою трагическую историю.

В сентябре 1939-го он, как и я, оказался среди защитников Варшавы и сейчас же отыскал свою невесту, о которой так мечтал, маршируя по лесам и долам. Придя в восторг от того, что оба живы, они

бросились друг другу в объятия и прожили несколько часов абсолютного счастья в пустой квартире его девушки. Вскоре, однако, ему пришлось возвращаться в свою часть на Марымонте, невеста же его заупрямилась и настояла на том, что пойдет хотя бы немножко проводить его. И они пошли, держась за руки, восторженно глядя друг на друга. Так возлюбленные шли довольно долго, почти позабыв об осаде города, лишь обходя рвы, воронки и развалины, как вдруг раздался сухой треск, и его девушка опустилась на тротуар — осколок шрапнели перерезал ей горло... Витольду не оставалось ничего другого, как похоронить ее с помощью прохожих на ближайшем скверике. Этот страшный случай окончательно сорвал его с тормозов, и он стал пить сверх всякой меры. Спустя два часа я покинул его в баре, заплаканного и бормотавшего, свесившего голову над очередной четвертинкой.

В следующий раз я увидел его только через три года, в конце 1943 года, когда он нашел меня через товарищей по военной службе. Лицо его расплылось и отекло, как у алкоголика, но он был совершенно трезв, ни в какой бар меня не потянул, а просто рассказал мне случившуюся с ним недавно потрясающую и гротескную историю.

Он уже два года работал в одной электротехнической фирме и очень хорошо зарабатывал. Несмотря на то что ему было больше тридцати, он оставался холостым и по-прежнему не чурался рюмочки, более того — незамедлительно пропивал все, что зарабатывал. Так он и жил все годы оккупации: постоянно пребывая под градусом, минуя со свойственной пьянчугам везучестью все облавы на улицах, не обращая внимания на одиночные выстрелы и залпы, не замечая трупов. За две недели до нашей встречи, в конце октября 1943 года, он довольно долго пировал в обществе нескольких мужчин и дам в квартире одной из них, а так как квартирка была однокомнатной и спать ему пришлось бы на полу, он решил, несмотря на комендантский час, вернуться домой, куда ему надо было тащиться через весь город. Близилась полночь, и никто из собутыльников его не задерживал, потому что все были пьяны в стельку.

Выйдя на Свентокшишскую, он поплелся по направлению к Жолибожу. Его сильно качало из стороны в сторону, иногда он присаживался у стены, но потом все равно подымался и с пьяным упорством продолжал ковылять по темному и опустелому городу, тем более что, по его собственному признанию, такие вещи ему уже не раз удавались и он всегда без всяких приключений добирался до дому. Однако на этот раз он выпил слишком много водки и двигался очень медленно: до площади Инвалидов он доплелся только к двум часам ночи. Там его заметил жандармский патруль. Немцы, как обычно, крикнули издали: «Хальт!», «Хальт!», но Витольд, который упорно воевал с сопротивляющимся пространством, вообще этого не услышал, а если и услышал, то, как бывает с пьяным, не принял к сведению. Для жандармов этого было достаточно — один из них немедленно выстрелил в едва передвигавшего ноги Витольда, тот сразу же упал и погрузился в небытие. Жандармы перешли через дорогу, нагнулись над мертвым и согласно предписанию вынули у него из кармана бумажник и документы, чтобы передать их польской полиции, которая подбирала на улицах трупы и составляла акты о смерти, потом пнули труп ногой и удалились во тьму.

Спустя час Витольд очнулся от холода и неудобства, так как лежал на мокром тротуаре, с огромным усилием встал и с еще большим усилием побрел домой, слегка хромая из-за боли в пятке. Дома он плюхнулся на топчан и уснул, не сняв носка с болевшей ноги, потому что тот прилип и не хотел сниматься. На следующий день, проснувшись в состоянии жесточайшего похмелья, он обнаружил, что у него

на пятке не хватает кусочка кожи, а в ботинке появились две дырки. Ужас его увеличился еще больше, когда оказалось, что у него нет ни документов, ни бумажника. Вывод можно было сделать только один: он стал жертвой нападения вооруженных грабителей. Увы, напрасно пытался он выудить из собственной памяти хоть какое-нибудь воспоминание об этой ночи бурного пьянства.

Лишь два дня спустя, возвратясь с работы, он увидел на замочной скважине сургучную печать жилищного управления. Тут же прибежал взволнованный дворник: несколько часов назад полиция сообщила ему, что Витольд застрелен жандармами на площади Инвалидов и, хоть труп найти не удалось, что при нынешнем беспорядке иногда случается, в полиции уже составлен акт о его смерти, а квартира передана в распоряжение жилищного управления, где стоят на очереди граждане, получающие квартиры за взятку. Дворник не сказал полицейским, что Витольд жив, и присутствовал как понятой при описи вещей, оставшихся после «умершего». Теперь он советовал Витольду как можно скорее исчезнуть отсюда, потому что жандармы охотно застрелят его еще раз — согласно составленному акту о смерти. «Они жуть до чего во всем орднунг любят,— добавил дворник.— Раз есть бумажка о смерти, значит, нечего данному человеку жить, никакого у него нету законного права».

Витольд в дискуссию не вдавался, а вскочил в трамвай и был таков. После этого он скитался, ночуя у знакомых собутыльников, и, конечно, боялся показаться в своей фирме. Он вдруг стал нежелательным гостем, потому что поклялся до конца войны не брать водки в рот. Встретившись со мной, он попросил свести его с подпольной организацией, ибо, по его словам, навсегда порвал с прежней, подлой, заблеванной жизнью и хочет в меру своих сил послужить Родине. Это ранение в пятку было для него последним предупреждением: уж если ему суждено погибнуть, пусть погибнет не как омерзительный алкоголик, а как солдат на поле боя. Он просил также добыть для него какие-нибудь документы. К моему великому изумлению, он действительно сдержал слово, и я никогда больше не видел его пьяным. Более того, он постоянно был готов принять участие в самых рискованных операциях. Неустанное напряжение и опасность, как видно, компенсировали ему отсутствие спиртного. В дни восстания он охотнее всего бывал на линии связи, часто принимал участие в вылазках и атаках. И сейчас он смотрел на меня с улыбкой, развеселившись от моего неожиданного сообщения о предстоящей свадьбе.

— Мы пережили тяжелый день,— сказал он.— Нам полагается свадьба.

Старый комбинезон, который был на нем, подчеркивал его полноватую фигуру и коротковатые ножки больше, чем гражданская одежда. Он по-прежнему носил черные усики.

— Буду вашим чашником,— сообщил он.— Страсть как люблю распоряжаться на свадьбах. Если б я знал, что сегодня венчают, может, и я бы...

Мы оба посмотрели в сторону коммутатора, где Иоанна подслушивала разговоры. Витольд ухаживал за ней осторожно, несмело, словно боялся показаться смешным. Этой восемнадцатилетней девушке он, наверное, казался почтенным тридцатидвухлетним стариком, но был в ее глазах и героем, который не ведает страха. Я подошел к Терезе, она делала перевязку бронебойщику Гервазию, разорвав для этого на полосы простыню.

— Может, выживу, а, пан поручик? — спросил раненый, блеснув из-под бинта единственным глазом.

— Ну уж насчет этого я абсолютно спокоен,— ответил я как можно увереннее.

— У тебя есть что-нибудь из еды? — спросил я шепотом у Тересы.— Надо устроить свадьбу.

Она с иронией взглянула на меня. Мы пошли в маленькую комнатку в конце подвала, где Тереса хранила под ящиками свои сокровища.

— Бутылка водки, бутылка коньяку «Хенесси», бутылка токая и коробочка сардин,— перечислила она.— Это все.

Взяв бутылку коньяку, я отлил из нее немножко в аптечный пузырек.

— Иду в больницу,— сказал я.— Потом я твой.

— Только не жди чего-то особенного,— улыбнулась Тереса. Оказалось, что даже в этой ситуации свадьба лучшее лекарство для женщины: Тереса избавилась от напряжения, к ней вернулось хорошее настроение, и она была явно не прочь пофлиртовать и пококетничать. Может, она даже решила не умирать под гусеницами танка? У нее теперь был муж, которого надо было обихаживать и защищать.

— Готовь свадьбу,— распорядился я.— Все, кто жив, имеют право принять в ней участие. Ставь на стол все, что у нас осталось. В общем — пир горой!

— А завтра? — спросила она.

— Нет никакого завтра,— ответил я. Тереса вопросительно смотрела на меня. Конечно, она искала на моем лице выражение любви. Мы были сейчас одни, и я мог прижать ее к себе. Теперь нас уже ничто не разделяло.

— Я уже пять лет люблю тебя, Тереса,— прошептал я.— И ты прекрасно об этом знаешь.

Я поцеловал ее. Это был наш первый настоящий любовный поцелуй, и я постарался вложить в него все свое чувство, но оно было слишком большим и не могло уместиться в нем. Тереса почувствовала это и благодарно прижалась ко мне.

— Боже мой,— прошептала она.— Кажется, я счастлива.

Я вложил в карман пузырек с коньяком и пошел к вагоновожатому. Тот, лежа на своем матрасе, внимательно следил за всем, что происходило в подвале, и даже отдавал ребятам приказы.

— Я вижу, ты уже почти здоров, Юзек,— сказал я.

— Просто я про обязанности вспомнил,— ответил он.— Ведь моя жена с детьми у брата в Воломине. В Варшаве, ежели кто хочет выжить, в обязательном порядке должен иметь родню где-нибудь под Варшавой, чтоб в случае чего было где спрятаться.

— Хочешь капельку коньяку?

— Хочу,— ответил он. Я приложил к его губам пузырек, он отпил половину.

— За твое здоровье,— сказал он.— Точно пять лет назад мы с покойным слесарем за твое здоровье выпивали. Ты, Юрек, через каждые пять лет в день рождения к смерти готовишься. Который из нас теперь живой останется?

— Видно будет.

— Мы же тогда на целых пять лет моложе были,— вздохнул он.— Война-то начиналась только, и, хотя наша Варшава вся горела, все же еще много в нас надежды было. А теперь вот конец войны, и Варшава обратно вся горит, но надежда уходит из нас, как тепло из покойника. Видать, измучили нас эти пять лет.

— Давай-ка я тебя отведу обратно в больницу,— сказал я.— Завтра на нас сюда могут атакой пойти. Я бы не хотел тебя тут оставлять. Ты же знаешь, что они делают с ранеными.

— То же, что и со здоровыми,— ответил он.— В больнице до невозможности воняет. А тут я хоть на свадьбу твою погляжу.

— Ладно,— согласился я и пошел долить в пузырек коньяку.

Снаряды падали лишь изредка, и я добрался до больницы без препятствий. Было семь часов вечера. В подвале больницы жизнь шла своим чередом. Это был седьмой круг ада. С трудом пробравшись по запруженному коридору, я нашел комнатушку, где в углу лежал отец. Здесь горела лишь одна свеча, и вокруг был полумрак. На матрасе, где умерла девушка с обугленными ногами, теперь лежал паренек с перевязанной головой. Ядя сидела все так же выпрямившись, как дама с чашкой чая на приеме.

— Я принес тебе коньяку, папа,— тихо сказал я.

Отец открыл глаза и слабо улыбнулся.

— Дай Яде,— с усилием произнес он.— Она напоит меня.

— Нельзя! — рявкнула Ядя.— Алкоголь — это смерть!

— Еще никто не умер от капли коньяку,— серьезно возразил отец.— Наоборот, большинство отправляется в последнее путешествие, позабыв выпить на дорогу. Дай мне хлебнуть, Ядя, а то мой сын не может наклоняться.

Я протянул Яде пузырек, она вздохнула и приложила его ко рту отца.

— О-о-о! — отец даже причмокнул.— Французский коньяк! Постой-ка, да ведь сегодня у тебя день рождения, а? Я совсем позабыл о нем из-за этого грохота! Поздравляю, сынок!

— Спасибо, папа,— все так же тихо сказал я.

— Сорбонна откладывается с года на год, но кто знает, не будешь ли ты в следующий день рождения...

— Лучше не будем строить планов, а то снова сглазим,— прервал его я.

Состояние отца показалось мне хуже, чем днем: он теперь неподвижно лежал на спине, не поднимая головы.

— Не смотри на меня с таким ужасом,— сказал он.— Сердечная болезнь угнетает, и иногда я лежу без движения, потому что боюсь пошевелиться. Что слышно снаружи?

— Уже спокойно. Немцы захватили Круликарню, но мы ночью должны отбить ее.

— С Круликарни начинается поражение. Нам здесь было слишком хорошо.

— Что это значит — слишком хорошо?

— А то, что мы ходили гулять по улицам, играли в военных, кушали помидорчики, вокруг светило солнышко, и только издалека доносились выстрелы. Рай на земле. Семь недель свободы. Это очень много, сынок. Теперь придется платить.

— Слишком дорого.

— Иногда за один час платят жизнью.

— Не вижу, за что это я должен платить.

— А священная любовь к дорогой отчизне? — спросил отец.

Я осторожно сел на край матраса. Мой зад снова отозвался резкой болью, потому что я слишком сильно согнул ноги. Мне хотелось плакать.

— Ты родился в независимой Польше,— сказал отец.— И бунтуешь против неволи. Я же воспитан в условиях национального поражения и не вижу ничего странного в том, что над нами чинят расправу. Ужасает меня только эта техника. Во времена моей молодости никому

бы даже в голову не пришло, что миллионный город можно смести с лица земли. Это и есть новый, современный элемент истории нашего мученичества. Зверство тоже пользуется достижениями прогресса.

— Но я ненавижу мученичество! Я хочу побеждать!

— Как же ты можешь побеждать, если противопоставляешь технике двадцатого века скудное повстанческое вооружение, каким пользовались еще в девятнадцатом веке? — возразил отец.— Идут новые времена, сынок. Все, что нам сейчас остается, не дать миру забыть о нашем огромном жертвенном костре. Это будет зачтено.

— Спасибо за утешение! Все это мне очень поможет, когда я буду грызть землю!

— Не успели тебя стукнуть по заднице, как ты уже впал в истерику,— рассердился отец.— Подозреваю, что этим ты и отделаешься.

— Каким образом? А может, сбросить мундир, выйти к ним с поднятыми руками, заявить, что я гражданский, и тогда меня, может быть, не застрелят?

— В порядочном обществе о таких вещах вообще не говорят вслух,— брезгливо поморщился отец.— Восставшим придется сдаться. Может быть, завтра, может быть, через три дня.

— Чтобы нас всех расстреляли?

— Теперь немцы этого уже не сделают. Они знают, что вот-вот начнется наступление на Берлин. Они побоятся истребить вас полностью.

— Нас? А ты?

— Не думаю, чтобы я перенес какое бы то ни было передвижение.

— Теперь ты впадаешь в истерику!

— Ясно! — вмешалась вдруг Ядя.— Все мужчины так. Чуть что у него заболит, он уже стонет и умирает! У меня тоже терпение уже лопается! Завтра я тебя забираю из этой больницы! Все! Хватит! Мы уходим из Варшавы!

— А танки расступятся перед нами,— в тон ей добавил отец.

— Ты сам этого хотел, Станислав! — воскликнула Ядя, и отец сразу стал серьезным.

— Извини меня, Ядя,— он взял ее за руку.— Ты изумительная женщина! Я благодарю судьбу за то, что она дала мне тебя в жены. Право, я не заслужил этого!

— Мы с Тересой обвенчались сегодня,— выдавил я из себя наконец. Они с изумлением уставились на меня.

— Понятно,— улыбнулся наконец отец.— Эта девушка мне сразу понравилась. Поцелуй ее от меня. Ядя, дай им одну штуку.

Ядя полезла под юбку, покопалась там и вытащила большую золотую двадцатидолларовую монету.

— Наш свадебный подарок,— пояснил отец.— Бери. У нас осталось еще несколько штук, которые мы прячем в интимных местах. Это будет ваш капитал для закладки дома на развалинах Варшавы. Новую жизнь всегда лучше начинать, имея золото, чем не имея его. Ядя, дай еще капельку коньяку. Эта жидкость удивительно хорошо действует на меня.

Отец снова отхлебнул из пузырька и облизал губы, потом поднялся на локте.

— Еще несколько глотков — и я встану! И даже пойду в контратаку! — сказал он.— До свидания, сынок. Неизвестно, увидимся ли мы еще. Если сумеешь, спаси свою шкуру и шкуру своей супруги. Разумеется, не ценой чести и долга. Привет.

Я пожал отцу руку, поцеловал грязноватую кисть Ядиной руки, медленно поднялся и пошел, обходя лежавших повсюду раненых. Я

торопился уйти, чтобы отец с Ядей не заметили моих слез. Опасность и поражение сделали меня эмоциональным и склонным к волнениям. Отца я уже больше не увидел: назавтра Ядя вытащила его из больницы за час до атаки «тигров», а днем позже вынесла его, взвалив на спину, из их виллы на Мокотове. Немцы выпускали там из города остатки гражданского населения после того, как повстанцы ушли через канализационные каналы. Она довезла отца до Милянувка, где он умер от сердечного приступа два месяца спустя, 26 ноября 1944 года. Смерть его была мгновенной, он совсем не мучился, а накануне еще играл в карты и пил коньяк. Ядю я встретил лишь через год, когда вернулся из плена. Она передала мне последнее письмо отца. «Дорогой сын,— писал он.— Я был не лучшим из отцов, но ты, надеюсь, сохранишь обо мне не самую плохую память, ибо я ведь искренне полюбил тебя. Я не оплакиваю своей жизни, потому что она принесла мне много радости, впечатлений и даже любви и страданий. Я, однако, понимаю, что она ни для кого не может быть моральным образцом. Не знаю, дождусь ли я падения Берлина и твоего возвращения из плена. Во всяком случае, я уйду с сожалением, что не буду свидетелем новых времен, но и с сознанием того, что мои времена окончились. Если сможешь, позаботься о Яде, пока она снова не выйдет замуж, и честно поделись с ней наследством, то есть развалинами виллы на Мокотове, если в новые времена они будут хоть чего-то стоить. Ничего другого у меня нет, ведь деньги у меня никогда не держались, о чем я тоже не жалею. Думаю, что мои связи в автомобильном деле тебе не пригодятся, потому что, как мне кажется, ты еще долгое время будешь ходить пешком. У тебя впереди лет сорок жизни, раны, обретенные в дни восстания, заживут (я имею в виду не зад, но душевные раны), только не стань середнячком, потому что от этого в человеке умирает душа, а живи в меру весело, веруя в добрые, по сути, наклонности людей. Я не могу навязывать тебе нравственных принципов, поэтому просто целую тебя и прощаюсь. Это письмо я пишу только на случай, если мы уже не увидимся. Хочу, чтобы ты знал: я думаю о тебе».

Через два года после войны Ядя вышла замуж за владельца авторемонтной мастерской, что, конечно, само по себе было достаточно красноречиво, и родила двоих детей. Но тем, кто хотел ее слушать, она часто рассказывала, что мой отец был великим человеком и после его смерти жизнь кажется ей не более чем терпимой. Это приводило в ярость ее нового мужа, но он помалкивал, не желая потерять ее.

Из больницы я вернулся в наш подвал уже после восьми вечера. Коммутатор дрожал от разговоров: определялись потери и разыскивались пропавшие. Ночь приносила облегчение и позволяла фантазировать, вопреки действительности оживали надежды. Ведь совсем без надежды эту ночь нельзя было бы пережить, и лишь утру суждено было перечеркнуть все наши мечты. Стол в гостиной, как мы называли подвальчик побольше, уже был накрыт для свадебного пира. Посреди красовались последняя коробочка сардин и три бутылки из запасов владельцев виллы, которые покинули дом еще в августе. Буханку хлеба нарезали тонкими ломтиками, рядом алел салат из помидоров. Это были деликатесы, давно позабытые в центре города,— Мокотов уже несколько недель называли районом излишеств, спокойствия, помидоров и вообще обжорства. Витольд держался торжественно, как и положено церемониймейстеру. Вагоновожатого и бронебойщика Гервазия пододвинули вместе с матрасами поближе к столу. Помимо наших девушек, за стол должны были сесть еще четверо линейщиков вместе с их командиром, капралом Гжмотом. Это был сын токаря, проворный, как макака. Выросший на окраине, он, наверное, учился хо-

дить не по земле, а сразу же стал лазить по чердакам и голубятням. Гжмот приносил нам огромную пользу: выстрелов он вообще не боялся, а обрывы устранял молниеносно.

Я встал рядом с улыбающейся и торжественной Тересой. Только я и знал, что под этой улыбкой кроется дрожь и тревога. Витольд указал нам наши почетные места в центре стола на стульях в стиле «ампир», принесенных из бывшего салона и поставленных у стены. Капрал Гжмот пододвинулся к нам вместе со стулом и осторожно вынул из сумки фарфоровую вазу. Это был настоящий розентальский фарфор: белый, с цветами пастельных тонов.

— Для новой квартиры,— сказал Гжмот. Я пожал ему руку. Он нравился мне еще и за его неизменное чувство юмора.— Вы не подумайте, что это воровство какое-нибудь,— добавил он.— Она сама на меня упала, когда «коровы» в пух и прах разносили чью-то квартиру. Пусть переживет восстание вместе с вами.

Мы поставили вазу на стол и налили в нее воды, а Витольд опустил в нее стебель моего желтого георгина. Бася внесла дымящийся котелок с настоящей картошкой. Витольд разлил токай по хрустальным бокалам и потребовал тишины. Все тут же умолкли, и я удивился, что даже на улице почти не слышно выстрелов. Золотистая жидкость подрагивала в бокалах, преломляя свет карбидной лампы.

— Я рад, дорогой Юрек и дорогая Тереса, что дождался вашего законного брака,— сказал Витольд.— Много воды утекло, Юрек, с того времени, когда мы с тобой лениво попивали водочку в Зегже, и много крови пролилось. Но мы тем не менее живы, и в этом факте заключены, я бы сказал, неограниченные возможности на будущее. Если можно дать вам совет, то будьте счастливы друг с другом, ибо, как известно, каждая минута счастья — неожиданный и редкий дар судьбы, а потому нельзя терять зря ни секунды! И этот бокал с благородным венгерским вином, которое по странной прихоти небес сохранилось для нынешней прекрасной надобности, я подымаю за здоровье молодой пары и нашего командира, который отмечает сегодня также и день своего рождения! Желаю вам одних лишь радостей в независимой Польше! Аминь! Да здравствуют молодые!

Последнюю фразу он уже крикнул, а ребята повскакали с мест и троекратно прокричали юношескими дискантами: «Нех жие! Нех жие! Нех жие!» Я поцеловал Тересу, как полагалось, и все набросились на картошку. Пир без искусственного меда был настоящей роскошью. Сидевшая напротив меня Кристина едва коснулась губами рюмки. Видно было, что слезы снова душат ее, тем более что она еще утром считала себя самой несчастной в нашем общем несчастье. Чтобы прервать ее муки, я сказал:

— Смени у коммутатора Иоанну, Кристиночка, пусть и она выпьет за наше здоровье.

Кристина вскочила из-за стола и выбежала. Минуту спустя вошла Иоанна. Она так и сияла, улыбаясь во весь рот. Витольд, возбужденный выпитым вином, по которому, как видно, стосковался уже его организм, явно горел желанием поухаживать за ней. Он налил Иоанне остатки токая, чокнулся с ней и уставился блестящими глазами на ее хорошенькую мордочку. Иоанна не жалела ему улыбок. Начинался флирт без будущего. Витольд погибнет через два дня, когда, выбравшись из канала, побежит к Висле в том месте, которое теперь называется Черняковская плита. А пока они улыбались друг другу и обольщали один другого — он как индюк, она как лань, я же радовался всей этой беззаботной паузе, а скорее — внезапному возврату нормальных человеческих проявлений в изуродованной жизни обреченного на уничтожение города.

Я взглянул на Тересу. Она слушала Гжмота, рассказывавшего о своих проделках в 1942 году, когда, обмотавшись колбасами и салом, он пробирался по каналам в голодавшее гетто. Это давало ему возможность содержать мать и младшего брата. Мне была неприятна его похвальба, и я дотронулся под столом до руки Тересы. Тереса сразу же обернулась и, улыбнувшись, взглянула мне в глаза. Во взгляде ее было отчаяние.

Я сжал ее руку. И хотя мне полагалось бы сейчас шутить, я не мог выдавить из себя ни слова. Недолгое и в общем-то искусственное веселье за столом уже начало угасать. Ребята выпили по рюмке водки, и было видно, что ими овладевает дремота.

— А может, потанцуем? — попытался спасти положение Витольд, который не спускал с Иоанны горящих глаз.— Что это за свадьба без танцев!

— Мы не будем танцевать на развалинах,— резко сказал я.— Пошли-ка, братцы, спать, пока нам позволяют.

Все, кроме раненых, встали, и на этом свадьба закончилась. Теперь было слышно, как кричит Кристина: «Целинка не отвечает!» Двое ребят выбежали в темноту. Это была одна из последних попыток исправить линию, так как на следующий день телефонная связь окончательно перестала существовать. Вынуждены были умолкнуть и УКВ, да и связным стало недалеко добираться: наши островки защиты находились друг от друга на расстоянии двухсот метров.

Я подошел к коммутатору узнать, какова ситуация, а скорее для того, чтобы оттянуть деликатный момент. Я не хотел сегодня спать в этом подвале. В течение последних недель мы с Витольдом неоднократно пытались переночевать на втором или хотя бы на первом этаже, где находилась бывшая гостиная с полувырванными оконными рамами, но нас изгоняли оттуда дежурные артиллеристы, которые били вслепую, просто в заданный квадрат. Дом дрожал, осыпалась уцелевшая штукатурка, и почти всегда, проиграв борьбу со страхом, часика через два мы возвращались в подвал в обманчивой надежде найти укрытие.

— Давай переночуем наверху? — предложил я Тересе.

Она серьезно посмотрела на меня, должно быть, она готовилась к этой ночи как к неизбежному ритуалу. В этот момент мы были далеки от каких бы то ни было эротических влечений друг к другу, потому что этого, наверное, и не могло быть в такой обстановке. И все же надо было соблюсти все формальности до конца. Теперь-то над этим можно было бы и посмеяться, но тогда наша первая брачная ночь казалась мне актом серьезным, который следует выполнить с почтением и сосредоточенностью, как и все, что делаешь в свой, быть может, последний час.

Я постоял с минуту возле обоих раненых. Вагоновожатый лежал сейчас тихо, с закрытыми глазами. Он еще разговаривал во время свадебного пира и даже пошутил насчет того, что, мол, дети, зачатые под взрывы мин и гул артиллерийской стрельбы, вырастут крепкими мужиками и уж их-то не испугаешь никаким разрушением Варшавы. Сейчас он спал, потому что не открыл глаз, когда я подошел к нему. Девушки поставили возле него кастрюльку с кипяченой водой — это было все, что они могли для него сделать. Я прикоснулся к его руке: пульс у него был частым и слабым.

— Гжмот! — позвал я.— Сажайте-ка сержанта Овцу на велосипед и везите в больницу!

Ребята подошли к матрасу и, стараясь действовать как можно более осторожно, подняли вагоновожатого. Он сейчас же открыл глаза:

— Чего это?! Чего это тут делается?! Барнаба, я лучше здесь останусь! Я это все...

— Утром может быть слишком поздно,— ответил я.— Не для того я с тобой целых пять лет по Варшаве мотаюсь, чтоб позволить тебя здесь пристрелить! Приказываю уехать отсюда — и никаких разговоров! Бронебойщик Гервазий! Пойдете с сержантом!

Бронебойщик Гервазий молча встал и поковылял на своих раненых ногах.

— Знаешь адрес моих в Воломине? — спросил вагоновожатый.

— Знаю,— ответил я.— Завтра я тебя навещу.

Мы вынесли его в садик и посадили на седло велосипеда. Ребята, поддерживая его с двух сторон, тронулись в путь. Минуту спустя они исчезли в темноте, а вскоре затихло и шуршание шин. Ночь была мрачная, без малейшего просвета. Так я простился с вагоновожатым. Однако я встретил его спустя три года, в 1947 году. Он стоял на углу Алей Ерозолимских и Маршалковской. Оттуда отходили первые трамваи, которые шли на Прагу через восстановленный мост Понятовского, и он руководил их движением. Это был символ победы жизни над смертью — и в его судьбе, и в судьбе Варшавы. Я был в обществе многочисленных приятелей и обменялся с ним лишь несколькими словами. Мы записали адреса друг друга. Однако встреча, к сожалению, так и не состоялась. Оба мы уже жили в разной действительности. А может, это было подсознательное нежелание растравлять раны?

Простившись с обоими ранеными, мы с Тересой пошли наверх, в гостиную. Ветер гулял здесь, как в саду, сальная свеча собственного производства мигала от сквозняка, в пузатом книжном шкафу поблескивали позолоченные корешки книг, с потолка жалобно свисала хрустальная люстра, почти лишенная подвесок. Тереса подошла к тахте и начала сбрасывать с нее обломки кирпича, куски осыпавшейся штукатурки и прочий мусор. Где-то поблизости сильно грохнуло, и тут же забренчала вся гостиная. Я подошел к Тересе и обнял ее:

— Не боишься?

— Давай ляжем, Юрек! — тихо ответила она.

Я задул свечу, чтобы не стеснять ее и себя. Снял куртку и осторожно сел на тахту, чтобы разуться. Проклятый зад откликнулся в ту же секунду. Было чего стыдиться в первую брачную ночь! Этот стыд заглушал даже страх, простительный в конце концов в этой комнате без стен. Я стягивал с себя сапоги, прикусив от боли губы. И все же у меня вырвался стон.

— Что с тобой? — встревожилась Тереса.

— Сейчас увидишь,— ответил я.

Я снял бриджи и вытянулся на тахте. Повязка ослабела и спадала у меня с бедер. Я попытался подтянуть ее. В темноте все же можно было различить силуэт Тересы. Она подошла и легла рядом со мной. Я нежно обнял ее, она была в тонкой рубашечке и вся дрожала. Я тоже дрожал от холода и волнения. Мы прижались друг к другу и вскоре нам стало теплее.

— Что это у тебя? — спросила Тереса шепотом, прикоснувшись к бинту.

— Да так, царапина.

Тереса провела рукой вдоль бинта и нащупала сзади утолщение на повязке, но не рассмеялась. Я был очень благодарен ей за это. В те годы я боялся показаться смешным не меньше, чем быть убитым.

Я поцеловал ее в щеку и снова изо всех сил прижал к себе, как если бы это объятие могло уберечь нас от нависшей со всех сторон опасности. Я познавал ее медленно, стыдливо, не желая ни в чем уподобить это переживание своему прежнему жалкому опыту. Я терял

целомудрие снова, но совсем иначе, и, испытывая упоение, отчаянную любовь, страх, горе, надежду и боль в заду при каждом движении, устремлялся в это прекрасное, теплое и пружинистое тело, чтобы укрыться в нем от всего, что нас окружало, но не мог ни на минуту забыться, потому что слышал гул и взрывы, а ветры со всех сторон овевали мою спину. Тем сильнее я вжимался в нее и был уже не только любовником, но исстрадавшимся сыном, бросившимся в объятия матери в поисках защиты, утешения и справедливости. Не знаю, как долго это продолжалось, может час, может два. Мы ничего не говорили, а только сливались в объятии, неподвижные после минут упоения, вслушиваясь, несмотря на все, в каждый свист и каждый взрыв, не желая, однако, пошевелиться, залезть под тахту, сбежать в подвал, отказывая страху в повиновении и тем освящая нашу свадьбу и наш бунт против витающей в воздухе смерти. В какой-то момент я приподнялся на локте и увидел лицо Тересы. Ее влажно блестевшие в темноте глаза были широко раскрыты и смотрели на меня.

— Ты плачешь, Тереса?

— Не знаю.

Мы снова замолчали. Она не спрашивала меня: «Ты меня любишь?», я не бормотал нежностей и ласковых слов. Прижавшись друг к другу, мы защищали себя от всего, что не было нами обоими.

Прошло много времени, когда на лестнице послышались шаги.

— Пан поручик! Вас пан майор вызывает! — крикнула из темноты Бася.

Я встал и начал одеваться. Майор приказал мне явиться к нему. Перед уходом я вернулся в гостиную, наклонился над Тересой и поцеловал ее в губы. Она обхватила мою голову обеими руками и долго не хотела отпускать, словно этот поцелуй должен был стать последним. На рассвете начался ад, и у нас не было времени сказать друг другу хоть какое-нибудь ласковое слово, а ночью мы потерялись в канале, и я никогда больше не увидел Тересы. Месяцами я ждал в лагере известия от нее. Напрасно. Она погибла где-то во тьме.

А в ту ночь я уходил, унося на губах вкус ее губ. Я взглянул на часы: до полуночи не хватало трех минут. День моего рождения кончался в ту минуту, когда я ничком пал на тротуар, чтобы спастись от осколков снаряда. Я очень хотел жить. Я еще не знал, что останусь один. Я выжил, но во мне убили сердце.

■

МОРИС КАРЕМ

Перевод с французского и вступление М. КУДИНОВА

Скончавшемуся в прошлом году Морису Карему исполнилось бы 12 мая этого года восемьдесят лет. О его кончине сообщили отечественные и зарубежные газеты, в Брюсселе, в доме, где он жил, создан музей. Теперь, оглядываясь на прошлое, можно сказать, что судьба была милостива к Карему — и как к поэту, и как к человеку: он был окружен любовью близких ему людей; литературный успех и признание не очень медлили со своим приходом; критика, которая иногда слишком поздно вспоминает о тех, кто уже не нуждается в ее благословении, довольно быстро заметила Карема и в общем относилась к нему благожелательно. Не раз высокие национальные и международные литературные премии подтверждали столь редкое согласие между читательским вкусом и вкусом литературного ареопага. Случилось даже так, что в 1972 году бельгиец Карем получил в Париже титул «Prince en poésie» — нечто вроде нашего дореволюционного «короля поэтов». При всей эфемерности этого титула в данном случае факт весьма знаменательный. И уж никто не смог бы оспаривать у Карема его прав на самое высокое звание (каким бы словом оно ни обозначалось) в той стране, которая называется страною детской поэзии.

Его обращение к совсем юным читателям не носило случайный или временный характер: для них он писал и в молодости, и в глубокой старости, нисколько не опасаясь, что это нанесет ущерб его стихам, предназначенным для зрелого читателя. В поэзии способность вести разговор на самых различных уровнях — редкое свойство таланта. Карем был от природы наделен этим свойством, но понять психологию ребенка ему в какой-то мере, видимо, помогла и его профессия школьного учителя, которой он отдал двадцать пять лет своей жизни.

Была и другая область, где успех постоянно сопутствовал Карему: это область, в которой поэзия встречается с музыкой. Многие бельгийские и французские композиторы (библиография называет около ста имен, и среди них такие, как Пуленк и Мило) обращались к его творчеству. Не обошли вниманием переводы его стихов и наши композиторы, а одна из песен, «Возвращение короля» («Железный шлем, деревянный костыль»), попала даже на какое-то время в разряд «шлягеров».

Стихи, которые могут стать песней, так же как и стихи для детей, видимо, должны отвечать целому ряду условий, одним из которых, наипервейшим, можно назвать простоту и ясность поэтического языка. Эта же ясность и эта простота присущи всей поэзии Карема, независимо от того, для кого она предназначена — для малышей или для людей, убеленных сединою. Редко кто теперь так пишет на Западе, и надо было обладать изрядной долей литературной смелости, чтобы никогда не идти на поводу у моды, никогда не допускать в свою поэзию невнятицу, аморфность и герметичность.

Карему такая смелость прощалась. Его, так много писавшего для детей, самого порою считали большим ребенком. Критики не раз называли его поэтом радости, поэтом солнечного света, а там, где радость и свет, темнота выражения вряд ли уместна. Как-то мало внимания уделялось тому, что поэт, возвращаясь в стихах к своему соб-

ственному детству, вспоминал не только счастливые минуты, не только упоение открывающимся миром, но и тяжелую долю своей матери, убогое существование окружавших его людей, натруженные руки отца, физическим трудом зарабатывавшего на хлеб. Это глубокое и искреннее сочувствие к тем, кто трудится в поте лица и все же лишен радостей жизни, проходит через все творчество Карема. Однако доминировало светлое восприятие жизни, особенно в его лирике, не говоря уже о детских стихах. Доминировало, но никак не приглушало стихи с гражданской тематикой.

Поэтому не такой уж неожиданностью для тех, кто внимательно следил за творчеством Карема, был выход в свет в 1975 году его книги с трудно переводимым названием: «Complaintes». Слово это означает: грустные народные песни, повествующие о жизни и невзгодах какого-либо человека. В старину такие песни распевали нищие на ярмарках. Назвав так свою книгу, поэт, видимо, хотел подчеркнуть ее связь с народной поэзией, с народной стихией. Отдельные стихотворения «Complaintes» по форме действительно напоминают песни ярмарочных сказителей. Однако не только это определяет настрой всей книги: в ней звучат резкие ноты протеста против социальной несправедливости, неравенства, человеческой разобщенности. В мире много зла, и поэт внимательно вглядывается в его приметы, грустит, негодует, призывает не оставаться равнодушными. Иногда улыбается не очень веселой улыбкой, особенно тогда, когда вспоминает о мифах, связанных с религиозной традицией.

На мой взгляд, это лучшая книга Карема, и меня нисколько не удивляет, что один из крупнейших поэтов Запада, чья поэзия, обращенная к детям, так радостна и светла, говорит с глубокой тревогой об окружающем его мире. Ведь в этом мире предстоит жить и его юным читателям.

Ружье

Он ружье себе купил
Просто так, забавы ради,
Он ружье себе купил
И в чехле его хранил.

Коль ружье ты приобрел,
Предпринять тут что-то надо,
Коль ружье ты приобрел,
Надо снять с него чехол.

А чехол уж если снят,
Выстрел хочется услышать,
А чехол уж если снят,
В воздух просто так палят.

Но к чему же зря палить,
Если звери есть и птицы?
Но к чему же зря палить?
Лучше утку подстрелить.

Он ружье себе купил
Просто так, забавы ради.
Он ружье себе купил,
В птиц палил, в зверей палил
И в конце концов однажды
Человека застрелил.

Старая Тереза

Так тихо умерла, как и жила на свете;
Так тихо, что никто из нас и не заметил.

Когда ее нашли, сидела у стола,
Где черствый хлеб лежал, где рядом с ним была

Пустая сахарница и еще, чуть ближе,
Помятый котелок с глотком кофейной жижи.

Украшен был буфет подсвечником пустым,
И фотография стояла перед ним.

На фотографии — умершей дочки профиль.
В пакете за дверьми лежал гнилой картофель...

Вчера на кладбище Терезу погребли.
На гроб ее никто не бросил ком земли.

Когда была жива, то говорила мало.
О смерти — никогда. На участь — не роптала.

И тихо умерла, как будто в смертный час
Хотела одного: не потревожить нас.

Богатый человек

Месье, ну что мне вам сказать?
Прочли вы книг немало,
Но о Шекспире толковать
Вам вроде б не пристало.

Вы весь в делах. Из года в год
У вас одна задача:
Свой увеличивать доход
И стать еще богаче.

И снедь к столу вам шлет весь мир,
Ваш повар — из Парижа,
Вся ваша мебель — стиль «ампир»,
Слуга — шотландец рыжий.

Прекрасен ваш огромный сад,
И, перьями сверкая,
Там бродят птицы, чей наряд
Цветам подобен рая.

Месье, откуда ж этот мрак?
Откуда холод скуки?
И где та малость, что никак
Вам не дается в руки?

Золотой телец

Никто не говорил,
И слез никто не лил.
Все ждали: минет время —
Полегче станет бремя.

Никто не толковал,
Никто не ликовал:
На небеса взирали
И откровенья ждали.

И Будда был у них,
Аллах, Ормузд, Кибела,
Христос и ворох целый
Пророков и святых.

И были мудрецы,
Прелаты и жрецы,
Кресты, тиары, троны,
Цари и, наконец,
Был золотой телец,
Который и поныне
Диктует нам законы.

Моя улица

Я жив, а рядом умер кто-то.
Умру — здесь будет жить другой,
Все так. Но трудно отчего-то
Привыкнуть к истине простой.

Вчера старик перед рассветом
Скончался в доме за углом.
Случайно я узнал об этом
От почтальона... А потом

Сказали мне, что у портного
Родился мальчик в тот же час
И что для случая такого
Вино держали про запас.

А я (как будто в этом мире
Ни радости, ни горя нет)
Тем временем в своей квартире
За книгою встречал рассвет.

И улица неотвратимо
Вползала за моим окном
В обычный день. Шли люди мимо,
И каждый думал о своем.

Пальто

Едва забрезжил свет зари,
Пальто в шкафу зашевелилось,
Открыло дверцу изнутри
И, выйдя, в туалете скрылось.

Потом направилось оно
К буфету, чтоб еды остатки
В нем поискать и заодно
Проверить, все ли там в порядке.

Затем, переступив порог
И что-то переждав с минуту,
Включилось в уличный поток,
Поклон отвесило кому-то,

К дверям конторы добрело,
Шмыгнуло в дверь, к столу присело,
Схватило рукавом перо
И тут же принялось за дело.

А к вечеру опять домой
Вернулось, подошло к буфету,
Поколдовало над едой
И село полистать газету,

Довольное минувшим днем
И тем, что он не отличался
От дней, когда бухгалтер в нем,
В пальто поношенном своем,
Ходил, покуда не скончался.

Не все ли равно?

Плуг вспахивал землю сам по себе,
Борона боронила сама по себе,

А сеялка сеяла зерна и тоже
Сама по себе. А что, не похоже?

Но кем же, скажите, снят урожай?
Довольно вопросов! Не продолжай!

Здесь разве волнует кого-нибудь это?
Толпятся в метро, покупают газеты,

В автобусах ездят и в поездах,
Читая спокойно о всяких делах,

Творящихся в мире,— о преступленьях,
О катастрофах, о наводненьях;

А кто там пахал и кто сеял зерно,
Коль хлеб на прилавке, не все ли равно?

Деревянные ноги

Коль вместо ноги деревяшка,
Невесело землю топтать.
Солдаты знают, как тяжко
Калекою жизнь доживать.

Когда б деревянные ноги
Сложить, получился бы сад;
Вдоль самой длинной дороги
Деревья стояли бы в ряд.

Когда бы их все посадили
В ту землю, где войны прошли,
Росли бы леса в изобилье
На склонах этой земли.

Но только бы слез не хватило,
Чтоб землю для них оросить,
Но только нет у них силы,
Чтоб где-нибудь корни пустить.

Голод и страх

Кошмар все тех же преступлений,
Угар ночных увеселений,
И как всегда то там, то тут
Война, а то и две, и бьют
Из пушек, и бежит пехота,
И власть захватывает кто-то,
Кого-то повергая в прах;
И тот же голод, тот же страх;
И день, что отражен в газете,
Не отличить на первый взгляд
От дня, прожитого на свете
Пять или десять лет назад.

Колокола

Над городом колокола
Звонят с полудня непрестанно.
Какая сила привела
В движенье их? Колокола
Обрушились на город странный.

И, к небу устремляя взгляд,
Скулит щенок у парапета,
Устало ласточки парят,
И, к небу устремляя взгляд,
От облаков я жду ответа.

Но облака спешат скорей
Уплыть от этих мест, где холод
От стен исходит и камней;
И облака спешат скорей
Покинуть этот мертвый город.

А вслед за ними и река
Торопится оставить эту
Пустыню, где царит тоска;
Под сводами мостов река
Неудержимо рвется к свету.

Над городом колокола
Звонят, звонят, и неизвестно
О ком звонят, и словно мгла
Окутала колокола,
И пьян от скуки день воскресный.

Одиночество

Никто с тобой не говорил,
Никто тебе не отвечал,
Никто не пел и не кричал,
Никто молитвы не творил,
Ты был один. Совсем один.
Настолько был один, что вдруг
Тебя желанье охватило
С опавшим дубом говорить
Или кричать что было силы
И слышать эхо... Охватило
Желанье страстное запеть,
Чтобы тоска не задушила,
Желанье на колени встать,
Хотя и сознавал ты ясно,
Что это уж совсем напрасно —
Молиться и чего-то ждать.

Тусклый день

Сколько было, скольких нет!
Сколько явится на свет!
Между ними — я, чье тело
Оперлось на парапет.

Позади меня века
Всяких бедствий и мучений,
Впереди меня века
Без особых улучшений.

А теперь, вот в этот миг,
Солнце тускло догорает,
Солнце, словно ростовщик,
Золото свое считает.

Я же думаю о том,
Что когда-то, тусклым днем,
Днем, на этот день похожим,
Кто-то, кто был слаб умом,
Вдруг поверил, что на небе
Бог заботится о нем.

Говорят

Говорят, Иисус Христос
Делал то, что говорил,
Да, все то, что говорил!
Но, увы, он мало жил.

Говорят, что сам Фома
Видел, как Христос воскрес.
Да, он видел! Но, увы,
Сам он все-таки исчез.

Говорят, и Лазарь был
После смерти воскрешен.
Да, он ожил! Но, увы,
Вскоре снова умер он.

Говорят, что после них
Было множество святых,
Да, святых, чьи предсказанья
Далеки от слов пустых.

Говорят, что мы должны
Верить им. Да, верить им!
Но история приводит
Все же к выводам иным:

Хоть и много было слов,
Да, ужасно много слов,
Ни одно из предсказаний
Не сбылось для бедняков.

Хищник

В глазах его пламя дрожало,
Внезапны были прыжки,
Казались острее кинжала
Оскаленные клыки;

И он убивал порою,
Поскольку был создан так:
Он мясо ел, а травою
Питаться не мог никак.

И жители всей округи
В свой храм сбегались в испуге,
Чтоб к небу мольбы возносить.

Однако тогда, как и ныне,
Бог в созданной им картине
Не мог ничего изменить.

Три ангелочка

Три божьих ангелочка
На дереве сидели,
Три божьих ангелочка
Тихонько песню пели.

И снизу было видно
Не то, что видеть надо,
И снизу было видно
Три розовеньких зада.

Заметив ангелочков,
Кюре остановился,
Заметив ангелочков,
Он очень удивился.

«Вам надлежит быть в церкви,—
Сказал он с кислой миной,—
Вам надлежит быть в церкви
Во время службы длинной».

Три божьих ангелочка
В ответ ему ни слова,
Три божьих ангелочка
Запели песню снова.

Они в тот день воскресный
О службе позабыли,
Они в тот день воскресный
Прогульщиками были.

Бесполезный призыв

Если ломится беда
В дверь твоей обители,
Не зови ты никогда
Ангелов-хранителей.

Их на помощь не зови
И в противном случае:
Если демоны любви
Всю тебя измучили.

Что тут может предпринять
Воинство небесное?
Станет к небу воздевать
Руки бестелесные.

Иисуса станет звать
Ангельская братия,
Хоть и сам он избежать
Не сумел распятия.

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

По ту сторону любви

РОМАН

Перевод с немецкого В. СТЕЖЕНСКОГО

Гансу и Бера Фёрингерам
посвящается

1

Проснувшись, Франц Хорн почувствовал, что зубы у него сцепились. Вместо челюстей во рту словно две колоды. Такое с ним случалось не впервые, но никогда прежде он не ощущал в зубах подобной тяжести. Он встал и постарался повыше задрать голову. Будто это помогло бы ему избавиться от давящей боли. Очевидно, челюсти свело задолго до пробуждения. Боль не проходила. Но не успел он открыть душ, как зубы вдруг разомкнулись. Хорн тут же начал быстро двигать челюстями и строить гримасы. Потом отвел язык назад и со всей силой прижал к нёбу. Стало легче. От удовольствия Хорн покрутил головой. Наконец-то он перестал ощущать свои челюсти. Призвав на помощь всю силу воли, он сумел оторвать взгляд от пятна, выжженного на ковровом полу. Вытянул из-под письменного стола дорожку и прикрыл подпалину. Ему страшно захотелось сделать массаж лица. Или хотя бы побриться. С холодным и горячим компрессами и одеколоном. Он отправился к молодому парикмахеру Вегелину, который приобрел передние зубы у фирмы, где служил Хорн. Своих он лишился, попав на мотоцикле в аварию. Вегелин был любимым клиентом директора фирмы. При виде Хорна он ощерился, как на рекламной картинке. Хорн всегда испытывал неприязнь к таким мерзким картинкам. Когда он вышел из парикмахерской, ему показалось, что челюсти совсем расслабились. Но у дверей своего кабинета он на всякий случай быстро раздвинул уголки рта. Секретарша громко рассмеялась, когда Хорн, гримасничая, появился в приемной. Впрочем, фрейлейн Хёльцель вообще имела обыкновение неожиданно заливаться смехом. Хорн торопливо прошел в кабинет и налил себе полрюмки коньяку. И почти сразу почувствовал, что теперь с ним уже ничего не случится.

Его вызвал директор. Фрейлейн Брасс непринужденно-любезным тоном спросила, не найдется ли у Хорна несколько минут для директора. Фрейлейн Брасс задает подобные вопросы так, будто выступает посредником между равноправными партнерами. Хорн считал, что она

© Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1976.

слишком нарочито старается создать иллюзию, будто от самого служащего зависит, захочет он выполнить желание директора или нет. Раз она так спрашивает, подумал Хорн, значит, полагает, будто у меня всегда должно быть столько дел, что я едва ли в состоянии уделить несколько минут господину директору. Хорн решил, что этим вопросом она нахально намекает: ему, мол, следовало бы работать больше. Значит, тем самым она отстаивает исключительно интересы директора. А как же иначе? Разве она не его секретарша? И разве не за это платят ей такие деньги, что в каждой комнате этого дома только и слышно, как шепчутся да строят догадки: сколько же она зарабатывает? Подсчитывают стоимость ее машины, украшений, квартиры, поездок на курорты и не смеют поверить полученному результату.

— Я только что из лаборатории,— сказал директор.— Что бы мы делали без наших «белых халатов»,— добавил он, покачав головой.

Потом взглянул на Хорна. Хорн почувствовал, что краснеет. В 180 марок обошлись ему заочные курсы по избавлению от страха покраснеть. Хорн заметил, что теперь и д-р Лист смотрит на него. Директор тоном, каким принято выражать доброту и долготерпение, сказал:

— Франц, не к лицу вам все эти ухмылки, когда я отдаю должное успехам коллег из лаборатории, ведь я же прекрасно знаю, что, думая о наших «белых халатах», вы испытываете скорее угрызения совести, чем высокомерие.

Хорн подумал, что, говоря «ведь я же знаю», господин Тиле норовит показаться столь же старомодно-достопочтенным, как мебель, которой он теперь обставил директорский кабинет. На самом-то деле Хорн хотел сказать директору, что ухмыльнулся чисто случайно, сам того не заметив, но не знал, как бы это подостовернее объяснить.

— Господа,— сказал директор,— мы должны немедленно приступить к заключению лицензионных соглашений. Если нужно, с новыми партнерами. «Белые халаты» создали нам такую позицию для переговоров, о которой мы и мечтать не смели. Вы, Франц, полетите в Англию. Вы, Хорст, в Париж и Милан. В Нью-Йорк полечу я сам. Встретимся через восемь дней. Поскольку вы, Хорст, у нас самый молодой, я нагрузил вас больше, чем Франца и себя.

— Ведь он знает французский и итальянский, а мы только английский,— сказал Хорн.

— Это я тоже учел,— заметил директор и взглянул на Хорна, медленно покачав головой. Потом продолжил: — Я вас теперь все чаще не понимаю, Франц. То есть я понимаю, что́ вы всякий раз имеете в виду, когда ухмыляетесь или отпускаете колкости, но не понимаю, почему вы всегда стремитесь свалить свои неприятности на Хорста и на меня, как будто мы с Хорстом виноваты в том, до чего вы довели себя за эти годы. Работа у нас замечательная, нельзя ее портить такой гнусностью. И все-таки от нее не защититься. Да, да-а, вам еще раз удалось оскорбить меня! Поздравляю! Перед подлостью я пока пасую. Но я себя переломлю. Вот, прошу вас, Франц, взгляните, если вы еще не ослепли, взгляните, чего добились наши «белые халаты»! Трехслойный зуб тверже любого из прежних и, несмотря на это, обладает вдвое большей способностью к полимеризации с исходным материалом. Так-то вот, а теперь, пожалуйста, ухмыльнитесь еще разок так же глупо, как минуту назад. А потом взгляните на эти сказочные поверхности. Видите, эти зубы излучают свет, видите или нет? А вот новая стреловидная линия для коренных зубов, вот, всмотритесь, а потом потрогайте. Так и хочется порекомендовать эти зубы самой природе как образец для подражания. Эволюции наверняка понадобится еще десять

тысяч лет, чтобы создать подобную линию зубов. Если она вообще до этого дойдет. Да, по-моему, о зубах мы должны позаботиться сами. За последнее время я придумал названия для шести новых комплектов передних зубов: Каллидонт, Гнатодонт, Ксифодонт — и коренных: Сатурн, Юпитер, Юнона. Прошу вас высказать свое мнение. И в случае необходимости внести другие предложения. Новый метод, с помощью которого впервые удалось получить изделие путем комбинации литья под давлением и прессовки, мы предложим имеющим нашу лицензию партнерам под названием ИНФУРПРЕСС. Но на сей раз оптовая скидка приостанавливается уже при пятидесяти тысячах штук в месяц, затем вступает в силу договор на девять лет с раздельной калькуляцией поштучно. Я считаю, что успехи наших зубных техников, химиков и граверов обязывают нас немедленно поднять культуру обслуживания. Такие эпохальные достижения, такие удачи, такие ярчайшие успехи, господа, нельзя продавать за бесценок. Теперь мы вполне можем взять за горло своих конкурентов из Линдау и Лихтенштейна. Наконец-то! О, господи, Франц, да порадуйтесь и вы теперь хоть немножко! Вспомните, прошу вас, с какими зубами вам приходилось разъезжать по округе пятнадцать лет назад, в сравнении с теми наши новые просто тигру впору. Не так ли? Вот первые наброски рекламных проспектов. Детали обсудим после обеда. Прощайте, господа, был весьма рад. Именно рад!

В дверях кабинета шефа д-р Лист пропустил Хорна вперед. Не успели они выйти, директор крикнул:

— Хорст, не найдется ли у вас свободная минутка?

— Конечно,— ответил д-р Лист.

Хорн не остановился. Он считал, что закрывать за ним двери дело Листа. Все-таки Лист был его преемником, начальником он стал только потом.

Фрейлейн Хёльцель делала маникюр. Хорн попытался пройти мимо нее к себе в кабинет, не подавая виду, что он это заметил. Интересно, красит ли она ногти с такими нарочито балетными жестами, когда сидит в приемной одна? Хорн увидел, что она поставила на письменный стол фотографию. Даже не вглядываясь, он определил, что на ней изображены двое, и понял, что это близнецы д-ра Листа. Почтовая открытка, репродукция картины госпожи Лист, которая маслом на полотне запечатлела своих детей. Прелестные черноволосые и темноглазые близнецы Вальтер и Вольф были известны каждому. Господин д-р Лист всегда с усмешкой рассказывал, что теперь его жена мечтает о девочке, которую надо назвать Альмой. «Да, что ж поделаешь?» — говорил он комически-серьезным вопросительным тоном и наклонялся как можно ближе к собеседнику, глядя ему в лицо широко раскрытыми глазами.

Последние метры до своей двери Хорн пробежал бегом, будто вдруг вспомнил что-то страшно важное. Типично, что ему приходится терпеть секретаршу, которая участвовала в создании культа близнецов д-ра Листа. Я не стану высказываться на этот счет, мое дело сторона, говорил он себе. Но имеет же он право усматривать в этом нечто типичное. Пожалуйста, говорил он себе, этого тебе никто не запрещает, можешь считать типичным все, что хочешь считать типичным. Ну и прекрасно, больше и желать нечего. Однако все же подумал, что манеры д-ра Листа, величественные и неуклюжие, приветливые и снисходительные, напоминавшие то дрессированного медведя, то сенатора, не бросались бы в глаза, будь д-ру Листу хотя бы лет сорок, но у двадцатидевятилетнего эта манера казалась напускной и вызывала раз-

дражение. Так полагал Хорн. Он не верил этим манерам д-ра Листа. Хорну постоянно казалось, что Лист слегка насмехается над ним, когда бывает столь любезен. Прежде всего Хорн не верил той подчеркнутой почтительности, с которой обращался к нему Лист. И даже считал ее наглым высокомерием. Госпожа Лист сказала Хорну однажды: «Хорст вас любит». В этих трех словах Хорн явственно услышал: «Пожалуйста, примите это как излияние чувств с нашей стороны и постарайтесь быть достойным их, насколько вы на это способны».

Хорн сел за письменный стол. Положил перед собой блокнот. Начал черкать по листу. И думал только о своих черточках. Так ему удалось полностью отрешиться от всяких мыслей, от всякой определенности. Хотя минутой раньше он не был уверен, что это удастся. Хорну даже было страшновато остаться сейчас в кабинете, где ничто не могло помешать ему как всегда устремиться мыслью именно к тому, о чем меньше всего хотелось бы думать. А теперь ничего подобного не происходило. Он обрадовался, словно удаче, что с помощью черточек сумел совершенно от всего отключиться. Однако попрежнему испытывал страх, что это ненадолго. Вдруг он услыхал пронзительный смех. Испугался. Но оказалось, что это всего лишь фрейлейн Хёльцель. Очевидно, кто-то вошел в ее комнату, а Хорн не слышал. За два года, с тех пор как она стала его секретаршей, он не смог привыкнуть к громким взрывам ее смеха. Фрейлейн Хёльцель никогда не смеялась долго. Более того, смех ее прекращался на редкость скоро. Когда она впервые расхохоталась в его присутствии, Хорн посмотрел на нее просто с ужасом. Фрейлейн Хёльцель заметила его взгляд. Сказала, что унаследовала это от матери, что отец тоже не выносил ее смеха. Но она ничего не может с собой поделать. Хорн ответил, что смех всегда приятен и ему непонятно, как может кто-нибудь возражать против смеха. Правда, он при этом отвернулся из опасения, что его ложь прозвучала недостаточно убедительно. Теперь он подумал, что едва ли есть нечто более невыносимое, чем смеющийся человек. В эту минуту он твердо верил, что никогда в жизни не мог бы рассмеяться, если бы в его присутствии начал смеяться кто-то другой. Он смеялся лишь тогда, когда смеялся первым. Стоило рассмеяться другому, и Хорн словно деревенел. После того как Хорна напугал смех фрейлейн Хёльцель, ему казалось, будто его сводило судорогой. Он все собирался сказать директору, что фрейлейн Хёльцель — секретарша для него не из лучших. Не желая, однако, возводить на фрейлейн Хёльцель напраслину — ведь упрекнуть ее не в чем,— он был бы вынужден объяснить свою неприязнь к ней ее манерой смеяться. А этого он не хотел. Лет десять назад он бы так поступил. Даже восемь лет назад. Даже пять, даже четыре... Нет, четыре года назад, пожалуй, уже не смог бы. С некоторых пор ему расхотелось вступать с директором в разговоры, которые могли бы принять личный характер. И как это он не сумел удержаться от ухмылки! Черт бы ее подрал, подумал он и вновь с отчаянной поспешностью стал чертить по листу, чтобы отогнать нахлынувшие мысли. Сегодня, например, он не смог бы говорить с директором о его отце. Хорн отлично помнил, как однажды, нимало не задумываясь, восторженно поздравил директора с удачным названием для фирмы: ХЕМНИЦКИЕ ЗУБЫ. Тиле, который был едва ли старше Хорна, сказал, что название придумал его отец. Ведь Хемниц был потерян, а с ним и клиентура фирмы «Тиле и К°». Хемниц, Театерштрассе, 17. Отец так и не смирился с тем, что пришлось уехать из Хемница. Тоска по родному городу придавала ему силы. Огромные силы. Он хотел воздвигнуть Хемницу памятник. Вы ведь знаете, как теперь зовется Хемниц, Франц. С моих губ никогда не сорвется его новое название. Пришлось обещать это отцу. В пятьдесят третьем, ког-

да у Хемница украли его имя, отец внес в здешний торговый реестр новое название своей фирмы — ХЕМНИЦКИЕ ЗУБЫ. Спустя три года брат господина Тиле основал фирму КОРПУС ХЕМНИЦ. Сегодня она достигла почти половины оборота ХЕМНИЦКИХ ЗУБОВ. Господин Тиле повсюду, к месту и не к месту, рекламировал тренировочные снаряды своего брата. У каждого из его служащих был хотя бы один такой снаряд. А за пятнадцатилетнюю работу в фирме ХЕМНИЦКИЕ ЗУБЫ вручали велотренажер КОРПУС ХЕМНИЦ ВЕЛО с комплектом маршрутных кассет. Они крепились над педалями и хранили информацию о некоторых туристских маршрутах в окрестностях Хемница. Поездки в Рудные горы, через Чопау в Сайду, или через Штольберг в Обершлему, или просто за город, по дороге в Митвейду. При торможении соответствующая кассета выдавала информацию о рельефе местности, а если, усердно нажимая на педали, добирались до запрограммированной цели, то раздавался мелодичный велосипедный звонок. Господин Тиле совершал свои поездки в Рудные горы и в Плейснерланд с грустью и воодушевлением. Хорн, уроженец Боднегга, в Альгойе, понимал его. Правда, Тиле тренировался еще и потому, что его охватывало чувство глубокой скорби, едва он замечал на своем теле малейшее утолщение, которое не было мускулом. Люди, к которым Тиле испытывал симпатию, тоже не смели толстеть. Иначе Тиле переставал им симпатизировать. «Ничего не могу с собой поделать,— говорил он,— это у меня от матери». После долгих лет борьбы и колебаний Хорн со злобным наслаждением примирился с тем, что начал толстеть. И с болезненным наслаждением, становясь все толще и толще, наблюдал, как страдает от этого Тиле. В конце концов Хорн взял в привычку одну из ежевечерних бутылок пива пить за здоровье господина Гиле. Был ли кто при этом или нет, последнюю бутылку Хорн, будто по принуждению, осушал со словами: «За здоровье Артура!» И однажды Тиле махнул на Хорна рукой. Сначала его перестали приглашать кататься на яхте, потом играть в теннис. Правда, так могло произойти и потому, что саксонская фракция в теннисном клубе, например, настолько выросла, что там уже хватало своих. Во всяком случае, д-р Лист не заменил Хорна ни на теннисных кортах, ни на борту яхты ХЕМНИЦ-ОДИН. Хорн стал теперь всюду, где, как ему казалось, он этого еще не говорил, повторять: «Не знаю, то ли я для него слишком толст, то ли он злится, что я член профсоюза». Все чаще, говоря эти слова, он чувствовал, что каждый из присутствующих их уже слышал, и не однажды. Произнося эту фразу, он всякий раз смущался. Но отказаться от нее не мог.

Фрейлейн Хёльцель спросила, будет ли он говорить с Ангелом. Хорн изобразил некоторое удивление и, растягивая слова, проговорил:

— Да, конечно, если не слишком долго.

Когда фрейлейн Хёльцель удалилась и в комнату вошел Хайнц Мург, Хорн тут же стал намного любезнее:

— Как дела, Хайнц?

Мург сказал, что намерен выставить свою кандидатуру в городской совет и поэтому собирает подписи под воззванием для газеты, которое озаглавлено: «Коммунистов — в ратушу!» Добавил, что, поскольку Хорн так удачно поддержал его на выборах в производственный совет, он теперь к нему и обращается.

Хорн подумал: «Ну вот, так мне и надо». Но вслух спросил:

— А кто еще подписал?

Мург показал несколько фамилий. Хорн сразу же определил: лишь несколько известных всему городу коммунистов. Никто из служащих фирмы. Хорн взглянул на Ангела. Тот ему подмигнул. Хорн подумал: словно торговый агент, который внушает хозяйке дома, не

решающейся поставить подпись: «Вашему мужу знать об этом необязательно».

— Раз ты так считаешь, Хайнц,— сказал Хорн.

Потом он быстро прочитал текст и подписал с таким выражением лица, которое, как он надеялся, казалось страдальческим. Но, подняв глаза, увидел, что Хайнц Мург смотрит не на его лицо, а на руку, ставящую подпись. Когда Мург ушел, Хорна охватила досада. Надо же, так просто послушался. Значит, мог бы прийти любой и потребовать бог весть чего, а Хорн и не подумал бы сопротивляться. Ему очень хотелось, чтобы явился кандидат от ХДС и тоже попросил его о подписи. Ему очень хотелось подписать все что угодно, лишь бы стало ясно, какова его позиция. Но кандидат от ХДС не приходил. Ведь со времени последних выборов в производственный совет Хорн слыл другом коммунистов или даже вовсе коммунистом. Хайнц Мург получил 91 голос из 114! Люди шли к нему со всеми своими горестями и заботами. Он защищал их не только от Тиле и домовладельцев, но и от врачей и полицейских, от жен и мужей. Написав письмо в газету, он добился, чтобы деревья, которые уже списал какой-то бюрократ из строительного управления, не были спилены. Он посылал читательские письма, стоило какому-нибудь нацисту хотя бы приблизиться к их городу. Он распространял в копиях все читательские письма, которые редакции газет отказывались публиковать. Как-то во время коллективной поездки за город шлифовщицы сложили о нем песню под названием «Ангел на мотороллере». С тех пор Хайнца Мурга и прозвали Ангелом.

И все-таки никто не поддержал бы Хайнца Мурга, если бы он захотел попасть в ратушу. Насколько любили самого Хайнца Мурга, настолько не любили его партию. Но в этом Хайнц Мург виноват не был. Потому Хорн и поставил сейчас свою подпись. Когда вдруг снова сгущались тучи из-за Берлина или Праги, Хорн всегда кричал Ангелу еще издали: «Скажи своим начальникам, чтобы они не вели себя как иностранцы». Вероятно, Хайнц Мург привык к подобным призывам и отвечал на них лишь смехом. Однако поднимал при этом правую руку, на которой не хватало трех пальцев, и сжимал ее в кулак.

Что скажет Тиле, увидев фамилию Хорна под коммунистическим воззванием? А д-р Лист? Хорна бросало то в жар, то в холод. Внезапно он почувствовал, что ужасно устал. Приятное ощущение, ощущение радости, подумал он. Радости, что наконец-то все разъяснилось.

Эта радость будет тебе поддержкой, если ты вдруг не сможешь точно определить, где твое место. Тогда достаточно знать, что не с Тиле.

Так, так, а с кем же?

Не с Тиле. Пока хватит и этого. Если ты это выдержишь, можешь быть почти доволен. О том, что ты не с ним, ты мог бы знать уже давно, но ты не хочешь, у тебя не хватает сил это знать.

Да что ты!

Ты боишься.

Да что ты!

С тех пор как ты поддержал у себя на работе Хайнца Мурга, Тиле перестал тебе покровительствовать.

С тех пор как Тиле перестал мне покровительствовать, я начал поддерживать Хайнца Мурга.

Мазохист...

Хорн испугался. Фрейлейн Хёльцель снова залилась смехом. Но на сей раз Хорн был ей даже благодарен.

...Хильда и дети обеспечены. Хильде снова платят жалованье в школе полностью. И, судя по газетам, популярность ее в церквах у подножия гор все растет.

К певице, обладающей таким сопрано, что она может выступать солисткой в церковном хоре в Бирнау и записываться на долгоиграющие пластинки, не посмеют применить запрет на профессии. К тому же она живет отдельно от Хорна. Большего и требовать нельзя. Фрейлейн Хёльцель опять рассмеялась. Но уже не так громко. Хорн подумал, что слабый сильнее всего, когда он одинок. А Хорн был одинок. Так что практически с ним ничего не могло случиться. Да и какое ему дело до самого себя. Иначе бы это давно проявилось.

2

Уложить чемодан. А разве ему доводилось когда-нибудь заниматься чем-то иным? Он слегка поежился, чтобы избавиться от театральной патетики. Поискал в ящике письменного стола переходник для английской розетки. Хорн и вправду не думал, что сразу наткнется на фотографию своих детей. Он тут же задвинул ящик. Фотография уже пожелтела. Две его дочери на этом снимке будто умоляли о чем-то. У каждой на ладони сидел хомячок, которого придерживали другой рукой. Глаза детей устремлены прямо в объектив. Лицо Рут наклонено чуть влево, лицо Аманды чуть вправо. Жалкое впечатление или впечатление глубокой жалости возникало оттого, что девочки протягивали хомячков, подняв взгляд. И конечно, оттого, что снимок сделан зимой. Вот они стоят на снегу, прислонившись к стене дома, закутанные в шарфы, которые сами связали. Нет, нет, самое страшное впечатление производят глаза, несчастные, умоляющие глаза. Виноват тот, кто фотографирует. Каждый снимок слишком точно запечатлевает одно-единственное мгновение. Ведь потом дети опять стали совсем другими. Может быть, с той минуты, когда их фотографировали, они никогда больше такими и не были. Надо бы купить новый переходник. Вот уже пять лет, как он оставил семью. Сегодня можно сказать, что он был тогда ненормальным. Приходя с работы домой, он в ярости бил в мойке стаканы. Один за другим. Или орал на детей так, что они, как придавленные, съеживались от страха. Все чаще и чаще Хильда по два раза в ночь перестилала ему постель, потому что он обливался потом. Когда Хорн обнаружил, что в состоянии избить Хильду и детей, он убежал из дома.

Хорн включил телевизор.

Даже играя с детьми, он был ненормальным.

Больше всего он любил укладываться на светлый ковер и изображать покойника. А дети должны были за него волноваться. Смотреть, не умер ли он на самом деле. Он умел так долго задерживать дыхание, что они и вправду пугались. Порой даже убегали за матерью. И она мчалась к нему вместе с детьми. И когда он потом снова начинал дышать и открывал глаза, эффект был поразительный. Больше всего он любил изображать замерзшего. Скорчившись, неподвижно лежал на прекрасном ковре. Дети знали, что нужно отхаживать его, пока он снова не оживет. «Теперь я здоров и весел,— громко заявил он,— живу в Гальгенхальде, высоком и красивом месте, с видом на живописные Альпы». Он выключил телевизор. Подошел к окну. Завывал фён. При фёне любое окно кажется только что вымытым. Альпы словно придвинулись ближе. Стали совсем синими. Хорн вышел на балкон. Горная гряда все больше темнела. Долины наполнились бурлящей пеной. Раскаленная полоса неба на юге между горами и тучей стала вовсе ослепительной. Кое-где над раскаленным горнилом юга вздымались клубы дыма. Великий театр погоды неистовствовал. Все вокруг будто сговаривалось поджечь мир. И он вспыхнет, этот мир, уж точно. Все трещит. Все готово сгореть. Внизу рыжий парень заводил японский

мотоцикл «судзуки». Потом машина стремительно рванулась вперед, чуть не сбросив парня. Но он выдержал встряхнувший его рывок. Потом, застыв в седле, умчался прочь. Астронавт. Буйный апрельский вечер. Астронавт повезет теперь на «судзуки» свою девушку, подумал Хорн. Блондинку, которая всегда ходит в куртке из коричневой выворотки, и на голове у нее шапка из некрашеной овечьей шерсти с чешуйками, как на ананасе. А там, где шапка заканчивается, выбиваются волосы и падают ей на плечи. Хорн ничуть не завидовал владельцу «судзуки». Он предпочитал усмирять возбужденную плоть не столь оригинальным способом. У него было несколько постоянных любовниц, которые нейтрализовали друг друга. Каждой из них довелось пережить что-то ужасное. На почве этой ущербности они и сошлись и без особых церемоний облегчали друг другу жизнь. Ах нет, все еще с особыми церемониями. Даже со все более и более особыми. Честно говоря, с ужасно особыми церемониями. И виноват тут он сам. А теперь хватит. Завтра в это время он проедет по Лондону, по дороге от аэропорта до Юстонского вокзала, чтобы пересесть там в экспресс на Ковентри. С тех пор как Хорн стал жить один, Тиле не раз говаривал, что с удовольствием пожил бы такой свободной жизнью, как Хорн. В ответ Хорн лишь пожимал плечами. Это заставляло господина Тиле думать, что Хорн прибедняется, не желая вызвать у господина Тиле еще большую зависть. Хорн его не разубеждал, хотя и не мог всерьез воспринимать сетования Тиле, который имел куда больше женщин, чем он. Тиле всегда было нужно больше женщин, чем любому другому мужчине из тех, кого знал Хорн. Ненасытная потребность Тиле в женщинах — думать о ней доставляло Хорну удовольствие. Лишь накануне рождества и накануне пасхи Тиле говорил: «Сейчас мне снова жаль вас, такого одинокого». Хорна всего передернуло при мысли, что теперь надо вернуться с балкона в комнату и уложить чемодан. Самое обидное то, что ему не представлялось случая проявить себя. Он опять включил телевизор. Политического деятеля из оппозиции о чем-то спросили. Ответил он не сразу, продолжая сохранять то же выражение лица, с каким слушал вопрос. Потом лицо его вдруг совершенно изменилось, он придвинулся вплотную к собеседнику и произнес неощутимо расплывчатую тираду, но весьма решительным и энергичным тоном. Все равно как если бы кто попытался зажечь под водой спичку, подумал Хорн. А этому удалось. Поначалу Хорн не смог уловить смысла этой слишком длинной и слишком гладкой тирады, но потом все-таки понял, что оппозиционный политический деятель угрожал ему. В этом не могло быть никаких сомнений. Разумеется, не ему лично, но людям вроде него, тем, кто никак не хотел ничего понимать и к кому правительство слишком долго проявляло терпение. Когда интервью закончилось, скованный оцепенением Хорн какое-то время еще не мог пошевелиться. Вдруг он метнулся к телевизору. Хорну удалось его выключить, прежде чем началась новая передача. Новая атака. Им овладел ужас, оттого что день этот прошел без... без чего? И сам не знаю, сказал себе Хорн. Через полчаса он будет лежать в темноте и перестанет шевелиться. Малейший шорох в квартире, даже произведенный им самим, только еще сильнее скует его. А когда-нибудь потом ему придется решать задачу, как заснуть. Ведь это тоже надо уметь. Значит, чтобы заснуть, он начнет прибегать к разным уловкам. Начнет с того, что скажет: экие сложные уловки, окольные пути, отшумевшие вдали маневры. Леса из воздуха вокруг постройки из мрака. Он не мог продохнуть. Вероятно, уже долгое время он не мог продохнуть. И Хорн тотчас сосредоточился на дыхании. Но от этого дышать вдруг стало еще труднее. В таких случаях особенно хорошо повернуться на другой бок. Несколько раз. Не стоит ли порадоваться,

что этот день прошел? Ведь прошел же. Будь любезен, болван, держать свои мечтания в узде. Вечно эти мечтания. Особенно по вечерам. Болван! В самом деле болван. А что у тебя впереди? Может, Хильда? Да, может, еще и с детьми? Да еще у каждой украшенная горящими свечами рождественская елочка? Да еще все трое поют? Да еще бросаются тебе на шею, отталкивая друг друга, потому что каждой хочется, чтобы ты принадлежал ей одной? А когда дети повиснут у тебя на шее, Хильда своими прелестными ручками устроит тебе головомойку? Он не мог избавиться от наваждения, будто достанет тогда из нагрудного кармана два маленьких ножичка и вонзит прямо им в сердце, а они с небывалой непритворностью рухнут возле него, навеки, и он никогда уже их не отпустит, никуда. Ха-ха-ха!

Хорн обнаружил, что стоит посреди комнаты, уставясь на дорожку, которой утром застелил подпалину. Теперь, глядя на дорожку, он не мог не вспомнить о прикрытом ею пятне. Кто из женщин это сделал? Только Карин бывала бесшабашной, или рассеянной, или усталой, только ей ничего не стоило прожечь ковер. Однако Хорн не сумел задержаться на мысли о Карин. Его понесло дальше, туда, куда он не хотел. К персидскому ковру, который он оставил семье. Едва он говорил себе, что не желает о чем-то думать, как уже думал именно об этом и ничего не мог с собой поделать. Даже то, что он знал эту свою особенность, никак ему не помогало. Лишь через день после визита д-ра Листа они заметили на ковре это пятно. Д-р Лист был с супругой. Можно так сказать. Она была именно супругой. Недурно, недурно. И причем дамой. С очень ранних лет дамой. Урожденная фон Мюллер. Да что вы? Разве она не из Потсдама? Хорн думал, что она из Потсдама. В ней есть что-то славянское. Даже очень славянское. И строгое. Широкоскулое лицо, глядя на которое почему-то забываешь о небесных предначертаниях. Она, пожалуй, излишне любезна. Помилуйте, такая строгая и излишне любезна? Да, в том-то и дело, клянусь богом! Ведь она всегда улыбалась. Правда, именно так, как улыбаются строгие люди. Из любви к нам. Ведь она старалась казаться исключительно доброй. И пришла, конечно, лишь потому, что муж сказал ей: у него есть, да, у него, стало быть, есть старший коллега, юрист, правда, без диплома, но милейший человек по фамилии Хорн, который пригласил его, а о ней даже и не упомянул, но в правилах этикета этот Хорн не силен, поэтому, разумеется, он возьмет ее с собой. Пусть она хоть тысячу раз уверена, что в этом миленьком городке, у этого несчастного любезного Тиле — барыга он, кто же еще! — в этих краях, где все так странно разговаривают, пусть она хоть тысячу раз уверена, что не останется здесь надолго, только до отъезда в Брюссель, и поэтому вообще не стоит заводить знакомства, д-р Лист все-таки, не спросив ее заранее, почти принял приглашение Хорна, придется уж ей извинить его. Ясно также, что, если она возражает против визита, он может легко отказаться от приглашения. Итак, она согласилась сопровождать мужа. Сама по себе она фактически не приходила. При всей ее любезности было ясно: явилась она только потому, что сопровождала д-ра Листа. Ее нисколько не интересовали ни Хорн, ни Хильда, она только следила, чтобы ее муж не пил всякой дряни, да и хорошими напитками не увлекался. И все-таки он увлекся. А что он прожег ковер, она, вероятно, даже не заметила.

Всякий раз, когда приходили курящие гости, Хорн боялся за свой ковер. Из-за сияюще-светлого фона, на котором чуть синел вьющийся узор, ковер казался Хорну удивительно беззащитным. Его продажная цена — 5 тысяч марок — составляла в 1960 году половину годового дохода Хорна. Он увидел этот ковер на какой-то выставке и приобрел

его. Четыре года Хорн выплачивал взносы в западноберлинский банк, с которым вел дела торговец коврами. По воскресным утрам Хорн ложился на светлый, как серебристый тополь, ковер между темно-синими и голубыми вьюнками, а вокруг в синих зарослях паслись верблюды. Странно, с тех пор как Хорн расстался с ковром, тот все больше увеличивался в размерах. Стоило закрыть глаза, и сияющая серебристость простиралась до горизонта. И Хорн видел, как по ней бредут Хильда, и Рут, и Аманда.

Хорошо бы госпожа Лист хоть немножко приглядывала за своим мужем! Но нет, после того визита она неделями упрекала мужа за то, что он сам слишком мало за ней приглядывал. Когда Хорн нес две бутылки вина «Вайсхербст», которое безумно нравилось молодому д-ру Листу, он столкнулся в узком коридоре с женой д-ра Листа, возвращавшейся из уборной. И Хорн, несший две бутылки, тут же поднял обе руки, отвел бутылки подальше от себя, стремясь сделаться как можно стройнее и тоньше, чтобы она, не прикоснувшись к нему, могла пройти в гостиную. Действительно, получилось удачно. Хорн повернулся и пошел следом за нею. Потом, протянув руку с бутылкой, он хотел, черт побери, открыть ей дверь, потому что уже успел заметить, какая она кривляка. Вот тут-то оно и случилось. Из-за того, что он замешкался. А может, и она немного повернулась. Черт знает из-за чего. Его рука, оголенная почти по локоть — рукава рубашки и куртки задрались от резкого взмаха,— коснулась ее груди. И довольно... довольно ощутимо. Если смотреть с точки зрения приличий, Хорн бы даже и не вспомнил об этом, не попроси его д-р Лист два месяца спустя, в субботу в одиннадцать, прийти в кафе Крафта, где сообщил ему глуховатым и спокойным голосом, будто прочитал лекцию, что об ответном приглашении — если супруги Хорн на него рассчитывают — пока нечего и думать, поскольку его жена по сей день не может прийти в себя от поведения Хорна, которым он оскорбил ее в коридоре своей квартиры. Да, что на это скажешь? Хорну было подробнейшим образом разъяснено, что, собственно, произошло. Он не помнил за собой никаких недозволенных поступков. «Вот именно,— мягко заметил д-р Лист,— то же самое я и сказал жене. У этого Хорна, сказал я, насколько я уже наслышан о нем на работе, такое случается в силу врожденной фамильярности, и хотя спускать Хорну этого нельзя, но разрыв отношений с ним на два месяца я считаю и соразмерным и вполне достаточным наказанием». Д-р Лист добавил, что ему самому встречи с Хорном кое-что дают. В этом он признался с некоторым опасением, имея в виду эмоции, присущие таким встречам. Странно. Экая старообразная официальность в человеке, который на 15 лет его моложе! Все это говорилось неторопливо, на чистейшем литературном языке, в традициях острова Юйст и свода гражданских законоположений. И тут же рослый фриз пригласил Хорна отведать глоточек «Вайсхербста». Жена его была, конечно, в отъезде. Д-р Лист отлично запомнил марку вина, которым угощал его Хорн у себя дома. И дал понять, что запомнил эту марку из симпатии к Хорну. Любезность с его стороны? Или наглость? Разве Хорн тот человек, кому д-р Лист мог бы оказать честь, запомнив марку его любимого вина? Не слишком ли высокого мнения о себе этот д-р Лист? А то, что он называл свою жену не иначе как госпожа фон Лист? Говоря о чем-нибудь, он поминутно вставлял, что она-де урожденная фон Мюллер. И в довершение всего предложил Хорну свое содействие на фирме. Вот до чего дошло. Хорн отказывался это понимать. Какое содействие? В трениях с барыгой Тиле? А разве у Хорна были трения? Он не рискнул расспрашивать. А господина Тиле Хорн считал милейшим человеком. Часто он с симпатией думал об этом высоком и сильном, всегда заго-

релом, всегда сверкавшем своими неровными, но великолепными зубами господине Тиле. Кто впервые заглядывал в рот к господину Тиле, не мог отделаться от впечатления, что зубов там вдвое больше обычного, настолько их было много, словно в два ряда стоят. Самое забавное то, что этот сверкавший зубами господин владел фабрикой зубных протезов. Хорн не отличался, как видно, особой проницательностью, вот и не замечал, что за чурбан этот Тиле. А что он сказал недавно госпоже фон Лист, когда — что уже само по себе неприлично — увел ее от других гостей и потащил на террасу. Она целых две недели страдала головной болью из-за его бестактности.

Хорн находил, что рослый молодой доктор со всеми его гнутыми курительными трубками и похожим на клюв ртом — милейший человек. «Его так и хочется погладить»,— сказал он Хильде, когда собирался представить его своим домашним. Хотя он и великан, но самый изящный, какого только можно вообразить, ничего общего с геркулесом Тиле и никаких ярких и сочных красок. Акварельная синева глаз — вот самая броская из его красок. Светлые дужки бровей над этими глазами опять же скорее невидимы. В самом деле, порой их не замечаешь по целым дням, а потом вдруг они становятся массивными, точно золотые слитки. Как будто это зависит от погоды. Вероятно, от света зависит, есть у него брови или нет. Странно, что Хорн всякий раз, желая описать Хильде д-ра Листа, называл его Фра Анджелико, почему, он и сам не знал. Может быть, потому, что Хильда нередко пела в церкви. Имя Фра Анджелико прямо-таки прилипло к д-ру Листу в доме Хорна. С тех пор как Хорн и Хильда расстались, у Хорна не было больше повода называть его так.

Хильда говорила, что считает Хорна вполне способным на выходку, о которой рассказывала госпожа Лист. Хорн отрицал всякий злой умысел со своей стороны, всякое удовольствие от совершенного и т. д. Но и д-р Лист в ответ только посмеивался. Он считал Хорна достаточно симпатичным мужчиной и мог допустить, что у Хорна было намерение преградить его жене путь в гостиную, а потом втолкнуть ее в спальню и тут же надругаться над ней. Помилуйте, что вы говорите? «Вы и сами могли бы признать, что это вам не чуждо»,— заметил д-р Лист. Потом посуровел и сказал, чтобы Хорн раз и навсегда запомнил: у них смотрят на все это иначе. И чтобы Хорн был впредь — уж пожалуйста! — осмотрительнее. Если Хорн это ему по-дружески обещает, то д-р Лист еще раз попытается устроить встречу семейства Хорн со своей женой... Хильда, Хильда, не надо бы тебе становиться на их сторону! Это ранило Хорна. Хоть это слово и звучит напыщенно — пусть! Боже, боже! Ему необходим другой ковер на пол. Не мог же он еще девятьсот девяносто девять раз спотыкаться об это пятно и всякий раз выслушивать подобные гнусности. И справиться с этим он не мог. Противней всего, думал он, очевидно, его покровительственная манера, когда заходит речь о морали. Эта чертова кривляка, жалкая... о господи, ведь красива, мила, сказочно хороша, но такая... Лучше бы ей подставить свои ручки, когда ее дылда доктор сорил раскаленным пеплом, тогда Хорну не пришлось бы постоянно вспоминать о сей благородной чете. Он подошел к шкафу и достал три бутылки пива. Для начала. С тех пор как Хорн ушел от семьи, он больше не пил вина. С тех пор его напитком стало пиво. Только не из холодильника. Он предпочитал бурно пенящееся, чуть клейкое пиво, весь смак которого не испорчен холодом. Лучше всего английское. От трех до шести банок или бутылок за вечер. А потом засыпать, ощущая во рту отчетливый вкус хмеля.

Так скажи, что жизнь прекрасна!

Жизнь прекрасна.

Признайся, что ты счастливчик. Завтра будешь в Англии. Будешь потягивать свое пиво, пьянчуга ты этакий.

Виновата Хильда.

Да ну?

Она не любила, когда Хорн, вернувшись домой с работы, усаживался в свое кресло и погружался в книгу. Она говорила, что он становится все скованнее. Едва она это сказала, он почувствовал, что зубы и вправду сковало. Со страшной силой. Будто шло состязание: что сильнее — верхняя челюсть или нижняя? Ему показалось, что сильнее давит нижняя челюсть. Как только Хильда ушла, он начал делать упражнения, чтобы расслабиться, чувствуя, что судорога, которая свела зубы, захватывает руки и ноги. Он сидел, как окаменелый. Вообще-то, если бы закрепить такое состояние на какой-то стадии, самочувствие было бы отличное. Он будто отдыхал от улыбок, которые столь успешно расточал весь день. Но скованности, очевидно, нельзя было давать волю. Она все усиливалась и готова была распространиться по всему телу, и тогда уже удовлетворения не оставалось и в помине. Хильда принесла коньяк. После трех рюмок челюсти снова обрели подвижность, и он смог осторожно, легкими, пружинящими движениями челюстей полязгать зубами. С тех пор, когда он приходил домой, Хильда угощала его коньяком.

Хорн отвел язык назад и уперся им в нёбо, наблюдая при этом за своими коленками, руками и пальцами ног, чтобы их не свело. Сегодня никаких происшествий уже не будет. Разве что по телевидению. А потом ты ляжешь в постель, как в очень тесную клетку, прутья которой заряжены электричеством, и поэтому ты избегаешь любого движения.

Успокойся, трус.

Можешь послушать, как шумит фён.

Спокойной ночи.

Спокойной ночи, сударь.

Заткнись-ка, вот именно.

Упорно и терпеливо он старался теперь отрешиться от всех мыслей. Когда сознание частично угаснет, он будет таращить глаза на то место, откуда должен прийти сон. Но как раз поэтому сон не придет. От такого таращения Хорн устанет и сможет потом отвести глаза от того места, а потом откуда-то сзади явится, наконец, сон, схватит его и захлестнет.

После обеда, когда стали прощаться, Тиле сказал: «Я неохотно посылаю вас в Англию, Франц». А когда Хорн взглянул на него и сам почувствовал, что взглянул как-то беззащитно, Тиле добавил: «Потому что вы там всегда пьете слишком много пива, я прямо боюсь за вас, дорогой мой, вот смотрите,— он слегка коснулся указательным и средним пальцами живота Хорна,— до чего раздался». Это было поразительно. Тиле снова страдал от полноты Хорна. Хорн ничего не смог ответить, так его растрогало неожиданное участие. Он только кивнул и с повлажневшими глазами заторопился к выходу. Теперь он откажется от дополнительных банок пива. Сегодня ночью он уже не станет пить за здоровье Артура. Сейчас он ляжет и крепко уснет. В Англии его ждут дела. Может быть, Тиле снова хотел приблизить его к себе? Почему бы Хорну не сократить свою пивную норму наполовину? Неважно, имел Тиле на него какие-то виды или нет. Ведь Хорну пошло бы только на пользу, если бы он поменьше пил. Он будет теперь пить поменьше, ради самого себя. Ну, скажем, наполовину. Решено? Решено.

3

Лучше всего было бы отделаться шуткой, если кондуктор удивится, почему пассажир с билетом первого класса едет во втором. Ку-

пе первого класса почти все были свободны, но до Ульма могли подсесть кое-какие господа, с которыми ему не хотелось ехать вместе. Ему казалось, что на любой станции в вагон могут войти Тиле и Лист. Хорну чудилось, что он провел свою жизнь главным образом в поездах. Куда только не посылал его Тиле! Сначала к зубным врачам. В течение нескольких лет. Пока не была создана разветвленная, стабильная сеть снабжения. А потом все чаще посылал в лаборатории, на склады. Хорн всегда сохранял самообладание, был терпеливым, улыбчивым, словом, милягой Хорном. На фабрике и за ее стенами. Ныне двадцать четыре представителя фирмы разъезжают по маршрутам, проложенным Хорном. У него были проторенные пути через Лондон, потом поездом на север, несколько путей в Ковентри и его окрестности. Тяжелее всего в этих поездках была жажда. Такой жажды Хорн дома не испытывал. В пути он постоянно чувствовал себя иссохшим. Может, из-за скорости, с которой его уносило вдаль? Ему очень хотелось прижать к глазам кулаки и поплакать. Неповторимое чувство переполняло его, когда снова приходилось отправляться в путь. Чувство, будто он уже не существует. Может быть, ему довелось проехать слишком много километров, поэтому в нем утратилось что-то, чего уже не восполнить. Например, способность осмыслить движение. Надо ведь почувствовать поезд, который мчится через леса и города. Хорн постоянно был вынужден напрягать силы, чтобы воспринять каждую пролетавшую мимо картину. Хутор на холме. Луг от ручья до опушки леса не такой зеленый, как тот, что на склоне холма с тремя березками наверху, четко вырисовывающимися на фоне неба. Вот Биберах с сутолокой новостроек... Если бы Хорн не определял так точно с помощью зрения, узнавания, восприятия все, что пролетало мимо, все спуталось бы и смешалось и в Ульме его можно было бы отправлять в психиатрическую больницу. Он заметил, что ему не хочется больше смотреть в окно. Казалось, все увиденное так и остается перед глазами. До появления новой картины. Одна накладывалась на другую. Вот-вот начнется неразбериха. Хорн перевел взгляд в купе. Здесь сидели и охотно давали увозить себя удивительные мужчины и женщины. Глядя на них, Хорн снова ощутил прилив сил. То были дорожные боги. Суверены. Твердыни. Олицетворение отваги. Сумки на коленях. В пальто. Не облокачиваясь. На лицах легкая насмешка над тем, что их увозят. И некоторая настороженность и любезность — на всякий случай. Крестьяне, рабочие, медсестры, ученицы с производства. Последние держат ноги на калорифере, а на высоко поднятых коленях бульварный роман — картинка на его обложке начинала мало-помалу расплываться. Стоял апрель, поэтому все были одеты не по сезону. Вошел кондуктор. Хорн несколько растерялся; на лице кондуктора отразилось изумление, он перевел взгляд с билета на Хорна, с Хорна снова на билет.

— Позвольте,— сказал кондуктор,— ведь здесь второй класс.

— Ничего,— сказал Хорн слишком поспешно и слишком тихо и протянул руку за билетом.

Кондуктор сдвинул очки на нос и, опустив голову, смотрел на Хорна поверх очков.

— М-да,— произнес он,— конечно, вы можете ехать вторым классом, этого вам никто не запретит, только, видите ли, здесь у нас на счету каждое место, а купе первого класса практически пусты, не так ли?

Хорн кивнул. Кондуктор подождал еще. Хорн не пошевельнулся. тогда он вернул ему билет. Хорн стал снова глядеть в окно. Он почувствовал, что покраснел. И даже вспотел. В вагоне принялись обсуждать происшедший с ним случай. Хорн задержал взгляд на пролетав-

ших мимо картинах. У него уже не было сил воспринимать их. Все клубилось в воздухе. Одни пассажиры полагали, что Хорн может ехать где хочет. И нечего его упрекать. Другие придерживались мнения, что этот инцидент надо рассматривать не с принципиальной, а с практической точки зрения: ведь здесь Хорн занимает место, которое нужно кому-то другому, а там место пустует. Кто-то предложил главарю противников Хорна поменяться с ним билетами и самому отправиться в первый класс, тогда дело будет в шляпе.

— Если не дорого запросит,— сказал главарь.

К счастью, на ближайшей скамье один из трех ребятишек, ехавших с матерью-турчанкой, ударился об откидной столик у окна, в кровь разбил лоб и страшно завопил. Когда вопли утихли, а кровь остановили, появилась новая тема для разговоров.

В Ульме пересадка на еще большую скорость. В Штутгарте пересадка на самую большую скорость. Хорну казалось, будто он не только летит, но и остается на месте. Он был одновременно лафетом и снарядом. Он смотрел на себя сверху. Он ввинчивался в небо. Хорн чуть было не схватил за ногу стюардессу, которая, стоя совсем рядом с ним, слегка нагнулась вперед. Он удержал свою правую руку левой и почувствовал, как по бедрам растекается тепло. Вспомнился рассказ Тиле о лыжнице в блестящем нейлоновом костюме: она нагнулась поправить крепления, а меховые варежки засунула между ног, облаченных в нейлон, так что у нее спереди и сзади выглядывал мех. Вот и посадка на остров. Хорн по опыту знал, что ощущение счастья бесследно исчезнет еще до того, как он попадет в город. Слева лошади. Представительство фирмы «Мерседес». Юстонский вокзал. Да, пятая платформа. Неизменное впечатление, что английские поезда более демократичны. Как приятно, что, не прислушиваясь, ничего не поймешь. Хорн грузно опустился между другими пассажирами. Ему казалось, что он самый тяжелый из всех. Никто так глубоко не погружался в свое кресло, как он. Хорн боялся, что заметят, как он погружается все глубже и глубже. Может быть, его кресло не совсем в порядке?

Надо бы встать и посмотреть, в чем дело.

Но он не отважился.

Трусливый пес.

Извольте.

Пусть лучше придет кондуктор и скажет: «Встаньте-ка, сударь, видите, что вы натворили: сломали кресло».

На горизонте горы облаков, поезд долго шел вдоль этой гряды. Казалось, это настоящие горы, созданные воображением, плод фантазии. В вечерних лучах солнца посреди лужайки громадная стоянка желтых и красных строительных машин. Молодой человек в мотоциклетном шлеме астронавта сел напротив Хорна, положил шлем на столик, вытащил огромный блокнот и начал что-то писать. Дорогой авторучкой, оставлявшей очень тонкие и четкие линии. Хорн сравнил ее со своими пузатыми шариковыми ручками. Сравнил себя с этим высоким и стройным юношей, который склонился над столом и писал так увлеченно, словно речь шла о его жизни. А рядом покачивался синий шлем астронавта. Где он оставил свой мотоцикл? Какой у него огромный блокнот. Наверное, он лежал в багажной сумке его мотоцикла. Хорн понимал, что с таким увлечением можно писать только из любви к самой заветной девушке. Например, к Хильде. Ведь Хильда давно уже опять была для него чужой. Когда он думал о Хильде, ему почему-то всегда казалось, будто ее лицо теряет очертания. Он даже глаз ее не видел. Волосы со всех сторон врастали ей в лицо. В Ковентри Хорн не смог сдать чемодан на хранение, так как все сейфы были закрыты: опасались бомб. Так и не поужинав, Хорн

поехал в отель, погрузился в темноту и стал прислушиваться к шорохам. Раз ему послышалось слово bloody[1]. Надо было хоть газету купить. Газета сейчас бы пригодилась, решил он. Его знобило. И пива у него не было. Он погладил себя по ляжке. Подумал о Хильде. Возбудился. Еще немножко погладил. И сразу же прекратил. Ведь завтра необходимо быть в блестящей форме. Мобилизовать себя для победы. Ради этого, как он считал, нельзя перевозбуждаться. Всех успехов, которые он принес Тиле за эти семнадцать лет, он добился благодаря тому, что не доводил до конца. В этом он был твердо убежден. Поначалу это казалось Хорну суеверием. Но стоило хоть раз не сдержаться, и на другой день все шло вкривь и вкось. Он никогда не раскрывал Тиле эту тайну своих успехов. Даже когда господин Тиле еще был им вполне доволен и не раз говаривал: «И как вам только это удается, Франц!». Он часто пытался затеять с Хорном мужской разговор. Значит, повод бы нашелся. Но Хорн предпочитал слушать и кивать головой. «От меня никто никогда ничего не узнает»,— сказал он в темноту комнаты. Пусть Тиле болтает. Геркулесу Тиле это к лицу. Он прямо расцветал, стоило ему заговорить о женщинах. С заросшей переносицы исчезала резкая черная складка. Вдруг возникали губы. В глазах появлялся темно-вишневый блеск. А какие суровые взгляды умел бросать Тиле, входя в кабинет с письмом от какого-нибудь клиента. Но едва он начинал о женщинах, глаза его приобретали дьявольскую глубину. Предвкушая именно эти превращения, Хорн радовался, когда Тиле начинал говорить о женщинах. Конечно, жене Тиле было несладко. Встречаясь с ней, Хорн каждый раз испытывал потребность окружить ее пылкой заботой. Ему хотелось все время оказывать ей любезности и услуги. Но Тиле и его жена могли посчитать это попыткой втереться в доверие, поэтому Хорн сдерживался и лишь изредка давал понять, как он ее почитает. Он был ей благодарен за то, что она так терпеливо сносит выходки мужа, когда у того начинается очередная любовная интрижка. Хорн совершенно точно знал, когда Тиле дольше двух недель приходилось довольствоваться только собственной женой. Тогда он день ото дня все больше и больше становился тем шефом, который постоянно подчеркивает, что он именно шеф, и никто другой. Но едва появлялась новая женщина, он снова становился человеком, своего рода спортсменом. И главное — молодым. Это было чудо. В три прыжка он преодолевал пятнадцатиметровый коридор, чтобы открыть дверь курьеру или уборщице. Лишь коммунисту Хайнцу Мургу он не открывал двери ни при каких обстоятельствах. А так почти каждый ощущал на себе весеннее настроение шефа. Все вместе эти перемены, вызванные появлением новой женщины, были доказательством стремительного омоложения Тиле. Пока у господина Тиле продолжались весенние приступы, Хорну казалось, что сам он уже вовсе не живет. Хорн был обречен на роль созерцателя. Но ведь это было чудесно. Ведь это было расчудесно. Ведь это было для него куда приятнее, чем своя собственная жизнь. Ведь вся его жизнь была какой-то запутанной, какой-то смехотворной трагедией. Ему было все равно, в каком свете выглядел он сам, ведь наиболее яркие события в его жизни среди людей происходили благодаря любовным похождениям господина Тиле. Когда господин Тиле предавался любви, Хорн любил господина Тиле. Да, именно так. Теперь, когда все позади, Хорн может себе в этом признаться. Особенно сейчас, в холодной постели в Ковентри. Особенно потому, что теперь он больше не видит, как выступает господин Тиле. Теперь господин Тиле перед Хорном уже не выступает. С тех пор как господин Тиле перестал выступать перед

[1] Проклятый *(англ.)*.

Хорном, Хорн понял, что господин Тиле долгие годы выступал перед ним. Для него. Все это не было так случайно, как могло бы показаться. С тех пор как этого нет, Хорн понял, что господин Тиле и он долгие годы жили одной общей жизнью. Хорн даже всплакнул в своей постели в Ковентри. Как брошенная любовница, подумал он. Теперь Тиле выступает перед д-ром Листом, подумал он. Так полагается. Если уж бросают, значит, ради кого-то другого. Но Тиле живет теперь одной жизнью с д-ром Листом только потому, что теперь тот приносит ему больше деловых успехов, чем Хорн. Только поэтому. И в этом упорствовал Хорн в своих раздумьях. Внушал себе. Часто. Мысль, что господин Тиле живет одной жизнью с д-ром Листом только из-за успехов д-ра Листа, вполне утешала Хорна. Вот и видно, чего стоит этот Тиле. Ничего не стоит. Во всяком случае, не многого. Хорн почувствовал, что в состоянии презирать этого Тиле. Живет теперь одной жизнью с д-ром Листом, который считает его барыгой. А может, д-р Лист изменил свое мнение? Он-то возможно. Но его благородная жена, разумеется, нет. А мнения, которого не могла разделить жена д-ра Листа, сам д-р Лист не мог придерживаться слишком долго. Правда, Хильда тоже имела претензии к господину Тиле. Какое-то время. Из-за множества его любовных историй. Поэтому Хорн настойчиво стремился изменить ее отношение к Тиле. Он создал для нее образ господина Тиле, которому она не могла не симпатизировать. Хорн больше не рассказывал ей о том, чего она не терпела. Так Хорну удалось сделать Хильду приверженкой господина Тиле. Этим Хорн имел право гордиться. Успех налицо. А вы, господин Тиле, считайте как вам угодно. Хорн надеялся, что у него все позади. И если завтра или послезавтра коммунистическое воззвание Хайнца Мурга с подписью Хорна появится в газетах «Швебише цайтунг» или «Зюдкурир», то в отношениях между Хорном и Тиле воцарится такое безмолвие, какое бывает лишь в лунные ночи на кладбище. Вероятно, высокий и строгий д-р Лист прав: Тиле — барыга. Но что это значит — барыга? Господин д-р Лист, я взываю к вам через всю Европу, ответьте мне, я не понимаю, что такое барыга, почему вы презираете господина Тиле, ответьте, прошу вас! И тут же стал извиняться перед д-ром Листом, подобострастно кланяясь, и признался, что он, трогательный защитник господина Тиле, при свидетелях сказал об этом Тиле, что он иногда напоминает ему Геншера, а иногда Геринга. Вот каков этот Хорн. Уж если кто не имеет права защищать Тиле от д-ра Листа, то именно он. Франц Хорн, который ради красного словца поставил Тиле между Геншером и Герингом, где Геркулесу Тиле отнюдь не место, ведь он ни с чем так решительно не боролся, как с опасностью растолстеть. Уж если кому и место между Геншером и Герингом, то ему, Хорну!

Хорн вскочил с кровати. Не мог больше лежать. Оделся. Сбежал вниз. В бар. И вдоволь налакался душистого пива. А потом, захмелевший, поднялся к себе в номер и улегся в постель. В конце концов грохотавшие в нем голоса настолько приутихли, что он смог заснуть.

Не раз и не два помедлив, он наконец взглянул на часы, которые, как обычно, положил на носовой платок, чтобы приглушить тиканье. Почти девять. Значит, он заснул не раньше двух. Видимо, около трех. Когда Хорн подсчитал, сколько времени уже бодрствует, вышло, что спал он, очевидно, меньше пяти часов. Соответственно он себя и чувствовал. Самое тяжкое дело теперь встать. Но он, конечно, встал, хотя это не принесло удовлетворения, скорее, наоборот. Хорну было до того тяжко, что, не собери он все свои силы, он тут же снова рухнул бы в постель или на стул. Одеваясь, он и вправду поминутно присаживал-

ся на стул или на край кровати. Все суставы ныли, словно от тяжести. Больше всего руки. Плечи были будто налиты свинцом. Куда-то девался переходник. Небритым к мистеру Хиту он пойти не мог. Надо теперь раздобыть переходник. Хорн опять забыл, как он называется по-английски. Ведь был же у него переходник! Объясниться с портье по телефону Хорн не смог. Значит, придется спускаться. Он взял с тумбочки часы. Попытался взять. Но цепочка свесилась за тумбочку, за что-то там зацепилась, часы вырвались у него из рук и ударились о стеклянную крышку тумбочки. Хорн прислушался. Капут! Вот так-то. Воспользовавшись нахлынувшей досадой, он снова повалился на кровать. Ведь без часов он ничто. Ездить без часов — такое даже трудно себе представить. Часы — это самое главное. И если в первое же утро самое главное выскользнуло у него из рук, чего же тут удивляться, что ощущение тяжести усилилось. Хорн почувствовал, что потерю часов он просто не выдержит. Если переговоры с мистером Хитом будут трудными — а судя по всему они будут труднее, чем когда-либо,— то не худо бы разок-другой достать часы, не открыто и развязно, а будто бы украдкой, вроде бы и незаметно для мистера Хита, но все-таки достать их, чтобы как можно деликатнее намекнуть на ограниченность времени. А смотреть на часы, которые не идут, Хорн был не способен. Мистер Хит сразу бы углядел это и с присущим ему сарказмом метко прокомментировал бы. Зачем только он позволил себе опять свалиться в постель? Каждое вставание сопряжено с тратой энергии, которой ему потом будет не хватать. Он поднялся одним решительным рывком. Постоял. Вышел из номера. Пока спускался, у него пропало желание объяснять портье, что ему надо. Лучше уж найти парикмахерскую. И лучше всего неподалеку от Уолсгрейв-он-Соув. Такси он брать не станет, пойдет пешком. Больше часа это не займет. У Хорна было ощущение, будто он прибыл сюда слишком поспешно и избавиться от этого можно только ходьбой. Вот в чем дело, а вовсе не в том, что Хорну хотелось оттянуть переговоры с мистером Хитом. После часа ходьбы он чувствовал себя куда лучше. После часа ходьбы — Хорн знал — он готов идти еще хоть пять часов. Именно такая готовность ему и пригодится на переговорах с мистером Хитом. Он нашел парикмахерскую: «Dee. Hair Fashion»[1]. Маленькая комнатушка, старое доброе поблекшее заведение. Из двух мастеров, ожидавших клиентов, Хорна обслужил тот, что постарше. Он не сводил глаз с лица Хорна. Так надо. Иначе не побреешь. При этом он делал кислую и печальную мину. Хорну казалось, что выйдет он отсюда с таким же грустным лицом, как у парикмахера. Бритье было для этого мастера побочным занятием. Он не сводил с клиента жалкого взгляда. Будто это и было для него самое важное. Сколько времени выдержит клиент? Вот вопрос, который отражался на его лице. Или: сколько понадобится времени, чтобы во взгляде у клиента появилось такое же жалкое выражение, с каким глядел на него мастер? То, что парикмахер проделывал руками и бритвой, служило лишь подспорьем в совершаемом им духовном преобразовании клиента. Когда старый мастер спросил: «Не беспокоит?» — Хорн увидел, что у него ХЕМНИЦКИЕ ЗУБЫ. По лицензии Кит Хит ПЛАСТИК КОМПОНЕНТС. Несомненно. Зеленоватый, цветом напоминающий снятое молоко, однослойный зуб начала шестидесятых годов. Тусклый пластик. Приготовлять и окрашивать пасту у Хита, несмотря на все старания, никто пока правильно не научился. Хорн прикрыл глаза. Он с удовольствием отдал бы старому мастеру все свои деньги. Но, уходя из парикмахерской, Хорн

[1] Ди. Фасонная стрижка *(англ.)*.

не отдал их старику, и тот бросил на него прощальный взгляд, говоривший: «Вот видите, вы тоже не отдали мне свои деньги, вы такой же, как все». Хорн кивнул и ушел. Поискал, где начинается улица Уолсгрейв-роуд. Между фабричными корпусами и политехникумом возник кафедральный собор. Лет через сто это будет достойнейшая церковь в мире, подумал Хорн. Вообще первая по-настоящему промышленная церковь. Если все обойдется благополучно, я еще загляну туда, подумал он. Последний раз он тоже был в этой церкви и представлял себе, будто там поет Хильда. Dirty Mary Crazy Larry[1]. Кинотеатр. За ним кольцевая улица. Смотри-ка: две добрые старые фабричные трубы. Одна даже восьмигранная. Вот это жизнь! Хорн запомнил все, что видел, словно обязан был докладывать о каждой мелочи. Он не вынес бы такого множества поездок, если бы не тешил себя иллюзией, что, пока он жив, ему надо как можно больше увидеть и как можно больше из увиденного сохранить в памяти. При этом Хорн почему-то думал о своих детях, о продолжении рода, о пользе дела. Поэтому он еще и фотографировал и привозил домой разный хлам: газетные вырезки, камни и камушки, раковины, декоративные ключи, шахтерские лампы, медную чеканку с видами городов, тарелки с видами городов, платки с видами городов и тому подобное. И план каждого города, где хоть раз побывал. Уезжая оттуда, Хорн всегда думал, что вернется снова.

Хотя у Хорна не осталось никого, кому можно рассказать о том, что видел и слышал, он зорко все подмечал, шагая по сверхоживленным улицам вроде Уолсгрейв-роуд. Частенько он думал и о другом: вдруг когда-нибудь ему придется убегать в таком городе от погони — ведь чем точнее он будет все знать, тем легче будет ускользнуть от преследователей. Эта Уолсгрейв-роуд похожа на бесконечную ярмарку. И два автомобильных потока, бампер к бамперу, скользивших один мимо другого. А эти люди! Одичавшие, знаете ли, типы. Обманутые. Раздавленные. Промышленный пролетариат Средней Англии в лучах все высвечивающего апрельского солнца. Аллилуйя! Тиле дерьмо. Слава Москве! Попадись ему этот Тиле! А этот д-р Лист: «Знаете, Франц, ведь я пламенный демократ». Подать сюда пламенного демократа! Подать сюда Тиле! Посмотрите на этих девушек с тонкими ножками. На их исхудавшие лица. На безрадостные запавшие глаза.

Хорн вспомнил, что всякий раз, проходя здесь, он вот так же возмущался. И всякий раз, возвращаясь домой, забывал об этом. Ни одно из строений, составлявших два ряда домов на этой улице, не было шире трех метров. Постройки года 1810 или 1830-го. И возле каждой двери маленький эркер, чтобы можно было сидеть еще на один метр ближе к улице. Огромная накрашенная продавщица неподвижно восседала в тесной мясной лавке. Как будто ее тоже забили. У Хорна заурчало в животе. И ни одной лавки шире трех метров. Чаще всего попадались витрины, заваленные рулонами напольных ковров самых диких расцветок. Без единой подпалины. Вон у того счастливого парня серебряная цепочка на шее пересекает лиловый след поцелуя величиною с пятимарковую монету. А та, что сделала это, висит у него на руке. Хорн остановился, внимательно огляделся по сторонам. Конечно, здесь начиналось второе предместье, другая эпоха, которая могла позволить себе четырехметровые фасады. В каком фильме он уже видел эту вывеску: кафе «Розбад»? У него опять заурчало в животе. Огромный белый фирменный «ягуар», который заставили взметнуться с газона прямо в небо над автозаводским городом, всем своим

[1] Грязнуха Мэри, безумец Ларри *(англ.)*.

видом показывал, какой он большой и какие маленькие эти домишки. Значит, дорогие ребята, третье предместье принадлежит уже нашему столетию. Совершенно верно, теперь можно себе позволить и палисадники. От восьми до двенадцати квадратных метров чудесного газона, резко контрастирующего со свежевскопанной клумбой. На ней цвели сейчас нарциссы, стояли какие-то фигурки и бюсты. И все эти нарциссы, фигурки и бюсты вглядывались в пустынную гладь газона. Что, разумеется, придавало безмолвному благородному ярко-зеленому газону некую торжественность. Хорну даже захотелось перекреститься. Или сказать что-нибудь приятное благочестиво склоненному садовнику. На тротуаре валялась газета. В животе у Хорна... Он оторвал от газеты несколько листов. Какая-то женщина соскребала ножичком мох со стенки. Следующая поперечная улица была Кэлудон-Парк авеню. Хорн свернул в нее. Успел дойти до парка. А в парке до приземистой общественной уборной. Эти неизменно повторявшиеся счастливые стечения обстоятельств в его жизни достаточно внятно призывали его поверить в бога. Речка Соув — просто сточная канава для нефти, одно черно-тягучее — радужное пятно возле другого. Хорн снова определил, где он находится. Возле старинной церкви девы Марии он обычно выходил из такси. Он свернул налево. Так и есть: ПЛАСТИК КОМПОНЕНТС. У цели. Значит, сейчас. Единственное, что он смог придумать, это называть его Кит, а не мистер Хит. Хорн постарался прямо от ворот пройти ко входу в ту часть здания, где находилась дирекция. Поскольку там знали, что раньше он приходил именно в это время, не исключено, что Кит и его секретарша Сесили сейчас наблюдают за ним. А Хорн не хотел создать впечатление, будто приехал проверять, как идут дела у английского владельца лицензии. В том, что эти дела в прескверном состоянии, ему и без того довольно скоро придется убедиться. По настоятельному совету господина Тиле Хорн завел специальную книжечку, в которую записывал все примечательные детали и эпизоды из жизни клиентов. За многие годы у него накопилась дюжина таких книжечек с рабочими заметками о более чем пяти тысячах деловых партнеров. Предпочитает ли кто-то из них бордо бургундскому, всегда ли консервативен по образу мыслей или временами склонен к либерализму, работает ли по вечерам в саду или предпочитает пойти в оперу, имя жены, не намечается ли развод или рак желудка, как зовут секретаршу, а также о секретарше, любит ли она цветы или предпочитает конфеты...

Так, значит, секретаршу Кита зовут Сесили, она коллекционировала бабочек, укладывая их в прозрачные коробки, которые — одна вплотную к другой — прикрепляла к стене; девятнадцать месяцев тому назад, когда Хорн приезжал сюда в последний раз, ее бабушка очень тяжело расхворалась, для Сесили смерть бабушки была бы крайне желательной, вся семья совершенно выбилась из сил от многомесячных ночных бдений; бабушка уже почти ничего не ела, но проходила ночь за ночью, а она все жила... И действительно, Сесили тут же громко воскликнула: «Хэлло, Франц» и т. д. Хорош бы он был, если бы не сказал: «Хэлло, Сесили» и т. д. А потом она всплеснула руками от огорчения, что Кита нет на месте. Она и вправду разозлилась на Кита. Ведь все так любят Франца. Ждали Франца. Так радовались Францу. Так часто говорили о Франце. Так довольны, что Франц снова приехал. Сколько времени Франц отсутствовал? Девятнадцать месяцев! Она было решила, что уже целую вечность. Но теперь она прежде всего приготовит ему чай. Ведь Франц всегда любил чай. Ей прямо жаль Франца, когда она вспоминает, с каким восторгом он всегда пьет ее чай, а потом опять проходит целая вечность, прежде чем он снова

получит этот чай. Сесили действительно трогало, что Франц, когда бы он ни приезжал и когда бы Сесили ни готовила ему чай, всегда наизусть цитировал рецепт заварки. Уже по одному этому Сесили понимает, сколь многого Францу, наверно, недоставало во время его отсутствия.

— A hell of a lot[1],— говорит Хорн, и Сесили смеется. Хорн тоже смеется и повторяет рецепт: — Одну ложку тебе, одну ложку чайнику.

— Ах, Франц,— говорит Сесили,— разве не удивительно, что мы еще можем веселиться?

Лишь за чаем Хорн спросил, где Кит. Сесили сделала страдальческое лицо. Потом чуть ли не театральным шепотом сообщила:

— Дома.

— Когда же он придет?

— Ах, Франц,— сказала она,— этого никто не знает.

Хорн поинтересовался, уж не болен ли Кит. И тут же пояснил, что хотел узнать, не добавилось ли что-нибудь к его диабету.

— Если уж вы меня спрашиваете, то да. Правда, сам Кит это отрицает.

Собственно говоря, Хорну следовало бы уже напомнить, что о своем приезде он сообщил заранее. Он спросил, нельзя ли ему навестить Кита.

— Ничего другого не остается,— сказала Сесили тоном, которому пыталась придать трагическое звучание.— К сожалению, Том вернется не раньше часа.

— Том?

— Наш новый шофер. В это время он всегда в Working Men's Club[2] в Чейлсморе.

Хорн понял, что теперь ему придется еще полтора часа провести в обществе любезнейшей Сесили. Это представилось ему совершенно невыносимым, хотя он и не знал почему. Может быть, потому, что разговор с Сесили был абсолютно никчемным. Милым, но никчемным. Хорн не мог себе позволить в первый же день несколько часов никчемности. Он просто сказал:

— Я зайду за ним туда.

Дескать, нет для него ничего более приятного, чем искать какой-нибудь дом в незнакомом районе английского города. Только так и надо изучать города. Особенно английские, где умение найти нужный адрес зачастую граничит с умением читать следы. Сесили сказала, что должна добавить еще кое-что, и постучала тонкими, как у пианистки, пальцами по целлофановой коробке, в которой виднелись наколотые на булавки бабочки.

— Дело в том,— робко произнесла Сесили, не переставая постукивать пальцами,— что Кит вот уже два дня не подходит к телефону. Всякий раз снимают трубку жена или дочь и говорят, что Кит в данный момент не может подойти к телефону.

Тут Хорн все-таки спросил о Product Manager[3] Кита.

— Ах, Роб,— сказала Сесили,— да он уже год, как в конкурирующей фирме.

— В ЛОНДОН ДЕНЧЕРС?

— Да. Может, хоть мой чай остался прежним?

— Замечательный чай,— сказал Хорн.

Сесили просияла. Хорн распрощался с ней как можно скорее. И как можно сердечнее. Удивительная Сесили. Как пташка. Вечно пор-

---

[1] Чертовски многого *(англ.)*.

[2] Рабочий клуб *(англ.)*.

[3] Заведующий отделом готовой продукции *(англ.)*.

хает, поет, щебечет. Становилось просто страшно, если она замолкала. Милая Сесили. Хорн вдруг почувствовал, что ему ужасно трудно с ней расстаться. И тотчас вышел из приемной. Вот что значит умение подавлять чувства, обычно возникающие в поездках! По дороге к автобусу все в нем клокотало. Ведь такое никому не выдержать. Без ущерба для здоровья. Встретиться с человеком и тут же снова расстаться. И никогда больше не встретиться. Сесили, Сесили! Водитель автобуса был индиец, его руки казались слишком маленькими для рычагов и механизмов, которыми он орудовал. Тормоза скрежетали при каждом торможении. Удивительно, как этот двухэтажный автобус пробирался по забитым машинами улицам! У автовокзала Хорн взял такси до Working Men's Club в Чейлсморе. Пенсионер, сидевший в вестибюле за деревянным столиком, не пропустил Хорна. А Том не выходил. Хорну было необходимо пройти. Пенсионер записал его фамилию на карточке, вошел в клуб, дал Тому что-то подписать, потом отвел к нему Хорна.

— Томми О'Салливан,— представился Том.

Хорн назвал себя. Томми был один и прежде всего предложил ему присесть. А что Хорн пьет?

— Горькое,— сказал Хорн.

— Мой сорт,— заметил Томми и тут же принес две пинты горького.

Они выпили за здоровье друг друга. Когда Томми выяснил, что Хорн приехал из Германии, то оживился вдвойне. Сам-то он из Белфаста. А его мать из деревни под Дублином. У него пятеро детей. Сюда он приехал в тридцать четвертом. Сегодня, вернувшись в пять утра домой, он, прежде чем лечь в постель, дочитал роман. Читал ли Хорн хоть одну книгу Морриса Уолша? А Г. Э. Бейтса? Значит, обязательно надо наверстать упущенное. Самый великий, конечно, Йитс. Это ясно как день. Теперь даже за границей никто не оспаривает, что Йитс — самый великий, самый лучший, самый глубокий поэт из всех когда-либо живших. Его дед был лично знаком с Йитсом. В этом он готов торжественно поклясться, так как понимает, что поверить этому средь бела дня в Working Men's Club в Ковентри-Чейлсморе не так-то легко. Его дед и сам был великим рассказчиком. Морская раковина величиной с детскую голову придерживала дверь в домике деда. А ветер в Ирландии совсем не такой, как здесь, на британском острове. Но дедова дверь, благодаря этой морской раковине величиной с детскую голову, ни разу не захлопнулась. Дед, как уже сказано, сам великий рассказчик, всегда говорил, что величайшие рассказчики — это тополя, растущие вдоль реки до самой мельницы. Поэтому Томми всегда ходил к мельнице с каким-то благоговением, веря на слово деду, что бы тот ни рассказывал. И вправду, тополя разговаривали с ним, он много чего наслушался от этих деревьев, росших вдоль реки до самой мельницы. Томми громко рассмеялся. Сверху у него явно остался всего один зуб, бурый, как утес, слегка свернутый на сторону и потому торчавший боком. Если Хорн не обидится, Томми готов поведать ему одну из тополиных историй, хотя сейчас и не время для этого; обычно он рассказывает вечерами по пятницам и субботам, но где тогда будет он и где Хорн? Так вот.

— Двое бродяг, Майкл и Пэт, поднимаются на холм, и Пэт говорит: «Майкл, прежде чем спуститься вон в ту деревню, которая так живописно раскинулась у подножия холма, давай-ка разожжем костер и вскипятим чай». Разложили они, значит, свои вещички и варят себе чай. Пэт и говорит: «Видишь, Майкл, вон тот дом, первый с краю,— у него дурная слава».—«Знаю, знаю»,— отмахнулся Майкл. И вдруг говорит: «Смотри-ка, туда идет священник-баптист».— «Пусть его

идет,— говорит Пэт,— у него ведь нелегкая профессия, он это честно заслужил». Немного погодя Майкл опять говорит: «Смотри-ка, теперь туда идет священник-методист...»—«Ну и пусть идет,— говорит Пэт,— ведь и у него нелегкая жизнь». Майкл опять: «А сейчас к дому подъехала машина, смотри-ка, католический священник, смотри, Пэт, тоже входит в дом».—«Вижу, вижу,— говорит Пэт,— значит, кто-то из девиц тяжело заболел».

Хорн рассмеялся, но, конечно, не так громко, как Томми, поэтому тот решил, что оскорбил Хорна своим рассказом. Он, Томми, точно знает, что эта история некоторых задевает. Что делать. Честное слово, он был бы даже рад, если бы Хорна немножко обидел его рассказ. Он, Томми, вовсе не уверен, что эта история, которую он рассказывает частенько, всякий раз не оскорбляет немножко и его самого. Он даже готов признать, что, рассказывая ее, всякий раз испытывает легкий страх. Впрочем, чепуха. Какой там страх. Ни малейшего страха. Но он всегда рассказывает эту историю с каким-то странным чувством, иными словами, рассказывая именно эту историю, он чувствует не только радость, но и еще что-то. Не страх. Вовсе нет. Но что-то такое, против чего нет иного средства, кроме как с удовольствием рассказать еще одну историю, относящуюся ко времени революции. Впрочем, он будет очень краток, поскольку пора уже обедать, а в обед он обычно ничего не рассказывает. Короче говоря, рабочие взяли, наконец, штурмом господский дом, то есть просто-напросто вошли в него, поскольку хозяева сбежали в Лондон. Все движимое имущество рабочие собрали во дворе за домом: коров, лошадей, телят, свиней, птицу, машины, одежду, мебель, посуду и тому подобное. Потом выбрали одного: пусть, мол, влезет на бочку и, громко называя все конфискованное, распределит добро. Он и начал. Сначала огляделся по сторонам, потом громко объявил: «Стало быть, перво-наперво свиньи». Но тут же кто-то из рабочих заорал: «Кончай, кончай, катись ты, парень, с этими свиньями, свиньи у меня самого есть». Томми О'Салливан снова рассмеялся. И Хорн, собравшись с силами, тоже засмеялся, чтобы не вызвать опять подозрения, будто эта история его обидела. Томми сказал:

— Я знал, Франц, что эта история тебя не обидит, просто знал, ведь и меня она ни капельки не обижает.

Теперь Хорн тоже поставил две большие кружки горького. Томми произнес тост на ирландский манер нараспев:

— May the giving hand never fail [1].

Хорн стал пить немного быстрее. Потом вскользь заметил, что около двух часов им надо будет поехать к шефу. Томми не понял. И вдруг Хорн сообразил, что Томми вовсе не Том. Томми закатился смехом, когда Хорн рассказал ему о недоразумении. Он знал Тома. Но сегодня его здесь не было. Он, Томми, не шофер, а fitter[2] в ночной смене, потому что тогда на работу можно ходить лишь четыре раза в неделю, да к тому же не надо встречаться с Молли. Хорн был зол на себя, что сразу не понял. Таким чистеньким и по-утреннему свежим выглядит в час дня лишь тот, кто недавно проснулся.

Хорн решил поскорее попрощаться с Томми, но тот рассердился, натянув верхнюю губу на торчащий зуб, как тетиву. Хорн мигом пошел на попятную. Томми хотел поставить еще две кружки горького. Если Хорн откажется, то он, Томми, никогда в жизни не пожелает и слышать слово «Германия». Зато теперь Хорн получит еще одну историю. О лорде и его слуге, который умер, когда лорд гостил с ним в замке у своей тетки. Лорд явился к завтраку, сообщил тетке о смерти слу-

[1] Рука дающего да не оскудеет *(англ.)*.
[2] Механик *(англ.)*.

ги и добавил, что сядет завтракать лишь после того, как вернется из деревни, где ему надо купить новую зубную щетку, поскольку старая никуда не годится. «Почему же не годится?» — спросила тетка. «Она больше не пенится»,— ответил лорд. Томми снова рассмеялся, опередив Хорна. Их расставание было торжественным. О, Томми О'Салливан! Хорн отправился пешком в центр города. В пассаже он накупил себе всякой всячины, больше, чем надо. Теперь ему было просто необходимо покупать, покупать, покупать. Апельсины, груши, яблоки, сырковую массу, глостерский сыр, ливерную колбасу, хлеб, паштет из мяса и почек. Потом Хорн заглянул в план города. Ему понадобится часа полтора. Прямо на юг. В направлении Кенилуорта. Спустя полчаса он почувствовал, что пластиковые пакеты начинают растягиваться под тяжестью содержимого. Ручки впивались ему в пальцы. Хорн поставил пакеты, ухватил их сверху в кулак и понес. С этой минуты ему приходилось все чаще ставить пакеты, снова подхватывать их да еще время от времени разминать пальцы. Он снял куртку, потом пуловер, куртку надел снова, а пуловер сунул в пакет. На скамейке сидели две худенькие девочки лет четырнадцати-семнадцати, одетые в какие-то мрачные лохмотья; на одной был коротенький жакетик из заячьего меха. Обе бледные, с большими накрашенными глазами на болезненных лицах. На ногах туфли на платформе. Они пытались свистнуть, заложив в рот четыре пальца. Это искажало их лица. Девочки смотрели на Хорна, не оставляя попыток издать свист. Они напомнили Хорну фотографию двух его дочерей. Не сразу он заметил на другой стороне улицы молодого человека, который тоже шел в южном направлении. Почти бежал, чуть откинув назад голову. На каждой автобусной остановке он останавливался и ждал. Потом опять бежал дальше. На остановке «по требованию» дождался автобуса, вошел в него, но тут же снова вышел; автобус отъехал без него, а он побежал дальше. Хорну было мучительно смотреть на этого слишком тепло одетого молодого человека в черном, который все время бежал, останавливался в ожидании и снова бежал, да при этом еще тащил толстый кожаный портфель. Он явно был растерян. То ли торопился на похороны собственной матери, то ли убегал от Хорна. Совсем рядом с Хорном прыгал черный дрозд, которого преследовала какая-то белая птица. Если отвлечься от ее цвета, она была такая же, как дрозд. Тот хотел что-то склевать, но белая подпрыгивала к нему все ближе и ближе. Она вообще не клевала. Она преследовала. Черный дрозд опять вспорхнул. Сел метров на восемь дальше. Чтобы там снова поклевать. Но белая тоже вспорхнула и опустилась, с шумом подбираясь ближе. Вокруг в траве кормилось множество черных птиц. Каждый клевок — червяк. Если дрозды не доставали его сразу, то потом норовили выковырять клювом. Некоторые птицы чуть не на полголовы зарывались в землю. Широко расставляли ноги. Тяжеловато. Но зато потом в клюве извивался обрывок червяка, который они заглатывали, размахивая головой, как пращой. А в самом ли деле это черные дрозды? Может, скворцы? Скворцы бегают. А эти скачут с места на место. Значит, все-таки дрозды. Хорну показалось, что они поют лучше, чем дрозды у него дома. Может, дроздам приятнее петь по-английски, чем по-немецки. Как-то раз мистер Хит брал его с собой на прогулку в свои родные места, в Котсуолдс. Он утверждал, что нигде на свете овцы не блеют так красиво, как в Котсуолдсе. Хорн вообразил себя одним из охотившихся на червей дроздов. А потом белым преследователем. Бедный мистер Хит! Какая весна!

Хорн побежал по газону прямо в лес. Жалкий затоптанный лес на окраине города. Какое-то время шел сквозь заросли тонкоствольных деревьев. Этот лес был знаком Хорну по «Сну в летнюю ночь».

Осклизлая глинистая тропинка, петлявшая мимо умытых дождем домиков, увела Хорна в открытое поле. Между живой изгородью и пашней зеленела узкая полоска травы. Хорн знал, что выйдет сейчас к ручью. Вдруг из-под ног выскочил фазан. Но вместо того чтобы бежать по борозде через поле, фазан как ошалелый помчался на жесткую непроходимую изгородь. Хорн растерянно свернул на пашню, чтобы избавить фазана, мчавшегося прямо на изгородь, от еще большего страха. Ах, мистер Хит, мистер Хит, подумал Хорн.

В поисках брода он несколько раз натыкался на места, где ручей был завален строительным мусором и старыми автомобильными покрышками. Там можно было бы перейти на другой берег. Но это означало бы, что Хорн оправдывает существование завалов. Хорн удивился, как вода вообще преодолевает их и течет дальше. Он набрел на дощечку. Попробовал ее ногой. Выдержала. Пройдя по берегу метров сто или двести, Хорн снова вышел к ручью. Стало быть, у первого ручья есть еще и приток. Подход к руслу преграждала колючая проволока. Хорн пошел вверх по ручью, то есть почти в противоположном направлении, однако колючая проволока не кончалась. Но и это вам не поможет, мистер Хит! Хорн пролез под проволокой. И зацепился одним из пакетов за колючку. Из дыры покатились апельсины. Он собрал их, схватил пакеты и, прижав их к себе, прыгнул через ручей, который был несколько у́же первого. И все-таки он не допрыгнул до берега и одной ногой провалился по самую щиколотку. Быстро выдернул ногу. Послышалось бульканье. Хорн побежал вверх по склону. Заметил, что потерял кое-что из покупок. И что слишком прижимает к себе пакеты. Он находился на краю заболоченного луга. Луг слегка поднимался, и Хорн понадеялся, что дальше будет посуше. Но поначалу то и дело вязнул по щиколотки, хотя прыгал вроде бы на твердые кочки. Бурая жижа хлюпала у него в штанинах, подбираясь к коленям. Хорн поймал себя на мысли: вы за это еще поплатитесь, мистер Хит! Луг так и остался мокрым вплоть до следующей живой изгороди. Хорн прошел вдоль нее к узкому проходу. И очутился в огороженном выгоне для лошадей. Попытался прошмыгнуть через него как можно незаметнее. Лошади уже поглядывали на него. Но близко не подходили. Теперь у Хорна под ногами снова твердая земля. Послышался разноголосый собачий лай. Прежде чем тропинка вывела Хорна с холма через поле на улицу, он миновал старый дом. Некую помесь дома, хижины и барака, крытую железом, картоном и черепицей. А вокруг этого сооружения под палящими лучами солнца двадцать или сорок брошенных старых автомашин. И в каждой злющая овчарка. Хорн пустился бежать. Это, как видно, еще больше разъярило собак. Дорожка еще не довела Хорна до первых домов, как вдруг путь его преградил грубо размалеванный красно-белый шлагбаум, который можно было просто обойти, свернув на луг. Ах, мистер Хит, разве это не глупо! Теперь самое время оглядеться по сторонам, чтобы понять, где он находится. Джиббет-Хилл-роуд. Вот и прекрасно. Усевшись на пригорке, Хорн съел все, что накупил и сумел сохранить. Пластиковые пакеты с объедками он уложил под куст, словно собирался еще вернуться сюда. Ботинки и брюки были в грязи. Он расскажет мистеру Хиту, как пытался сократить себе путь. Расскажет так, что мистер Хит почувствует упрек. Хорн шагал по лошадиной тропе параллельно Джибетт-Хилл-роуд. Убедился, что не может ставить ноги так близко, как лошади. Пошел дальше по обочине, то и дело поглядывая на выбитую подковами узкую темную тропу, и с наслаждением произносил про себя: bridle

path[1]. Вдруг он заметил подкову. Поднял ее. Вполне изящная подкова. Подумал, что уж этого никак не ожидал. Он полагал, что находить подковы ему не к лицу. И все-таки нашел. Правда, это ничего не значит. И не к лицу ему. Но подкову-то он нашел. А поскольку не в силах был ее выбросить, то сунул в карман. Вот и «Хаус Энгадайн». И все-таки он показался себе довольно смешным. Видел бы его сейчас Тиле! Электрического звонка в доме не было. Об этом он забыл. Такие вещи тоже надо записывать. Житейский опыт: даже когда думаешь, что записал о клиенте абсолютно все, в том числе детали, которые в момент записи представляются совершенно излишними, при следующем визите убеждаешься, сколько еще надо записать дополнительно. Всякий раз важной кажется совсем другая группа деталей. Он повернул кольцо, торчавшее из пасти льва. Слишком слабо. О, боже! Теперь, наверное, слишком сильно. Вышла дочь мистера Хита. Хорн извинился. Ее широченное, совершенно белое лицо было начисто лишено выражения. Ростом она была выше Хорна. И намного выше своих родителей. Хорн подумал, что она, наверно, унаследовала от отца диабет. Хорн мечтал о скрипке, чтобы сыграть жестокую пьесу, в конце которой она и он могли бы упасть мертвыми. Он не помнил, чтобы эта девица была столь внушительных размеров. Кроме того, думал, что выйдет ее изящная мать. Лицо дочери, казалось, все о себе знало. Посреди огромного белого круга тесно посаженные глаза, нос и рот. Розанна. Ее имя он в свое время записал. Хорн представился. Она его не узнала. Он напомнил, что уже бывал здесь. Последний раз девятнадцать месяцев назад. Слушала она его или нет — понять невозможно. Хорн поинтересовался, где ее мать. Приглашена на чашку чая. В санаторий «Лимингтон». А отец? В отъезде. Какая жалость! Когда он вернется? Она пожала плечами. Хорн дал понять, что удивлен. Поскольку он пробудет здесь лишь сегодня и завтра, нельзя ли позвонить отцу? Он в своем загородном доме. Где это? Она назвала место, но Хорн не разобрал. Далеко ли отсюда? Два часа. Пешком? Нет, на машине. Не будет ли она столь любезна написать ему адрес. Она написала. Хорн распрощался. Сердечный привет матушке! Солнце палило. Розанна заперла дверь изнутри. Ей было, вероятно, лет тридцать. Но она производила впечатление ребенка. Хорн не мог избавиться от мысли, что сейчас она, как тяжелое белое облако, проплывает по дому, принимая самые невероятные очертания. Только на темно-зеленом диване ей удается снова стать огромных размеров девицей. Матери не следовало бы одевать ее как девочку. И бархатная лента с бантом в волосах тоже ей не идет. Посадили девушку в бонбоньерку. Может быть, потому, что она больна. Дети всегда выявляют то, что скрыто, подумал Хорн. Раз у тебя есть дети, значит, они могут делать с тобой все, что им заблагорассудится. Дети — это заложники в руках мира. Раньше ты думал, что дети — это оружие. Или подкрепление. Но они нечто противоположное. Разве Аманде не повезло по сравнению с Розанной? Но ведь то-то и ужасно. Хорн поехал автобусом. Оказавшись у себя в номере, он уже не знал, который час. Вспомнил «Dirty Mary Crazy Larry». Вряд ли это так далеко. А может, пойти в собор? Остаться в постели? Чем дольше он лежал, тем больше тяжелел. Нужно, значит, остаться в постели. Значит, он и остался. Мистер Хит отбил атаку. Хорн поддался легкому напору шовинистических стереотипов прежних времен. С удовольствием позволил им вторгнуться и завладеть собой. Лживый Альбион! Хорн поискал еще материалов такого рода: ему необходимо было отвлечься, чтобы не думать лишь о проигранной битве первого

[1] Тропа, по которой лошадей водят под уздцы *(англ.)*.

дня. Ах, прошу вас, господин Тиле, ваше вмешательство сейчас неуместно. Он пока еще в Англии. И это рождает в нем чувство, что вы, господин Тиле, не имеете здесь над ним никакой власти. Меньше власти. Пожалуй, никакой власти. Приятное чувство? Еще бы, вполне приятное. Нельзя ли его использовать для засыпания? Хорн признался себе, что боится заснуть. Из-за снов. Особенно после дня сплошных неудач. Как правило, ему приходилось расплачиваться за это той же или следующей ночью. И сны всегда были такие, будто их придумывал Тиле в наказание Хорну и будто принадлежали они не Хорну, а Тиле. В своих снах Хорн был не волен. Последний такой сон он видел дней восемь тому назад. В этом сне Тиле праздновал день своего рождения. Но не в Равенсбурге, а за несколько сот километров оттуда. И лишь в кругу близких родственников. И вдруг там появился Хорн с Хильдой. Все огромное расстояние они проехали на велосипеде. Хорн чувствовал, что Тиле колеблется между умилением и гневом. Какой дальний путь проделал Хорн! Но разве нельзя хоть раз спокойно отпраздновать собственный день рождения? Тиле сказал Хорну, где будет ужин, а сам ушел со своими гостями. Хорн вместе с Хильдой последовали за ними. В старом темно-зеленом городе с узкими улочками и множеством аркад они вскоре потеряли из вида Тиле и его гостей. В каком-то ресторане они обратились к официанту с вопросом. Не успел он открыть рот, Хорн сунул ему крупную купюру. И уточнил, что речь идет об очень богатом обществе, собравшемся по случаю дня рождения. Где бы они могли устроить в этом городе ужин? Официант помялся, потом показал. Хорну и Хильде пришлось сесть в лифт. Он поднимал их все выше и выше. Пробил крышу. Мчался выше и выше в воздух по единственному все сильнее, все безумнее раскачивавшемуся рельсу. Хорн заметил, что рот у Хильды широко раскрыт. Она пела? Хорн ничего не слышал. Значит, от страха. Хильда кричала. И даже ничего не слыша, Хорн знал: она кричит о том, что так им никогда не сблизиться с Тиле, никогда... Они не могли ни остановить, ни покинуть лифт, с каждым мгновением уносивший их все дальше, к смертельной опасности. До тех пор, пока Хорн не проснулся в холодном поту, задыхаясь, покрывшись мурашками. Такими обычно бывали все его сны о Тиле. Поэтому он боялся, что события первого дня в Ковентри завершатся ночным эпилогом в виде сна о Тиле. Поэтому Хорну не очень-то хотелось засыпать. Но все-таки он быстро заснул, так быстро, как не засыпал уже давно.

4

Хорн побрился в солидной парикмахерской. Потом взял напрокат автомобиль и медленно поехал по городу. Впервые он сам вел в Англии машину. Казалось почти невозможным, что он сумеет пропустить встречную машину справа. Он долго медлил и решился на поворот, только когда поблизости не оказалось ни одной машины. Через час он выбрался из города. Вдруг повалил снег. Беспросветное снежное месиво. Хорн облегченно вздохнул, найдя кнопку включения «дворников». Как видно, он забрался довольно высоко. Едва дорога пошла под уклон, начался дождь. Еще ниже царил туман. Хорн призвал господина Тиле в свидетели, что он делает все, чтобы разыскать мистера Хита. Не всегда замечая указатели, он несколько раз сбивался с дороги. Многие поселки, через которые он проезжал, были выстроены из зеленовато-медового камня. Возможно, из-за метели, дождя, тумана и скверных «дворников» он снова и снова возвращался в тот же поселок. И все-таки это те самые овечьи луга, где обитал мистер Хит. Где-то здесь он в прошлом управлял отцовской фирмой

КОТСУОЛДС ТАЙЛС. Когда-то давно, показывая Хорну этот городок, он все время шел на два-три метра впереди. И все время почти вплотную к каменным фасадам домов. Выставив вперед одно плечо. Крадучись. Будто городишко то и дело подвергался нападению партизан. Свой мягкий берет он сдвинул далеко на затылок. И уже больше ничего не объяснял. Лишь кивком или жестом командовал шедшему сзади Хорну: еще ближе к стене, идти быстрее, стоп, стоять, а теперь снова подтянуться. Только быстрей, быстрей, быстрей! Может быть, мистер Хит решил доиграть до конца какую-то игру своего детства. Посреди маленькой площади он вдруг остановился, снял по привычке очки, взял их за дужки и стал вертеть. «Вот, прошу вас,— сказал он,— взгляните, пожалуйста, на эту голубятню шестнадцатого века, другой такой в мире нет». При этом он слегка приплясывал от восторга. Хорн опасался за его очки: мистер Хит, низко опустив руку и выдвинув вперед плечо, продолжал вертеть их, будто именно их он и собирался показать. Это исступленное верчение напоминало не то шоферские муки с запуском допотопной автомашины, не то онанизм.

На сей раз оно происходило в честь уникальной голубятни. О мистер Хит, подумал Хорн, сейчас я начну охотиться на вас в ваших же угодьях.

Проехав Стратфорд, Бродвей, Челтенхем, Хорн к трем часам дня прибыл в Дёрсли. Там он спросил дорогу на Хорсли. В Хорсли узнал насчет Блэк-Уэйст-Вуд-роуд. Так он добрался до деревни Кэм. Спросил там мистера Хита. Ему показали на холм. Черные железные ворота в сад были открыты. Черные прутья ограды оканчивались замысловато изогнутыми блестящими остриями. На одно из них была наколота матово-белая перчатка. Хорн не решился заехать во двор. Оставил машину. Прошел в ворота. Прямая, как стрела, аллея темных тисов. Над проезжей частью густые кроны тисов сомкнулись. Наверно, здесь частенько бывало слишком темно, поэтому под черной древесной крышей поставили чугунные фонари. В форме морских коньков. У каждого из пасти свисал фонарь. Сейчас фонари не горели. Коттедж Хита тоже был из зеленовато-медового котсуолдского камня. Деревня внизу была из красного кирпича. Хорн не испытывал гордости, что сумел отыскать это место. Вдруг почувствовал, что было бессовестно ехать сюда за мистером Хитом. Он не посмел постучать в дверь колотушкой. Ведь это бы означало: видите, от нас вам не уйти. Хорну было стыдно за свое усердие. Но если бы он уехал из Ковентри, так и не повидав мистера Хита, господин Тиле сказал бы: «Знаете, Франц, у вас бывали шутки и поудачнее». Этот зеленовато-медовый дом на холме за темной тисовой аллеей, казалось, стремился снова стать утесом или хотя бы каменоломней. Сейчас сияло солнце, и светло-медовая зелень обветшалого дома сверкала под его лучами. Огромный, почти совсем высохший вяз простирал охапку причудливых голых ветвей над низким западным крылом дома. Восточное крыло было на этаж выше. Смело расчлененный многоярусный фронтон. Хорн уселся на зеленовато-медовой каменной лестнице, которая вела к крыльцу. Он будет сидеть тут в призрачно-ярких лучах солнца, дожидаясь появления мистера Хита. Хорн прислушивался к птицам, они галдели как оглашенные. Озирал окрестности. Увидел вдали господскую усадьбу в нескончаемом парке. Эта усадьба и дом на холме выстроены из одинакового камня. Видневшаяся внизу деревня красным кирпичом и строгими рядами домов выдавала свое предназначение: для прислуги. Мимо ворот пробежали две девочки. Хорн подпер голову рукой. Встать, сесть в машину, уехать в Лондон и се-

годня же вечером обратно, хотя бы до Штутгарта. Ведь ясно: мистер Хит не желает с ним разговаривать. Очевидно, мистер Хит в таком состоянии, что даже не мог сказать о своем нежелании разговаривать с Хорном. Просто бежал. А Хорн не поленился преследовать его до самого последнего прибежища. Похвально, похвально!

— Did they send you to Coventry again?[1] — сказал кто-то и уныло засмеялся. Это его голос! Хорн вздрогнул от неожиданности.— How do you like my Gothic cottage?[2]

Мистер Хит протянул ему руку. Вялую руку. Потом похвалил вид и окрестности. И свою тисовую аллею. Из этих деревьев Робин Гуд вырезал себе лук. Хорн чувствовал: мистер Хит сожалеет, что у него нет такого лука, с луком-то легче обороняться. Пусть Хорн еще немножко полюбуется этой широкой, прекрасной, поросшей лесом долиной: ведь через несколько лет все здесь будет напоминать кладбище, потому что эти вязы, простирающие свои сплетенные ветви до самого горизонта, будут сплошь поражены голландской болезнью, завезенной из Канады, спасения от нее нет. Вот, смотрите. Он обернулся и показал на свой вяз, который уже стал деревом-призраком.

— Первая жертва,— сказал он.— Пойдемте.

Хорн последовал за ним. В доме было полно грампластинок. Полки, забитые пластинками. Комната, куда привели Хорна, тоже была вся забита пластинками. Мистер Хит сказал:

— Не бойтесь, Франц, я еще никому из гостей не проигрывал ни одной пластинки. Это все скрипичные концерты. Ни одной ноты из Вагнера.

Мистер Хит уныло и громко рассмеялся. Когда Хит заговаривал о скрипичных концертах, Хорн вспоминал, как Хит, выдвинув плечо и опустив руку, вертел очки; сейчас это показалось ему своего рода некрологом игре на скрипке.

— Вы были солдатом? — спросил мистер Хит. Хорн кивнул.— Иначе вы меня бы не нашли.

Хорн хотел было сказать, что это оказалось не так уж трудно, но предпочел промолчать. Мистер Хит действительно был такой же бледный, как и его дочь. Только гораздо толще. За прошедшие месяцы он потерял все свои волосы. И почти все зубы. То, что мистер Хит не воспользовался услугами фирмы ХЕМНИЦКИЕ ЗУБЫ, Хорн воспринял как упрек в свой адрес. Он заметил также, что у Хита уже не было и бровей.

Окна в комнате маленькие, да и те наполовину заставлены полками. Как видно, эти полки предназначались для помещения попросторнее.

Лишь в одном месте между двумя окнами приютилась картина, на которой изображен был одинокий ярко-желтый первоцвет.

— Вы знаете, что семья моей матери родом из Кохерталя,— сказал мистер Хит. Хорн уже записывал это. Он кивнул.— Последняя моя родственница умерла, теперь у меня не осталось в Германии никого из родных.

Хорн непроизвольно подумал: запишем. Мистер Хит нажал на какую-то кнопку, и почти сразу закипел чайник.

— Как вам понравился чай у Сесили?

— Превосходный,— сказал Хорн.

Хорн постепенно начал понимать, что его единственный шанс — молчать. Если это не вызовет мистера Хита на разговор, то тогда во-

[1] Опять вас прислали в Ковентри? *(англ.)*

[2] Как вам нравится мой готический коттедж? *(англ.)*

обще все напрасно. Вот так, господин Тиле, я не уверен, что вам пришла бы в голову идея убедить мистера Хита молчанием, подумал Хорн.

— Как поживает Артур? — спросил мистер Хит.

— Очень хорошо,— сказал Хорн.

— А Хорст?

— Очень хорошо.

— Рад слышать,— сказал мистер Хит.— Отличные парни эти двое. Я с удовольствием навестил бы их. Но здоровье не позволяет. Теперь у меня новый партнер. Теперь уже все в ажуре. Стив Макферсон. Когда уехал Роб Дорсет, стало просто невмоготу. Макферсон дает капитал. Только теперь, Франц, нам пока нельзя вносить изменения в договор о лицензии. Нужно, чтобы лет пять вы к нам не приставали. С первого июня в дело вступает Стив. Тогда сами увидите, как мы начнем процветать. Лавочку в Уолсгрейве прикроем. У Стива есть новый дом в Глазго. Оборудуем все совершенно заново. Наша здешняя команда гроша ломаного не стоит. То, что Роб меня бросил, должно было бы честно говоря, стать моим концом. Не надо меня разубеждать, Франц, я знаю. Мало вам от меня было радости. И я частенько боялся, что вы расторгнете договора. Теперь ваше долготерпение окупится сторицей. Я знаю, Франц, чем я обязан вам лично. Артур ведь любит разыгрывать из себя буяна. Ну и пусть. Значит, так ему надо. Я просто восхищаюсь этим человеком. Он всего на два года меня моложе. Но посмотрите на него. А потом на меня. Да, лучше бы мне остаться при кафельных плитках в Бертон-он-зе-Уотер. Зубной бизнес — большая ошибка в моей жизни. Но теперь дела все-таки пойдут. Стив нажил деньги в Канаде. И заболел там ностальгией. В Канаде он тоже занимался синтетикой. По его словам, у зубов есть будущее. Я рад, что могу нарисовать вам хорошие перспективы, Франц. Ведь вы не привыкли от меня такое слышать, не правда ли? До сего времени все было в мрачных тонах. Я и от семьи ушел. Сил больше не было. Хочу начать заново в Глазго. Со Стивом и Эллен. Эллен — это дочь Стива. Вероятно, я на ней женюсь. Во всяком случае, мы съедемся. Из Ковентри никого не возьму. Ни мужчин, ни женщин. Все они, мне кажется, были недостаточно любезны со мной. Могли бы быть хоть чуточку полюбезнее. Знаете, Франц, всякое можно терпеть, и довольно долго, но не вечно же. Стив говорит: пять спокойных лет при нынешних договорах — и мы вне опасности. Тогда мы расторгнем эти договора, поскольку оборот у нас будет такой, что вам придется заключить более выгодные для нас договора. Так говорит Стив. Он мой ровесник. Но вы примете его за сорокалетнего. Мне кажется, будто я ждал этого дня двадцать один год. С тех пор как уехал из Бертона в Ковентри, чтобы сделаться крупным фабрикантом. Но разве сейчас станешь крупным фабрикантом — ведь нет уже людей, готовых отдать свои силы ради чего-то величественного, прекрасного, национального. Стив говорит, что в Глазго мы будем иметь дело только с автоматами. Ведь человек дрянь. В этом мы со Стивом сходимся. Если вы намерены создать что-то великое, не рассчитывайте на людей. А уж на англичан и подавно. Особенно теперь.

Последние слова мистер Хит произнес несколько тише. Потом заснул в своем кресле. Время от времени громко всхрапывая. Хорн заметил между его раздвинутых толстых ног огромный желвак. Будто болезнь какая-то. Хорн встал, вышел из комнаты, спустился по аллее на шоссе и укатил. Добрался до Лондона. Там сдал машину. Но на самолет не успел. Остался переночевать в отеле «Крофтон» в Кенсингтоне. Номер был холодный. Одеяло тонкое. А что, если мистер Хит догадался, зачем приезжал Хорн, и придумал всю эту историю, чтобы

помешать изъятию лицензий? Тиле говорит: Хит большая лиса. И наживается на нас, говорит Тиле. Прикидывается бедняком и в результате платит меньше лицензионных сборов, чем любой другой наш клиент. И виноват в этом Хорн. Хита можно только поздравить с умением вести переговоры. А Хорну таки придется в конце концов решать эту английскую проблему. Причем теперь же. Немедленно. Завтра утром. Послать заказное письмо о расторжении договора. Потом в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС — начать новые переговоры. Можно воспользоваться тем обстоятельством, что бывший сотрудник Хита, Дорсет, перебежал в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС. А если эти не захотят, тогда в Данди, к РАЙТ ДЕНТАЛ САППЛАЙ, их самому большому конкуренту, и объяснить там, что выгоднее применять наш опыт, получив лицензию, чем по мере своих скромных сил заниматься плагиатом. А может, как ехидно подозревал Тиле, мистер Хит продал наш опыт Райту на свой страх и риск? Лежа в постели, Хорн гнал от себя эти мысли. Ему необходимо снова поехать туда. К мистеру Хиту. Но Хорну мерещилось, что попасть в тот дом можно только по трубе. Труба эта озарена изнутри приветливо желтым сиянием свечей. И ведет круто вниз. Хорн встает на четвереньки, чтобы не скатиться. Мистер Хит говорит: надеюсь, вы не принесли никаких подарков. А как я мог бы доставить сюда подарки по такой крутой трубе, думает Хорн. Сам-то едва вскарабкался. Я больной человек, говорит Хит. Пока вы здесь, я буду говорить только о своей болезни. И не дам вам заговорить ни о чем другом. А если вы будете настаивать, чтобы я заговорил о чем-то другом, я пригрожу вам своим презрением. Но если вы будете внимательно слушать рассказ о моей болезни, обещаю все время делать вам изысканнейшие комплименты за вашу поразительную человечность. Чтоб вы знали, я страдаю хроническим уретритом. Чтоб вы знали, ха-ха! Вы скажете, нельзя вести столь долгий разговор о хроническом уретрите. Но я скажу: истинно, истинно ни о чем нельзя говорить так долго, как о хроническом уретрите. Взгляните, пожалуйста, на картину, которая висит на стене. Первоцвет. Даже если вы, Франц, покинете меня, вы какое-то время не сможете говорить ни о чем другом, кроме хронического уретрита. Вот вы только что бросили взгляд на мои брюки. Признайтесь, вы ожидали обнаружить темное влажное пятно. Можете не отводить глаз. Брюки светлые, почти бесцветные, но без единого пятнышка. Стало быть, никаких выделений? — спросите вы. Что же тогда говорить об уретрите, раз не заметно никаких выделений? — спросите вы. А я, чтобы поднять нашу беседу на более высокий уровень, в свою очередь спрошу вас: есть ли хоть одна болезнь, о которой говорить приятно? Я утверждаю, что нет. Любая болезнь отвратительна. Зачем же тогда делать исключение для уретрита? Знаю, есть болезни и пострашнее. Я презираю свой хронический уретрит точно так же, как презираете его вы. Однако это означает лишь, что я побежден болезнью, которая заслуживает презрения. От этого я становлюсь еще более жалкой личностью. Поскольку я — это я, а не вы, то я для вас — личность. Будь у вас уретрит, вы бы думали о нем иначе, чем сейчас, когда он у меня, а не у вас. Конечно, мне себя жаль. А как же иначе? А кому же меня пожалеть? Коль скоро сострадание вообще дозволено, коль скоро оно даже считается достойным уважения душевным порывом, было бы просто смешно тут же предавать это сострадание анафеме, если оно обращено на самого себя. Не говоря уже о том, что, может быть,— повторяю: может быть,— я бы испытывал меньше сострадания к себе, если бы у других было его ко мне немножко больше. Я никого ни в чем не упрекаю. Даже хочу сказать, что сострадание к другим абсолютно невозможно. Это чистый обман. Если вообще есть сострадание, то лишь к самому себе, к самому себе, к самому себе.

Лишь поэтому я сам завел разговор о своем уретрите. Ведь не могли же вы начать о нем разговор, ибо если вас что-то интересует меньше всего, так это, признайтесь, мой уретрит, мой хронический. Ах да, взгляните еще разок на этот очаровательный первоцвет. Прекраснее изобразить уретрит невозможно. Так по-весеннему. Ну, скажите же хоть слово, дружище, вы меня совсем измучили!

Хорн встал, потом уселся в кресло. Вдруг он заметил, что нижняя челюсть опять начала давить на верхнюю. Очевидно, был момент, когда можно было предотвратить их смыкание. Он вспомнил, что сначала верхние зубы только постукивали по нижней губе. И частенько заходили за нее почти до самой впадины между нижней губой и подбородком. В то время верхние зубы казались ему вторгшимся неприятелем. Правда, и тогда верхние зубы неизбежно впивались в нижнюю губу и заходили за нее. И все-таки это переносилось куда легче того, что происходило потом, когда нижняя челюсть давила на верхнюю. Хорн подумал, что мог бы так загрызть себя до смерти. Если бы нижние зубы прогрызлись еще выше, то в конце концов они впились бы в мозг. Казалось, будто какая-то чуждая сила заставляла его бороться с самим собой. Челюсти болели от натуги, но не поддавались. С отчаяния он обеими пятернями царапнул себя по лицу. Может быть, стоит слегка себя поранить, чтобы отвлечься? А пока он решил не ложиться спать. Второй день в Англии оказался хуже первого. Но сидеть Хорн тоже не мог. Ему чудилось, будто Тиле и д-р Лист с укоризной смотрят сейчас на него. И он был с ними согласен. Он даже еще больше привлек к себе их внимание. Вот, извольте, полюбуйтесь, я уже ничего не скрываю, я в самом деле хочу во всем признаться, потому что надеюсь, вы не сможете устоять перед беспощадным признанием, перед безоговорочной капитуляцией. Поэтому предупреждаю: речь идет лишь о новейшем методе борьбы. Так он и проснулся на другое утро: при задернутых гардинах. В нетопленной комнате. Босой. Больше того, голый. В углу. Прижавшись поясницей к холодной стене. Впившись зубами в колено.

5

Разве Хорн обязан задумываться над тем, как все было на самом деле? Как все было на самом деле, он знал, даже не задумываясь. Но если он не задумывался, то все события или участвовавшие в них лица теряли определенность. Одно и то же лицо казалось ему то вдруг таким, а то вдруг сразу же совсем другим. Может, это оттого, что менялись его запросы? Поэтому он и считал Тиле то таким, то совсем другим? В конце концов Хорн пришел к выводу, что Тиле именно такой, а также совсем другой. Он никогда не верил в это умозаключение, хотя и возвращался к нему сотни раз. Более того, Хорн подозревал, что из-за какого-то своего недостатка, которому не мог подобрать названия, он просто не способен постичь другого человека. Д-р Лист и госпожа фон Лист не страдали подобной неспособностью. Общаясь с ними, можно было только поражаться обилию абсолютно точных оценок, которые у них всегда наготове, будь то оценки людей, или поступков, или действий каких-то групп вроде производственного совета, производственного спортивного общества и т. п. Надо полагать, д-р Лист регулярно носил домой материалы, представлял их на рассмотрение госпоже фон Лист, а потом они совместно вырабатывали оценку. Даже Хильда удивлялась столь глубокой проницательности четы Лист. У них была подобрана целая коллекция поступков Тиле, которые они называли бестактностями. Почему же Хорн этого не замечал? Интересно, какую коллекцию особенностей собрали они о нем и Хильде? Умение четы Лист все подмечать доказывало, что они не только

умнее его и Хильды, но и лучше. Они просто более хорошие люди. Стоило Листу обратить на что-то внимание собеседника, как тот начинал чувствовать себя капельку неполноценным. Достойно восхищения также и то, что Лист, при всей непреклонности своих суждений, умел проявить самую вкрадчивую учтивость. Если Тиле пришлось долго-долго вдалбливать Хорну, что необходимо записывать всевозможные сведения о деловых партнерах, дабы потом, спустя много лет, иметь возможность с поразительной точностью строить отношения с ними, то сей Фра Анджелико был наделен этой способностью от природы. Хорну хотелось надеяться, что не всех вершин своей учтивости д-р Лист достигал с помощью этаких целенаправленных заметок. Хорн считал, что Лист не способен на столь выигрышную для себя расчетливость. С каким изяществом этот гигант-фриз преподнес госпоже Тиле яркий букет, выражая надежду, что в нем — все краски сада ее бабушки, не больше и не меньше. Госпожа Тиле посмотрела на букет, проверила и от изумления широко раскрыла глаза и рот. «Артур,— воскликнула она,— смотри, что принес Хорст, точно такие цветы, как в бабушкином саду в Энгене! Но откуда же вы знаете?» Тут Тиле вошел в роль благодетеля, отрицающего, что он благодетель, и поэтому явно довольного этой ролью. Он с наслаждением произнес: «Старая школа». Но д-р Лист покачал головой, хмыкнул и сухо проговорил: «Энген, туда и обратно». Это означало, что он ездил туда посмотреть сад матушки госпожи Тиле исключительно, чтобы доставить радость госпоже Тиле. Лист упомянул об этом вроде бы вскользь, но госпожа фон Лист тотчас со всеми подробностями рассказала о поездке в Энген и добавила, что госпоже Тиле можно лишь позавидовать, что она родилась в таком миленьком городе... У Хорна сложилось впечатление, будто госпожа фон Лист считает, что произведенный эффект не стоил бы затраченных денег, если бы о поездке в Энген было сообщено всего одной фразой. Однако сам Лист больше ни единым словом не участвовал в восхвалении Энгена. Он даже с весьма разочарованным видом поглядывал на жену, пока та говорила об Энгене, будто хотел сказать: «О, женщина! Ведь весь эффект, которого я добивался, и состоял в этой поездке ради *одной* фразы, жаль, жаль...»

Хорну никогда не приходило в голову ничего такого, что подобным же образом могло бы изумить Аннемари Тиле. Порой ему казалось, что она еще не заметила, как он ее почитает, как восхищается ее храбрым терпением по отношению к мужу, который зачастую обращается с нею безжалостно. Без вас вообще нельзя было бы оправдать существование вашего мужа! Эту фразу Хорну хотелось когда-нибудь ей сказать!

Хорн отдернул занавеску — за окном было уже светло. Он всегда радовался, когда ночь кончалась. Он постоянно боялся бессонницы. Все-таки действует на нервы, если просыпаешься в три часа ночи и больше уже не можешь заснуть. Но эта первая ночь в Лондоне оказалась удачной. Правда, он видел сны. Разумеется, о Тиле. Во время какого-то бала Хорн объявил, что Хорст Лист умер. Потом пошел танцевать. Пробираясь между танцующими парами, к Хорну подходит Артур Тиле и с волнением говорит: «Кое-кто утверждает, что видел Хорста Листа сегодня, здесь, на этом празднике». Хорн: «Чепуха. К сожалению, чепуха. Хорст Лист умер. К сожалению».—«Ну, тогда ладно»,— говорит Артур Тиле и смотрит на Хорна, точно желая сказать: будем надеяться, ради вас. «Дружище,— кричит Хорн, да так громко, что все мгновенно замирают и оборачиваются к нему, музыка тоже смолкает,— вы что же, не верите мне, а?» Хорн слышит, как голос у него срывается от напряжения. «Прошу вас»,— сердито шепчет Тиле и показывает куда-то назад. Хорн оборачивается и видит в стороне Хорста Ли-

ста, который спускается к нему откуда-то сверху. Опираясь на две палки. «Нет, нет! — кричит Хорн.— Это мираж, это просто мираж! Вот, пожалуйста, сейчас я подбегу к тому месту, где вижу доктора Листа, стукну по нему и докажу всем, что там только воздух». Хорн бежит, замахивается обеими кулаками сразу, бьет — кулаки увязают в тяжелом покрывале. Хорн впивается в покрывало ногтями, хочет вытащить из-под него д-ра Листа, который и вправду лежит там мертвый. Но не тут-то было: мертвец сопротивляется, он куда сильнее Хорна. Хорн чувствует, что задыхается от напряжения и сам уже холодеет, как лед.

За завтраком Хорн прочитал в «Гардиан» длинную статью о неприятностях, которые имели Марсель Офюльс и Би-би-си из-за фильма о Нюрнбергском процессе, поставленного Марселем Офюльсом. Хорн чувствовал, как доходчиво изложенная суть спора, происходившего здесь, в Лондоне, в каком-то отеле, ускользает от его восприятия. Он продолжал читать, но сквозь строчки перед глазами всплывали картины средневекового Нюрнберга. Д-р Лист снова стоял у двери в кабинет Хорна, с демонстративной любезностью еще раз обернулся и весьма дружелюбно, а тем самым с нахальным высокомерием стараясь унизить Хорна, проговорил: «Некоторое чувство стиля иногда и в деловой жизни может предотвратить крупные неприятности». Так Хорн узнал, что господин Тиле поручил д-ру Листу проверить корреспонденцию Хорна. За несколько прошедших лет. Возможно, на выборку. А возможно, лишь те случаи, когда клиенты отсеивались или оказывались неплатежеспособны. Будто Хорн мог установить солидность каждой фирмы отныне и до скончания века. Д-р Лист положил ему на стол переписку с одной нюрнбергской фирмой. Весьма любезно и доверительно. Вот, взгляните-ка еще разок. Все равно мы влопались. Просто ради тренировки. Разве не достойно сожаления то, как эта фирма уже самим стилем письма вопиет о своей неплатежеспособности? И добавил, что считает материал интересным и поэтому распорядился снять копии для Хорна и для себя. Настоящее учебное пособие, которое обязан знать каждый, кто заботится о своей квалификации.

Молодчик прямо вошел в раж просветительства и уже не мог остановиться. Как видно, страдал манией всех поучать. Хорн робко оборонялся. Он просто не умел ничего возразить этому болвану, который всегда пытался затушевать свой огромный рост и физическую силу нарочито изящными жестами. А когда, уже в дверях, д-р Лист обронил фразу о связи эпистолярного стиля с неплатежеспособностью, Хорна бросило в жар, у него тут же свело челюсти и зарябило в глазах. Он снова попытался сделать глотательное движение, но во рту у него пересохло. Сразу после заключительной тирады д-р Лист придал своему лицу излюбленное выражение приторности и, с преувеличенным изяществом повернувшись, вышел из комнаты. Этому парню даже не нужно было дожидаться, подействуют ли на Хорна его слова, настолько он был уверен в силе их воздействия. Хорн бросил копии писем в мусорную корзинку и вышел на улицу. Он поехал домой, уселся в кресло, взял в руки книгу, раскрыл ее и неотрывно глядел на одну и ту же фразу, только чтобы укрыться от Хильды и от детей. К ужину в тот вечер его звали пять раз. Приятно, когда тебя зовут, а ты не идешь. По стакану с молоком, стоявшему перед Рут, полз длинный червяк. Хорн испугался. Не мог отвести от червяка взгляд. Он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым. И червь скреплял это словно печатью. Вдруг все засмеялись. Рут подняла руку, скрытую стаканом, и игрушечный червяк повис на невидимой нейлоновой нитке. Хорн выругал Рут. Встал из-за стола и вернулся в свое кресло. Лишь когда пришла Хильда, после долгих уговоров, он позволил отвести

себя обратно к столу. Еда была безвкусной. Во рту как после наркоза. Когда убирали со стола, Хорн сунул Рут деревянную салатницу. Сказал, что не худо бы и ей помочь. Рут поскользнулась на кухне, выронила салатницу, и часть ободка откололась. Хорн заорал на Рут, выкрикивая цену салатницы. И название места, где ее купили. Пятьдесят марок. Меран. Он так раскричался, что Рут задрожала, а потом подняла рев. Хильда сказала, что салатницу можно склеить. Хорн возразил. Хильда сказала: раз уж он дает Рут какую-то вещь, то должен считаться с тем, что она может ее уронить. Из слов жены Хорн понял: в том, что прекрасная салатница раскололась, виноват он сам. И еще понял, что не умеет мыслить, что у него слишком убогое воображение, во всяком случае не столь богатое, как у Хильды; Хильде никогда не пришло бы в голову доверить нескладехе вроде Рут столь ценную и уникальную вещь. Хорн почему-то решил, что второе утверждение Хильды противоречит первому, когда она говорила, что салатницу можно склеить. Но он уже оставил надежду найти в этом доме хоть одного человека, чье внимание он мог бы обратить на столь тонкие и острые противоречия. Он снова поспешил к своему креслу. Взял книгу, чтобы спрятаться от них. Когда все дела на кухне были сделаны, первой в комнату вошла Аманда. Вошла так опасливо, так деликатно, что Хорну захотелось запустить в нее книгой. Уж если он столь глуп и необуздан, что подходить к нему надо со страхом, преувеличенно наигранным, как на провинциальной сцене, тогда вообще нечего юлить, тогда, уж извините, им всем следовало бы оставаться за дверью. Надо было бы ему бросить книгу хотя бы ей под ноги! Вечно подавай ей примирение и умиротворение! Аманда зажгла свечу. Хорн увидел это, до предела скосив глаза. Даже две свечи! Как всегда непрактичная, она слишком долго держала спичку у первого фитиля, поэтому для второй свечи ей пришлось зажечь новую спичку. Хорн посмотрел на нее в упор. Ему всегда было мучительно видеть, как Аманда своими длинными тонкими пальцами держит спичку за самый кончик. Тринадцать лет девчонке, но она до сих пор боится чиркнуть спичкой. Этот страх детям внушали постоянно. Пора бы ей научиться рисковать! Ну конечно! Спичка вспыхнула и сломалась. Горящая головка упала на ковер. Хорн тут же кинулся к ней. Но было слишком поздно. Его персидский ковер, его гордость, единственное из приобретенного им барахла, что имело ценность, и не только продажную, но и эстетическую! И вот теперь посреди ковра, на светлом фоне, абсолютно неудалимая подпалина величиной с ноготь. Еще больше, чем подпалина д-ра Листа! Хорн выпрямился и ударил Аманду по лицу. Она выбежала, не издав ни звука. Хорну почудилось, что от удара у Аманды перехватило дыхание. Хильда случайно оказалась свидетельницей этой сцены. Аманда вбежала в детскую и заперлась там. Уже пора было укладывать в постель Рут, Аманда не открывала. Сидя в кресле, Хорн слышал, как Хильда умоляла Аманду открыть дверь. Очевидно, та вообще ни на что не реагировала. Нарочито громко топая, Хорн подошел к двери и, сделав вид, что не может остановиться, надавил на нее и заорал так, как в этой квартире еще никогда не орали: пусть Аманда немедленно откроет дверь, иначе произойдет то, чего еще не бывало. Самым неприятным для Хорна было сознание, что его слышат во всем доме. Аманда открыла дверь, она по-прежнему не могла перевести дух, едва сдерживала беззвучные рыдания. И оттого, что она не издавала ни звука, она вдруг показалась Хорну легендарной героиней, великой личностью да и только. Ему страшно захотелось обнять ее. Но он бы скорее убил ее, чем обнял сейчас. А Хильда тут же обняла Аманду. Еще бы. Хорн сел в кресло и снова взялся за книгу. Прежде чем Хильда вернулась, он успел выпить полбутылки красного вина.

Перво-наперво она сказала, что им нужна квартира побольше. И добавила: в этой квартире жизнь не в жизнь. Она произнесла это своим обычным тоном, как всегда, выделяя каждое слово. И тогда Хорн швырнул книгу в Хильду. Просто взял и швырнул. Как швыряют теннисный мяч. Если бы книга вообще попала в Хильду, то, наверно, в живот. Но оттого, что она сосредоточенно наклонилась к подпалине, стараясь рассмотреть, что натворила Аманда, книга — да еще углом — попала ей прямо в лицо, чуть пониже глаза. И почти мгновенно там вздулся желвак, который становился день ото дня темнее, потом начал светлеть, сделался зеленоватым и под конец желтым. Хорну казалось, он и сейчас его видит. Пока желвак не рассосался, Хильда ни разу не вышла из квартиры. Люди подумают, что Хорн ее бил, говорила она. Особенно соседи по дому, слышавшие, как он кричал.

После завтрака Хорн вышел прогуляться по нарядному белому Кенсингтону. Решив наконец, что номер уже убрали, он вернулся в гостиницу и снова лег в постель. Главное теперь — оставаться в постели как можно дольше. Но этому тут же воспротивился *он*. Хорн посмотрел на него и нашел, что *он* выглядит трогательно-глупым и даже по-смешному отчаянным. Казалось, *он* говорил: вот видишь, я стою, как единица, видишь, как единица, неужели не видишь, что я стою, как единица, эй, ты, неужели не видишь... Когда кто-то беспрерывно к тебе обращается, подумал Хорн, и с величайшим упорством наивно твердит одно и то же, это можно назвать смешным отчаяньем. Но Хорн знал, что глупый и трогательный приказ наконец-то снова заняться продолжением рода, не оставит ему ни секунды на то, чтобы принять столь важное для него решение. Хорну надо бы пойти сейчас на ближайшую почту и заказным письмом известить мистера Хита о расторжении договора на лицензию, потом отправиться в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС и выторговать договор на лицензию, который позволит им распространять все изделия Тиле, включая новейшие со «сказочной поверхностью». Но если Хорн не сможет увильнуть от выполнения приказа продолжить человеческий род, то ему придется выбежать из отеля, поехать в Сити и начать еще в метро поглядывать на девушек и женщин так, как поглядывает на него сейчас *он*. Потом Хорн вдоволь нахóдится по универмагу на Оксфорд-стрит, накупит всякой ерунды у продавщицы, которую перед тем назойливо и беспомощно будет сверлить рыбьим взглядом. Должна же она понять, что Хорн вот уже не один десяток лет искал не что иное, как ее душу. Ничего не ждал, ни к чему не готовился, кроме встречи с ее исключительной и, стало быть, неповторимой душой. Ведь среди миллиардов половинок душ ее душа и есть та единственная, которая подходит к его собственной половинке. Всех других женщин в своей жизни он поэтому касался лишь полусонными губами, а ее дыхание впервые пробудило в нем способность до конца раскрыть свои чувства. Он спросит ее взглядом, понимает ли она это, когда он вот так, молча, смотрит на нее. А если она не поняла этого, ни когда он ее оглядывал, ни когда разговаривал с нею, покупая нижние рубашки, то ему придется подождать, пока она кончит работу. Покупать кальсоны казалось ему бесстыдством. Нижние рубашки — вот предел интимности, которого он хотел достичь с ходу. Но тогда он завершит свои покупки гораздо скорее, чем хотелось бы, потому что будет слишком взволнован и напуган, не зашел ли он слишком далеко. Значит, придется несколько часов ждать у служебного входа. Увидеть ее. Пойти за ней. Ну и пусть заметит. Должна же она когда-нибудь заметить. Войти в метро. Встать к ней как можно ближе. Потом ехать и ехать. По «черной линии». Прекрасно. На север так на север! Потом автобусом. Постепенно она начинает все сильнее проявлять беспокойство. Боится? Вот она проскаль-

зывает в садовую калитку. Запирает ее. Он остается у калитки. Она открывает входную дверь. Кого-то зовет. Вероятно, сейчас выйдет ее отец. Она снова оборачивается к Хорну. Чувствует теперь опору. Рядом с ней мужчина. Ее муж. Теперь Хорну пора наконец представиться и сказать, что ему ужасно неудобно, но эта молодая женщина так похожа на его кузину, просто уму непостижимо, а поскольку кузина погибла в автомобильной катастрофе, происшедшей по его вине, то вы понимаете, почему он так приклеился к этой молодой женщине, он с удовольствием пригласил бы молодую чету сегодня вечером на ужин. А потом чудовищная скука будет нарастать с каждой секундой, он потеряет способность поддерживать разговор, но терпеливо просидит с ними до позднего вечера, все оплатит, как американский дядюшка, отвезет их домой на такси по повышенному тарифу, обменяется адресами, а по дороге в гостиницу подсчитает, что выложил двадцать или двадцать пять фунтов за знакомство, которое ему до конца дней придется поддерживать парочкой ответных открыток в год, иначе эти двое после его сегодняшней щедрости перестанут понимать наш мир, а такого допустить нельзя: ведь все всегда должно быть понятно, боже сохрани...

Хорн быстро и бесцеремонно избавился от этого дурацкого принуждения. Ну вот, теперь можно обдумать решение. Но сейчас у Хорна не было ни малейшего желания делать это. Он лежал в постели, и ему было абсолютно на все наплевать.

Когда Хорну в конце концов снова удалось вызвать в памяти образ господина Тиле, он опять задумался над своими проблемами. Но поймал себя на том, что ЛОНДОН ДЕНЧЕРС занимает его меньше, чем господин Тиле и д-р Лист. К своему ужасу, Хорн убедился, что его занимает лишь то, как он объяснит Тиле и д-ру Листу полный провал своей миссии. Ну ладно, подумал он, давайте-ка проиграем разок. Прошу вас, господин директор...

Тиле не любил, когда Хорн называл его ГОСПОДИН ДИРЕКТОР. Значит, чтобы тотчас не вызвать его раздражения, он скажет: ГОСПОДИН ТИЛЕ. Хорн давно избегал звать его АРТУРОМ, как того хотелось Тиле. Он уже и д-ра Листа не мог называть ХОРСТОМ. Итак, господа, прошу садиться... Он представил себе, как они, приветливо улыбаясь, усядутся в кресла. Особенно Лист, который почти радостно взглянет на Хорна. Лист как-то говорил, что чем больше успехов будет у Хорна, тем счастливее будет в этой фирме он, Лист, потому что с удачливым коллегой работать гораздо приятнее, чем с неудачником. Это он сказал однажды воскресным утром, пригласив Хорна на прогулку в Грюнкраут. В мае. Госпожа фон Лист была, вероятно, в отъезде. Лист сказал это таким тоном, будто нечего и сомневаться: раз он, Лист, на пятнадцать лет моложе Хорна, значит, и успеха он добьется куда большего, чем Хорн, который на пятнадцать лет его старше,— будто он беспокоится лишь о том, чтобы Хорн не слишком отстал, потому что это может восстановить его против Листа, а в конечном итоге может даже пострадать благополучие самого Листа.

Итак, пригласи Хорн как ни в чем не бывало шефа и Листа, чтобы доложить о результатах английских переговоров, тогда все пройдет гладко, тогда Лист будет смотреть на Хорна так же радостно, безмятежно и приветливо, как если бы Хорн действительно пригласил к себе его и шефа. А потом? Что потом? Хорн скажет, что Хит улизнул от него, что он погнался за ним. Но ведь эта хитрая лиса разболелся пуще прежнего. Наплел с три короба. И заснул. А Хорн в метельной мгле, когда света божьего не видно, вернулся в Лондон. С какой опасностью для жизни пробирался он в наемной машине с дрянными «двор-

никами» сквозь толчею служебных автобусов, и все они едут навстречу не с той стороны, а ты не видишь ни одного дорожного знака, хотя давно уже в Лондоне, кружишь по городу, а разве Лондон не самый большой по площади город? И вот ездишь вокруг да около, пока не кончится бензин, тогда только ты сможешь остановиться. Но, извините, это к делу не относится. Потом Хорн увидит, что своим рассчитанным на сочувствие рассказом о пережитых тяготах он лишь разозлил Тиле. Лицо Тиле посуровеет от гнева. И тогда Тиле скажет: давайте оставим Хита в покое, ведь это вы предложили еще раз поговорить с ним, а я вам сразу сказал: уведомьте старого мошенника заказным письмом о расторжении договора и немедленно отправляйтесь в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС, но меня же никто не слушает. Только для тренировки, Франц, скажет Тиле, подражая Хорсту, практически это уже не играет никакой роли, раз вы письменно известили его о расторжении договора, но в учебных целях я обязан вам объяснить, почему вы дали маху с этим Хитом. Старый плут заставил вас гоняться за собой. Одно то, что вы сами явились к нему, уже свидетельствовало о вашей слабости. Вам надо было сразу заявить секретарше Хита, что если он не заинтересован в расторжении договора по взаимному согласию, то в соответствии с принятыми условиями договор утратит силу незамедлительно и таким образом Хит потеряет лицензии на два года раньше. Тогда бы он явился к вам в гостиницу на следующее же утро. Упущение номер два: вы поехали к Хиту, но ничего ему не сказали. Это весьма для вас характерно. Вы и сами знаете, Франц. Вы, конечно, воображаете, что взяли и уехали из чистого человеколюбия и т. п. А вот бесчувственный Тиле, например, и жестокий Хорст, думали вы, они бы грубо разбудили этого несчастного больного Хита и беспощадно заставили вести деловые переговоры. Но скажу вам, Франц, вы просто слишком тщеславны. Хотели произвести на Хита хорошее впечатление. Раз и навсегда. Хотели остаться в памяти Хита как монумент. Навечно. А я, злодей директор, должен за это расплачиваться. Каким сентиментальным и тщеславным может быть человек, Франц! Не только вы. На некоторых заказчиков, а особенно заказчиц, я реагирую точно таким же образом. Тогда бесчувственный Тиле становится столь же тщеславным и сентиментальным, как чувствительный Хорн. Вы удивлены? Но так оно и есть, дружище!

Хорн скажет, что не удивлен, что — может поклясться!— не считает Тиле бесчувственным; он сам, Хорн, прекрасно понимает разницу между энергичностью и бесчувственностью. Тиле взглянет на него с улыбкой, будто бы не веря. Так как же было в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС?— спросит Тиле. Бурно? Грандиозно? Триумфально? За вами ухаживали, вас баловали? Или вы все еще полагаете, что им незачем это делать? И тут Хорн скажет, что у него не было никаких контактов с ЛОНДОН ДЕНЧЕРС whatsoever [1].

При этих словах д-р Лист вскочит с кресла. А Тиле откинется на спинку и скажет: прошу вас, Хорст, зачем так нервничать, ведь Франц большой мастер производить эффекты. Так как было дело дальше, Франц? РАЙТ ДЕНТАЛ САППЛАЙ, Данди?

Хорн скажет: дорогой господин Тиле, дорогой Лист, я пригласил вас сюда не за тем, чтобы вы меня утешали. Я понимаю, что сплоховал. И прошу удержать мои командировочные из очередного жалованья. И впредь я вообще не желаю иметь никаких дел ни с договорами, ни с какими-либо заграничными поручениями. Вы меня слишком переоценили, но в этом, чтобы внести ясность, моя собственная вина: ведь я сам исподволь ввел вас в это огромное заблуждение, а я мог бы быть

[1] Вовсе *(англ.)*.

безмерно счастлив, сидя за ЭВМ, за маленькой «Оливетти». У меня нет больше ни малейшего желания заниматься тем, чем я занимался до сих пор. По-моему, с человеком, у которого нет больше ни малейшего желания, надо порвать всякие отношения. Оставить его в покое.

Вот он опять впадает в сентиментальность, скажет Тиле. А Лист добавит: позвольте дать вам один совет, Франц? Не слишком прикидывайтесь простачком, понимаете? Ведь мы не до такой степени ваши недруги, так что прошу вас проявить немножко больше чувства в ответ на наше чувство к вам, если я вообще имею право вас просить, а я, наверно, имею? В конце этой тирады в его голосе прозвучит скрытая за крайней любезностью угроза.

Хорн предвидел, что любезность Листа откроет лишь новую главу мучений. Словно до этого они брались за него в масштабе 1 : 100 000, а теперь взялись в масштабе 1 : 10 000. И с каждым разом они будут все любезнее и дружелюбнее, а положение Хорна будет все безнадежнее, так что им придется разговаривать с ним все более интимным тоном, пока они не доведут его до ручки, навалившись со всех сторон, теперь уже в масштабе 1 : 1, поскольку сочтут это необходимым ради него самого, ради него самого, ради него самого...

В душевой с первого же дня обнаружился огромный паук, не подававший признаков жизни. Поэтому Хорн не мог принять душ. Но зато мог сколько угодно входить туда и глазеть на неподвижного паука. Хорну казалось, что паук показывает ему, как надо себя вести.

Самое замечательное в этой комнате, несомненно, вот что: ни одна живая душа не знала, что он здесь. Хорн находился в земле обетованной. Конечно, он каждый день один или даже два раза вспоминал о ЛОНДОН ДЕНЧЕРС и о РАЙТ ДЕНТАЛ САППЛАЙ, Данди. Но как-то не очень серьезно.

Прежде всего он запретит Тиле и Листу вмешиваться в свои дела. Запретит прикасаться к себе. Ударит их по рукам, если они опять захотят протянуть к нему свои дружеские руки. Как это получится, ему и самому пока неясно. Но с каждым проведенным в Лондоне часом он все отчетливее ощущал, что сумеет избавить себя от прикосновений этих двух господ.

Разве не он ударил Хильду по лицу? Но какое это имеет отношение к его растущему сопротивлению Листу и Тиле?

Никакого.

Тогда зачем же вспоминать об этом?

Не зачем, просто так.

Хорн слишком долго не решался объяснить себе, почему он ударил Хильду. Он не забыл того случая. Только не допускал никаких объяснений.

Этот еще не остывший факт был словно прикрыт тончайшей пеленой. Словно ждал, что вот-вот наступит его очередь потребовать объяснений. Но Хорн считал, что лучше смириться с приговором — кто бы его ни вынес и каким бы суровым он ни был,— чем позволить втянуть себя в объяснения. Никто не смеет заставить его обращаться с собой как с врагом. Истина? А что такое истина? Этот д-р Лист действительно послал ему копию письма, направленного одной фирме в Рейнской области. Читая это письмо, Хорн с каждой фразой терял всякую уверенность в себе. Д-ра Листа запросили как начальника управления, не считает ли он возможным рекомендовать Хорна кёльнской фирме на должность начальника тамошнего управления. И д-р Лист ответил, что не считает. Что среди многих присущих Хорну качеств нет данных для руководящей работы. Прежде всего назовем вошедшую в плоть и кровь неспособность принимать решения. Человека вроде Хорна можно сделать на всю жизнь несчастным, назначив на эту должность, а

должности и вообще делу, функционированию нашего хозяйства можно тем самым нанести прямой урон. Предотвращать такого рода ошибочные решения — долг каждого, кем бы он ни работал в нашем хозяйстве, предотвращать ради сохранения всего хозяйства. Из верности этому долгу он и пишет настоящее письмо, которое ему очень не хотелось писать, потому что он сердечно привязан к Хорну.

Узнав, что д-р Лист назначен его начальником, Хорн какое-то время пытался устроиться в различных родственных фирмах. И хотя, как видно, лишь одна из них советовалась с д-ром Листом, поиски места ни к чему не привели. Хорн был даже рад. Все эти попытки он предпринял, только чтобы предстать в лучшем свете перед самим собой. Уходить ему не хотелось. Здесь он был дома. Но не мог же он позволить так себя оскорблять. Хорн ударил Хильду не в тот день, когда читал письмо д-ра Листа. Хотя, очевидно, примерно в то же время. В памяти его оба эти факта оказались почему-то связанными между собой. Не причинно, а во времени. Внешне Хорн не изменил своего отношения к д-ру Листу. Сидя в кабинете, он часами внушал себе, что д-р Лист прав и что вообще он чудесный и достойный восхищения человек. Как правильно он все понял! И как сформулировал! Без всякой мелкой и гаденькой оглядки на Хорна. Хорн казался самому себе до отвращения гадким, сознавая, как ему хочется, чтобы д-р Лист написал лестное для него и горячо рекомендующее его письмо. Ну и свинья же я, думал Хорн. И опять принялся внушать себе, что д-р Лист именно тот человек, которого он, Хорн, должен любить за его высокую и благородную порядочность. Хотя эти мысли Хорн внушал себе часами, он так и не сумел проникнуться ими и потому стал считать себя человеком бесхарактерным и испорченным. И упрекал себя в том, что не в силах, хотя бы в глубине души, признать правоту д-ра Листа. Впрочем, он признавал его правоту в том, что касалось содержания письма, но ненавидел за то, что д-р Лист не исказил этого содержания, скажем, из симпатии к Хорну. Это письмо, думал Хорн, будто продиктовано госпожою фон Лист. Ну вот, теперь еще накинулся на бедную невинную госпожу фон Лист. Как это на тебя похоже! Давай! Конечно, ему и сейчас казалось, что письмо просто нарисовано госпожою фон Лист. Ведь она умела рисовать. Маленькие картинки. Размером в открытку. Крошечными кисточками. Но на этих картинках черт знает сколько можно увидеть, и все изображено с пронзительной точностью. Старая четырехугольная башня по ту сторону сжатого ослепительно желтого поля, а на переднем плане дохлая ворона, которую облепили жуки. Каждая соломинка на сжатом, белокуром, как госпожа Лист, поле выписана отдельно. Не забыто ни одно выпавшее из колоса зернышко. А у подножия башни по ту сторону поля, прислонившись к стене, сидела маленькая девочка и смотрела на ворону. Она подобрала колени, а ладони прижала к стене башни. Поэтому девочка выглядела испуганной и встревоженной. Вспоминая антирекомендательное письмо д-ра Листа, Хорн невольно вспоминал и сверхчеткие картинки госпожи фон Лист. Копию того письма он порвал на мельчайшие клочки этак через час после прочтения. Хорн ничего не рассказывал Хильде о попытках устроиться на новую работу, поэтому ему не нужно было сообщать и об их тщетности. Ему казалось ужасным, что он ее ударил. Ужасным сверх всякой меры. Правда, после этого можно жить и дальше. И вовсе не обязательно чувствовать, что можешь вскоре же повторить такое. Вовсе нет. Осталась лишь странная потребность думать об этом. И столь же сильная потребность решительно отгонять от себя такие мысли. Почему в его представлении сплелись воедино и это антирекомендательное письмо, и удар Хильде по лицу, и картинка госпожи фон Лист, изображающая поле? Почему он не мог спокойно

разъяснить себе, что Хильда с ее невыносимым тупоумием буквально любой разговор заканчивала сетованиями на чересчур тесную квартиру? И все потому, что свои ежедневные вокальные упражнения предпочла бы делать дома, а не в церкви и не в школе. Письмо Листа, картинка госпожи фон Лист, изображающая поле, Хильдины причитания насчет квартиры и удар Хильде по лицу сплелись в его памяти в *один* узел. Скоро госпожа Лист своими миниатюрами будет зарабатывать больше, чем я, говорил д-р Лист. А когда квартиры станут еще меньше, говорил он, то госпожа фон Лист войдет в большую моду. При случае он сообщал также, что госпожа фон Лист не в состоянии написать столько картин, сколько могла бы продать. Над каждой картиной два месяца сидит. Цена три тысячи. А за портрет мальчиков-близнецов один владелец художественной галереи предложил ей целых восемь тысяч! И что делает эта гордячка? — говорил Лист. Она отказывается. Но делец отпечатал с ее картины открытку, и, по последним данным, госпожа фон Лист только на этой открытке уже заработала пять тысяч марок. И ожидает еще больше. Когда квартиры станут еще меньше, добавил Хорн, то ли непроизвольно, то ли в насмешку. Да, тогда его жена войдет в большую моду, воскликнул он, так сказать, мысленно. Чем меньше квартиры, тем больше мода на госпожу фон Лист. Прошу вас! Хорн разозлился, поймав себя на мысли, что слушает звучащую в нем пленку о госпоже фон Лист. Было несколько пленок, которые ему никак не удавалось остановить; на его мучение, они звучали то и дело. Хорн знал, что, сумей он по достоинству отнестись к госпоже фон Лист, подумать о ней с той нежностью, какой она заслуживала благодаря своим чудесным качествам, эта мучительная пленка немедленно была бы стерта. Она ведь без конца звучала, потому что в записанной на ней истории Хорн спасовал. Да, но ведь он сам хотел спасовать перед госпожой фон Лист! И почему именно *он* обязан отдавать ей должное? А кто отдаст должное ему? Все, все, все — Хорну было знакомо это автоматическое эхо. Именно потому ему надо было избегать путей, неизбежно ведущих к такому эху. Ведь он желал только одного: чтобы его оставили в покое со всей его подлостью, которой он и сам уже не отрицал. *И он* хотел эту свою подлость еще немножко раздуть, чтобы потом с полным правом думать: и на его долю выпала-де малая толика несправедливости. Пока к тебе относятся несправедливо, жить можно. Губительна лишь справедливость. Встать, выйти, уехать! Бежать. Площадь Пикадилли. Только не сидеть одному в такси. Идти навстречу людям. Как вчера навстречу той девушке. Высокая, бледная и темноволосая, безусловно достойная самой полнокровной жизни, духовно неисчерпаемая, обыкновенная девушка, она шла прямо на него, а он на нее, потом он уступил ей дорогу, а она ему, но она шагнула в ту же сторону, тогда он отошел в другую, но и она туда же, и вот они оба, дрожа, все более порывистыми мелкими шажками двигаются друг на друга, и вместо того, чтобы остановиться и доказать ей, что им все равно не разминуться из-за равной силы тяготения и безграничной необходимости помочь друг другу, он делает странный прыжок в сторону — к счастью, не сломав ногу,— и на этом все кончается, он идет дальше, идет все быстрее, потому что теперь впереди опять нет никаких препятствий. Вдруг сегодня опять случится что-нибудь такое? Нет, конечно, нет. Но ему просто необходимо выйти отсюда. И никогда уже не возвращаться в эту тусклую комнату. Немедленно домой, домой, домой! Здесь вправду невыносимо. Больше всего он ненавидел госпожу Лист за то, что ее еще ни разу не бил муж.

Когда он и портье ждали у гостиницы такси, портье спросил, не немец ли Хорн.

— Да,— сказал Хорн.

Тогда портье сообщил, что он большой любитель немецкой музыки. Собирает немецкие пластинки. И каждый вечер перед сном старается поймать какую-нибудь немецкую радиостанцию, но едва ее поймаешь, как она снова ускользает, even with the Grundig[1].

— Да, жаль,— сказал Хорн.

— Вот именно,— подтвердил портье.

Хорну не хотелось думать, что весь разговор был затеян ради прибавки к чаевым. С другой стороны, ему хотелось внести кое-какой вклад в фонд покупки пластинок, хоть чуточку помочь этому, конечно не так уж много зарабатывающему, коллекционеру. Ведь у него меньше пластинок, чем у мистера Хита. И в последний момент Хорн дал портье еще одну фунтовую бумажку. Тот покачал головой. Но Хорн поспешил отвести взгляд. Он не знал, что имел в виду портье на самом деле, качая головой. Он зачастую не знал даже, что люди имеют в виду, произнося законченные фразы. С этим приходилось считаться каждому, кто водил знакомство с Хорном. Хорн не мог выбрать для себя и определенную форму поведения. Каждую секунду он испытывал гнет новой необходимости и поэтому фактически оказывался оттесненным все дальше и дальше, а при том темпе, который мало-помалу был достигнут, у Хорна уже не оставалось времени на всякие объяснения.

Когда он все-таки оглянулся, то заметил, что портье по-прежнему стоит на том месте, где Хорн сунул ему в руку фунтовую купюру. И стоит по-прежнему так, словно не решается взять ее. Теперь он никогда не посмеет признаться немецкому гостю в любви к немецкой музыке, подумал Хорн, так как увидел, что это можно истолковать как выклянчивание чаевых. Хорн обрадовался, когда такси свернуло за угол. Ему хотелось поскорее удрать от своей неудачи.

6

Хорна охватило радостное чувство, когда, устроившись в зале ожидания на диване, он понял, что теперь остается только ждать, пока на табло появится сообщение о нужном рейсе. Он приехал почти на три часа раньше. Это наполняло его благодушием. Почти три часа можно ничего не делать, только сидеть, откинувшись на спинку дивана, и иногда поглядывать на табло. Вдруг его внимание привлекла рослая белокурая девушка. Голову она старалась держать как можно выше, насколько хватало сил. Она шла в мягких сапожках черно-красной расцветки. На платформе. В светлой, обвивавшей каждый ее шаг расклешенной юбке. В темном, с металлическим блеском жакете, на который падали белокурые волны. И вопреки всему огромные солнечные очки на совсем еще детском лице, лице девочки не старше тринадцати лет. Когда она проходила между рядами, Хорн услышал ее голос: Whose number's up? [2] Хорн вспомнил, что ему надо зарегистрироваться. Какой-то самолет пронзил небо с урчанием, очень похожим на то, которое раздавалось сейчас в животе у Хорна. Объявили рейс на Мюнхен. Хорн тут же побежал к диспетчеру менять билет. Сажать его не хотели. Но он уговорил их. В Мюнхене нужный поезд, к счастью, уже ушел. Хорну хотелось все это время провести на перроне. Ледяной ветер. И всюду греки. Выехать из Мюнхена за город. На природу. Пассажиры делали вид, будто им нет до него дела. Тяжким грузом ложится на детей, прочитал он в газете, самоубийство родителей. Хорну казалось, что пример родителей скорее мог бы помочь детям самим совершить

[1] Даже на «грундиге» *(англ.)*.

[2] Чья сейчас очередь? *(англ.)*.

впоследствии самоубийство. Они могли бы сказать: такая у нас в семье традиция. И ничего чрезвычайного уже не было бы. Как прекрасно цветет природа. Как прекрасно цветет то и се. Лишь немногие пассажиры полеживают в этом фешенебельном поезде. А вот английский экспресс доступен всем. Один снял ботинки и разлегся на голубом диване, вытянув ноги в тонких носках. Чуть дальше впереди — другой, он может оплатить билеты на этот поезд для себя, своей молодой жены и двух детей, а ведь ему всего двадцать восемь лет. Он держит в руках книгу, название которой видно каждому проходящему: «*Экономическое учение Карла Маркса*». Полощется на ветру белье. Лежат на лугу коровы. Хорн разом окидывает взглядом три колокольни, а между ними лишь одну деревню. Зелень смягчается желтизной... Пусть везде растут одуванчики. Полный рыбы пруд смотрит с лужайки в небо. А вон приближаются трое в непромокаемых куртках, в резиновых сапогах и со всякой снастью. Наверняка среди них Тиле и д-р Лист. Ведь мы мчимся через луга и рощи. Ной-Оффинген выглядит старше, чем Оффинген. Дунай заполняет свое русло. Эти три высотных здания, вероятно, относятся уже к Ульму. Ну конечно! Широкобедрый кафедральный собор. Нужный Хорну поезд в Ульме уже ушел, и это опять радует его. Значит, будет уже за полночь, когда он доберется до дома. Тем лучше. Никогда не знаешь, на каких улицах околачиваются Тиле и Лист. Он не хотел попадаться им в руки. Как терпеливы они были с Хорном. При воспоминании об этом ему становилось стыдно. Сначала он долгие годы пользовался сердечной симпатией Тиле. Какие чудесные отношения! Хотя он и много работал на Тиле, но этим одним еще не заслуживал ни такой благосклонности, ни сердечности. Франц и Артур. Словом, друзья. А когда исподволь возникла потребность в результатах иного свойства — ведь деловая жизнь никогда не замирает на месте,— когда пришлось взять на работу молодого д-ра Листа, Хорн снова мог сказать, что ему повезло, так как Тиле избрал преемником, а впоследствии и начальником Хорна столь деликатного и справедливого человека. Д-р Лист, очевидно, вполне понимал, какие проблемы ставит перед Хорном такая перемена. Ни он, ни Тиле ни единым намеком не дали понять, что Хорн теперь, собственно говоря, вообще не нужен. По нынешним временам требовался молодой, здоровый дипломированный юрист. Хорн мог остаться при нем в качестве подручного. Так он и протянул несколько лет. А потом лишь из деликатности и человечности они не давали Хорну заметить, насколько он стал лишним. Не найдется ли у вас сегодня несколько минут для шефа? — по-прежнему спрашивала фрейлейн Брасс. И самое удивительное, что Хорн долгие годы не замечал этого эшафота, сооруженного из вежливости и предупредительности. Он даже возводил всякую напраслину на д-ра Листа. Относился к нему как к сопернику. По меньшей мере года два он пытался собрать компрометирующий д-ра Листа материал. Но на этого молодого человека такого материала не было. Тогда Хорн от злобы и зависти начал отпускать шпильки по адресу д-ра Листа. Всюду, где бывал. И прежде всего у Тиле. И у госпожи Тиле. Когда он теперь представлял себе, как Тиле обсуждали его ядовитые сплетни с четою Лист, его бросало в жар от стыда. Странно, с какой отчетливостью Хорн вдруг осознал ту гнусную роль, которую годами играл у себя на работе. Чтобы понять это, нужна была поездка в Англию. Впервые он действительно увидел себя со стороны. И увиденное вызывало у него чувство омерзения. Хоть он понимал, что уже не сумеет перемениться. Станет и дальше околачиваться на службе, разбрызгивать ядовитые сплетни и тем самым выставлять себя на посмешище. Станет затевать еще более гнусные кампании против Тиле и Листа, дайте только придумать, как это сделать. Лучше

всего наложить под дверью Тиле большую кучу дерьма и намалевать им на двери свастику. А особенно ему хотелось повесить на дверную ручку квартиры д-ра Листа использованный презерватив, чтобы госпожу фон Лист тоже передернуло. И все эти донельзя омерзительные и примитивные козни он подтвердит самолично, такова его подлинная и высочайшая душевная потребность: с глубоким уважением и столь же глубоким презрением ваш Франц Хорн. Ах, вообще не следовало бы воображать себе все то, что он хотел причинить этим двум молодцам, иначе его понесет, да так, что уже не остановиться. Хорн просто не выносил совершенства этих двух мужчин и их жен. Он был типичный проигравший, из тех, кому для проигрыша не хватает величия. В его положении без величия просто делать нечего. Ну и покончим с этим. Но как? Ему следовало бы остаться в Англии. Дни, проведенные в Лондоне, многое прояснили. С тех пор как Хорн смог взглянуть на себя словно со стороны, он увидел, что начисто лишен величия, в котором нуждается как никто другой. Впервые ему удалось действительно ощутить себя паскудником, каким он и был. И хотя он знал, что всегда встанет на свою защиту, он впервые в жизни поверил, что в самом деле может презирать себя за все мысли и поступки, за все достойное презрения. Эта способность возникла у него именно сейчас. И, как он чувствовал, развивалась стремительно и неудержимо. Посмотрим, куда она его приведет. Во всяком случае, он должен оберегать Тиле и д-ра Листа. Это самое важное. Им действительно грозила опасность. Он чувствовал. Если бы сейчас он забрал из гаража свой «БМВ», тотчас ощутив неразрывную связь с машиной, прекрасное чувство, что никто и ничто, никакая сила на свете не сможет вторгнуться между ним и послушной малейшему его желанию машиной,— боже мой, до чего же коварен был тот индиец в автобусе! — а потом вывел бы машину из тускло поблескивающего под луной гаража на пустынную улицу и тотчас, как обычно, разогнал до огромной скорости и, если бы тогда переходил улицу д-р Лист... или Тиле... нажал бы он на тормоз? Хотеть-то он бы хотел... Только теперь он понял, что мог бы среагировать слишком поздно. Гнусный пес вроде него способен в конечном итоге на все. Нижние коренные зубы снова стали давить на верхнюю челюсть. За городом, в Хальденхофе, во время организованной фирмой экскурсии рослый д-р Лист стащил Хорна со стола, куда тот взобрался, чтобы спеть для всех еще одну песню. На загородных экскурсиях Хорн вечно вел себя так, будто они проводились исключительно ради него. А потом ему было за себя стыдно. Падая со стола, Хорн сломал ребро. Особой опасности это не представляло, но было весьма болезненно. Д-р Лист тут же во всеуслышание заявил, что боялся, как бы Хорн не спел что-нибудь еще более неприличное, чем до этого, а такого д-р Лист стерпеть не мог из-за Риты, своей семнадцатилетней секретарши, невинной девушки, вот почему он решил немедленно вмешаться. Он понимает, что падение со стола, как видно, причинило Хорну боль, он искренне об этом сожалеет и, чтобы разделить с Хорном хотя бы эту боль, готов сию же минуту воткнуть себе в руку вилку для жаркого. Спьяну он так и сделал, прежде чем ему успели помешать. Все были потрясены. Хорн даже всплакнул. И начал целовать руку д-ра Листа, стирая с нее кровь. Тиле обнял Хорна и д-ра Листа и сказал: «Отличные вы у меня ребята». Да, жизнь бывала и прекрасной, иногда. В спелом вишневом блеске глаз Тиле и во внезапно вспыхивающей фризской белокурости Хорста Листа. Но потом Хорн почему-то стал делать все не так. Проглядел собственное падение. А теперь уже слишком поздно. К счастью. Как он ни напрягался, больше ни одной дружелюбной мысли в голову ему не приходило. Он лишь чувствовал, что нужно остерегаться самого себя. Он сам себе казался

опасным. Мерзким и опасным. И соглашался с этим. Его устраивало даже презрение к самому себе. Наконец-то полная гармония. Такого в его жизни еще не бывало. Согласие с самим собой. Негодяй, презирающий сам себя. Обгаженная личность, издающая зловоние. Чудненько! Он прямо слышал, как это слово звучит в его мозгу. И мелодично шелестит в ушах. Какая майская ночь! Хорн ущипнул себя. Ему казалось, будто он провалился в трубу. И удивляется, что остался жив.

Темно-зеленые вагоны скорого поезда стояли на пути 5-б в ожидании тех, кто собрался в Оберланд. Если посадка на любой другой поезд в Ульме производится с крытой платформы, то на пути 5-б в поезд садятся под открытым небом. Входят в самые жесткие и тяжелые железнодорожные вагоны мира. Вот уже пятьдесят или сто лет в них перевозят запахи из Ульма в Фридрихсхафен и из Фридрихсхафена в Ульм. Запах вагонов не спутаешь ни с каким иным, неповторимый запах вагонов, курсирующих между Ульмом и Фридрихсхафеном. Как в ризнице, в которой жарили нижнее белье на свином сале. И хотя этот запах так давно возят туда и обратно через болота, леса и луга Оберланда, зачастую при открытых окнах, он ничего не вбирает в себя от болот, лесов и лугов, оставаясь все тем же поразительно стойким вагонным запахом дыма и аммиака, запахом скорого поезда с пути 5-б. Дивная майская ночь! И до чего теплая! Почему он решил, что на платформе свистит ледяной ветер? Вероятно, из-за множества греков. В Ульме никто не мерз. Все сидели в привычном вагонном запахе, ожидая шумной ночной поездки в родные места. По лицу каждого было видно, что еще утром, уезжая из дома, он знал, что вечером снова туда вернется. Хорн подумал, что ему как негодяю подобает ехать первым классом. Негодяй первого класса. Прошу соответствовать. Прошу раскрыть карты. Ну да. Ясно. Только он сел в поезд, как сразу почувствовал, будто едет теперь прямым ходом к Тиле и Листу. Скоро— ох как скоро! — их можно будет пожалеть. Во всяком случае, надо что-то придумать, чтобы уберечь этих двоих от него самого. Ему нужно как-то от них отвлечься. Но мыслимо ли вообще находиться с ними в одном помещении? Подать им руку и все такое? Уже давно Хорн скрывал происходившие в нем перемены, и вот теперь скрыть их уже невозможно. Лондон доказал это. Роль весельчака Хорна, любезного Хорна, миляги Хорна сыграна. Он всегда знал, что он вовсе не миляга, за которого его принимали. но не признавался себе, каким злобным он был на самом деле, преисполненным... да, да, ненависти, вражды, низости. Ему вспомнилось слово *бешенство*. Может быть, это слово вспомнилось ему потому, что напротив сидела женщина в охотничьем костюме. Одного с ним возраста. И, как ему показалось, очень на него похожая. Разве что такой высокой горчично-желтой шляпки с черным пером у него не было. До этого он еще не дошел. Но злая складка возле рта и у него такая же. И такой же укоризненно-ядовитый взгляд. Хорну вдруг очень захотелось сказать ей: не стукнуть ли вас, сударыня, сбоку по подбородку, чтобы вы хоть на секунду избавились от нажима нижней челюсти, мне это чувство знакомо, смотрите, у меня так же сводит челюсти, снизу вверх. Незадолго до отправления поезда в купе, разговаривая, вошли трое мужчин. Разговаривая, они сняли свои пальто, разговаривая, положили их в багажную сетку, разговаривая, сели, чтобы поговорить. Как на заседании. Один из них, лет пятидесяти,— шеф, другой, лет пятидесяти пяти,— его юрисконсульт, третий, лет тридцати,— тоже юрисконсульт. Шеф встал, снял пиджак и аккуратно положил поверх пальто. Тогда двое других тоже встали, сняли пиджаки и положили поверх своих пальто. Пятидесятипятилетний достал из портфеля пакет с бутербродами, которые захватил из дома, но за целый день так и не нашел времени съесть. Вероятно, шеф при-

глашал двух своих спутников на обед. Хорну это было знакомо: в таких случаях не надо платить суточные.

Хорн узнал, что все трое выехали сегодня чуть свет из Фридрихсхафена в Висбаден и теперь последним поездом возвращаются обратно. Как выяснилось, шеф арендовал там павильон для какого-то производства, а тот, кто сдал его в аренду, утверждал теперь: он-де сдал за такую низкую плату только в силу договоренности, что через два года шеф купит этот павильон. Два года прошли; скорее всего, шеф и вправду связал себя договорными обязательствами, и теперь оба юриста должны были все это уладить. Хорн подумал: знакомая история. Молодой юрист раскрыл «Шпигель». Журнал для уставших. Очевидно, решил, что рабочее время истекло. Пятидесятипятилетний, жуя свои бутерброды, без конца выдвигал новые предложения насчет того, как уклониться от покупки. Он ни на секунду не снимал с колен папки с документами. Постепенно это даже шефу наскучило. Он несколько раз повторил, что больше, чем сегодня сделано и обговорено, сделать и обговорить нельзя. После этих слов старый юрист какое-то время жевал молча. Потом вдруг его осенило, что об аннулировании сделки не может быть и речи, поэтому никто не смеет заставить их давать сведения. Документ противной стороны он назвал заключением экспертов с завышенными претензиями. Как видно, ему хотелось угодить шефу своей выносливостью даже в ночное время. Пятьдесят пять, а еще каков! Он был смешон. Конечно, он единственный из них носил подтяжки. Потом он даже предложил шефу и молодому юристу свои бутерброды. Те отказались, чуть заметно, но вполне убедительно качнув головой. Хорн с удовольствием влепил бы этому типу затрещину. Опять себя опозорил, этот паскуда, жалкая личность. Дама в охотничьем костюме по сравнению с ним просто клад. Впрочем, все они стоят друг друга: и дама в охотничьем костюме, и старый юрист, и он сам. На этот горчичного цвета колпачок, который она напялила, просто не насмотреться. Черное перо так покорно склонилось над шляпкой, что казалось, словно дама демонстрирует чудеса дрессировки. И конечно, в этот поздний вечер на ней были солнечные очки. Чего доброго, эти трое подумали, что она его жена. Хорн прикрыл лицо правой рукой. Ему захотелось тотчас же стать похожим на Гуго Вольфа или на Альбана Берга. Наверное, по нему видно? Те трое ничего не заметили. Хорн стряхнул наваждение. Старый паскуда юрист, разумеется, носил выше локтей резинки, которые предохраняли белые рукава его бесценной рубашки от соскальзывания и обтрепывания. Ну что там еще? — чуть не спросил Хорн. Кондуктор распахнул дверь. Массивные, прямо как у сейфов, двери купе первого класса со временем разболтались, и от первого рывка только поднимались вверх, а не отодвигались; лишь вторым рывком их снова опускали и сдвигали в сторону. У кого нет навыка, тот дергал дверь вверх и вниз три, четыре, а то и пять раз.

Дама никак не могла найти свой билет. Ей пришлось открыть маленький коричневый удивительно дешевый на вид чемоданчик, который стоял у нее на коленях. Билет оказался там. Но теперь каждый видел, что дама торгует солнечными очками. Полный чемодан солнечных очков. Почему она хотя бы не попыталась прикрыть их? Так и держала чемоданчик на коленях открытым. Значит, думала, что в начале мая еще не все магазины на озере заказали к сезону солнечные очки. О, женщина! Хорн увидел, как трое мужчин довольно-таки насмешливо взирают на беспорядочную кучу солнечных очков. Хорн вдруг почувствовал, что эта женщина вызывает у него глубокое уважение. Он восхищался ею. Не сводил с нее глаз. Но она ни разу на него не взглянула. Кондуктор снова закрыл тяжелую дверь. В Равенсбур-

ге кроме Хорна вышли монахиня и негр. Их встречали. Хорн вывел из гаража свою машину, но уже на выезде снова свернул к вокзалу. Потом обошел вокруг вокзального здания. В эту ночь обратного поезда на Ульм, разумеется, уже не будет. Хорн почувствовал что-то вроде удовлетворения, когда прошел мимо собственной машины, как будто она была чужая. Не следует всегда продумывать все до конца, мелькнуло у него в голове. Почему бы не прогуляться в Гальгенберг пешком. Ехать сейчас на машине по совершенно пустынным дорогам слишком рискованно. Он бы мчался как сумасшедший. Не смог бы с собой совладать. Что-нибудь сломал бы, если бы поехал. Это Хорн понял, едва очутился за воротами гаража. К счастью, он сообразил, что может подъехать к вокзалу. Он обошел вокруг вокзального здания и заглянул в расписание поездов, только чтобы придать смысл своей поездке на вокзал. Хорн всегда старался поступать так, чтобы любой наблюдатель мог легко объяснить себе его поступки. Во всяком случае, он очень старался не делать ничего, что показалось бы бессмысленным наблюдавшему за ним человеку. Например, подъехать на машине к вокзалу, выйти и тут же снова пешком отправиться в город — такого он никогда бы не сделал. Ты обязан быть понятным, думал Хорн, идя по городу. Он не меньше пяти минут простоял у вокзала, перед главным входом. Так долго никто не будет торчать на противоположной стороне, чтобы посмотреть, не вернется ли тот, кто поставил машину, и не заберет ли ее снова.

Хорн перешел железнодорожный мост и тотчас пустился бежать. В гору. Чем больше приходилось напрягаться, тем меньше угрожал ему собственный юмор. Д-р Лист отрицал всякий спорт. Д-р Лист мог себе это позволить. Д-ру Листу не грозил никакой юмор. Д-р Лист был скорее хозяином юмора. Мастером юмора. Частенько он уделял крупицу этого юмора Хорну и Хильде. Супруги Лист порой приближали к себе Хорна и Хильду, что, по-видимому, объяснялось опытом, приобретенным у Тиле и его жены, Аннемари. Какое-то время Хорну даже удавалось тешить себя надеждой, что они с Хильдой просто клад в сравнении с Тиле и его женой. Хотя бы потому, что всегда говорили: ФРАУ АННЕМАРИ. Они прямо-таки ввели в обиход это выражение.

Листы и Тиле побывали, например, на конгрессе в Париже. После этого чета Лист не упускала случая с новыми и новыми подробностями пересказывать события последнего парижского вечера. Рассказывая, муж и жена сменяли друг друга с нежным, как говорится, сдержанным усердием. В этой семье друг друга не перебивали. Больше всего Хорна поражало, что оба доводили рассказ до одинакового конца. Этого он просто не в силах понять. Степени их слитности. Неужели можно быть до такой степени слитным с другим человеком. Даже если Хорст иногда и поправлял свою жену, нравственная температура, или, скорее, температура их нравственности — а ведь она определяет атмосферу любого рассказа,— была одинакова. Слушая эту парижскую историю, которую супруги Лист разукрашивали все новыми деталями, Хорн прямо ослабевал от ощущения огромной силы Листов. В описании парижского ужина первый голос вел Хорст. При этом он, явно против своей воли, допускал комизм. И явно себя сдерживал. Нужно было показать несоответствие темперамента Тиле его познаниям во французском языке. Тиле не умеет говорить тихо и не может позволить кому-нибудь другому сделать заказ, хотя бы из стремления добиться, чтобы в конце ужина счет подали именно ему. И Тиле не допустит, чтобы вечер, который он вынужден провести с женой, шел своим обычным ходом, нет, ему нужно довести его до такого накала любви и обожания, чтобы жена могла еще раз почувствовать себя счастливой. Это значит, Тиле не намерен просто терять время, он на-

мерен провести вечер так, чтобы иметь возможность попрекать им фрау Аннемари, если та опять начнет жаловаться. А поскольку Тиле принимает все близко к сердцу, он с самого начала возбужден, как ребенок. И тогда он переходит на ломаный французский. Хорст пытается как можно незаметнее ему помочь. Не обязательно же каждому уметь говорить по-французски. Но Тиле не желает признать свою несостоятельность. И кричит на официанта. С сильнейшим американским акцентом. Поэтому Хорсту и его жене приходится корить себя за то, что они не помешали Тиле разыграть богатого боша, типичного немца. Хорст с женой робко кладут ручонки на стол, сидят потупившись и явно стыдятся своей несостоятельности. Они чувствуют, что были обязаны удержать Артура. Но ведь он такой непосредственный, такой саксонец, что там, в центре Парижа, вдруг оказываешься неспособным препятствовать ему. Вот за это и приходится себя корить, добавлял потом Хорст с самым что ни на есть безразличным видом. Это был его коронный номер. Потом, чтобы отомстить официанту за собственную грубость, Тиле был вынужден проверить счет, строчка за строчкой, и торжествующе-мягким голосом оспорить итоговую сумму. Через пять минут, если не раньше, ему все-таки пришлось — счет-то был совершенно правильный — заплатить ту сумму, которую он только что, призывая всех святых, наотрез отказывался выложить.

Историю посещения кабаре рассказывала большей частью госпожа Лист. О том, как могучий Тиле чуть ли не раздел и не изнасиловал хрупкую госпожу Лист в темноте прямо посреди танцзала. Затеяла это все фрау Аннемари, учтивым тоном добавлял Хорст. Она виновата, что мы вообще забрели в это самое заведение. И едва мы там оказались, как фрау Аннемари тоненьким, точно флейта, голоском сказала: надеюсь, вы не будете возражать, если я похищу вашего мужа и мы с ним потанцуем? Она изо всех сил старалась изобразить из себя женщину-вамп, хотя внешность у нее для этого совершенно неподходящая. Тут эстафету рассказа принимала госпожа фон Лист. Артур, говорила она, сразу же заявил, что при такой музыке он, к сожалению, на месте не усидит. Его будто кто пинал, как резиновый мяч,— так он топал и скакал под эту ужасную джазовую музыку. Но с явной претензией на виртуозность, весьма учтиво добавлял д-р Лист. Ну, конечно, говорила, чуть ли не восклицала, госпожа Лист, у Тиле это по-настоящему смешно. Если человек не умеет танцевать, он еще не смешон. Но если он исполняет каждое па с величественностью Нижинского, а на деле двигается, как деревянная кукла,— вот тогда он и вправду смешон. Смешон — это еще слишком мягко сказано, добавлял Хорст тоном неподкупной справедливости. О, конечно, говорила она, больше чем смешно, меньше чем смешно или уже вовсе не смешно то, что несостоявшийся триумф виртуозности Тиле относится к его виртуозности не как танцора, а как совратителя. А для объекта совращения это очень неприятно из-за полной неудачи *и* несмотря на нее. Вдруг Тиле в каком-то трагическом порыве прижал к себе госпожу Лист и тотчас бесконечно замедлил все свои движения. Потому что музыканты заиграли что-то медленное, пояснил Хорст исключительно справедливости ради. Какую-то сентиментальщину, добавляла госпожа фон Лист, и Хорн сразу чувствовал, что словечко «сентиментальщина» никак не в стиле этой женщины. Может, она произнесла его вообще впервые. А может, Хорну подумалось, что у него просто было чересчур ограниченное представление о госпоже Лист. Во время трагического порыва, который вдруг изобразил Тиле, замедлив все свои движения, лицо этого барыги приняло выражение заговорщика из любительского театра. А соответствует ли ее стилю слово «барыга»? Да. Хорн признался себе, что он опять не знает, кто такой «барыга». Он

только догадывался, что за этим словом кроется порицание коммерческой сноровки Артура Тиле, не осуждение коммерческой сноровки как таковой, а только и исключительно его сноровки, которой все тем не менее восхищаются, не могут не восхищаться, боже мой, да разве кому по силам тягаться с господином Тиле! Значит, Хорн чего-то не понимал, а спросить не решался, потому что слово употребляли слишком уверенно, и, стало быть, оно, несомненно, настолько известно, что вопрос о его значении вызвал бы неприятное удивление. Так вот, рассказывала госпожа фон Лист, руки этого барыги Артура у нее за спиной ужасно задергались. Очевидно, оттого, что туловище его настроилось теперь на медленную волну прижимания и отталкивания. О, боже мой, подумала она, что же теперь будет! Тиле прижал ее к себе со страшной силой. Она почувствовала, как краснеет. Не видя его лица, она не знала, шутит он или у него в самом деле не все в порядке. Руки Тиле, соскользнув с ее шеи, забрались ей под кофтулю. Кофтуля? Кофтуля? Разве это ее словечко? К сожалению, да. Она вся покрылась гусиной кожей. Ведь должен же он был это почувствовать. Гусиная кожа, как терка. Но Тиле ничего не замечал. Одна его рука скользнула еще глубже. Ища спасения, госпожа Лист отыскала взглядом Хорста. Но увидела лишь, как эта, пожалуй, слишком человеколюбивая фрау Аннемари именно в тот момент прижималась своей щекой к щеке Хорста. Обнаженными до плеч руками она еще в самом начале танца обвила его шею. Но госпоже фон Лист некогда было возмущаться, так как теперь Артур Тиле начал замедлять танец. Ноги ее сливались с его ногами, этими чудовищными ляжками, стальной мускулатурой которых он неустанно хвастался, рекламируя изгнанные из отечества тренажеры своего брата. Ну и силен барыга, сплошные мускулы — этого у него не отнимешь. Задыхаясь от омерзения, она выдавила: а как ваш сын? И это оказалось спасением, во всяком случае отсрочкой. Отличный парень, тут же ответил он, удивительно, даже страшновато, насколько Йоханнес опередил других детей своего возраста. Тиле вынужден без конца твердить Аннемари: не забывай, сколько ему лет. Ведь оттого, что он невероятно развит, все явно предъявляют к нему на первый взгляд чрезмерные требования. Однако потом выясняется, что требования эти вовсе не чрезмерны. Всякий раз, когда они считают, что из родительского тщеславия опять предъявили к Йоханнесу слишком высокие требования, он играючи доказывает, что для него слишком высоких требований не существует. И когда он, Артур Тиле, думает о том, что к нему, Артуру Тиле, относятся сейчас в известных кругах Милана, Парижа, Лондона и Нью-Йорка с восхищением или по крайней мере с невольным уважением или с восхищением, слитым со злобой, то он спрашивает себя, не будет ли наша земля тесноватой для его Йоханнеса. Поэтому ему иногда снится наивно-безрассудный отцовский сон, будто его Йоханнес находится в первом германском космическом корабле ХЕМНИЦ-ОДИН и радирует, что сейчас произведет посадку на Венеру. На Венеру, радость моя, ну что вы на это скажете, мой сорванец совершает посадку на Венеру... а его отец... Хорн давно уже перешел на спокойный, размеренный шаг. Он даже проскочил мимо Гальгенхальде. Свернул он, лишь дойдя до дороги на Шмалегг.

Очевидно, тебе хочется в лес.

Во всяком случае, не домой, пока у тебя в голове все еще повторяется прошлое.

Несколько лет назад он от нечего делать записал в две колонки то, что Лист говорил против Тиле и что Тиле говорил против Листа. Все свои надежды он возлагал тогда на их непреодолимую взаимную вражду. Радостнее первого цветения яблони и последнего снега были для

него доказательства враждебности этих двух сторон. Когда Тиле, спустя несколько месяцев, положил ему на плечо руку и снова пригласил поиграть в теннис на кортах Файтсбурга, красивейшего, по его словам, места в мире, а потом вскользь заметил, что д-р Лист какой-то чокнутый, может, и вправду сумасшедший и вообще своенравный и самодовольный себялюбец, с которым невозможно долго поддерживать отношения, потому что он всегда считает себя правым, то Хорн запротестовал, обрушив на Тиле целый водопад примеров, показывающих Листа как одного из приятнейших, предупредительнейших, справедливейших и милейших людей, каких он когда-либо встречал. И Хорну не пришлось кривить при этом душой. Он был словно мост между Артуром и Хорстом. Вот это миссия! Цель жизни. Не играть решающей роли. Быть только мостом, по которому они приблизятся друг к другу. Он с удовольствием выдержал бы их тяжесть. Но горе им, если они не придут. Если найдут друг друга без его помощи! Так оно и получилось. Сначала Тиле перестал обвинять и бранить Листа. Чем успешнее шли у Листа дела, тем дружелюбнее отзывался о нем Тиле.

Ведь имеет он на это право или нет?!

Конечно, имеет, но тогда я не желаю больше ничего и слышать об этом барыге!

И не услышишь. Ведь общение с Листом и с Тиле ограничено теперь только служебным временем.

Да, да, да.

И потому прошу — никакого возврата к тем временам, когда они тебя еще использовали.

И все-таки как было хорошо, когда госпожа фон Лист, заново испытывая чувство отвращения, рассказывала, как Тиле начал потом тереться кончиком носа о ее нос. Как приблизился ртом к ее виску и горячо дохнул ей прямо в ухо, отчего ее всю передернуло. Бедный Артур! La belle et la bête [1], говорил тогда д-р Лист и добавлял: это больше не повторится, все улажено, мы дали добряку понять, что человеческое общение слишком усложняется, если порядочность зависит от везения.

Не пора ли Хорну вернуться наконец домой? Конечно. Он направился обратно. Входя в комнату, он услышал жужжание. Звук шел от окна. На светлом подоконнике, раскинув лапки, лежала большая черная муха. Она пожужжала еще два раза. Потом лапки сомкнулись. Теперь она напоминала аккуратно связанный узелок. Мертва. У одних это бывает так, у других иначе. Ведь выводили же людей из вагонов и расстреливали среди бела дня у облупленной стены товарной станции. А другие замерзали. Третьи с раскрытым ртом умирали в траве от голода. Когда он еще жил с семьей на первом этаже, без конца приходили нищие и заученно твердили: я здесь проездом...

Хорн дремал, сидя в кресле. Ему слышался голос рефери, который считал: шесть, семь, восемь, девять, аут! Слышались вопли зрителей. Вот он встал. Публика свистела. Тот, кто его нокаутировал, проворно подбежал. Рефери с ухмылкой выполнил заключительные формальности. Хорну было не до ухмылок. Он вдруг почувствовал, что ему становилось легче, когда он по-настоящему напускал на себя вид побежденного, даже слишком по-настоящему. Тогда его наконец снова охватило чувство удовлетворения. Он не испытывал больше душевного разлада. Будто его подбросило: он вскочил с кресла и включил телевизор. Значит, вчера состоялись выборы. В земле Северный Рейн-Вестфалия. Ему казалось, что результаты их имеют значение и для него. Он смотрел передачу так, будто этим голосованием решалась его лич-

[1] Красавица и чудовище *(франц.)*.

ная судьба. В результатах он видел подтверждение своим опасениям. Результаты еще складывались, а Хорн тем временем понял, что требуется довольно много сил, чтобы усмотреть в каком-либо известии что-то для себя благоприятное. Очевидно, дело вот в чем: сильному во всем видится подтверждение, а тому, у кого сил уже нет,— опровержение. С непонятной жадностью он вдруг вспомнил зеленый броневик, который промчался по краю аэродрома, кстати ничуть не напугав Хорна. Временами броневик исчезал в зарослях, а потом снова появлялся в самом неожиданном месте. Этого было достаточно, чтобы воспринимать броневик как нечто забавное. В квартире Тиле был фонтан. С подсветом. Хорн любил стоять перед этим фонтаном. В Мюнхене, на вокзале, он прошел мимо толстого молодого человека, который кричал в телефонную трубку: «Сердечный привет, все в ажуре!»

Потом всплыла фраза: сухие ущелья. Потом типично железнодорожная фраза. Потом: пива, пожалуйста, пива, пива, иначе мне крышка.

Хорн поставил перед собой шеренгу банок с пивом и начал медленно, по одной, опустошать их. У заснувшего мистера Хита изо рта текла слюна. Мистер Хит говорил медленно, словно поставленная на слишком малую скорость грампластинка. Иногда последние звуки он медленно и тяжело, словно камень, подкатывал к губам напряженно работающим языком, а потом выталкивал изо рта; Хорн испытывал облегчение, когда эти звуки выбирались из немощных губ Хита.

Тиле прав: ты не добр, а тщеславен. Тиле — человек мужественный. Он не обращает внимания на то, что тот или иной о нем думает, действует так, как ему надо. И д-р Лист такой же.

Ты всегда был труслив и тщеславен. Всегда хотел быть на хорошем счету. Не больше. И с тех пор, как это уже не выходит, все для тебя кончилось. Вот так-то.

Когда знаешь, что́ в конечном итоге получилось, но не хочешь этому верить, то лучше всего встать на табуретку и рявкнуть на всю квартиру — как можно театральнее: все итоги неприемлемы! Потом почесать в затылке и рявкнуть несколько потише: во всяком случае, этот итог неприемлем. Пожалуйста, проверьте еще раз, чтобы получилось иначе. А то я пойду к кому-нибудь другому. Я буду до тех пор ходить к другому, пока не получится так, как хочется мне. Вот.

Сегодня утром паук в душевой исчез. Хорн впервые мог бы принять душ. Но он вдруг слишком разволновался, чтобы спокойно встать под душ.

Все эти дни ты не принимал душа, потому что тебе было бы неприятно увидеть удирающего оттуда огромного паука. А может, ты просто опять проявил тщеславие? Да, да, господин Тиле, я только хотел быть на хорошем счету у этого паука. Вы опять совершенно правильно догадались. Хит говорил, что Артур is a highly competitive man[1]. Хорн собирался передать эти слова Тиле. Ему было бы лестно. Он сказал бы, демонстрируя свой безукоризненный английский: Fair enough[2].

Английский у Тиле гораздо лучше, чем твой. Твой английский ничего не стоит. К счастью, об этом знаешь только ты и мистер Хит. Мистер Хит довольно хорошо говорит по-немецки. Ты уверял Тиле и Листа, что все переговоры в Англии вел на английском языке. А сам боялся встретиться в ЛОНДОН ДЕНЧЕРС с кем-нибудь, кого ты не поймешь. Погоди, д-р Лист еще об этом узнает.

Ну и пусть.

---

[1] Человек с развитым чувством конкуренции *(англ.)*.

[2] Это довольно справедливо *(англ.)*.

Ты вовсе не неуязвим. Верно, думаешь, ты так велик или так мал, что уже недосягаем для Тиле и Листа.

После разрыва приятно было сознавать, что твоя семья в безопасности. Уж она-то для Тиле и Листа недосягаема. Правда, тебе пришлось пригласить Тиле и Листа к себе. Лишь после того, как они провели у тебя целый вечер и убедились, что ты живешь здесь, в Гальгенхальде, один, лишь тогда здесь, наверху, стало действительно прекрасно. Теперь пусть делают, что хотят. С тобой им уже ничего не сделать. Так ты думал. Или так: что бы они с тобой ни сделали, не имеет теперь ни малейшего значения, потому что отразилось бы только на тебе и ни на ком другом. Им уже не разрушить с твоей помощью ни одну семью. Теперь и ты не разрушаешь по их заданию собственную семью. Твоя семья в безопасности. Ты не сообщил им нового адреса семьи. Хильда наконец получила для своих вокальных упражнений квартиру побольше. Ты только сказал им, что у нее все в порядке. Контактов у тебя с нею больше нет. Ты это не раз повторял. Чтобы они больше не питали никакой надежды. В будущем от них достанется только тебе. А это, откровенно говоря, вовсе не интересно. Боже мой, как прекрасно, когда можно сидеть вечером одному, в своем кресле, когда не надо держать в руках книгу, когда можно обо всем поразмыслить, то и дело наполняя бокал пивом, и с наслаждением думать о том, как мало значат для тебя удары Тиле и Листа, с тех пор как ты остался один.

Наверно, способность мыслить нужна лишь для того, чтобы отвести неприятное туда, где оно причиняет наименьшую боль.

Хорн упрекнул себя, что поторопился вынуть из ящика почту. Как бы ему хотелось найти там письмо от Хильды. Прежде чем вскрыть его, он пощупал бы, нет ли в нем фотокарточки ее и детей или только детей. Нет ничего хуже таких фотокарточек. Радоваться надо, что Хильда не написала и не послала фотокарточки. Он, конечно же, не радовался. Но позвольте! Позвольте, позвольте! Пустые орехи, если на них наступить, трещат громче всего. Извините, но такова жизнь. Значит, так бывает не только с ним. Он лишь живое тому подтверждение. И за это его не могут упрекнуть даже Тиле и Лист. Именно потому, что это присуще всем.

Однажды они пили пунш на террасе дома, куда только что вселилась чета Лист. Д-р Лист ушел в комнату за теплой шалью для жены. Хорн и госпожа Лист, оставшись одни в темноте, тут же замолчали. Хорн признался себе, что побаивается этой женщины. Вдруг она пронзительно позвала: «Хорст! Хорст! Хо-орст!» Хорн испугался. Д-р Лист выбежал из комнаты. Хорн почувствовал себя виноватым. Но госпожа Лист только сказала: «Ах, Хорст, принеси мне подушку». «Так меня пугать! Чтобы это было в последний раз!»— сказал д-р Лист, вернулся в комнату, принес оттуда подушку и нежно положил ее жене под спину. Пока Листа не было, госпожа фон Лист сказала: «Ах, Франц, вы не можете себе представить, как Хорст страдает из-за своего ужасного имени». Хорн сказал: «Ну что вы, госпожа Лист, что вы». Госпожа Лист рассмеялась. Ее смех показался Хорну слишком резким. И он признался себе, что опять не понял, что должен означать этот резкий смех. О боже, боже!

На тот званый вечер, первый после разрыва Хорна с семьей, Тиле и Лист приехали вместе. Хорн увидел их с балкона. Они приехали в машине Тиле. Значит, Тиле заезжал за Листом. Сделал большой крюк. Хорн и Лист пили торопливо и много. Казалось, будто они пьют наперегонки. Господин Тиле пил маленькими глотками. У Хорна было такое чувство, словно они договорились быть с ним особенно любезными. Господин Тиле положил руку Хорну на плечо и сказал: «Ах,

Франц, без вас мне не хотелось бы оставаться в нашей лавочке». А д-р Лист добавил: «Без Франца я вообще не хотел бы жить в этих краях». Господин Тиле сказал: «Завидую вам, Франц, вы, наверное, самый счастливый человек из тех, кого я знаю. Все вас любят. Везде вами восторгаются. Со всеми вы ладите. Вы просто воплощенная любезность». Когда Тиле вышел в уборную, д-р Лист сказал: «Вы мой единственный друг, Франц, иных у меня нет». Хорн так перепугался, что слова не мог вымолвить. До возвращения Тиле оба они молчали. Такого ведь не говорят, думал Хорн, боже ты мой, такого просто не говорят. Он заметил, что господин Тиле всякий раз, прежде чем проглотить, долго держит вино во рту. Хорн спросил, не слишком ли оно холодное. Господин Тиле ответил: «Ничего. Когда я садился в машину, жена сказала мне: будь осторожен, ты ведь знаешь, у Хорна вино всегда слишком холодное». Хорн хотел было что-то предпринять, но Тиле остановил его. Дескать, не такой уж он сноб. Так что бросьте. А то Хорст будет пить еще быстрее. «Тогда он станет еще правдоподобнее!»— истошно выкрикнул Хорн. Лист осведомился, что Хорн имеет в виду. Да вовсе ничего, сказал просто так, чтобы что-то сказать. «Жаль,— произнес Лист,— очень жаль, что вы не хотите быть со мной откровенным. Разумеется, не мне на этом настаивать. Я и так уже слишком много сказал в доме человека, который норовит обидеть своего гостя. Прощайте».

Он поднялся с такой поспешностью, что перевернул столик со всеми бутылками, бокалами и т. п. Господин Тиле побежал было за д-ром Листом. Но тот оказался в лифте прежде, чем Тиле смог его догнать. Тиле вернулся, сел в кресло и стал смотреть, как Хорн наводит порядок. Грязь на ковровом полу вызвала у Хорна чувство удовлетворения. Все-таки было правильно, подумал он, расстаться с семьей и оставить там светлый, как серебристый тополь, персидский ковер с голубыми и темно-синими вьюнками. Там он в безопасности. Тиле не скрывал огорчения. «Ну нельзя же так,— поминутно повторял он.— Как же вы могли мне такое устроить?— И после некоторой паузы:— Я ведь все же на несколько лет вас старше». Когда Тиле уходил, Хорн сказал: «Я очень сожалею».— «Да, такие вот дела,— произнес Тиле,— мы все работаем сверх своих сил, особенно я, только подумаю, что мне надо теперь отправляться домой... Вам-то, Франц, хорошо, я вам завидую, но вы заслужили, вы самый любезный человек из всех, кого я знаю, мне просто повезло, что я с вами знаком, у меня ведь нюх на людей. Хорст и вы, другую такую пару не скоро отыщешь...»

Потом Тиле вспомнил, что произошло. Вздохнул. Потом сказал: «Не поймите меня превратно, Франц, ведь мне абсолютно все равно, что за ссора вышла у вас с Хорстом, но вам надо бы хоть немножко считаться и со мной, хоть самую малость, понимаете, ведь я на несколько лет вас старше, очень хочется, чтобы с этим считались, поверьте мне, Франц, с вами будет точно так же, поверьте, вы оба сегодня ужас как распоясались, не посчитавшись со мной, я вас не упрекаю, но говорю, потому что должен сказать, потому что это меня мучает, я не усну, если не выскажу все, что меня гнетет, понимаете, у меня все должно вылиться наружу, такой уж я человек, и, по-моему, хорошо, что я такой, по-моему, даже очень хорошо, что я именно такой».

Только теперь Тиле нажал кнопку лифта. Потом повернулся к лифту и больше уже на Хорна не оглядывался. Он вытянул губы, словно намеревался свистнуть, и слегка выдохнул. В эти секунды он, как видно, был о себе чрезвычайно высокого мнения. Он слегка покачивался, потом распрямился и вошел в лифт, будто верхом на коне, который помчит его на заведомо выигранную битву. В последнюю секунду, когда дверь лифта уже закрывалась, Тиле крикнул: «Если зазвонит

телефон, трубку не снимать, может, это моя жена». Эту фразу он произнес по-военному четко. Хорн повалился в кресло. Такое чувство, будто он вовсе ничего и не пил. Мог бы хоть взглянуть на меня, подумал Хорн. Когда же он наконец прекратит заниматься подглядыванием, слежкой, собиранием фактов, проверками. Ведь пора бы уже, бог ты мой! Пора подвести черту. Все подсчитано. Счет закрыт. Итог обжалованию не подлежит. Слышишь? Не подлежит! Улыбок, которые сбивают тебя с толку, больше не будет!

Да что там говорить!

Хуже всего то, что ты тут же забудешь или отвергнешь все, о чем думаешь, весь свой семнадцатилетний опыт, если сейчас позвонит Тиле и скажет, что он все-таки тебя любит и ему все-таки жаль, что холодность в ваших отношениях усиливается, короче говоря, он предлагает воскресить сердечность, которая была между вами семь или четырнадцать лет тому назад. А ты станешь тогда болтать всякий вздор и в радостном возбуждении всю ночь напролет шагать по комнате.

Возможно, и так.

Значит, ты...

Что?

Не способен ничему научиться.

Возможно.

Тогда тебе уже не помочь.

Возможно.

Твое равнодушие напускное.

Возможно.

На самом деле ты боишься, зная, что коммунистическое воззвание с твоей подписью уже опубликовано и поэтому для Тиле ты человек конченый. Отныне он тебя не только забудет, но станет бороться с тобой. Рано или поздно ты вылетишь со службы. То, что сам ты не коммунист, тебе не поможет. Кто поддерживает коммунистов, тот для Тиле тоже коммунист. Ведь Хемниц называется ныне Карл-Маркс-Штадт. Может, по-твоему, это правильно? Разве не могли они построить ему новый город и не красть имя у старого работяги Хемница? Похищать, как говорит Тиле. Ведь они все там чокнутые, дружище. И Тиле постарается, чтобы ты нигде в этих краях не получил такой должности, какую занимаешь сейчас. Фирма была твоим родным домом. Ты потерял его потому, что ты коммунист. И нет никакой уверенности в том, что Хильде как бывшей жене коммуниста, как учительнице, долгие годы подвергавшейся влиянию коммуниста, позволят продолжать работу по специальности. Тебе надо исчезнуть. Или уехать. У Тиле вся полнота власти. Тиле тебя растопчет. У Тиле характер. Жизнестойкость. Величие. Сила. У Тиле все. Давай поднимайся и беги к машине. Уезжай, пока он не приказал арестовать тебя. Но куда же, помилуйте, куда?

Он вспомнил своего дядю Франца, который через девятнадцать лет вернулся из Северной Германии с тем же чемоданчиком, с которым девятнадцать лет назад восемнадцатилетним парнем сел в поезд в Оберрейтнау. Рассказывая о трудной, но удачливой жизни на чужбине, он всегда особо выделял два обстоятельства. Во-первых, превозносил до небес то, в чем с ним — он вполне вправе так сказать — никому не сравниться, а именно: он был и остался единственным мясником, который однажды двадцать семь часов кряду, не присев ни на секунду, разделывал туши, отделяя мясо от костей. Да, однажды двадцать семь часов кряду! А сколько раз приходилось вкалывать по шестнадцать, восемнадцать и двадцать часов кряду: надо — значит, надо. Не случайно почти все это время он работал у *одного* хозяина, каждый может спросить, встречал ли он мясника, который мог бы повторить такое. Пожалуйста, он готов дать каждому ганноверский адрес хозя-

ина. Во-вторых, он не знает никого, кто после девятнадцати лет такой работы, не оставлявшей ни минуты свободного времени, вернулся бы домой с тем же самым чемоданчиком. Дядюшка считал это удачей вдвойне. Он вернулся домой и остался прежним, не разбогател, не зазнался, не старался, как другие, сломать себе язык литературным произношением: его чемоданчик доказательство тому. Хорн чувствовал, что и сам готов повторить биографию дяди. Миляга Хорн! Никого так не любят, как его. Только все это вранье. Хорн не был милягой. И вот это вранье раскрылось. Любезнейший Хорн подписал коммунистическое воззвание в газете. Какой ужас! Бога надо благодарить, что не опубликовали ни его письма, ни фотографии. От всей души благодарить.

Извольте.

Прекрати, болван.

Не спи, сделай что-нибудь, иначе...

Что иначе?

Ничего.

Ты угрожаешь?

Да.

Я сейчас что-нибудь почитаю.

Только сейчас же. Давай. Читай. Читай же!

Что?

Лучше всего любимое. Какое-нибудь жизнеописание.

Ах да. Знаю. Лихтенберг был горбатый. Но зато он был Лихтенбергом. Моцарт был чахоточный, но зато он был Моцартом. Достоевский был эпилептиком. Но зато он был Достоевским. Гёльдерлин был сумасшедшим. Но до этого (и после этого) он был Гёльдерлином.

Ницше...

Конец.

Ему было бы куда приятнее, если бы все были одинаковы.

Всегда эти различия не в его пользу. У него отнимали то, что приписывали другим.

Отнимали у очень многих. Чтобы приписать немногим. И эти многие не жаловались. Хотя нет! Каждый человек мстит за любое различие, которое сделано не в его пользу,— сделано людьми, надеющимися извлечь из этого выгоду. Тот, кто проводит различия, никогда не извлечет выгоды. Прекратить!

Я чувствую себя посрамленным, как какой-нибудь неведомый философ.

Итак, сделай наконец что-нибудь!

Да. (Пауза.) Что?

Что-нибудь соответствующее.

Ладно.

Сгораю от любопытства.

Сколько угодно.

Отлично!

Погоди-ка.

Давай действуй, а не то...

Ты опять угрожаешь?

Да.

7

Он положил свои сломанные часы на черный ночной столик. Еще раз просмотрел почту. Удивительно, что ты никак не перестанешь ждать письма от Хильды и фотографий детей, хотя знаешь, что нет ничего невыносимее, чем получить такое письмо и такие фотографии. Он обнаружил письмо от Хайнца Мурга. Напечатанное. Так называемое «открытое» письмо. На имя обер-бургомистра. Подписавшие это

письмо требуют от обер-бургомистра, чтобы он обеспечил всем кандидатам равные шансы. Газеты не захотели опубликовать воззвание в пользу кандидата-коммуниста. Теперь те, кто подписал воззвание, должны подписать открытое письмо. Стало быть, Тиле еще ничего не знает о воззвании. Хорн почувствовал, что напряжение спадает. Сменяется какой-то жалкой расслабленностью. Хорн показался сам себе трусом, так как обрадовался, что Тиле не видел его имени под тем воззванием. Все, что на работе хоть чуточку напоминало о приветливости, было отвоевано Хайнцем Мургом. Казалось, Хайнца Мурга постоянно подстерегали неприятности, возникавшие по мере того, как фирма стремилась повысить годовую прибыль. И Ангел, у которого на правой руке недоставало трех, а на левой двух пальцев — ведь он был столяром,— тоже жил отдельно от семьи. Говорили, что его жена не могла больше выдержать, так как он денно и нощно занимался политикой. Что двое его сыновей лечились у логопеда. Говорили также, что его жену сманила какая-то знакомая медсестра. Нет никакого резона подписывать открытое письмо. И нет никакого резона его не подписывать. Для этого не нужно смелости. Смелости вообще не существует. Стоит лишь задуматься о том, где ты, и ты уже определяешь свое место. Потом нужно лишь сделать следующий шаг. Большего чем следующий шаг вообще сделать нельзя. Тот, кто утверждает, будто ему известно, какой шаг будет сделан после следующего, лжет. С таким человеком на всякий случай надо соблюдать осторожность. Но кто не делает следующего шага, хотя и понимает, что мог бы и должен бы его сделать, тот трус. Ведь следующий шаг всегда предопределен. Ведь следующий шаг никогда не составляет большой проблемы. О нем знаешь точно. Другое дело, что этот шаг может оказаться опасным. Не очень опасным. Но чуточку опасным может оказаться и предопределенный шаг. Если же ты сделаешь этот шаг, то, отважившись на него, ты обретешь и смелость. Делая этот шаг, ты не надорвешься, а почувствуешь себя сильнее. Именно то, что ты совершаешь шаг, на который считал себя неспособным, даст тебе ощущение силы. Существует не только опасность слишком большого риска, но и опасность слишком малого. Дорогу осилит идущий.

Что это за проповедь, подумал Хорн. Зачем я себя уговариваю? Хайнцу Мургу место в ратуше, это и так ясно. Но кто тогда окажется в ратуше? Ангел или партия, которая заводит шашни на стороне?

Ищешь себе лазейку? Не хочется презирать себя за то, что не подписываешь открытого письма?

Нет.

Да.

Нет.

Да.

Да, я ищу лазейку.

Может, хочешь вернуться к Тиле и Листу? Хочешь еще раз повторить старое. Еще раз услышать историю для мужчин, увидеть спелый вишневый блеск глаз и внезапно ставшего блондином Фра Анджелико, еще раз оказаться разжалованным, еще раз испытать изощренную, но морально безукоризненную жестокость четы Лист, еще раз убедиться в ненасытной страсти господина д-ра Листа к поучениям! Разве не он подсчитал, сколько договоров о поставках, которые ты заключил за семнадцать лет, оказались *промахами*, а сколько четко выполняются из года в год? Интересно, изучал он эпистолярный стиль этих фирм или нет?! Да неужто ты никак не уразумеешь, что господину д-ру Листу пришлось просмотреть твою корреспонденцию лишь для того, чтобы доказать твою служебную несостоятельность и лишить тебя оснований требовать прибавки к жалованью! Ведь не ради же анализа стиля и чу-

дес тренировки. Это же случилось именно в то время, когда ты просил принять тебя, чтобы переговорить о возможном повышении жалованья, поскольку его повышали всем, кроме тебя. Ты просто-напросто шел ко дну. Нельзя сказать, что прибавка была тебе так уж необходима. Ведь Хильда опять работала на полной ставке. Но ты не мог допустить, чтобы с тобой так обращались. Ведь категории жалованья — это должностные категории, а должностные категории зависят от сердечности отношений. Тиле с удивительным безразличием заявил, что тебя необходимо перевести в более низкую категорию, поскольку д-р Лист занимает теперь твою должность и, стало быть, ему полагается твое жалованье. Так что не обессудь. И добавил, что готов, если нужно, тотчас выдать тебе ссуду или премию — подарок за пятнадцатилетнюю беспорочную... Еще раз пережить все это? И ты еще упрекал себя, будто сам виноват, что Тиле вынужден так с тобой разговаривать. Ты и сейчас себя в этом упрекаешь. Боже мой, как нехорошо! Бедный Тиле! Только потому, что ты болван! Что значит нет? Что ты собираешься сделать, чтобы окончательно, слышишь, окончательно отрезать себе обратный путь к Тиле и Листу? Чтобы никогда больше не было минутной слабости. Одиссей велел привязать себя к мачте. Для тебя этого, по всей видимости, недостаточно. Так что же делать?

Если бы коммунистическая партия Хайнца Мурга не была иностранной...

Но она именно такая. Слепое доверие к ГДР. А сами кричат о том, что это заграница, пожалуй, еще громче, чем тебе бы хотелось.

А если коммунистическая партия Хайнца Мурга однажды станет нашей отечественной?

Каким образом?

С твоей помощью.

Что я, Лютер?

Значит, обратно к Тиле, Листу и им подобным?

Нет.

Значит?

Хорн расхаживал по комнате. Только никакого безрассудства. Уже ночь. Ночью легко потерять чувство равновесия. В рабочих записях о предпоследней поездке в Англию он перед нынешней поездкой прочитал, что рассказывала ему Сесили девятнадцать месяцев назад о своей умирающей бабушке. Всякий раз, когда бабушка доживала до трех часов утра, в семье оставляли надежду на то, что этой ночью она умрет. Врач внушил семье Сесили, что умирают только между двумя и тремя часами ночи. Что именно в это время по-настоящему не хватает сил. Часы у Хорна сломались, и он не знал, который час. Стал пить все торопливее.

Он посмел-таки признаться себе, что теперь уже невозможно прилечь и прочесть молитву о ниспослании сна...

Он просто не сумел бы сейчас переступить порог. Только спящим ты переходишь порог, за которым начинается сон. Еще никогда бодрствующий не засыпал. Только спящие могут заснуть. Так и запомни. Запомни.

А как же тогда нанести удар по Тиле и Листу? Пока он разыгрывал роль миляги Хорна и ни разу не дал им сдачи, они не подозревали о его существовании, даже не знали, что вытворяли с ним все эти годы.

Ведь воздерживаясь от ответного удара, он должен накопить энергию. По принципу водохранилища. Хотя бы потенциальную. Которую мог бы преобразовать. Или неумение давать сдачи беспрерывно уничтожает энергию, как торможение? А может, из-за того, что он никогда не умел дать сдачи, вся его энергия обернулась против него

самого? Осторожно с воображением! И словно в насмешку над своим предостерегающим окликом, он вдруг увидел, как скользит вниз с огромной кучи песка. Но Хорн не желал просто скользить, ему хотелось шагать. Однако как жалки были его шаги по сравнению со сползанием песчаных груд. И все же Хорн продолжал шагать, только бы чувствовать, будто дела его идут на спад не против собственной воли. Очевидно, хотел доказать себе, будто поддерживает что-то необходимое.

Так действуй же!

Да, да, сейчас.

Значит...

Надо лишь собраться с силами, которые помогут мне отделаться от самого себя.

Хорн вышел из комнаты. Но не в ванную, а в туалет. Там уже давно не проветривали, поэтому он открыл окно. Над долиной Шуссе со стороны Боднегга, над Альгойскими Альпами медленно вставала луна, жирно-желтая, почти оранжевая. А поперек луны паук натянул свою причудливую сеть и, повиснув на ней, спал. Паук висел перед его окном, за которым вставала луна. Хорн порадовался, что ни разу не принял в Лондоне душа. Благодаря этому у тамошнего паука выдалось несколько спокойных деньков. Значит, поездка в Англию все-таки имела смысл.

А что, если у него не хватит пива? Он вбежал в комнату. Нет, считать незачем, банок достаточно. И почему это ему до сих пор мерещится, будто он сидит однажды ночью у себя дома, а пиво кончилось, ведь уже сколько лет он ни за чем не следил так тщательно, как за пополнением пивных запасов. Но неизменно, как в кошмарном сне, ему мерещилась нехватка пива.

Хорн сел и выпил очередную банку с особым наслаждением. Он думал: теперь у меня одним опытом меньше. Его мучила мысль об этой фразе, но забыть ее он не мог. Ему казалось, будто на левом виске у него появилось коричневое пятно размером с пятимарковую монету. Слегка кипящее. Или пенящееся. Цвета пива. Он почувствовал, что совсем размяк.

Ты не принадлежишь к числу привилегированных. Радуйся. Для тебя же лучше. Твои доходы по сравнению с доходами других будут все меньше и меньше. Вскоре ты станешь бедняком. Чего тебе еще?

Хорну казалось, будто его лицо оплывает. Во всяком случае, оно снова отяжелело. Обвисло. Он чувствовал, как его обвисшее, оплывающее лицо становится все тяжелее и тяжелее. Ему казалось, что его лицо совершенно деформировалось. Я расплющиваю себя, сказал он. Он тосковал по строгому, ладно скроенному, мягко облегающему кости лицу. Каких только не бывает желаний! Хорн водил по лицу ногтями, пока не ощутил сопротивления. Потом царапал до тех пор, пока не ощутил на пальцах крови. Ему захотелось увидеть себя в зеркале. Пошел в ванную. Размазанная кровь не украшала его. А куда девалось коричневое пятно на левом виске? Пенистое, или, скорее, кипящее, или по крайней мере влажное? Смотреть на свое лицо не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Хотя бы из-за цвета. Жуткое сочетание бледной бесцветности, синевы и красноты. А нос? Тиле при встрече всякий раз сначала смотрел на его живот, потом на нос. Хорн уже подумывал, не начать ли пудрить нос. Собравшись с духом, он посмотрел на свое отражение в зеркале. Если что-то и могло увеличить омерзительность этого жирного, опухшего, страдальческого лица, то лишь ухмылка. И словно по команде, на его лице тотчас появилась отвратительнейшая ухмылка. О боже, неужели он всег-

да так выглядел, когда ухмылялся! Не удивительно, что Тиле страдал от этого. Хорну вдруг показалось, что он вовсе не тот, кто ухмыляется в зеркале. Во всяком случае, Хорн мог совершенно спокойно глядеть на того, кто в зеркале, судить о нем. Тот перед ним больше не притворялся. И даже если бы Хорн признался себе, что в зеркале он сам, то ведь, бесспорно, он был и тот, кто стоял перед зеркалом, кто с такой остротой ощущал омерзительность своего двойника. Хорн знал, что никогда по-настоящему не расстанется с самим собой, не осудит себя до конца, даже если будут приведены вопиющие улики, поэтому он и поспешил снова помириться с тем, кто был в зеркале. «Ведь это все тот же пакостник,— громко произнес он,— что в зеркале, что перед зеркалом». Зрение и слух убеждали, что он говорит синхронно с тем, кто в зеркале, и Хорн вновь ощутил с ним полную слитность. «Еще чего доброго станешь сам себе противен»,— сказал он. «Ничего не попишешь,— сказал он.— Кто заслужил дерьмо, сам дерьмо». И хотя он видел, что с каждой фразой лицо его принимает все более уродливое и мерзкое выражение, он продолжал разглагольствовать. Хорну казалось, будто он поскользнулся и ему не за что ухватиться. Теперь он даже заговорил в выспреннем тоне. Как перед публикой. «И вот,— говорил он,— погрязшие в дерьме протягивают друг другу руки и медленно, но верно выбираются из этого дерьма».

— Ты что, никак сдрейфил? — спросил он самого себя.

— О, нет,— ответил он,— вовсе не сдрейфил, напротив.

— Так что ж с тобой? — допытывался он.

— Я чувствую в себе удаль,— ответил он.

— Какая прелесть,— сказал он.— Я вполне бы понял, если бы ты сдрейфил. Я боялся, что ты продал свою удаль. Тем более меня радует, что она в тебе еще сохранилась.

— Дрейфить — дерьмовое чувство,— сказал он.

— Вот именно,— подтвердил он.

— Так значит...— снова сказал он.

Хорну казалось, будто его лицо, вернее, нижняя часть лица стала неимоверно тяжелой. Он уже ничего не мог с этим поделать. Челюсти начали свою игру. Да еще как. Вдруг челюсти наперебой стали отваливаться — то нижняя, то верхняя,— они стремительно распахивались и тут же смыкались опять. И давили. Сперва одна посопротивляется-посопротивляется, потом вдруг дернется, тотчас сомкнется с другой и еще больше усилит нажим. Потом другая. В уголках рта обнажились зубы. Потом скрылись. Потом снова обнажились.

Хорн отвернулся.

Но, едва перестав наблюдать за своими гримасами в зеркале, он увидел их в своем воображении. Причем очень четко. Четче, сильнее и явственнее, чем в зеркале. Он быстро достал из шкафчика три флакона таблеток, вышел из комнаты и разжевал пригоршню таблеток, но не проглотил. Во-первых, неприятный вкус таблеток был ему очень приятен. Во-вторых, челюстям доставляло удовольствие жевать их. Ему казалось, будто челюсти играют теперь сами с собой. Когда жевать стало совсем легко, Хорн разбавил эту жвачку пивом и проглотил. Он чувствовал, что все участвовавшие в глотании части его тела достигли предельной собранности. Налились огромной силой. Ему чудилось, что его требования могли бы быть куда выше, чем сейчас. Он еще раз набил рот таблетками, снова разжевал их, наслаждаясь неприятным вкусом и неумолимым жеванием. И снова все проглотил. Он повторил это еще несколько раз. Потом повязал голову на уровне рта шелковым шарфом, застегнул куртку и улегся на диван. Только он лег, как почувствовал в кармане что-то твердое. Подкова. Он вытащил ее и бросил на дорожку, которой застелил подпалину. Потом затянул шарф поту-

же. Шарф на лице напомнил ему кино. У него было приятное, великое чувство, что он лежит убитый. Он вспомнил о своем любимом киногерое Billy the Kid[1], о фразе: You had me do your killing. When I was through you put a prize on me[2]. Он видел этот фильм девятнадцать месяцев назад в Лондоне. А эту фразу занес в свою записную книжку.

Хорн искал чего-то такого, что можно себе представить. За что можно зацепиться. Ему надо было бороться со спешкой. Она уже давала себя знать. Досаждала. Причиняла беспокойство. Он увидел множество разных порхающих птиц. На какой-то равнине. Взгляни туда! Если быть точным, птицы уже взлетели, когда он их заметил. Несмотря на свои различия, они улетели теперь *единой* стаей, все вперемешку, в одном направлении. И было совершенно ясно, что их спугнуло беспокойство Хорна. Птицы не уменьшались в размерах. Они порхали, не улетая прочь. И это было упреком Хорну. Он спугнул птиц и мешал им улететь. Хорн чувствует озноб. Вокруг падают булыжники. Он пытается приподняться, мимо него ползут змеи, бегут кролики, все в том же направлении, и ветер дует туда же, унося с собой листья, кастрюли, жестянки, телефоны, оконные рамы, печные трубы, стальные конструкции и канцелярские скрепки. Хорну хочется петь. Мелодию ведет ужасная флейта. Только бы открыть рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки.

В величайшем величии появляются двое великих, Тиле и Лист. Лист посторонился, кланяется Тиле, тот выступает вперед, демонстрируя множество разных походок. Под конец на выбор остались только две: походка человека, выходящего из церкви после заупокойной мессы, и походка теннисиста, идущего от автомашины к кортам. Он выбирает походку теннисиста. Делает знак рукой. Сейчас он начнет. Хорн говорит: прошу вас! Он знает, что мог бы вышвырнуть за дверь и Тиле и Листа. Но ему доставляет удовольствие не вышвыривать их. Итак, Тиле начинает: совершенно ясно, Франц, нет никаких сомнений, то, что вы делаете, задумано вами как выпад против меня. Я не жалуюсь. Вы не обидитесь на меня за то, что я не скрываю своего разочарования. Хотя я и в этом не уверен. В наше время у людей развивается удивительная способность за что-нибудь на меня обижаться. Будто на этой борющейся за свое существование планете у людей нет более неотложных проблем. Но нет, сейчас самое важное — за что-то на меня обижаться, короче говоря, внушить ко мне отвращение. Совершенно ясно, своим поступком вы хотите внушить отвращение ко мне, в этом нет никаких сомнений. Ах, дорогой мой Франц! Но это вам не удастся, как и все, что вы предпринимали раньше. Поймите, Франц, это очень просто, ведь я сила производительная, а вы непроизводительная. То есть во мне нуждаются. А в вас нет. Вы, как нам известно, жизнененавистник. Тиле встает на большой красный надувной мяч, сразу же находит положение устойчивого равновесия и продолжает говорить. Прежде всего он бросает взгляд на Листа, который медленно кивает сверху вниз, а потом поднимает голову до обычной высоты. Так что, дорогой Франц, оставьте меня в покое. Поговорим лучше о вас. Мои страдания из-за вашего поступка вас не остановят. Напротив. Вы считаете себя обиженным. Вы тот самый давно известный нам из истории взбунтовавшийся мещанин. Но вы человек свободный. В нашем обществе каждый может себя проявить. И если вы думаете, что этим поступком сможете проявить себя лучше всего, то я, всю свою жизнь боровшийся вместе с доктором Буцериусом, вместе с Абсом, Нанне-

[1] Малыше Билли *(англ.)*.

[2] Ты заставил меня убить вместо тебя. А когда я все совершил, ты назначил за мою голову цену *(англ.)*.

ном, Штраусом, Зауэрбрухом, Караччиолой, Хайнцем Рюманом за право человека на самовыражение, я не смею вас удерживать.

Свобода человеческой воли — это самое великое, на что когда-либо была способна материя. Благодаря чему стали возможны ярчайшие достижения. Вы избрали себе жалкую долю, Франц. Пивное брюхо, пивной нос, пивной уровень. Не удивительно, что вы теперь самому себе кажетесь жалким, погрязли в своей убогости.

Хорн кричит: позвольте, господин Тиле, извините, что я перебиваю вас в столь ответственный момент, у меня в этот момент свела ногу чертовски болезненная судорога, от которой поморщился бы даже генерал де Голль. Прекратите! — кричит господин Тиле. Никаких намеков! Никакого подхалимства! Но признаюсь, Франц, если вас не будет, у меня не останется никого, кому я мог бы сказать, что первая судорога у меня в ноге случилась в каюте моей яхты, когда я занимался любовью с одной красоткой. С тех пор это болезненное недомогание повторяется часто и всегда во время любовных утех. Второй раз это случилось в Рюссельсгейме, в гостинице, не помню ее названия, как же она называлась, в... как же назывался этот городишко, Франц?.. Да, что же я хотел сказать, мое первое... Минуточку, ах да, вспомнил: первое подозрение, что вы готовы признать себя побежденным, зародилось у меня, когда вы отказались ехать со мной в Париж. Вспомните. И с тех пор нам пришлось мириться со множеством доказательств вашей усиливающейся вражды к жизни. Ведь дошло даже чуть ли не до коммунизма.

Может быть, он еще возьмет себя в руки, думали мы. Но вы этого не сделали. Вы все больше и больше опускались. И от этого страдала ваша работа. До чего же она страдала! Как и следовало ожидать, настоящих успехов у вас уже не было. Поэтому вы все меньше могли быть собою довольны. Вот поэтому-то вы все больше питали ненависть к самому себе. В душе. Пока эта ненависть к себе, заполнившая вас, не коснулась и вашей внешности. Мы имели возможность убедиться в этом. Надо сказать, что те, кто так строго судит себя, еще не самые плохие люди. С этой точки зрения, дорогой Франц, в ваших поступках есть своя закономерность. И я хочу со всей определенностью добавить: наш мир был бы значительно лучше, если бы каждый, сделав свое дело, нашел в себе силы уйти. Поэтому примите мое глубокое уважение, Франц. Хотя мне это и больно. Таких, как вы, рядом со мной никогда больше не будет. Самые сердечные вам пожелания, Франц. Прошу вас, если зазвонит телефон, не снимайте трубки, может, это моя жена. Без вас мне будет еще более одиноко. Придется ходить к женщинам, Франц. Во-первых, вам нельзя было оставлять семью. Бесчувственный чурбан вроде вас должен зарабатывать раз в двадцать больше, чем вы, если намерен сносно обеспечить брошенную семью. Во-вторых, по отношению к женскому полу вам, идиоту, не следовало бы отступаться. Однако то, что вы умели — hélas! [1] — не обращать внимания на женщин, показывает, что в вас, как в датской державе, какая-то гниль. И виной всему ваш коммунизм. В конце концов, как говорил Гёльдерлин, все возвращается к своим истокам. Иными словами, вы числитесь как записная бездарь. Жизнь переступает через вас. Бесшумно и незаметно. Все дальше и дальше. В беспредельность. Жизнь принадлежит сильным и слабым, но не дрянным, во веки веков аминь.

Тиле, стоя на красном набивном мяче, помахал рукой. Лист подошел ближе. Потом забрался в большую коробку из-под маргарина, которая доходила ему до колен. На голове у него шлем, в руке трость.

---

[1] Увы! *(франц.)*

Он сказал: кончайте свои приготовления. Заявите во всеуслышание, что готовы и впредь исполнять свой обычный долг. До чего бы мы докатились, если бы каждый норовил улизнуть. Такого я вообще не могу понять, Франц. Мне от этих ваших штучек ни жарко, ни холодно.

Тиле и Лист отступили назад. Д-р Лист жонглировал тростью, то и дело осушал рюмку водки, которую ему, вновь наполнив, подносили откуда-то сбоку восторженные слушатели.

Потом д-р Лист, точно фокусник, произнес: раз, два, три! Хорн тотчас почувствовал зловещее облегчение. Теперь наконец и д-р Лист ухмыльнулся. Ухмыльнулся потому, что удалось на время превратить госпожу фон Лист в подвесную лампу. Его белобрысые брови вдруг стали очень заметны. А из сверкающих синих глаз скатилось несколько настоящих синих слез в миску, полную северогерманского картофельного салата. Отличное вино, сказал Хорн и поежился. Я, Хорст, пьянчуга, который всегда молчит, сказал д-р Лист. Этот долговязый тип говорил удивительно низким голосом. Слышно было, что он еще продолжает говорить, но нельзя было уже разобрать ни одного слова. Слишком низкий был голос. Д-р Лист говорил будто из пещеры, где каждое, даже ясно произнесенное слово тут же бесследно растворялось. Прежде чем окончательно исчезнуть, д-р Лист достал из груди, словно из готического шкафчика, две великолепные бутылки «Вайсхербста» и поставил их перед Хорном. И вытянул губы. Говорить он больше не желал. Хорн решил, что это правильно. Тиле украсил свой уход головоломными трюками на медицинском мяче, чем вызвал бурю восторгов, прежде всего у молодых девушек. Как испанский тореро, стоя на цыпочках, он с головокружительной быстротой вертелся на стремительно катившемся мяче. Лоб его покраснел, будто опаленный. Хорн дал им обоим понять, чтобы они оставили его наконец в покое. Он уже сыт ими по горло. Хотелось бы мне никогда с вами не встречаться. Чтобы никогда не было того хорошего, чем я обязан вам двоим. Чтобы я остался в Боднегге, под иссохшей деревянной лестницей с наружной стороны дома, среди сараев для кроликов. Теперь между этими сараями качается на латунном маятнике... Хайнц Мург. Он крепко держится за маятник левой рукой, на которой всего три пальца, но Хорн опасается за него. Хочет ему помочь. Хочет придержать маятник. Но Хайнц Мург плюет на протянутые руки Хорна. Хайнц!— кричит Хорн. Тот, как видно, вовсе не боится раскачиваться. А Хорна он, вероятно, вовсе не заметил, стало быть, и не имел намерения в него плюнуть. Он просто смотрит мимо Хорна. Странным взглядом. Хорна охватывает ужас. Он рад, что может тут же перевести взгляд на кроликов, которые смирно сидят за сеткой и что-то грызут, как маленькие роботы. Хорн еще слышит, как со свистом раскачивается маятник. А потом чувствует, как у него постепенно зарастает сначала левое, потом правое ухо. Там, где всю жизнь шелестел страх, звенела пустота, теперь угнездилось что-то массивное. Появляется газовщик. Какое рискованное предприятие! Лето. Старый город. Бедно одетые старухи. Трое. Сидят. На деревянной лестнице. Чистят картошку. Хихикают. Лущат бобы. Напевая, с радостными возгласами, с присвистом мчится газовщик, чтобы успеть спастись от этого вечера в старом городе. Успевает. Старый город смердит ему вслед. Шапку долой перед Карлом Эрбом! Хорн преклоняет колени, крестится, принимает святую воду. Голос Хильды устремляется ввысь вместе с церковным нефом. К счастью, он уже ничего не слышит. Карл Эрб. Хильда. Missa brevis[1]. Озаренная солнцем церковь над озером. Фа-мажор. Голос Хильды рвется наружу. Затухает. Хорн вдавливается в самую дальнюю скамью. Хотя он уже ничего не слышит, ему знаком каждый звук

голоса Хильды. К счастью, быстро темнеет. Хорну кажется, что у него исчезло чувство юмора. Черный шквал проносится над озером. Снова моросит дождь. К счастью, у него больше нет времени. С запада ветер пышет жаром. Все путается. К счастью, он уже ничего не видит. Только молнию. Она стоит, похожая на единицу. О, священный пикантный соус!

Хорн проплыл над полюсом. Вынырнув с противоположной стороны, он еще чувствовал холод. Оттого, что мог шевелить только веками, он почувствовал, как веки мерзнут. Очутился в какой-то белой комнате. Большие белые глыбы плавали и колыхались. Слились в две огромные белые глыбы. Хотя глыбы были белые или бесцветные, Хорн узнал их. По очертаниям. Тиле и Лист. Он не мог шевельнуться. Не мог ничего сказать. Фигуры Тиле и Листа взирали на него сверху вниз. Свесили головы прямо над ним. Как светильники. Хорн ощутил у себя в голове контакты. Чувствовал, как они ждут, что он узнает в них Тиле и Листа. Они были нестерпимо бесцветны. Откуда они только взялись? Наверно, что-то делали вместе. Он чувствовал, что ему каким-то образом надо дать им понять глазами, мимикой, что он их узнал. Боже мой. Тиле уже стал большей глыбой, чем Лист. Почти все пространство над Хорном заполнял собою Тиле.

Хорн что-то услышал. Ко всему, что он видел, прибавилось еще и услышанное. Он подумал: шаги. Он слышал что-то такое, к чему подходило слово ШАГИ. Ему казалось, что наступает развязка, блаженство. Ему казалось, что с той минуты, как он определил услышанный шум словом ШАГИ, у него перестала болеть голова. Причем он заметил, что этот шум он услышал еще до того, как назвал его ШАГАМИ, и тогда он чувствовал боль. Шаги по гравиевой дорожке. Он их слышал сейчас или это воспоминание? Субботний вечер. Тиле в первый раз сказал ему, чтобы он привел с собой свою старшую дочь. Аманда. Хорн всегда стыдился этого имени. Может, Тиле забыл, как ее зовут, а может, это имя ему тоже не нравилось. Хорн ответил, что узнает дома, сможет ли его дочь прийти в субботу. А про себя подумал: все правильно, Аманда на два года моложе Йоханнеса, сына Тиле, разница не ахти какая, но не обязательно же им сию минуту жениться, могут ведь и поговорить друг с другом, даже если в школе их разделяют три класса и Йоханнес Тиле гений. Когда Хорн проходил с Амандой через сад Тиле к дому, он тихо, но зло буркнул: не горбись! Аманда вздрогнула, подняла голову, плечи ее рванулись назад, ее как током ударило. Теперь она шла, судорожно выпрямившись, откинувшись назад, с неподвижно застывшими плечами. Будто нарочно пародировала походку, которую требовал отец. Да, ничего себе, хороша, подумал Хорн. Он знал, что Аманда совершенно серьезно следила за своей походкой. В угоду отцу. Глаза ее широко раскрылись, широкие брови взметнулись на лоб. Она едва дышала от напряжения. В нескольких метрах от двери Хорн, не придумав ничего лучшего, стукнул ее кулаком по плечу. В самое чувствительное место. Она тихонько вскрикнула. Как мышь, подумал Хорн. Но по крайней мере избавилась от спазмы, перестала неестественно напрягаться. Однако тут, к своему ужасу, Хорн увидел, что Аманда не способна принять другую позу. Казалось, своим ударом он выбил из ее тела все кости. Она обмякла. Хорн быстро подскочил к ней, осторожно зажал в коленях папку с гравюрой, изображавшей площадь Россмаркт с фонтаном «Саксония» в Хемнице, и взял Аманду за плечи. Хотел вправить ей плечи. Но плечи эти оказались необычайно подвижными, податливо гибкими. Хорн придал им нормальное положение. Это оказалось настолько легко, что

[1] Короткая месса *(лат.)*.

ему тотчас стало ясно, что эти плечи не удастся закрепить ни в одном положении. Он понял, что любая следующая попытка лишь еще больше обезобразит позу Аманды. Поэтому Хорн улыбнулся и сказал: не имеет никакого значения, как ты ходишь, не правда ли? Ходи, как тебе удобно, как нравится, и извини меня. Он встал рядом с ней и, когда они двинулись дальше, положил свою руку Аманде на плечо, чтобы придать ей уверенности. И хотя Хорн старался сделать это как можно мягче, даже малейшего прикосновения его руки оказалось достаточно, чтобы Аманда вся съежилась. Хорн испуганно отнял руку. Вот они подходят к увитой диким виноградом двери, и Тиле, красуясь во всем своем великолепии и непринужденности среди этих зарослей, громко смеется, увидев, что Аманда стоит перед ним с опущенными плечами, а Хорн быстро останавливается за ее спиной и, как бы играя, оттягивает ей плечи назад, но они не могут удержаться в таком положении. Что с тобой сделали? — кричит господин Тиле. Хорн, желая отвлечь его от Аманды, протягивает Тиле папку, открывает ее, чтобы при виде площади Россмаркт с фонтаном «Саксония» он издал желанный, проникнутый глубоким чувством стон: чуудоо! — и начисто забыл про Хорна и Аманду. Я думал, что это, быть может, немного вас обрадует, произнес Хорн как можно мягче. Он боялся, что Тиле от восторга уйдет к себе в дом без него и без Аманды.

Хорну показалось, что фигуры Тиле и Листа снова распрямились, перестав нависать над ним так низко. Тем самым требование сделать наконец знак, что он их узнал, до поры до времени ослабло. Хорн почувствовал, что добился маленького успеха. В глубине белого пространства между фигурами Тиле и Листа появилась еще одна фигура. Женщина. Она приближалась. В голове Хорна вспыхнуло: Хильда. Имени он не мог произнести. Но знал. Явственно ощутимой вспышкой возникло у него в голове это имя. Как щелчок бича, родилось у него в голове это имя. Хильда подошла еще ближе. Имя парило над ней, как пламя. Троица, подумал Хорн и почувствовал, что все теперь будет хорошо. Она прошла между фигурами Тиле и Листа. Оказалась рядом. Но это была не Хильда. Это была госпожа Тиле. Хорн не мог больше на нее смотреть. Его бросило в жар. Его всего распирало. Страх. Он чувствовал страх. Госпожа Тиле заметила, что он разочарован тем, что это она, а не Хильда. Резким напряжением воли ему удалось закрыть глаза. Он услышал, как Тиле страшно громким голосом произнес: жив.

■

«По ту сторону любви» — название символическое. Оно означает: по ту сторону жизни. Состояние, тождественное небытию, умиранию, ибо жизнь без любви, тепла, доброты для героев Мартина Вальзера немыслима, невозможна. Способность к любви и к счастью самым тесным образом сопряжена с общим жизненным статусом человека. Полное отчуждение приводит к тому, что все чувства оказываются как бы ампутированными. Следствием затяжной болезни, порожденной индивидуализмом и конкуренцией, которую Вальзер в одном из своих романов называет по имени героя «Болезнью Галлистля», становится неспособность любить, радоваться, испытывать нежность, наслаждаться жизнью. Личность попросту ссыхается, из нее вместе с чувствами, желаниями улетучивается жизнь. Возможность любви синонимична у Вальзера возможности осмысленного, достойного человека существования.

Франц Хорн, герой романа «По ту сторону любви», представлен в тот момент своей жизни, когда, лишившись надежды, тяжко разочаровавшись, он очутился, подобно другим вальзеровским героям, на грани полной катастрофы. Он болен той же болезнью, болен, пожалуй, серьезнее, чем его предшественники, герои предыдущих романов Вальзера. Только он — другой, он, как говорится, человек из плоти и крови, живой, страдающий, несчастливый, беззащитный. Он человек совестливый и уже потому обречен на неудачи.

Не один десяток лет жизни он отдал фирме «Хемницкие зубы», способствовал росту ее престижа и, конечно же, прибылей. Его связывают давние и кажущиеся почти дружескими отношения с главой фирмы Тиле. Однако с некоторых пор добросовестного и честного, но стареющего Хорна начинает активно оттеснять молодой и напористый соперник доктор Лист. Хорн теряет почву под ногами, а вместе с ней — и веру в себя. Все у него не ладится, не клеится, деловая поездка в Англию не приносит нужных результатов, ибо порядочный и мягкий Хорн не умеет брать партнеров по бизнесу за горло, как того требует его шеф. Герой уже не соответствует жестким требованиям жизни, он попросту неконкурентоспособен. Перед нами развертывается постепенный, но неудержимый процесс деформации личности, в итоге которого герой, полностью утратив доверие к себе, оказывается «по ту сторону любви».

Роман написан своеобразно — в нем происходит как бы слияние внутреннего монолога героя с авторской речью, сопряжение «всезнающего» рассказчика с его персонажем. В то же время автор отнюдь не отождествляет себя с героем. В его отношении к Хорну сплавляются сочувствие и насмешка, грусть и ирония. Следуя брехтовскому принципу «очуждения», автор смотрит на него с иронической дистанции, показывая нам типичного западногерманского служащего, напичканного буржуазной пропагандой. Хотя Хорн и подписал коммунистическое воззвание, читателю ясно, что он совершил это вовсе не по убеждению,— такая политическая каша царит у него в голове.

Основу вальзеровской прозы составляют точность наблюдения, мастерски обыгранная гротескная деталь, шаржированная зарисовка, пародийная жанровая картинка, иронический портрет. Правда, пристрастие к подробности, микроскопизм анализа приводили порой к эффекту «перенасыщенного раствора», некоторой вялости изложения. В данном же романе писатель, избавившись от былого многословия, достигает впечатляющей целостности, спаянности. Роман «По ту сторону любви», конечно, несопоставим с прежними крупными эпическими произведениями Вальзера по широте изображения, по пространственному охвату, зато он выигрывает в глубине психологического анализа, проникновения в человеческий характер, постижения тончайших нюансов человеческих отношений.

Мартин Вальзер всегда был в числе тех западногерманских писателей, кто остро отзывался на социальные и нравственные беды «общества потребления». В конце 60-х годов на фоне общественного подъема в ФРГ, связанного, в частности, с движением молодежи, в его произведениях зазвучал мотив солидарности, человеческого сближения, надежды. Политическая атмосфера 70-х годов не оправдала надежд демократически настроенных писателей, мало способствовала оптимизму. Не случайно в романе «По ту сторону любви» уже не слышно уверенно-радостной ноты, осветившей финал «Болезни Галлистля». И все же итог его не пессимистичен.

Сохраняя за читателем возможность для собственной интерпретации, размышлений, додумывания, Вальзер оставляет финал романа «открытым» — прием, весьма распространенный в современной литературе. Писатель хочет, чтобы критика общества, содержащаяся в «По ту сторону любви», подвела читателя к «конструктивным» выводам. Тем более, что у героя еще есть возможность найти выход — недаром в конце романа сказано: «Жив». Это тоже ведь немало — остаться жить. Остаться жить — значит обрести новую надежду стать человеком.

Вальзер всегда резко выступал против литературы, которая пытается увековечить существующие условия, вырывая их из контекста истории и отрицая даже самую мысль об их изменении,— литературы, пытающейся внушить читателю, «что кругом царит полное отчаяние и у человека нет шансов». Романы Вальзера всем своим художественным строем ломают представление о безысходности бытия. Предельно печальный конец романа говорит не об отчаянии, а о бескомпромиссности отношения Вальзера к обществу, в котором он живет.

И. МЛЕЧИНА

Критика

Н. РЖЕВСКАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

Новые явления во французской прозе 70-х годов

Современнику обычно трудно бывает оценить все значение происходящих на его глазах событий и сразу определить их смысл в истории. Тем не менее для того, чтобы уловить движение и попытаться понять, что изменяется в той или иной области человеческой жизни, не нужно ждать, чтобы прошли десятилетия.

Вполне очевидно, что с начала 70-х годов во французской литературе стали совершаться известные перемены, позволяющие говорить о наступлении нового периода в ее развитии.

При всем нежелании обеднять и схематизировать картину живого литературного процесса нельзя не признать, что 60-е годы в истории французской литературы были во многом периодом господства неоавангардистского экспериментаторства. Утверждая это, мы вовсе не хотим сказать, что реалистическая традиция умерла, и не забываем, что именно тогда писали, вернее, продолжали писать и Лану, и Шаброль, и Базен, а не только Соллерс, Фай или Рикарду. Но то, что определяет лицо десятилетия, не обязательно войдет затем в историю литературы как безусловная эстетическая ценность; несостоятельность явления может обнаружиться довольно скоро, что тем не менее не мешает рассматривать его как показательное для данного отрезка времени. Так случилось и с неоавангардизмом в 60-е годы; применительно к этому периоду можно говорить о господстве «антиромана» (речь идет только о прозе, точнее — о романе), его буквальном засилии, хотя крах его претензий, вызвавший глубокое разочарование в нем уже на рубеже 60—70-х годов, сомнению не подлежит.

Значит ли это, что неоавангардистский роман умер и теперь во Франции пишутся только реалистические романы? Конечно же, нет. По-прежнему продолжают писать мэтры неоформализма и творят признанные мастера реалистической прозы, но одновременно в литературу приходят и новые художники, творчество которых несет в себе черты, характеризующие своеобразие данного времени.

Не претендуя на то, чтобы дать определение этого периода — что кажется сейчас преждевременным,— хотелось бы показать специфику сегодняшнего момента в развитии французской прозы, обращаясь к тем именам, которые появились в 70-е годы.

В литературу приходит писатель. С чем? Какие проблемы кажутся ему насущными? Какие художественные задачи он решает? Изучение этого материала помогает многое уяснить, хотя мы вполне отдаем себе отчет, что творчество молодых — не единственный критерий в оценке современной литературной ситуации. Не единственный, но тем не менее очень важный.

Когда еженедельник «Нувель литтерер» обратился к пятидесяти романистам, дебютировавшим в 1976 году, с вопросом о том, почему они выбрали именно жанр романа, в многоголосице ответов отчетливо звучала одна нота: желание быть прочитанным, стремление установить контакты с читателем, быть понятым и воспринятым. Роман казался для этого наиболее приемлемой формой. Примечательно и то, что большинство начинающих романистов ставило перед собой задачу рассказать «историю»,

вернув таким образом роману одно из его основных качеств — повествовательную фактуру, которую он едва не утратил полностью под пером неоавангардистов. Правда, не следует думать, что «история» в данном случае — синоним интриги или связного линейного повествования. Эксперименты «нового» и «нового «нового романа» [1] не прошли для современной литературы бесследно. И у нас нет никаких оснований предполагать, что во Франции происходит возврат классического романа. Этого нет. Но есть стремление построить сюжет, создать образ героя — единый, цельный образ, не распадающийся на множество «я», «ты», «он», а организующий повествование. Все это факты, достойные самого пристального внимания.

Судьба человеческой личности — едва ли не вечная тема литературы; когда литература перестает интересоваться ею, она утрачивает само свое существо, превращаясь либо в эстетскую игру, либо в плакат. Во французской прозе 60-х годов можно найти множество примеров того и другого: создавалось впечатление, что писателей, претендовавших на то, чтобы сказать новое слово в искусстве, занимало все что угодно, только не человек, понимаемый как сложный нравственный и социальный феномен. Решение этих проблем предоставлялось «старикам», а большинство тех, кто задавал тон на французском книжном рынке в 60-е годы, провозгласили, вслед за «новыми» романистами, отказ от героя и изображения реальных обстоятельств его жизни.

Пристальное внимание к человеческой личности, попытки определить ее место в капиталистическом обществе, понять взаимоотношения человека с материальным миром сегодня — все, что столь характерно для творчества писателей, пришедших в литературу в 70-е годы, не следует воспринимать лишь как реакцию на сочинения неоавангардистов. Эти проблемы поставлены сейчас с небывалой остротой в центр размышлений философов, политиков, социологов и художников самим развитием современной истории и далеко не представляют собой явления чисто литературного. Хотя французская литература сегодняшнего дня — от крупных мастеров (например, Андре Мальро в его посмертно вышедшей книге «Бренный человек и литература») до начинающих — кажется, поглощена ими всецело.

В отличие от создателей реалистического романа 60-х годов, с его тяготением к масштабности, монументальности, острой постановке социальных проблем,— писатели, выступившие в 70-е годы, проявляют наибольший интерес к частному, индивидуальному. Обращение к судьбе отдельной личности, понимаемой как самая большая ценность, обусловливает некоторые жанровые особенности произведений последних лет — чаще всего это роман-исповедь, то приближающийся к «роману воспитания», то напоминающий психологический этюд. Камерный характер многих книг, сужение охвата изображаемого, сокращение числа действующих лиц и очень распространенный прием повествования от первого лица — все это черты, казалось бы сближающие прозу 70-х годов с «новым романом». Но при всем том в ней появляется новое качество — социальное звучание и гуманистический пафос, резко отличающее ее от формальных экспериментов предыдущего десятилетия.

Когда Паскаль Лэне в повести «Кружевница» (1974)[1] избирает своей героиней заурядную девочку Помм, превращенную «обществом потребления» в едва ли не бессловесное существо, якобы пригодное лишь к физическому труду, он всей ее судьбой утверждает мысль о ценности и красоте обычного, ничем не выделяющегося человека. Мысль не новая, но звучащая очень свежо в мире, где превыше всего ценятся вещи.

Вещи Паскаль Лэне описывает тщательно и с большим знанием дела: здесь и модные марки автомобилей, и мужские рубашки от Ланвена, и дамские сумки от Гермеса... Традиции целого направления во французской литературе предшествующего десятилетия, поставившего своей главной задачей описание мира вещей и получившего поэтому название «шозизм» (от французского слова «la chose» — вещь), усвоены П. Лэне достаточно прочно. Но в отличие от «шозистов» для него описание вещи не самоцель: его интересует проблема взаимоотношения человека и окружающих его предметов. Он показывает, как губительна власть вещного мира над человеком — губительна, но не всесильна.

То же беспокойство за судьбу человеческой личности отличает и роман Мари-Луизы Омон «Маршрут» (1976) — второе произведение писательницы, получившей за него премию «Фемина» 1976 года. «Маршрут» — даже не роман-исповедь, скорее роман-отчет, так сухо, почти бесстрастно его героиня — заурядная парижская служащая — рассказывает о своей жизни, повседневном, будничном существовании. Мы узнаем о серой, монотонной, упорядоченной до автоматизма жизни, впрочем, как будто вполне благополучной и устроенной. «Теперь, когда я притерпелась к своим оковам,— признается она,— когда знаю, как опасны любые попытки их сбросить, ибо они оберегают меня от всяких неожиданных встреч — с мыслями и с людьми, я прекрасно чувствую себя за этими вечными стенами». Признание красноречивое, но не совсем искреннее. Потому что невозможно не ощутить, как безрадостен мир, окружающий эту женщину, как одинока она, лишенная теплоты дружеских отношений и встреч, как на самом деле нуждается в общении и участии.

М.-Л. Омон показывает, что образ жизни, который ведет ее героиня, обесчеловечивает

[1] Так во французской критике принято называть «тексты» писателей группы «Тель кель».

[1] Опубликована в «ИЛ» № 9. 1976 и вышла отдельным изданием — М., «Молодая гвардия», 1977.

личность, превращая ее в автомат, механизм. И писательница бьет тревогу. Ибо ей, как и Лэне, человеческое существо, думающее, мечтающее, способное остро и глубоко чувствовать, представляется самой большой безусловной ценностью. Лэне заявляет об этом прямо. Омон — скорее доказательством от противного. Исходя из общих этических принципов, оба автора по существу решают и сходные эстетические задачи. При этом нельзя не обратить внимание на одну, характерную для художественной ткани обоих произведений, черту. Их авторы словно боятся войти во внутренний мир своих героинь, предпочитая показывать его извне, со стороны, опосредованно. Мы не видим, что происходит в душе Помм, не знаем, что она чувствует и думает,— мы узнаем лишь о результатах пережитого. Избегает прямого изображения и Омон, хотя в избранном ею жанре оно выглядело бы как будто так органично и оправданно. Чем это объясняется?

Обстановка, тот материальный мир современной Франции, в котором живут героини Лэне и Омон, описаны достоверно, реалистически убедительно, более убедительно, чем внутренний мир каждой из женщин. Но думается, что объясняется это отнюдь не недостатком мастерства писателей,— скорее их стремлением подчеркнуть губительное, обезличивающее воздействие современного капиталистического общества на внутренний мир человека.

Как спастись от его воздействия? Что противопоставить ему? Девочку Помм превращает в настоящего человека глубокое чувство, которое она сумела испытать,— а ведь это дано не всякому; рассказчицу из «Маршрута» — потребность в дружеской солидарности, заставившая ее в нужный момент преодолеть те внутренние барьеры, которыми люди отделены друг от друга, и прийти на помощь окружающим. Пусть нарушатся равновесие и спокойствие, царившие в ее жизни, пусть придется ей страдать — вне этого, утверждает своим романом М.-Л. Омон, нет и настоящей жизни.

Героине нового романа Пьеретты Флетьо «История картины» (1977) — она является также автором романа «История летучей мыши» (1975) и сборника рассказов «Очки и пропасть» (1976) — спасти в себе человека, противостоять мертвящей и обезличивающей силе материально-технической цивилизации помогает искусство.

Патрика Модиано, почти единодушно признанного французской критикой одним из наиболее талантливых молодых прозаиков сегодняшней Франции, в отличие от Лэне и Омон, занимает не столько вопрос о существовании человека сегодня и его взаимоотношениях с окружающей реальной средой, сколько проблемы, поставленные в известной мере метафизически. Что представляет собой человек? Каковы его отношения со всеразрушающим движением времени? Чтобы устоять, не быть раздавленным, человек, утверждает П. Модиано, должен осознать самого себя, собственное прошлое, свои «истоки». Чтобы понять, что с ним может стать, он должен представлять себе не только то, что он есть, но и то, что ему непосредственно предшествовало. Эти поиски «истоков» становятся своего рода навязчивой идеей главных персонажей Модиано, живущих в замкнутом мире, словно нарочито изолированном от жгучих проблем современности.

Герой романа «Бульварное кольцо» (1972), наделенный рядом автобиографических черт, мучительно ищет своего отца. Он почти ничего не знает о нем, но узнать и понять его представляется ему очень важным, потому что он хочет понять самого себя. Он едет в те места, где мог находиться отец во время войны, разыскивает людей, которые могли его знать, случайно находит полустершуюся порыгкевшую фотографию отца в окружении каких-то сомнительных личностей, которым тот служил. Роман напоминает эту чудом оживившую фотографию минувших лет, когда кажется, что группа, изображенная на ней, вдруг начинает двигаться, говорить, действовать. И герой включается в это действие и проводит с ее персонажами какое-то время — переживая, словно в галлюцинации, те события, которые могли иметь место. Границы между предполагаемым и реальным здесь очень зыбки, но Модиано и не занимает воссоздание минувшего: его интересует вопрос о том, что может сохраниться от человека в жизни следующих поколений.

В «Семейной хронике» (1977) герой Модиано, родившийся, как и автор, в 1945 году, в поисках «истоков» постоянно обращается в мыслях к периоду оккупации. Именно в те страшные дни встретились его родители, именно тогда вспыхнула их любовь. Правда, герой книги сам становится отцом, что придает ему ощущение какой-то большей определенности и прочности собственного существования. Если у него в метрике отец обозначен лишь инициалами, ибо жил он при немцах под вымышленной фамилией, то у его дочери уже «настоящие» родители и «настоящая» родословная, что очень существенно для Патрика Модиано — героя и рассказчика.

Главный персонаж романа «Улица Боттеге оскуре» [1], удостоенного Гонкуровской премии 1978 года, как и его предшественники, поглощен поисками прошлого. Но в отличие от них он в буквальном смысле этого слова ищет самого себя. Дело в том, что он, Ги Роллан, сотрудник частной сыскной конторы, получивший это имя от своего патрона вместе с фальшивыми документами, вот уже десять лет как полностью потерял память. Он не помнит событий своей минувшей жизни, не знает даже, кто он в действительности. Неожиданно оказавшись не

[1] Одна из известных улиц в Риме.

у дел — ибо контора закрывается и хозяин уезжает в Ниццу,— герой Модиано отправляется на собственные поиски.

Навыки частного детектива во многом помогают ему; он и в самом деле как будто ведет расследование — ведет кропотливо, собирая мельчайшие факты, которые могут ему пригодиться, встречаясь с самыми различными людьми. И роман даже чем-то напоминает психологический детектив. Читатель с интересом следит за ходом поисков, сюжет здесь более компактен, чем в предыдущих романах Модиано, и повествование не рассыпается на отдельные картины-эпизоды, как это было в «Семейной хронике». Писатель склонен рисовать жизнь персонажей отдельными легкими штрихами, лишь намечающими ситуацию или образ,— никаких развернутых ситуаций или тщательно выписанных образов, но эти легкие штрихи и детали искусно пригнаны друг к другу и создают цельную картину. Правда, картина эта видится как бы издалека, в ней нет ничего, о чем можно было бы сказать с уверенностью, хотя каждая деталь достаточно правдоподобна и убедительна.

Герой — он Педро Мак Эвой? А может быть, Педро Джимми Стерн — служащий доминиканского представительства в Париже? Героиня — Дениз Кудрез, манекенщица. Их пути пересеклись в Париже. Затем они были вынуждены вместе покинуть оккупированный Париж и оказались на юге, где-то в предгорьях Альп. Приняв предложение малознакомых людей переправить их через границу, они видимо, стали жертвами обмана и предательства. На этом обрывается намек на «историю» героев. Дениз исчезает вовсе. Педро теряет память и восстанавливает произошедшее по крупицам и не наверняка. Он словно складывает какую-то головоломку, но ему все время недостает необходимых частей. Единственный человек, который мог бы подтвердить правильность догадок героя,— его друг Фредди, но выясняется, что он живет на одном из островов Океании. Педро отправляется туда и узнает, что всего за несколько дней до его приезда яхта, на которой Фредди возвращался с Маркизских островов, разбилась о коралловый риф. Правильность его «версии», достоверность воссозданной истории как будто опять ставится под сомнение. Картина, нарисованная Модиано, едва начав принимать конкретные очертания, размывается, расплывается... Впрочем, автор сознательно избегает определенности, потому что не ставит перед собой задачи рассказать о конкретной человеческой судьбе, которая укладывалась бы в цепь событий, логически вытекающих одно из другого.

Примеривая разные варианты возможных судеб для героя и сталкивая его с различными людьми, которые могли его знать, Модиано, по существу, поднимает очень важный вопрос: какой след оставляет человек в жизни и сознании других людей, может ли он сохраниться в их памяти или же исчезает бесследно. И хотя герой терпит неудачу за неудачей, Модиано дает ему последнюю надежду: надо поехать в Рим, там на улице Боттеге оскуре, быть может, он и найдет самого себя.

Вероятно, именно стремлением показать, как формируется человек, как складываются его отношения с окружающим, объясняется тяготение молодых писателей к жанру романа-исповеди, в котором герой рассказывает о своих первых шагах в жизни, первых столкновениях с ней. Как уже говорилось, таких романов в 70-е годы появилось немало, естественно, что среди них есть и очень наивные произведения, покоряющие скорее не мастерством, а искренностью, есть произведения яркие, привлекающие свежестью и смелостью художественных решений.

На примере романа-исповеди разница между сегодняшним и вчерашним днем французской литературы выступает особенно наглядно. Рамки рассказа о самом себе, намеренно суженные в «новом романе», с которым по большей части полемизируют романисты 70-х годов, расширяются до рассказа о мире, в котором живет повествователь. В монолог-исповедь, иногда словно «выпаленный» на одном дыхании, неизменно включается показ реальной действительности, возникающей в произведении не только потому, что ее увидел и о ней захотел поведать герой, а потому, что без этого невозможно само его существование. Ви́дение мира в «новом» романе было патологически суженным — в современной прозе изображение окружающего подчинено индивидуальному ви́дению, порой деформировано им, но оно существует и воспринимается читателем подчас даже более остро, чем самое объективное описание.

В романе Анни Эрно «Быть тем, чем они хотят, или ничем» (1977) — ее первый роман «Пустые шкафы» вышел в 1974 году — речь идет о нескольких месяцах из жизни девочки, кончившей среднюю школу, принятой в лицей и томящейся в городе во время летних каникул. За два месяца она взрослеет, в ее жизнь входит любовь — все представления детства опрокинуты, новые еще не сформировались. Придя осенью в лицей, Анни чувствует какое-то смятение, она на перепутье. Что выйдет из нее, как сложится ее дальнейшая жизнь? Вот вопросы, которые волнуют писательницу, сумевшую увидеть в судьбе своей героини судьбы многих ее сверстниц.

Выросшая в рабочей семье, Анни воспитана в атмосфере страстного стремления родителей сделать из нее то, чем сами они стать не смогли. Родители хотят, чтобы она училась, они счастливы, что девочка хорошо кончила школу и получила право продолжать образование: теперь она сможет стать учительницей и таким образом перейдет в иную социальную категорию. Но и гордясь дочерью, они постоянно попрекают ее — за треснувшее стекло в очках, за разорванное платье, за пристрастие к чтению. Это вызывает у девочки горькие и достаточно иронические размышления:

«Чудаки, хотят, чтоб у меня были хорошие отметки, учителя говорят, для этого

надо читать, но мне кажется, родители этому не верят; задачи, уроки — это да. Он продолжал заводиться: в твои годы я уже работал, я бы не мог часами сидеть над книгой. Она разозлилась: что мелешь ерунду, думаешь, очень хорошо работать в четырнадцать лет, а может, ты хотел бы, чтобы твоя дочь пошла на завод? Пусть отдыхает, пусть читает, она ведь никому не мешает».

В такой манере написана вся книга. В едином потоке смешиваются речь рассказчицы и реплики ее собеседников; Эрно исключает авторскую речь, избегает диалогов, даже стилистически подчиняя повествование личности своей героини. Подобный прием, разумеется, придает произведению характер непосредственности и подлинности, вместе с тем он подчеркивает дистанцию между рассказчицей и ее окружением. По существу Анни противопоставлена тому миру, в котором живет, и отчуждение между нею и семьей возрастает по мере того, как она взрослеет. Ее угнетают ежевечернее сидение перед телевизором, обильные семейные трапезы, когда собравшиеся родственники обсуждают блюда и цены в супермаркетах, ей не хочется читать детективные романы или журнал «Современная женщина», который предлагает мать. Случайно ей попадает в руки «Посторонний» Камю, и она не может оторваться от книги. Ее интересует политика, но дома об этом не говорят. Впрочем, дома вообще не говорят ни о чем, кроме денег и покупок, а ей так недостает настоящего человеческого общения, так хотелось бы, чтобы мать поговорила с ней о чем-то очень важном и большом. «Мне кажется, что я не могу ее больше любить вот почему: она никогда не объясняет мне жизнь так, как я чувствую ее в себе и вокруг себя. Она вечно твердит какую-то ерунду».

Когда Анни знакомится с молодыми людьми, работающими в летнем детском лагере, расположенном на окраине города, в разговорах с ними перед ней возникает иной мир. Они говорят об отчуждении, о необходимости борьбы рабочих за свое полное освобождение, о необходимости изменения общества — и Анни по-новому начинает воспринимать окружающее. Писательница не скрывает того, что в этих разговорах, часто окрашенных левацкой фразеологией, очень много детского и наивного, и мы не знаем, станет ли девочка сознательным борцом за социальное переустройство. В книге показано лишь пробуждение сознания Анни, ее неудовлетворенность тем, что происходит вокруг. И хотя девочка делает только первые шаги в жизни, автор внушает читателю уверенность, что она не поддастся соблазнам сытого и бездумного существования и будет бороться за себя, ибо она лишена и самоуспокоенности, и самодовольства.

Так в этом, на первый взгляд незатейливо сделанном, романе, написанном как простодушный рассказ о себе, в котором главное смешано со второстепенным, звучит острая тревога за человека, обрекаемого на бездуховное существование, и утверждается пафос протеста против него.

Еще большим бунтарством пронизан роман Эван Ганской «Раули, или Жизнь как в кино» (1976), который является дебютом молодой писательницы. Между ним и историей, рассказанной Эрно, ощущается определенное сходство. Оно проявляется и в проблематике, и в манере повествования, и в образе главной героини.

«Раули» — тоже исповедь девушки, выросшей в рабочей семье где-то на парижской окраине. Жить на иждивении родителей она уже не может и потому поступает на коммерческие курсы, учится печатать на машинке для того, чтобы потом «ежедневно отдавать восемь часов своей прекрасной юной жизни какому-то гнусному учреждению».

Временной охват у Ганской шире, чем у Эрно. Героиня рассказывает о нескольких годах своей жизни, вспоминая и раннее детство. И тем не менее здесь нет никакой эпичности повествования, рассказ девушки, обращенный к одному из приятелей, ведется стремительно, словно она боится, как бы ее не прервали.

«Послушай меня, Чарли... Я должна рассказать тебе всю мою короткую дерьмовую жизнь. Это, конечно, не подарочек, уверяю тебя... Я выбрала тебя — это будет твоим чистилищем. Мне нужен был слушатель, а ты прошел неподалеку. Я расскажу тебе о своей ярости и своей нежности. Мне плевать, поймешь ты меня или нет. Но я заставлю тебя, да, заставлю проглотить лучшие куски моей жизни, особенно те, которые сильнее кровоточат».

Избирая Чарли своим слушателем, Лола посвящает рассказ таким же девчонкам, как и она сама,— сверстницам, которые хорошо представляют ее жизнь, потому что это и их жизнь.

Так уже с первых страниц книги Э. Ганская отрицает какую бы то ни было исключительность своей героини. Как и многие ее подружки, смолоду начавшие трудовую жизнь, Лола, конечно же, не удовлетворена своим существованием. Как и они, мечтает о приключениях и путешествиях, о необыкновенной любви. В поисках этой жизни Лола скитается по Парижу, по окраинам и пустырям, по маленьким барам и кафе, не гнушаясь ничем, вплоть до участия в грабежах, и не пренебрегая никем — в поисках «великой единственной любви».

Но рассказ о похождениях Лолы, которые выглядят далеко не всегда безобидно с точки зрения общепринятых принципов нравственности, не становится самоцелью Ганской. Описываемый ею мир парижских низов, подчиняющийся своим жестоким законам и накладывающий отпечаток на всех, кто принадлежит к нему, не превращается ни в объект любования, ни в объект эстетизации. Лола очень остро ощущает неизбеж-

---

Н. РЖЕВСКАЯ
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

ность боли и зла, которые несет в себе окружающее, и с горечью констатирует: «Мне больно, значит я существую». При этом она испытывает непреодолимую потребность в нежности, в духовном общении.

Только поняв, что теряет мать, умирающую от рака, семнадцатилетняя Лола осознает, как прочна была связь между ними и как она нуждается в матери, в ее дружеском участии и поддержке. И в своих любовных приключениях она всегда ищет духовной близости. Но все ее мечты неизменно терпят крах, поэтому иллюзии сменяются разочарованием, ощущением полной безнадежности и пустоты. «Моя жизнь — это тысячи разноцветных мыльных пузырей. Которые вдруг лопаются. Без шума»,— признается она.

И все-таки не уныние и чувство обреченности определяют характер героини. Недаром автор заставляет ее не раз повторять: «Красный — мой любимый цвет». Для нее этот цветовой образ, который проходит через всю книгу,— символ неистовства, крови, символ боли. Ведь жизнь рыжекудрой героини Ганской — протест против привычного уклада, привычных отношений, привычного восприятия жизни, протест против унылого ее однообразия. Она бросает суровые слова: «Спи, несчастный народ. Народ, оболваненный собачьей работой. Из тебя выкачивают деньги, права, твою кровь, собственное уважение к себе, тебя даже лишают воздуха, которым ты дышишь, жизнь твоя — сплошное дерьмо».

Лола на свой лад совершает маленькую «революцию», пользуясь методами, столь типичными для молодежного бунта конца 60-х годов. И писательница полностью солидаризируется со своей героиней. Она бунтует вместе с ней. Бунтует против общества, в котором живет, против литературы, которая в этом обществе создается.

Как вызов читателю воспринимается язык романа. Ганская широко использует молодежный жаргон, что позволило критикам вспомнить нашумевший роман известного прозаика и поэта Раймона Кено «Зази в метро» (1959) и назвать героиню старшей сестрой Зази. И хотя порой этот жаргон перегружает роман, затрудняет его чтение и хотя бунт героини и автора принимает порой утрированные формы — интерес к человеку, сочувствие ему и стремление показать его, никак не упрощая и не обедняя, привлекают внимание к роману Ганской.

Если для Лэне и Омон характерно стремление дистанцироваться от изображаемого и занять позицию якобы стороннего наблюдателя, бесстрастно констатирующего происходящие события, то и Модиано, и Эрно, и Ганская рисуют своих героев изнутри, почти сливаясь с ними, поэтому рассказ их так трепетен и взволнован. При этом у Модиано внутренний мир рассказчика оказывается единственным объектом, а у Эрно и Ганской в исповеди их героинь внутреннее и внешнее сплавлены в нераздельное целое.

Говоря о значении, которое придает новая французская проза проблемам человеческой личности, нельзя не обратиться к роману Эмиля Ажара «Вся жизнь впереди» (1975), получившему Гонкуровскую премию и пользовавшемуся во Франции совершенно исключительным успехом. Это произведение уже немолодого писателя занимает в его творчестве особое место: в том, что было написано Ажаром позднее, основные эстетические и этические завоевания этого романа развиты не были.

Грустный рассказ Мохамеда, сына проститутки, живущего вместе с несколькими такими же брошенными детьми разных национальностей у мадам Розы,— это по существу размышление о том, что человек сызмала должен быть объектом внимания и уважения и что ничто в такой степени не делает его настоящим человеком, как нежность, теплота, как взаимная поддержка, которая должна стать основным законом отношений между людьми.

Момо живет в жестоких условиях: безденежье, полуголодное существование, дети вынуждены промышлять кто чем может, мадам Роза не только не опекает их, но сама нуждается в постоянном уходе. И все же в том мире, с которым соприкасается Момо, в мире простых людей, зарабатывающих на жизнь тяжким трудом, скорее царит дух взаимовыручки, спаянности, безотказной готовности прийти на помощь ближнему. Вряд ли стоит подобную «идиллическую» повествования относить за счет того, что рассказ ведется от лица мальчика, который, мол, не видит жестокости окружающего. Нет, герой Ажара не по годам проницателен и зорок, он многое видит — видит, как жестока и бесчеловечна жизнь, хотя и не всегда может осмыслить все до конца.

Один из первых вопросов, который задает Момо в самом начале романа: можно ли жить без любви? Не получив ответа, он повторяет его снова, обращаясь к своему постоянному собеседнику, старику Хамилю:

«— Господин Хамиль, можно ли жить без любви?

— Да,— ответил он и опустил голову, как будто ему стало стыдно.

Я заплакал».

Нет, отвечает всем своим романом Ажар, без любви человек жить не может. Не случайно последними словами книги стали слова «надо любить».

Больше всех в любви и внимании, конечно же, нуждается сам Момо. Делая своего героя философом и даже немного резонером, автор с грустным юмором рассказывает о том, что мальчик готов использовать любой повод для того, чтобы вызвать участие окружающих.

Тоска Момо по ласке, по матери, которую не может заменить даже бесконечно любящая его мадам Роза, нигде в романе не приобретает сентиментально-трогательного характера. Она оборачивается детскостью, когда мальчик, узнав, что львицы, как никакое другое животное в мире, заботятся о своих детенышах, каждый вечер встречает свою придуманную львицу на пороге, от-

крывает ей дверь, укладывает в общую детскую кровать и засыпает, облизанный, прижавшись к ее теплому брюху. Потом он превращает старый зонтик в своего друга Артура и старается не расставаться с ним ни на миг.

Но при всей детскости Момо наделен истинным мужеством, преданностью и благородством, которые открылись по-настоящему в его отношении к умирающей мадам Розе. Финальные сцены книги, где Момо рассказывает, как он прячет в подвале полубезумную старуху, боявшуюся больницы почти как Освенцима, и проводит подле нее, умирающей, а потом уже и умершей, несколько недель, написаны с подлинным трагизмом. Этот трагизм несколько сглаживается финалом романа: Момо находит себе новых родителей, которые появляются в его жизни словно из волшебной сказки. Но думается, что этот «хэппи энд» — не столько просчет автора, несколько погрешившего против истины, сколько программное утверждение оптимистического отношения к жизни.

Впрочем, не следует воспринимать Момо как сентиментальный образ безвинной жертвы. Да, конечно, он в своем роде жертва, и Ажар разоблачает тот мир, в котором вынужден жить мальчик и о страшных нравах которого его герой рассказывает с наивностью и чистотой, с изумительным чувством юмора.

Но Момо в то же время и бунтарь, не столь яростный, как Лола у Ганской, а такой, каким ему позволяет стать его возраст. Он с гордостью говорит о себе: «Я уж не буду лизать жизни задницу ради того, чтобы стать счастливым» И со снисходительным презрением о мальчике, живущем вместе с ним: «Ему уже было четыре года, а он еще был всем доволен». Момо борется за самоутверждение по-детски, доступными ему средствами, но главное, что он не дает потоку жизни захлестнуть себя.

Думая о том, кем бы он хотел стать, Момо колеблется: полицейским, как олицетворением силы — сильней, ему кажется, нет никого на свете,— или террористом, который может взорвать весь этот мир. Но есть, оказывается, еще один выход: «Что бы мне хотелось, так это быть таким парнем, как Виктор Гюго. Господин Хамиль говорит, что с помощью слов можно сделать все на свете и не убивая людей». И в другом месте: «У господина Хамиля есть книга господина Виктора Гюго, когда я вырасту, я тоже напишу об отверженных, потому что именно об этом и пишут всегда, когда есть что сказать».

Эмиля Ажара, разумеется, не стоит сравнивать с Гюго. Но с великим писателем — как, впрочем, и со всей классической линией развития французской литературы — его сближает гуманистический пафос, являющийся основой произведения.

Итак, перед нами разные авторы, со своим видением мира, индивидуальной манерой, отношением к жизни — спокойно-констатирующим, протестующим, грустно-ироническим. Но всем им присуще и нечто общее — желание рассказать о человеке, достойном внимания уже потому, что он человек, стремление показать, как и чем он живет во враждебном ему мире, с которым вынужден вести ежедневную, ежечасную борьбу за себя, показать современного человека, пытаясь использовать современные средства изобразительности. Все это объединяет рассмотренные романы и позволяет говорить о некоторых новых качествах французской прозы 70-х годов.

◆

О. РОССИЯНОВ

«ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО БОЛЬНО...»

К 100-летию со дня рождения Жигмонда Морица

Венгерский прозаик Жигмонд Мориц (1879—1942) сказал новое слово в своей литературе. С его приходом в ней утвердился реализм, который принято называть критическим и который в разных европейских литературах имеет различный облик.

Сложившийся еще в прошлом веке классический реализм продолжает жить. Открытием стали в нашей стране и многие основные произведения Морица, с начала 50-х годов войдя в наш обиход. Но особенно новы они были в Венгрии начала столетия. Чтобы лучше понять их новизну, нелишне вспомнить, кто властвовал над умами венгерских читателей в то время. Властвовал прежде всего Мор Йокаи, хранитель романтико-патриотических и просветительских заветов прошлого. Правда, с 70-х годов, после соглашения 1867 года с Австрией[1], эта романтическая верность стала у него блекнуть. Отказ писателя от национально-освободительных идеалов, как еще раньше, после 1848 года,—от революционных, не прошел бесследно. Патриотическая романтика начала приобретать у Йокаи развлекательный, а гуманизм — верноподданно-филантропический оттенок. И былого, несколько восторженного, но беззаветного ревнителя национальной свободы и справедливости почти заслонил сочинитель любовно-приключенческих историй и благополучных идиллий. Как в романе «Богатые бедняки» (1890): самоотверженная графиня, добросердечный чиновник и бравый полицейский сообща помогают честно потрудившимся беднякам попасть в дом призрения, в это грезящееся им подобие земного рая, уготованное якобы для них в монархической Австро-Венгрии, которая, значит, куда лучше, уютней, завидней какой-нибудь черствой Америки.

Однако «Америка» — капитализм во всей неприглядности — была уже здесь, рядом, в самой Венгрии. И слепота или приукрашивание этого, взгляд сквозь розовые очки казались поистине непростительными всем, кого равно отталкивали старозаветно-помещичьи и новые, корыстно-буржуазные нравы и порядки, кто хотел не «чаровать, возвышать и трогать», а «потрясать, будить сомнения, рассеивать ложь и сокрушать кумиры», «быть глашатаем великих тягостных истин» о своем времени, по словам известного поэта и публициста Эндре Ади.

«Фиалковые глаза» слишком благодушного, склонного к радужным иллюзиям Йокаи и позже вызывали раздражение Ади, хотя он, конечно, ценил другие стороны его таланта. Но тогда, в задорной юношеской горячности, Ади не делал исключения даже для крупного прозаика Кальмана Миксата, чья критика разъедаемого карьеризмом сословного общества в своей ироничности и реалистичности сохраняла следы «анекдотизма». Ни Миксат, ни тем более поздний Йокаи не могли по-настоящему противостоять потоку литературы, которая сделала своей программой идиллличность и всякую благонамеренность.

Мориц и возвестил решительный разрыв с этой охранительной сусальной традицией. Деревня, слывшая главным, исконным ее оплотом, в его рассказах предстала прежде всего гнездилищем низких инстинктов— грубой, хитрой кулацкой корысти, силы, ко-

[1] В этом году в результате компромисса с Габсбургами венгерского дворянства, которое отступилось от идей национальной независимости, была создана Австро-Венгерская империя.

торая топчет и унижает слабых. Вот деревенский богатей, вымогающий у собственной дочери деньги за пребывание у него в доме («В шуршащей, шелестящей тафте»). Вот крестьянин-приобретатель и его мать, которые даже из оскорблений, наносимых им, стараются извлечь выгоду («Узорчатый шелковый платок»). А вот двое братьев, кого дележ немудреного наследства превращает в лютых врагов, смертельно завидующих друг другу («Водопойная колода»).

В венгерскую литературу, которая «рисовала селянина простосердечным и великодушным рыцарем», писал Ади, встретивший приветственной рецензией первый сборник Морица (1909), вошел «крестьянин грубый, сильный, злой и грязный», плоть от плоти и кровь от крови капитализма. Юмор же, улыбка, которые так пленяют у Йокаи, у Миксата, если у него и остались, то очень переменились. Насмешка, ирония Морица — терпкая, горькая, даже злая. Например, намеренно задушевный тон в начале и конце рассказа «В шуршащей, шелестящей тафте» — он совсем не безобиден. Старики доживают свой век в уютной белой хатке с чистеньким двориком. На камышовой кровле — аист, на плетне — расписная посуда: «последнее пристанище сказки...» Но тем резче контрастирует с внешним благолепием уродливая суть этого «мирного» существования. Вместо новоявленных Филемона и Бавкиды перед нами — бестолковая старуха и снедаемый жаждой наживы себялюбец. А усмешка, юмор в «Семи крейцерах»?.. Жизнь до того скудна, что хоть принимай подаяние от нищего. Вот какой комично неожиданной ситуацией завершается рассказ. Но смех матери, изнемогающей в ежечасной борьбе с нуждой, звучит в нем с надрывом, почти трагично. Ведь и самая удачная игра в прятки с бедностью, самая веселая ирония судьбы не помогут прожить на несколько грошей в день.

Миксат сожалел под конец жизни, что не прочитал Достоевского прежде, чем Йокаи и Диккенса. Мориц еще молодым человеком познакомился с новой зарубежной классикой, русской и западноевропейской. Она помогла ему лучше разглядеть чудовищные, хотя внешне неприметные противоречия жизни, в которой бесцеремонно утверждался капитализм. Уже очень рано он твердо решил: «Писать лишь о том, что больно, что ранит и вызывает злобу...» И в обнаженной простоте коллизий, человеческих взаимоотношений в его рассказах — обнаженной не в смысле натуралистической упрощенности, а выступающей из-под идиллии жестокой, почти трагично-бесхитростной жизненной правды — можно иногда уловить поистине нечто мопассановское.

Это, условно говоря, мопассановское начало сохраняется в творчестве Морица и после, в 30-х годах, разве что жизненная правда обнажается все откровенней, как бы полемичней: то почти злорадно, то со сдержанным, но столь же неумолимым лаконизмом. В рассказе «Удаль» он снова — и как свирепо! — расправляется с фальшивым, на сей раз пренебрежительным барским мнением о народе. Который, дескать, выродился, измельчал сравнительно с почерпнутым барами из детских книжек образом безобидного, прирученного богатыря. И вот первая же встреча одного такого самодовольного барина с реальностью показывает, сколько грозной классовой ярости накопилось в неказистых потомках патриархальных сельских «рыцарей». Эта-то ярость и обрушивается вдруг на чванливого мягкотелого адвокатика, вздумавшего ее разбудить, подразнить— побороться на спор с табунщиком, который валит его наземь и пришибает.

Или другая житейская драма, ниспровергающая идиллии,— одна из сотен, которые разыгрывались вокруг. Обедневший, полуослепший старик крестьянин как о чем-то несбыточном мечтает о куриной лапше, а внезапно — уже изверясь—получив ее, в сердцах разбивает миску («Куриный суп»). Все убожество его горемычной доли выливается в этой мечте — и в ожесточении, с каким он свою обиду на судьбу вымещает на сварившей ему суп жене, которая только и знала-де, что его тиранить, а оказывается, до сих пор еще любит...

Полемика с утешительной и охранительной идеализацией вновь и вновь возрождалась у Морица, потому что воспроизводилась ее общественная основа: капитализм и всяческая феодальная отсталость. Хортистский режим, который после поражения социалистической венгерской революции 1919 года реставрировал эту отсталость, породнив ее под христианско-националистическим флагом с самой темной и дикой буржуазно-кулацкой эксплуатацией, оказался жестче, реакционней даже монархического габсбургского. Была возвращена в литературу и псевдонародность — пусть еще сильнее расходящаяся с фактами, но тем более крикливая, шовинистская. И борьба с ней продолжала оставаться внутренним источником и скрытой пружиной реалистического творчества Морица, которое обогащается новыми экспрессивно-выразительными оттенками.

Из этого подспудного источника проистекал, например, замысел романа «Счастливый человек» (1935) — сопоставление детства и зрелости героя, — грустной иронией отозвавшись уже в заглавии. В самом деле, ведь все счастье крестьянина Дёрдя Йо, очевидца и жертвы исторических невзгод, по сути, лишь в том, что у него «счастливый» характер. Он просто до крайности непритязателен, довольствуется малым. Такими терпеливо-доверчивыми, наивно-незлобивыми «детьми природы», наверно, охотно бы населили страну хортистские правители, чтобы беспрепятственно и безнаказанно вертеть ею по своему произволению. С объективной же стороны счастье это совершенно беспочвенно. Оно урезывается вынужденной, выму-

---

О. РОССИЯНОВ
«ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО БОЛЬНО...»

ченной стоической мудростью: не так живи, как хочется.

Только призрачная *возможность* счастья особенно подчеркивается в повести «Сиротка», написанной уже перед второй мировой войной. Естественная гармония детства на мирном хуторке в бескрайней, бестревожной степи — вот эта возможность, которая превращается лишь в печальную, лживую видимость счастья для исковерканной жизнью, безжалостно задавленной домашним рабством, бешеной эксплуатацией даровой работницы-питомки.

Контраст псевдонародной идиллличности и грубой деревенской реальности понемногу перерастает у Морица в 30-х годах в широкое противопоставление благополучия верхов и ужасающей обездоленности низов. В резко, иногда почти гротескно-сатирически оттеняемое несоответствие пристойной личины и отвратительного подлинного облика всех этих плотоядных верхов, которые приумножают свое благополучие за чужой счет. Способ прикрытия, маскировки своих делишек — кумовство, показная благожелательность и радение своим. Стихию этого кумовства, поразившего продажный мир хортистских чиновников и финансистов, представляет вымышленный город Жаратнок (роман «Родственники», 1932), где властвует клика отцов города, «родственников» по образу мыслей и положению,— настоящая мафия, как мы сказали бы сегодня. У Морица же, наглядно передающего свое отношение к ней,— поистине звериная стая, которая держится вместе, чтобы удобнее было выслеживать добычу и удовлетворять свои аппетиты. Таков бургомистр с его устрашающе поблескивающими фарфоровыми зубами и тупыми «рыбьими глазами». Таков директор банка, который обезвреживает и завлекает взятками простаков в мошеннические аферы, подпрыгивая в кресле, словно «какое-то странное и опасное животное». Или, наконец, вице-губернатор — безмятежно сытый «царь зверей». Он-то уже ни о чем не заботится, а просто получает от младших собратьев свою львиную долю за невмешательство. В этих джунглях обмана и наживы, среди этих двуногих хищников и правда слишком мало быть лишь добрым и легковерным, обольщающимся простаком. Очень легко стать не только их добычей, но и вольным или невольным пособником.

Писатель не мог не страдать, не уставать нравственно от грубого. алчного зла — и от своей затянувшейся полемики с ним, все более горькой, все больше его ожесточавшей. Он тосковал при виде искалеченных, ломаемых жизней — уже роман «Факел» (1917) проникнут скорбью о чистых и пылких душах, над которыми надругалось деспотичное сословно-собственническое общество. Ему хотелось не гнета и тоски, а совсем другого: радости, простоты и свободы. Было трудно жить без «музыки» (перефразируя заглавие его известной ранней повести «Не могу без музыки, без песни», 1916) — без внутренней полноты, без чуждой всякого угнетения и коварства щедрой непосредственности.

Жажды простых чувств исполнена и названная повесть, которая в хорошем, осветляющем душу смысле забавна. Забавен муж в своем заносчиво-беспутном, но и скрашенном любовью, лукавом куражестве. Забавна женушка, которая силится стать взрослей и практичней, начинает что-то соображать своей суетной маленькой головкой — не во вред, а на пользу их взаимным отношениям. Забавны и помогающие образумить муженька престарелые тетушки со всеми своими невинными слабостями и хитростями — хитростями опять-таки на благо, во спасение... Писатель словно позволяет себе ненадолго отдохнуть душой, воспроизводя этот смешной, допотопный, но не омраченный низким расчетом мирок.

Морица — что роднит его со всякой истинно нравственной литературой, в том числе русской,— влекло и радовало душевное здоровье, где бы он его ни находил. Прежде всего, конечно, в народной среде, этой вековой хранительнице человеческих добродетелей. Еще в ранних его рассказах, кроме алчных богатеев, которые самовластно распоряжаются чужими судьбами, нет-нет да и выйдут вперед честные труженики, не желающие уступать, заявляющие свое право на жизнь. В одном — это девушка-батрачка, о чье упорство разбиваются притязания спесивой и завистливой кулацкой дочки на ее парня («Битва»). В другом — молодая женщина, которая рвется прочь из душной, постылой клетки тиранства и стяжательства («Птица небесная»). И позже, в повести 20-х годов «Мотылек», опять ясно, торжествующе зазвучало утверждение живущих в народе цельных, неиспорченных чувств, которые собственническое общество не в силах подавить, задушить.

Этой поэтичной, проникновенной повести о любви простой девушки и парня, об их борьбе против обстоятельств и людей, которые ополчаются на их счастье, Мориц дал подзаголовок «Идиллия». Он, чьим новым словом в венгерской литературе стало низвержение идиллличности?.. Да, потому что эта чистая, незапятнанная любовь, расцветающая посреди окружающего убожества с красотой и естественностью цветка,— и нежное авторское сочувствие к ней — полемичны не меньше его «антиидиллий». Ведь это любовь *отвоеванная* и уже тем самым не буколическая. Пока влюбленные победили, но завтра над ними могут взять верх грубый произвол и жестокая нужда. Если счастье Дёрдя Йо урезано (роман «Счастливый человек»), то счастье юной пары в «Мотыльке» общественно не защищено, не обеспечено, а значит, хрупко и случайно, временно. Вот где реалистически правдивая почва этой «идиллии», хотя и овеянной светлым, почти фольклорным лиризмом.

До конца творческого пути Мориц с неизменным участием отмечал всходы всякого свежего, искреннего чувства. Будь то просто доброта деревенской бабы, душевно обогревшей и спасшей калеку от жизненного

падения (рассказ «Инвалид»). Или задорная бойкость смешливой и неунывающей «Цыпки» — девочки-подростка с будапештской окраины. Однако он с нараставшей тревогой понимал, что одной природной сметки и бойкости, любых добрых порывов самих по себе недостаточно для прочного общего блага. И не отступаясь от мечты о нем и от своего расположения к натурам цельным, не желал сам оставаться лишь бездумно «счастливым» созерцателем — или удовлетворяться свободой единственно в узколичной сфере чувств.

Жигмонд Мориц не был проницательным мыслителем или человеком быстро просвещающего революционного действия. И хотя у него зрела великая ненависть ко злу, питаемая великой любовью к своему народу, особенно к задавленному, затиранному крестьянству, в его представлениях, как и в самом крестьянском сознании, накопилось немало устойчиво-традиционного. Потребовался большой личный опыт и уроки, даже удары истории, чтобы все это разбить, расшатать. Сам разрушая препятствовавшие историческому движению сентиментальные идиллии о деревне, он поддавался подчас исторической инерции и строил тогда свои собственные иллюзии, которые ограничивали реализм.

Так, в первый роман Морица, «Золото в грязи» (1910),— о крестьянине, который своей напористостью, кипучей предприимчивостью посрамляет и оттесняет с дороги праздного, манерного белоручку-графа, становясь новым властелином села,— закралась некая поэтизация деятельной силы, энергии вообще. Антифеодальная — и в этом смысле действительно народная, высокая и окружаемая ореолом — сторона дерзкого крестьянского самоутверждения словно заслонила собственно буржуазную, низменную кулацкую. И эта последняя тоже приобрела парадоксальный романтико-натуралистический отсвет. Блеснувшее во вчерашнем батраке, который выбивается в люди, самородное «золото» незаурядного народного характера не смогло еще в старой Венгрии целиком очиститься от пятнающей, затягивающей героя косной, застойной и ненасытно стяжательской «грязи».

А позже, в Венгрии хортистской, зрение на время затуманила вера если не в добрые намерения правящих классов, то хотя бы в возможность усовестить их, уговорить что-нибудь сделать для народа. Венгерская советская республика 1919 года низвергла Молоха эксплуатации. Над Венгрией занялась заря новой жизни. Но советская республика, чьей созидательной работе горячо сочувствовал Мориц, просуществовала недолго, и стихийный демократизм писателя не поднялся на социалистически зрелый уровень.

От советской России, ее опыта Мориц, как и подавляющее большинство интеллигенции, был отрезан: хортистский режим проводил политику строжайшей идеологической изоляции венгерского народа от родины социализма. И когда на совершивший героический подвиг венгерский рабочий класс обрушился белый террор, потрясенный писатель стал искать выход, спасение в наивных «мирных» иллюзиях. Памятуя о славном прошлом дворянства, которое дало нации Сечени и Кошута, он попытался воззвать к его государственному разуму. В исторической трилогии Морица «Эрдей» (первый том вышел в 1921 году) возникает фигура идеального правителя — князя Габора Бетлена, заботящегося о процветании страны, ведущего ее по пути терпимости и прогресса. Да и «счастливый человек» Дёрдь Йо — скорее живой укор, нежели угроза правящей верхушке, в чьей доброй воле писатель разочаровывался лишь постепенно.

Постепенно — но неуклонно, запечатлев уже в некоторых романах 20-х годов («До самой зари», «Барские затеи») признаки упадка, разложения землевладельческого класса, в чей неутраченный исторический разум ему, озабоченному народными бедствиями, хотелось бы поверить. Что за люди все эти помещики, графские арендаторы, управители, их бесчисленные свояки, зятья, кумовья, которые предстают здесь в тесном кругу, за непринужденной застольной беседой, вполне, по-видимому, довольные собой и своим времяпрепровождением?.. На первый взгляд они могут показаться просто немного бесшабашными, но в общем славными, безобидными и даже добродушными жуирами. Но по мере того как развертывается повествование и они выговариваются, выкладываются до конца, видишь, какие это все развращенные циники, убежденные тунеядцы, буйные и тупые самодуры. Какая убогая и уродливая жизнь! Она оборачивается то почти гротеском, то жалким фарсом, в разгар которого нет-нет да и повеет чем-то даже призрачно-жутковатым. Над головами пирующих вдруг словно прошумят «крылья рока» («До самой зари»). Усталость, отвращение ко всему, которых не заглушить никаким вином, никакими кутежами, овладевают лучшими из них. И бессильный пред лицом денежных, хозяйственных затруднений, до омерзения пресыщенный обществом пьющих, жрущих и жульничающих помещиков, умный, образованный Золтан Сакмари, герой «Барских затей», в припадке мстительного отчаяния сам поджигает свой образцовый хутор и пускает пулю себе в сердце.

Совсем уже не та атмосфера, что в повести «Не могу без музыки, без песни», этой беззлобной зарисовке «добрых старых» габсбургских времен, когда тучи над венгерским средним классом только собирались и не стало столь тревожно-ясно, что нельзя есть, пить да петь с привычной беззаботностью. В никчемной, катящейся под откос дворянской жизни 20-х годов («До самой зари», «Барские затеи») Морицу чудится уже что-то от пира во время чумы. И все же разрыв с иллюзиями знаменовали, пожалуй, даже не эти, порой элегичные, а порой чуть не апокалипсические, тона, а близкая «Родственникам», но еще более трезвая, суховато сдержанная деловитость, с какой описыва-

О. РОССИЯНОВ
«ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО БОЛЬНО...»

ется дальнейшая эволюция «исторического» дворянского сословия в повести «Ласточки лепят гнездо» (1931).

Были когда-то сами себе хозяева: помещики, землевладельцы — экономический становой хребет нации. И вот зашли не то что в исторический тупик — это еще слишком торжественно сказано, а в жалкий, захудалый закоулок. Стали мелкими, даже мельчайшими чиновниками и мелочными обывателями. И осевший, облупленный глинобитный домишко на крохотном садовом участке вместо особняков да угодий — скромный предел их теперешних безрадостных желаний. Нелепо беспомощные (старшее поколение) или изворотливые (дочь и зять), они почти одинаково мало что могут и умеют, хотя вынуждены считать каждый грош, лепить буквально из ничего свое скаредное, мизерное благоденствие.

Где же, однако, действенный противовес праздному и хищному тунеядству, беззаботному или скопидомскому убожеству? Конкретная опора гуманных идеалов, мечты о добре и счастье? Взоры писателя обращались к демократической интеллигенции. Свидетельство — роман «Будь добрым до самой смерти», созданный под впечатлением и в осуждение зверских карательных расправ с участниками революции 1919 года.

Герой книги, основанной на воспоминаниях собственных ученических лет,— робкий, незлобивый мальчик, тоскующий в холодных казенных стенах школы, в окружении тупых, подозрительных учителей, которые преследуют его, мучают и унижают. Маленькому Миши и не по плечу тягаться с ними. Как зверек, готов он затаиться, уступить, лишь бы не привлекать к себе внимания или смягчить гонителей. Но в одном он устоит, никогда не уступит, невзирая ни на какие гонения. Он не может изменить себе, своему сердцу, в которое глубоко запала материнская заповедь: быть добрым до самой смерти. Эту прекрасную заповедь мальчик мечтает донести когда-нибудь до всех людей. Маленький Миши Нилаш, таким образом, не просто жертва, как герой «Факела». Он — будущий учитель народа, заступник попираемой вокруг добродетели. Нарисовав этот чистый, самоотверженный характер, Мориц словно предвосхитил то хождение «в народ», которое потом, в годы новых бедствий — кризиса, фашизации страны, — предпримут венгерские «исследователи деревни», демократические «народные писатели». И наравне с ними, согласно собственному опыту исследуя нравственно активные, социально-творческие способности и возможности человека, он подошел к созданию новых, более крупных и масштабных положительных образов, нежели подъемлющие только реформаторский светоч или счастливые немудреным житейским счастьем герои иных его произведений.

По мере того как социальные язвы глубже и глубже раскрывались перед Морицем, им все неотступней овладевало убеждение: сам народ, не дожидаясь никаких поблажек и подачек, должен взять свою судьбу в собственные руки — отобрать у господ присвоенное ими право и достояние и стать деятельной, раскрепощающей общество исторической силой. Это убеждение, плод долгих раздумий, гнетущих наблюдений, в свой черед не было, однако, светлым, ясным. Оно впитало всю едкую горечь жизни в хортистской Венгрии, возмущение, накипевшее на душе. Начиная приблизительно с «Родственников», в его произведениях все меньше светлых тонов, больше резкости и вызова. Они, по его собственным словам, несут не «развлечение», но и не «нравоучение», а «кару». Образ крестьянина, который, несмотря на все страдания, умеет радоваться жизни, принимая ее такой, какова она есть, начинает уступать место образу народа хмурого, недоверчивого, угрюмо-ожесточенного.

В душе оборванного, обманываемого и вечно голодного батрака Яноша Киша (рассказ «Хоть однажды досыта наесться», 1933) кипит море ненависти к молодому, беспечному и развращенному графу, который пытается соблазнить его жену. И, требуя себе на «ужин» все богатства графа, его землю, хутора, стада, Янош Киш словно иносказательно намекает на вековую несправедливость, царящую в стране, выражает неутолимую жажду мести за лишения и надругательства, которые приходится терпеть с пеленок. Убийство им жандарма — во сто крат более целенаправленный, почти намеренный акт мести помещичьей власти, отнимающей все блага жизни, чем выстрел в графа в первом романе Морица «Золото в грязи» или расправа с адвокатом в «Удали».

Зревшее в народе глухое недовольство нашло в 30-х годах прямой отклик в романе «Бетяр» и затем в незаконченной трилогии о разбойнике, который со своей вольницей принял участие в революции 1848 года («Шандор Рожа горячит коня», 1941, и «Шандор Рожа хмурит брови», 1942). Художественно еще неровный, «Бетяр» был первой попыткой изобразить сознательного крестьянского бунтаря — развить мотив социального возмездия, который уже в первую мировую войну проскользнул в рассказе «Бедные люди». Не желая терпеть гнет нищеты, герой романа Яни Авар уходит из деревни и становится бетяром (разбойником) «Йошкой Ужасным» — грозой богачей. Он подбивает односельчан самочинно завладеть помещичьей землей. Потерпев неудачу, Яни на отнятые у вельмож деньги отправляет бедствующих бедняков в эмиграцию и сам покидает с ними родину-мачеху.

Многие страницы «Бетяра» по-настоящему драматичны, особенно сцена крестьянского мятежа. Суровыми красками обрисованы крестьянская бедность, враждебный мир спесивой и ничтожной аристократии. Страстно звучат в устах героя обличение частной собственности и проповедь равенства. Но, чувствуя эпическую значительность и возвышенность темы и назвав даже главы книги «песнями», Мориц не знал, не видел в венгерской современности таких реальных человеческих судеб, которые помогли бы совер-

шеннее воплотить замысел. Быть может, поэтому, даже отнеся действие к концу XIX столетия, ему не удалось воедино слить образ бедняка из забитой, темной деревни и грозного полусказочного бетяра. Яни Авар становится условной, почти театральной фигурой, когда в экзотическом обличье провозглашает перед трепещущими аристократами высокие социальные истины, которые для простого крестьянина вообще чересчур отточены, красноречивы. Гордое бунтарство «Йошки Ужасного» не только разноречит с будничным обликом Яни Авара и его прозаическим предприятием — переселением крестьян. Оно вдобавок постепенно снижается, переводимое в русло тривиальной романтической страсти бетяра к аристократке.

В трилогии о Шандоре Роже писатель нашел своеобразный выход, обратясь к более естественной, народно-романтической стихии — фольклору о бетярах. Фольклорная стихия, ее сказочный и вместе наивно-реалистический дух помогли вплотную подойти к художественному синтезу героической и бытовой сторон: в романах о Роже исчез момент «переодевания». Жизнь его не делится как бы на разные, непохожие существования, которые ведет Яни Авар. Герой-отмститель, благородный воитель — это он же, Шандор Рожа, только живущий одновременно в народной фантазии, приподнятый благодарным народным вымыслом. Сумрачный и неприкаянный, словно полудикий, разбойничий главарь—живая, реалистически очерченная фигура и вместе с тем герой стоустой народной молвы, разносящей славу о его делах. Эта полулегендарная слава органически входит в повествование как народное суждение, конечная историческая оценка его не выдуманной и не приукрашенной автором жизни и деятельности.

Писательское отношение к герою лишь опирается на эту оценку, сплетаясь с нею. В произведение не только вводятся создающие особый былинный колорит песни о Шандоре Роже, которые слагались уже при его жизни. Перенимаются как бы и сами приемы, стиль народно-поэтического сказа, влияющие на рисунок образов и авторскую речь, определяя ее настрой и течение. В неоконченной трилогии об этом охраняющем социальную справедливость знаменитом бетяре, для кого участие в революционной войне стало естественным продолжением частной «войны» с законом, Мориц больше всего приблизился к воплощению занимавшей его идеи: созданию народно-героического эпоса.

Итак, новое преломление фольклорной традиции — уже не мягко-лирическое, как, скажем, в «Мотыльке», а мятежное, эпико-героическое. Снова поэтизация силы — но не стоически пассивной («Счастливый человек», «Будь добрым до самой смерти») и не стихийно злой и слепой («Золото в грязи»), а, несмотря на первобытную, диковатую почти простоту, социально-доброй, благородной. В апелляции к революционному прошлому и народно-поэтической памяти о нем как бы отозвались нетерпеливые социально-освободительные чаяния самого Морица.

Увидеть их осуществление ему, однако, не было суждено. Положение в стране, втянутой в преступную, захватническую войну ее своекорыстными правителями, все ухудшалось. И, наблюдая, как затрудняется и отодвигается облегчение участи народной, писатель вместе со своим Шандором Рожей все укоризненней и удрученней «хмурит брови». Этой молчаливой укоризной окрашено во втором томе изображение — не всегда справедливое, если судить с точки зрения исторической достоверности,— дворянских политиков, Кошута, венгерского национального правительства и войны, которую оно вело. Волнуемый тягостными событиями своего времени, несогласный с прогерманским курсом, автор «Шандора Рожи» будто мрачное удовлетворение находил, подмечая в политике венгерского правительства 1848 г. непоследовательность, забвение народных интересов.

Глубокая, неутоленная печаль всей жизни словно водит пером Морица и в написанной почти одновременно «Сиротке». Главы «Счастливого человека» названы «беседами» (или «разговорами»), главы «Бетяра»—«песнями». «Сиротка», повесть о беспримерно униженной, низведенной до уровня бессловесной рабочей скотины девочке-подкидыше, разбита на «псалмы». Есть и в этом своеобразном определении нечто если не фольклорное, то народное. Но на сей раз — нечто от вошедшего в крестьянский быт и ставшего его неизбежным грустным ритуалом заупокойного плача, от похоронного обряда. Вот уничтожили, ни за что сгубили едва начавшуюся, проснувшуюся жизнь, как бы говорится в этих бесхитростных «псалмах», местами чуть стилизуемых под причитание или сбивчивую детскую жалобу. Довели своей животной корыстью до одичания и ранней смерти девочку, которая так хотела и мечтала всех полюбить, так стремилась в «школу», ставшую для нее обозначением чего-то лучшего, более отрадного и человеческого... И остались от ее обид, оторевших надежд одна зола да пепел, подернутое снегом забвения мертвое пожарище.

Завершающий эту краткую грустную историю пожар несет в себе завуалированный мотив возмездия, постигающего прежде всего хозяев-немцев, последних мучителей маленькой питомки. За их методичным воровством и принуждением, за назидательными рацеями уже словно чудятся измыватели-ства гитлеровцев. Вместе с тем зрелище покинутого пожарища навевает и безысходность. Лапидарная, трагически спокойная концовка — «...дымом, паром унеслись оскорбления и обиды» — невольно приводит на память заключительную сентенцию «Факела»: «Свершилось, но ничего не разрешилось». Повествовательной манере Морица остались чужды какая-либо розовая прими-

О. РОССИЯНОВ
«ПИСАТЬ О ТОМ, ЧТО БОЛЬНО...»

рительность или искусственное сглаживание противоречий. Его реалистическое искусство до самого конца сохранило полифонически сложное, драматическое звучание, доносящее всю правду — ожидания и горе — трудной, мучительной для Венгрии исторической поры.

В реализме Жигмонда Морица сплавились многие художественные начала. У него, несомненно, возродилась и усовершенствовалась миксатовская критика мошенничающей, бюрократической венгерской дворянской власти. От «Родственников», например, нить фарсово-сатирической преемственности прямо протягивается к «Выборам в Венгрии» Миксата. Но просветительски доброй верой в человека, вновь омытой у Морица волшебной живой водой фольклора, он был обязан и Мору Йокаи. Неустанно воевал он лишь с фальшивой лженародной позолотой, которой эта вера покрывалась,— иногда у позднего Йокаи, а больше у сентименталистских и романтических эпигонов.

Однако эти — и позднейшие (например, связующие Морица с Ади) — традиционные начала переплавлялись, преображались в горниле жесточайших общественных противоречий первой половины нашего века, в отсталой стране, перенесшей трагическое поражение социалистической революции. В межвоенной хортистской Венгрии, где полуфеодальная отсталость была встроена в фашистски изощренную систему сдерживания и подавления всякой революционности.

Это насытило творчество Морица напряженнейшим, созвучным всей новейшей литературе социальным драматизмом. В нем, быть может,— особая суровость морицевского реализма. Но в нем же его бесспорная мощь и глубина.

◆

МАРИЯ ХИШПАНЬСКА-НОЙМАН
Польша
Дети и звезды.
Гравюра на дереве.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

ТРЕБОВАНИЯ ЖАНРА И КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ

Заметки об антиутопии в английской литературе 60—70-х годов

Более двадцати лет тому назад английский историк и литературовед А.-Л. Мортон констатировал: «Мы подошли в известном смысле к концу утопии». А недавно видный фантаст Брайан Олдисс писал в книге «Картографы ада»: «Износился» не только материал, питающий жанр, но и сама форма. Проявления добра и мужества, искусство гибнут в хаосе разрухи и упадка, представляющих нашу жизнь».

«Мы живем в эпоху, когда высокоразвитое западное общество ставит проблемы, требующие осмысления и художественного освоения,— сказал Брайан Олдисс автору этих строк во время своего пребывания в 1977 году в Советском Союзе.— Разве это не насущная задача? Вспомните мысль, высказанную Кристофером Марло в «Докторе Фаусте». К Фаусту приходит дьявол-искуситель, чтобы заманить его в ад. Мефистофель говорит ему: «Ад здесь. Мы и не выбирались из него». По-моему, разница между великими Утопиями и антиутопиями Хаксли и Оруэлла в том, что их антиутопии рисовали будущее высокоразвитого общества. А сейчас это будущее стало реальностью. «Ад здесь. Мы и не выбирались из него». Об этом мире материализованного будущего пишут в своих романах Джеймс Баллард, Дик Морленд, Алан Бернс».

Подобные высказывания западных художников слова о судьбе искусства и перспективах развития цивилизации, когда в расчет вовсе не принимается возможность социалистического переустройства общества, в последнее время стали настолько привычными, что, казалось бы, утратили свой трагический смысл. Мизантропический взгляд на жизнь, свойственный представителям модернизма, в книгах такого рода писателей грозит теперь превратиться в общепринятую универсальную формулу мироощущения. Парадоксальное подтверждение тому — метаморфозы, происходящие с одним из самых жизнеутверждающих жанров — утопией, у истоков которой — изначальное стремление человека к счастью, мечта об Эдеме, стране, где, как гласит английское речение, «всюду и всегда солнце».

Эти метаморфозы дали основания А.-Л. Мортону говорить о гибели жанра, о «конце утопии» в английской литературе. И в самом деле, ее вытеснила, заменила, потопила ее последние дни антиутопия.

Естественно, само стремление на нескольких журнальных страницах дать исчерпывающий анализ и тем более исчерпывающую картину этого рода литературы было бы утопичным. Отбирая книги, иллюстрирующие ту или иную особенность антиутопии, я хотела только показать, как разнообразна она сегодня по тематике и по форме, каким является важным и органичным моментом в литературном процессе Англии.

Из обширной — отечественной и зарубежной — критической литературы[1] мы знаем, что утопия возникла благодаря вере человека в возможность гармонии с природой, в возможность построения идеального общества, она отражает те или иные социаль-

[1] Назовем, к примеру: А.-Л. Мортон. Английская утопия. М., 1956. Ю. Кагарлицкий. Что такое фантастика? М., 1974.

но-политические воззрения писателя. Ее предмет — вторая действительность, сконструированная согласно представлениям о желаемом и должном, экстраполированная в пространстве или во времени. В подобных произведениях содержится и критика окружающей реальной действительности. В «Опыте биографии» Герберт Уэллс констатировал: «Во всех своих произведениях я писал об изменении жизни и о людях, думающих, как ее изменить. Я никогда просто не «изображал жизнь». Даже в самых на первый взгляд объективных книгах, мною созданных, скрыта критика современности и призыв к переменам»[1]. Но как изменить жизнь? На этот вопрос Уэллс так и не дал ответа.

Еще Фрэнсис Бэкон в «Новой Атлантиде» (1627) утверждал, что залогом процветания служит интеллект человека, его разумная власть над природой. «...Наша труба зовет людей не ко взаимным распрям или сражениям и битвам, а, наоборот, к тому, чтобы они, заключив мир между собой, объединенными силами встали на борьбу с природой, захватили штурмом ее неприступные укрепления и раздвинули... границы человеческого могущества»[2]. Но уже он понимал, что тот же источник, который так обогащает жизнь, может стать причиной смерти миллионов. Об этом он предупреждал в эссе «Дедал, или Механик».

Критическое рассмотрение материального и духовного прогресса в условиях капитализма, страх перед социалистическим преобразованием общества, мрачный взгляд на природу человека породили антиутопию. Романы Олдоса Хаксли — «Прекрасный новый мир» (1932), «После многих лет умирает лебедь» (1939), «Обезьяна и сущность» (1948) — пронизаны отрицанием технократической цивилизации, воинствующим индивидуализмом и социальным пессимизмом. «Барселона пала. Но если бы даже она не пала, если бы даже она никогда не была осаждена, что из того? Как всякая община, Барселона пала. Но даже процветание человеческих обществ есть постоянный процесс постепенного катастрофического падения»,— говорит герой романа «После многих лет умирает лебедь» Питер Брун.

Пафос книги Джорджа Оруэлла «1984 год» (1949) также определяется крайним индивидуализмом и отрицанием возможности какого бы то ни было равновесия между личностью и государством. «Это не столько книга пророчеств, сколько книга отчаяния»,— так отозвался недавно о ней писатель Энтони Бёрджес.

В последние два десятилетия произведения, в которых дается прогноз на перспективы развития общества и личности в соответствии с воззрениями писателя и его творческой манерой,— характернейшая примета английской литературы. Хотелось бы подчеркнуть, что разнообразие этих произведений обусловлено именно тем, что в дискуссию по самым острым, ключевым проблемам современности, от решения которых зависит день завтрашний, вступают сегодня представители разных поколений и направлений. Мнение художника слова, его позиция особенно ценны еще и потому, что никакие математические выкладки и социологические прогнозирования не в состоянии предугадать или предрешить судьбу личности, тогда как истинная цель прогресса, по определению Маркса,— «целостный человек».

Утопию и антиутопию часто относят к научной фантастике. Если рассматривать литературу XX века в статике, в рамках одного века, то их, наверно, можно назвать научной фантастикой с социально-философской проблематикой. Но даже в этом случае «сфера действия» жанра много шире. Как только что говорилось, его тяготение в тематическом плане к ключевым проблемам тем не менее фокусируется на личности, поэтому в формальном отношении утопия и антиутопия с присущими им обобщениями и абстрагированием приближаются к философскому роману, притче. Не стоит забывать и о традиции жанра, обогащенной сатирическим талантом Джонатана Свифта («Путешествия Гулливера»), публицистической обнаженностью Уильяма Годвина, тщательным вниманием к описываемым явлениям Даниэля Дефо («Робинзон Крузо»).

«Если бы я не стал писателем, я стал бы врачом,— говорит в одном из своих интервью Джеймс Боллард, который по праву считается сейчас одним из ведущих английских фантастов.— Я стараюсь смотреть на современника глазами ученого... И первое, что вижу,— кольцо изоляции вокруг него».

Показательна эволюция творчества писателя: от произведения к произведению он стремится преодолеть каноны традиционной научной фантастики—ограничивает действие во времени и пространстве (по его словам, «единственная по-настоящему непознанная планета — Земля»), избегает сенсационности и развлекательности сюжета, не устраивает, как замечает Брайан Олдисс, «увеселительной прогулки в автомобиле по всей планете», освобождается от космического реквизита, ракет, роботов, вычислительных машин. И теперь художественная программа Болларда — исследование внутреннего мира человека, анализ распада личности в буржуазном обществе под влиянием материального прогресса.

Герой Болларда не обольщен никакими надеждами, он не испытывает тяжести утрат, попросту у него никогда и не было никаких надежд. Урбанистический ад, где автодорожный знак перст божий, а машина источник восторга—тема романа «Бетонный остров» (1975). Архитектор Мэйтланд попадает в автомобильную катастрофу — и его отбрасывает воздушной волной на обочину шоссе. Ему удается перебраться через заградительную сетку — и он оказывается на островке, заросшем густой зеленью, вдали от грохота и угара выхлопных газов. Тщет-

[1] Герберт Уэллс. Полн. собр. соч., М., 1964, т. 1, стр. 19.
[2] Фрэнсис Бэкон. Соч. в 2-х томах. М., 1971—1972, т. 1, стр. 251.

но пытается он забыть, что пространство, куда он попадает,— не необитаемый остров, а клочок земли, зажатой в кольцо асфальтовых дорог. Так Джеймс Боллард демонстрирует невозможность обрести райский остров, иллюзорность поиска.

Врач-физиолог Роберт Лэнг («Небоскреб», 1975) потерпел в личной жизни фиаско; он решает отрезать от себя все, что связывало его с прошлым, и покупает квартиру в сорокаэтажном здании, построенном по самым новейшим стандартам. Небоскреб—микрогород с магазинами, банком, парикмахерской, солярием, школой, бассейном. И двумя тысячами обитателей. «Это был огромный механизм, предназначенный не для того, чтобы сплотить людей, а чтобы предоставить кров каждому и изолировать его». Но весьма скоро конгломерат жителей, или, как называет их архитектор дома Ройэл, «критическая масса», распадается на враждующие лагеря: нижние этажи (их занимает так называемый «нижний средний класс») стремятся оккупировать верхние (на них — «верхний средний класс»), а «средний средний класс», расположившийся, естественно, на средних этажах, служит препятствием и тем и другим.

«Война миров» начинается со стычки между враждующими этажами. И вот ультрасовременное роскошное здание стало походить на городскую свалку: в лифтах валялись разбитые стаканы и пустые бутылки из-под пива, на балконах жильцы раскладывали костры, чтобы приготовить себе пищу. А потом — и на морг: бассейны были завалены трупами, «сошедший с ума зубной протезист Стил развлекался тем, что наряжал трупы и рассаживал их — то был чудовищный парад мертвецов».

«Архитектор Ройэл всегда мечтал завести зоопарк с полдюжиной котов и огромным вольером, в котором он держал бы разных птиц. Ему принадлежало много проектов зоопарков, один проект представлял собой высотное здание, где птицы могли бы свободно летать в своих отсеках и под своим небом». Но вместо зверинца Ройэл опрометчиво построил небоскреб для людей, которые не желают жить свободно «в своих отсеках и под своим небом», а бессмысленно и исступленно куда-то рвутся. «Вожак низов», телевизионный режиссер Ричард Уайдлер, в конце концов выбирается на крышу, убивая попавшегося ему на пути Ройэла. Сам он тоже гибнет.

Боллард рисует картину чудовищного варварства, одичания двух тысяч респектабельных буржуа. Атрофия гражданских чувств, духовная деградация превращают человека в «нечто», более низменное и бессмысленное, чем животное.

После опубликования «Небоскреба» в английской прессе развернулась острая дискуссия — одни обвиняли Болларда в том, что он видит в человеке агрессивное начало, победу темных инстинктов, другие — в том, что он изменил жанру научной фантастики. Роман сравнивали с «Моллоем» и «Как это было» Сэмюела Беккета, с «Женщиной в песках» Кобо Абэ, с «Повелителем мух» Уильяма Голдинга, хотя параболическая, притчевая форма повествования упомянутых произведений не дает еще достаточных оснований ставить все их в один ряд. Из многих высказываний Болларда (да и из самих романов) со всей очевидностью явствует, что, характеризуя больного человека современной западной цивилизации, он диагностирует последствия материального прогресса, а не абстрактную обреченность homo sapiens, как это делает, скажем, Сэмюел Беккет.

Крайнее проявление оппозиции человека к окружающему его миру прослежено Дорис Лессинг в романе «Инструктаж перед спуском в ад» (1972). Писательница предваряет книгу такими словами: «Категория: фантастика мира внутри нас. Иного пути нет — только мир, что внутри нас». Согласно устоявшейся схеме утопического произведения, Лессинг строит повествование в «двух измерениях» — мир реальный и идеальный. Но путешествия героя в страну чудес, занимающие основную часть романа, и его перипетии в повседневности, которые обрамляют повествование, не дистанцируются во времени или пространстве, переход из одного измерения в другое осуществляется «вполне современно».

Профессор Чарльз Уоткинс попадает в полицейский участок в состоянии полной невменяемости. Он не помнит ни своего имени, ни адреса. «Я жду попутного ветра,— бессвязно бормочет он,— крепкого ветра, и я поплыву дальше, до Канарских островов, до порта, где ждет Нэнси своего беднягу Чарли, дальше и дальше до Сарагоссы, где ждет меня моя Кончита, а потом опять к Канарским островам и все время — вокруг, и вокруг, и вокруг...»

Уоткинса помещают в лечебницу для душевнобольных. И кажется, что окружающие не замечают, как изумительно поэтичны монологи этого «безумца», какой любовью к красоте, свободе пронизаны они. «На небе — ни облачка. Синее, бескрайнее синее небо. Я стоял у кромки воды, ласкающей белый песок безбрежной земли, окаймленной густым лесом. Ветер, дувший с моря, ласково перебирал ветви деревьев. Листья сияли на солнце. И море мерцало. И песок купался в бликах света. Как тихо было... Спокойно... Отрадно...»

Психиатры упорно и методично пытаются вернуть своему пациенту «здравый рассудок», а он изо всех сил сопротивляется, хочет остаться пленником стихии красоты и света. В своем воображении он возносится над землей, и перед взором его предстает окрашенный тут и там алыми языками войн и пожарищ, пульсирующий ненавистью и враждой огромный шар. Он видит, как гаснут эти языки, утихает неровный пульс раздоров и люди, населяющие Землю, сливаются в единое целое...

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

ТРЕБОВАНИЯ ЖАНРА И КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ

Но вот он ступает на улицы какого-то города, пытается заглянуть в глаза ребятишкам, бегущим ему навстречу. «Что мы можем сделать, чтобы эти дети не попали в ловушку, как поймали однажды нас, не были изуродованы? Кто из нас хоть раз в жизни не посмотрел в глаза ребенку и не увидел там осуждения, враждебности и страха пленника?»

Профессору Уоткинсу не удается вырваться из ловушки обыденной запрограммированной жизни; врачи водворяют его в лоно семьи, на университетскую кафедру, в тиски разума. К нему возвращается память, он вновь знает, кто он и что ему надлежит делать. Но он безнадежно утратил способность ощущать краски, звуки, он больше никуда не стремится. Он мертв...

Повествование Дорис Лессинг открывает для читателя лишь один путь к свободе — свободе внутренней. «Инструктаж перед спуском в ад» — своеобразный парафраз христианского «царство божие — внутри нас»; по мысли автора, он обретает особую силу и особое значение для человека, живущего в бездушном мире ЭВМ.

Джеймс Боллард и Дорис Лессинг, каждый по-своему, исследуют «внутреннее пространство» человека. Боллард считает, что современные робинзоны обречены на гибель — столь необратим процесс их нравственной деградации, столь сильны в них воспитанные веками инстинкты соперничества, конкуренции, борьбы за власть. Дорис Лессинг, напротив, недвусмысленно заявляет о единственной возможности сохранить собственное «я»: вырваться из «привычных параметров бытия». Возможно ли это? — возникает вопрос. Но тем не менее сама по себе подобная попытка симптоматична. Она говорит о стремлении художника, вопреки всему, найти — хотя бы иллюзорный — выход, помочь герою попасть на остров Утопия.

Дорис Лессинг вроде бы возвращается к истокам жанра, к произведениям, в которых герой-путешественник открывал удивительную страну. Но следует помнить, что фантасты XVI—XIX веков для вящей убедительности стремились насытить свое повествование информацией, которая доказывала бы достоверность происходящего, а Лессинг оговаривается сразу, что речь идет о клиническом случае, о безумце, сочинившем все от начала до конца.

Канадский критик Нортроп Фрай в книге «Литературные формы утопии» (1973) верно подметил, что западная современная утопия — «повсюду и нигде, ее место действия — наша цивилизация любой уголок на земном шаре. Она питается разнообразными движениями, происходящими в современном обществе и охватывающими все, а не конкретные сферы нашей действительности. И потому диалектика философа-создателя не может довольствоваться конкретным местом действия: утопия вбирает в себя тело и дух, сознательное и подсознательное; действие разворачивается в лесах и пустынях, на автострадах и в зданиях...». Однако, показав путь умерщвления идеала под воздействием реальности, Дорис Лессинг тем самым создает антиутопию.

Энтони Бёрджес в «Механическом апельсине» (1963) руководствуется прямо противоположным принципом построения образа: в среду обывателей, ничем не отклоняющихся от нормы, он помещает пятнадцатилетнего Алекса, мерзкого садиста, который потом, после принудительного лечения, превращается в аморфное, но соответствующее стандартам существо. Когда книга увидела свет, мало кто мог поверить, что ее герой — продукт не столько авторской фантазии, сколько определенного общественно-политического климата, креатура буржуазного общества. В интервью журналу «Плейбой» Бёрджес впоследствии говорил, что его задачей было «показать мир, где люди апатичны или направляют свою энергию на варварские действия...». Алекс — преступник, истязающий стариков и женщин, предающийся сладострастным мечтам о предстоящих развлечениях под музыку Бетховена, и Алекс — аморфный, безвольный, каким он стал после лечения у профессора Бродского,— не только продукт, но и жертва. Бёрджес не делает выбора между этими двумя ипостасями своего героя.

Прошло время, Алекс из иллюстрации к антитезе «личность и общество» превратился в толпу «диких ангелов», «детей судного дня», стал феноменом повседневности английского общества конца 60-х — начала 70-х годов, одной из доминирующих черт которого были разнообразные формы экстремистского, анархического движения молодежи.

Молодой прозаик Дик Морленд делает попытку предсказать, что ожидает Англию через десять — двадцать лет, если «дикие ангелы» захватят власть. Он исходит из посылки, что сегодня атмосферу страны прежде всего определяет «многоликое насилие».

Читаешь его роман «Альбион! Альбион!» (1974) и вспоминаешь множество появляющихся на страницах западной прессы сообщений, смысл которых суммировал видный литературовед Джордж Стейнер в статье «Многоликое насилие»: «Нас захлестнул поток насилия, воды которого текут через всю нашу историю... Мы вступили в эпоху бомбежек и киднэппинга, грабителей и вандалов. Мы с готовностью пользуемся услугами наемников — ведь за безопасность надо платить. Наши дома превратились в бумажные замки. Мы слушаем сообщения об угоне самолетов и спокойно покупаем билет на авиарейсы. И начинаем относиться к этому как к повседневности. Это — апогей насилия...»

Итак, Англия девяностых годов. Парламент распущен, высшие учебные заведения ликвидированы, страной правят болельщики футбола: они образовали Четыре Клуба — «Сити», «Юнайтед», «Уондерз», «Атлетик», которые ведут кровавую междоусобную борьбу. На улицах — разбой и бесчинства, убийство стало нормой, пытки, тюрьмы без суда и следствия — обыденным явлением.

Журналист Уайти Синглтон летит в Судан, но самолет, захваченный группой террористов, совершает вынужденную посадку в лондонском аэропорту Хитроу. Так начинаются бесконечные приключения Уайти, всякий раз грозящие гибелью: он попадает в плен к «болельщикам», оказывается в штабе оппозиционного движения «Джейз» (от английского «jeys» — «балаболка»), разместившемся в Кембридже, где знакомится с его вожаком Кингом, присутствует на допросах, которым подвергает своих противников Дисциплинарный комитет, созданный при каждом Клубе, наконец, сам подвергается допросу. Что же открывается Уайти?

«Англия не переживала еще такого падения со времен норманского завоевания... Единственное правило, которого придерживаются здесь,— никому не доверять. Человек лишен прав, беззащитен... Мы стали позором Европы»,— говорит Уайти. Попав к Кингу, он убеждается, что и его программа, а главное — методы, которыми тот пытается провести ее в жизнь, ему тоже чужды.

И вот вывод, к которому приходит Уайти: «Трудно решить, какой путь следует избрать его стране. Тот, которым ведут Четыре Клуба? Или же тот, на который хотят вывести ее Кинг и его люди? А может, существует третий?» Но третьего пути Синглтон, журналист «умеренных» взглядов, не видит.

Синглтон в конце концов приходит к заключению, что, в сущности, и с «болельщиками» можно найти общий язык. Нет, не ради спасения собственной жизни. Ради спасения Англии. «Его первые две статьи в осторожной форме выражали надежду, что в Англии скоро должны произойти перемены к лучшему...»

На стадионе Уэмбли захватившие власть «болельщики» проводят митинг, где должно быть провозглашено государство «Новый Альбион», но он превращается в бойню и все телестудии страны транслируют кровавый спектакль, спровоцированный людьми Кинга. Вот такой сатирический комментарий к знаменитым строкам Уильяма Блейка: «Пробудись, Альбион! Пробудись! И мы пробудимся с тобой!» — предложил читателю Дик Морленд. В «Пророческих поэмах» Уильяма Блейка, четверостишие из которых Морленд взял в качестве эпиграфа к роману, звучала надежда, что Англия станет «зеленой и счастливой страной», оплотом свободы.

Какова цена опыта? Купит ли его человек
за песню,
Или мудрость — за пляску на улице?—

спрашивал великий поэт.

Морленд утверждает своей аллегорией: цена опыта чудовищна. Человек теряет способность осознавать, что есть свобода, что есть борьба за идеал, ибо эти понятия безнадежно извращены. Опыт — это цепь обманов и предательств. Но мудрости он не дает.

Американскому футурологу Дональду Данну принадлежит высказывание: «Наиболее полезна не та футурология, которая отвечает на вопрос «Что будет?», а та, которая отвечает на вопрос: «Что мы хотим, чтобы случилось?». Иными словами, футурология приобретает особое значение, когда она озабочена не будущим, а тем, что мы намерены делать сейчас».

Дик Морленд предупреждает: если продолжать заигрывать с анархистствующей частью молодежи, проповедующей доктрину «бунта ради бунта», в Англии будут бесчинствовать полчища Кинга. Сегодня к этому есть все предпосылки. Он предупреждает также: ложный гуманизм, лояльность по отношению к противнику оборачиваются предательством. Он пишет о закулисных интригах на высшем политическом уровне, о борьбе за власть, когда спекулируют на интересах страны и народа, выхолащивают смысл идеалов, за которые испокон веков боролся человек,— о реальных явлениях, которые, если их не предотвратить сегодня, определят завтрашний день Англии.

Впрочем, та же ситуация может быть интерпретирована совсем по-другому. Для Б. С. Джонсона анархический бунт героя-одиночки является идеалом. Роман «Двойная бухгалтерия Кристи Мэлори» (1973) — одиссея молодого террориста, объявляющего войну всем, кто когда-либо и как-либо причинил ему неприятность. Кристи Мэлори, мелкий клерк одного из английских банков, заводит «книгу долгов», куда вносит имена своих обидчиков — сначала это люди, стоящие на ступеньку выше по должностной лестнице, потом — крупные правительственные лица. В конечном счете жертвами его тотального терроризма становятся все и вся.

О философской и политической платформе «новых левых» уже неоднократно писалось в советской прессе и подчеркивалось, что «негативная диалектика», или философия отрицания, не внесла в науку о развитии общества и культуры ничего принципиально нового. Природа бессознательного бунта против «общества потребления» — воинствующий нигилизм, за ним не стоит никакой позитивной программы.

На первый взгляд может показаться, что романы прозаика Алана Бернса «Европа после дождя» (1965) и «Вавилон» (1969) — всего лишь вариант «апокалипсических пророчеств», романа-предупреждения о гибели человечества от термоядерного дождя. Но задача писателя — иная: выявить отношение его героя к таким проблемам, как война и мир, сознательная борьба и пассивное созерцание; словом, в центре повествования — поведение человека в экстремальных условиях.

Заглавие книги «Европа после дождя» подсказало Бернсу знаменитое полотно одного из основоположников сюрреализма Макса Эрнста, изобразившего картину опустошения и разрухи, которые постигнут нашу планету в недалеком будущем. Действие романа тоже перенесено в будущее. Здесь нет государств, правительств, а лишь безымян-

---

А. НИКОЛАЕВСКАЯ
ТРЕБОВАНИЯ ЖАНРА И КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ

ные, разоренные города, где каждый день происходят взрывы, убийства, а шайки бандитов, воров и головорезов бесчинствуют, терроризируя население — обессилевшее, отупевшее от голода и страха. Герой, от лица которого ведется повествование, вместе со своей подругой попадает в город, находящийся в зоне военных действий. Девушка заболевает тифом, и ее увозят. Куда — он не знает. В поисках ее он совершает путешествие по разрушенной Европе.

Что же испытывает герой при виде людей, которые месяцами голодают и живут без крыши над головой? Вот его слова: «Не могу сказать, что я был безразличен. Нет, но просто я был спокоен и не разделял их страданий. Я был вне этого. Мне было все равно». Он предпочитает оставаться сторонним наблюдателем.

Среди пепелищ герои романа мечтают о своем доме, об очаге, стремятся к миру, созиданию. Однако неверие и разочарование заставляют их с горечью говорить о борьбе за лучшее будущее: «Мы сражались, ибо должны были сражаться. И это было просто. В этом, полагали мы,— смысл. Но так лишь казалось. Борьба нам ничего не дала...»

Другой роман Бернса, «Вавилон»,— яркий гротеск; современную западную цивилизацию он сравнивает с Вавилонской башней, где смешались все времена, понятия, языки, идеалы. Кому только не поклоняются там — Христу, Брандо, Мальро... даже вегетарианцам. В одном месте романа автор пишет: «У безумцев, посаженных в клетки, брали интервью. И они вещали миру». Роман Бернса подобен серии интервью, взятых у обезумевших от этого мира людей. Сатирический, беспощадный пафос «Вавилона» сродни сатире Джонатана Свифта. Некоторые «интервью обезумевших от этого мира людей» напоминают по своей парадоксальности, чудовищной неправдоподобности того, что так беспощадно разоблачает автор, знаменитый памфлет Свифта «Скромное предложение», где писатель выдвигал свою «программу перестройки жизни нищей, порабощенной Ирландии»,— он предлагал продавать и употреблять в пищу детей бедняков.

Алан Бернс в отличие от Дика Морленда не создает антиутопии, где присутствовали бы политические и социальные приметы, характерные для современного западного общества. Вместе с тем позиции писателей сходны — они боятся революционных перемен, для них всякое насилие означает лишь разрушение, но не созидание нового. Морленд конкретен не только в прогнозах относительно развития английского общества; его страх перед насилием и экстремизмом носит тоже сугубо конкретный характер. Бернс выдвигает абстрактную программу стремления к миру, к созиданию. И тем не менее степень таланта Бернса (известный писатель Энгус Уилсон так отозвался о нем: «Алан Бернс — один из двух-трех наиболее интересных новых прозаиков Англии; если это звучит неубедительно, добавлю, что он действительно очень хороший романист») делает его книги весьма заметными.

Джордж Стейнер отмечал в статье «Классическая культура и посткультура»: «В моду входят пародийные жанры, которые в большей степени используют предшествующую литературу. Современная западная литература строится на сюжетах и знаниях уже освоенных, варьируя и повторяя традиционные мотивы». Думается, это в равной степени можно отнести к романам Майкла Фрэйна «Сладкие мечты» (1973) и Кингсли Эмиса «Операция» (1976), что, впрочем, вовсе не означает, что эти писатели преследовали одинаковую цель и исходили из одинаковых побуждений.

Сатирик Майкл Фрэйн использует традиционную схему утопии, чтобы высмеять несостоятельность, примитивность идеала своего героя — среднего буржуа, либерала Говарда Бейкера.

Бейкер отправляется в путешествие и останавливается в городе, поразившем его своей необычностью: прохожие приветливы и дружелюбны, отели удобны, магазины переполнены товарами, которые любому по карману. Изумление Бейкера возрастает, когда портье отеля, где он остановился, разъясняет, что в этом городе все живут, сообразуясь только со своими желаниями и потребностями. «Я, к примеру,— говорит ему портье,— работаю здесь, потому что мне нравится это занятие и меня не мучит честолюбие!» «Я ощущал необычный прилив духовных сил. Мне казалось, что я совершенствуюсь морально и скоро смогу сделать такое, о чем раньше и не помышлял»,— замечает Говард.

За вечерним чаем Бейкер рассказывает друзьям об обнаруженном городе, о том, как каждый житель опекает другого, помогает, выручает. Друзья выслушивают его с большим интересом и с большой... снисходительностью. Ибо, по словам одного из них, «только Говард способен превратить бокал «шерри» в чашу причастия». Выясняется, что город этот — всего лишь плод безудержной фантазии типичного представителя «общества потребления». В выдуманной идеальной схеме Бейкера соблюдены лишь внешние приметы благополучного существования. Каковы истинные пружины, приводящие эту схему в действие, что дает основание человеку ощущать себя свободной личностью, что представляют собой социальные отношения — эти вопросы остаются без ответа. Скепсис героя в его «обычной» жизни, его неприязнь к окружающим воспринимаются читателем не более чем поза. Серия эпизодов, повествующих о дальнейших поисках Говардом счастья, также рисуется в пародийных тонах. Побег Бейкера в деревню, его программа «опрощения», которой потом начинают следовать десятки и сотни людей (телерепортеры проникают к Бейкеру и превращают отшельника в телезвезду, транслируя на всю Англию репортажи из деревни), может позабавить читателя, но никак не послужит пищей для серьезных размышлений. Впрочем, и сам герой очень скоро возвращается к привычному ритму: поступает на службу, вновь сближается с прежними друзьями. Теперь он

проповедует «путь отказа от своих требований. От этого становишься лучше, независимей, честней. Больше — самим собой...» Роман обрывается на словах, предвещающих очередной «фантастический сон» героя.

Грезы Бейкера о земле обетованной наивны и примитивны, происходящее с ним в реальности курьезно и случайно, и потому утопия, продукт воображения уставшего либерала,— всего лишь пародия. А сам роман, где вроде бы соблюдены внешние признаки жанра: описание жизни идеального города, воплощающего торжество Мечты героя, и сатирическая картина общества, в котором он живет как антитеза Мечте,— сатира на утопию.

Кингсли Эмис, начинавший путь в литературе вместе с писателями из числа «рассерженных молодых людей», автор книги «Счастливчик Джим», впоследствии круто изменил свои радикальные воззрения как на действительность, так и на роль искусства. Охранительная позиция Эмиса сказалась на его дальнейшем творчестве, которое, как он неоднократно утверждал, должно развлекать читателя. На этот раз он обращается к столь модному жанру антиутопии, тем паче, что законы жанра Эмису прекрасно известны: еще в 1960 году он издал книгу по научной фантастике — «Новые карты ада», в основу которой легли его университетские лекции.

Роман «Операция» описывает события, происходящие в Англии в 1976 году. Правда, соотнесенность с современностью здесь весьма своеобразна, ибо по воле автора в истории страны произошли всевозможные «перестройки», фатальным образом сказавшиеся на дальнейшем развитии Англии. Страной правит юный Уильям V, но он лишь марионетка в руках церковников, поскольку римско-католическая церковь безраздельно властвует практически над всем миром. В Англии ее представляет папа Иоанн XXIV, главная задача которого — запретить своей пастве «плодиться и размножаться», дабы застраховать себя от лишних ртов. Проблема роста населения решается весьма просто: ведется постоянная война с турками. В этом теократическом государстве преследуется все новое, наука и культура «вне закона», запрещено электричество, почти нет транспорта. Существует, правда, некое подобие летательных аппаратов и автомашин, но никто не умеет ими управлять. Жители читают только научно-фантастические книжки. «В нашем мире человек делает то, что скажут ему, идет туда, куда пошлют, а отвечает то, что положено»,— говорит один из персонажей.

Помимо горизонтального среза общества Кингсли Эмис предлагает и вертикальный: он перекраивает на свой лад историю, дает свое «прочтение» конкретным историческим лицам и фактам. Так Томас Мор, по Эмису, избегает смертной казни, ибо становится папой Адрианом VII, а Мартин Лютер — папой Германием II. Шекспира же, напротив, высылают за ересь в заокеанскую республику Новую Англию, первым гражданином которой избран Редьярд Киплинг.

В «Операции» есть и альтернатива — республика, где проповедуют веротерпимость и личную свободу граждан. Однако в центре повествования не республика, которая выглядит бесплотной, а уродливый, скрупулезно вычерченный облик теократического государства, символ которого — оскопленный юноша Хьюберт Энвил. Образ Хьюберта — антитеза жителям Англии, задавленным иезуитами. Но и этот человек, гениальный композитор, обладающий прекрасным голосом, становится жертвой церковников. В результате проделанной над ним «операции» ангельский голос Хьюберта, навеки застывший в своей неестественной детскости, стал безраздельной собственностью католиков, отныне он будет всегда украшать своим благостным пением священную литургию. Человек, творец, художник в Хьюберте убиты. И не случайно последнее слово в книге — «amen».

Главная задача Эмиса — не сатирическое изображение общества агностиков и теократов. В центре внимания писателя литературные, исторические, политические реминисценции и подтасовки. Ради чистой игры воображения автор позволяет себе бесконечные «операции» как с событиями, сыгравшими немаловажную роль в судьбе целых народов, так и с моральными, философскими, эстетическими категориями. Это — только материал для эксцентрики, не больше того. Конструкция утопического произведения также использована как исходное, с его помощью Эмис разыгрывает всевозможные сюжетные комбинации.

И последняя книга, которой я собираюсь закончить свои заметки, руководствуясь как хронологическим принципом (она вышла в свет в 1978 году), так и тем соображением, что она в определенном смысле — итоговая, это роман Энтони Бёрджеса «1985». Ему предпослан эпиграф, из которого нетрудно догадаться об общей тональности произведения: «2+2=5. Этот плакат висел в Москве в годы первого пятилетнего плана; он обозначал, что, если рабочие как следует постараются, план удастся выполнить в четыре года». «1985» состоит из двух частей, обе написаны в продолжение «1984 года» Джорджа Оруэлла. Не только фигура Оруэлла и его роман, но и уроки тридцати лет, прошедших с момента опубликования романа,— объект рассуждений и измышлений Бёрджеса.

Книга сопровождается тремя беседами писателя с вымышленным интервьюером — это «катехизис», эпилог и «разговор: государство и сверхгосударство». В первой части романа Бёрджес декларирует свое категорическое неприятие и капиталистического общества, и опыта социалистического строительства. Сконструированный им мир поделен на три сверхдержавы — Океанию (в нее входят США, Латинская Америка и Британское содружество), Евра-

---

А. НИКОЛАЕВСКАЯ
ТРЕБОВАНИЯ ЖАНРА И КОРРЕКТИВЫ ВРЕМЕНИ

зию (страны европейского континента, «поглощенные» Советским Союзом) и Истазию (Китай, Япония, Юго-Восточная Азия и проч.). Сверхдержавы находятся в состоянии постоянной войны. «Война — это мир. Я хочу сказать, что состояние войны — единственное условие жизни для нового времени». «В чем же причины войны?» — спрашивают его. «Да ни в чем. Нет ни территориальных притязаний, ни идеологической несовместимости». (И здесь, как видим, сказывается «уравнительный» принцип в оценке современности.)

Что же до положения дел в Океании, то восемьдесят пять процентов ее населения составляет неграмотный, аполитичный, голодающий и инертный пролетариат, как его называют — «прол». «И никто не может восстать против столь чудовищного попрания свободы?» — следует вопрос. «Никто. За исключением, конечно, какого-нибудь безумца... Бунт — анахронизм. А что такое свобода человека? Свобода от чего? Свобода для чего? Слова, служившие паролем для революций прошлого,— чепуха. Свобода. Равенство. Братство. Поиск счастья. Добродетель. Знание. По-моему, достаточно только власти...»

Как известно, «антиколлективистская» тенденция книги Оруэлла, в которой изображено государство Океания, управляемое военно-полицейским аппаратом, отрицание взглядов социалистов-утопистов Томаса Мора и Кампанеллы превратили «1984 год» в катехизис антикоммунистической пропаганды. Джон Гросс, посвятивший Оруэллу большой очерк в «Обсервер ревью» от 21 сентября 1968 года, констатировал, что роман «сразу же оказался на переднем крае холодной войны...» Энтони Бёрджес, напротив, «реабилитирует» Оруэлла, говоря, что Океания — это сатира на Англию 40-х годов и что конкретные предсказания писателя пока что не сбылись и вряд ли сбудутся, но «книга остается апокалипсическим сводом наших самых худших страхов».

В первой части Бёрджес декларирует также свой взгляд на проблемы взаимоотношения личности и государства, молодежного движения (он называет анархическую молодежь «детьми Бакунина», которые «представляют серьезную опасность традиционной свободе»), на проблему «конструирования» личности в соответствии со стандартами общества (это, по его мнению,— феномен «механических апельсинов», которых превращают в аморфные существа).

Какой же выход предлагает Бёрджес? Вот один из его советов: «Вероятно, всего лишь вероятно, что, обратившись к учению Христа о самоусовершенствовании, мы как-то сможем бороться с нашей шизофренией...» Но подобные душеспасительные увещевания тонут в лавине тотального ниспровержения всех результатов материального и духовного прогресса человечества.

Если первая часть книги Бёрджеса — эссе с привлечением широкого исторического, философского и социологического материала, то вторая — как бы художественная иллюстрация к первой, собственно роман «1985». В центре повествования — Англия недалекого будущего. Естественно, что автор рисует это будущее в соответствии со своими политическими и классовыми симпатиями. Непосредственное отражение в книге находит пропаганда, которую ведет английская правая пресса по поводу «засилья» страны цветными иммигрантами: экономикой правят арабы, профсоюзы находятся под их контролем. Школы закрыты. Всеобщая забастовка парализовала нацию...

Так парадоксально сочетаются в книге Бёрджеса тотальное ниспровержение всех и вся с охранительными тенденциями, когда его пером движут «самые худшие страхи».

Наверное, если бы «1985» состоял только из второй части, его можно было бы причислить к антиутопии. Но рассуждения об Оруэлле, многочисленные — прямые и зашифрованные — переклички с его «1984 годом» заставляют вспомнить слова Стейнера о преднамеренной вторичности такого рода произведений, когда готовые сюжетные и идеологические клише заменяют творческий поиск, активное переосмысление жизни. Видимо, не случайно английские и американские рецензенты проявляют повышенный интерес не к собственно роману, а к оценке писателем взглядов Джорджа Оруэлла и его «1984 года».

...Публицистическая обнаженность книги Дика Морленда, приметы философского романа в последних произведениях Джеймса Болларда, где сюжет и само разрешение конфликта подчинены движению определенной концепции, притчи Дорис Лессинг и Алана Бернса, элементы научной фантастики в «Механическом апельсине» Энтони Бёрджеса, сатира Майкла Фрэйна... Имеем ли мы основание объединять столь разные произведения? Вопрос справедливый. Но с одной оговоркой. Не надо забывать, что утопический роман и его формальная сторона — непосредственное порождение времени, эпохи, среды. «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» Томаса Мора была не просто книгой для домашнего чтения. Это — свод политических реформ, научный трактат, свидетельство состояния философской мысли в тот период.

И странно было бы рассматривать сегодня антиутопию, в частности английскую, лишь как один из литературных жанров. Ведь она вобрала в себя многие животрепещущие, ключевые проблемы современности, от решения которых зависит день завтрашний. Очень важно, находит ли писатель в себе гражданские силы и художническую дерзость сказать убедительно и просто правду о том, что он видит, что сумел увидеть, преодолеть конформизм и столь «удобную» терпимость; это в гораздо большей степени решает судьбу жанра, чем его формальные, или, как любят теперь говорить, «типологические» структуры.

◆

Заметки на полях

ЗА ПРАВО ГОВОРИТЬ С НАРОДОМ

По страницам африканских журналов

В 1958 году, выступая на Первой конференции писателей Азии и Африки в Ташкенте, Сембен Усман [1] определил, какой он хочет видеть молодую литературу Африки: политически активной, народной («аудитория — не узкий круг, не салон эстетов, а деревенская площадь»), целенаправленной, воспитывающей, возрождающей традиции. С тех пор прошло двадцать лет, а большая часть статей, опубликованных за последний год в прессе Африки, так или иначе посвящена тем же проблемам: писатель или политик? поиски аудитории, роман или драма? и т. д. Прогрессивная творческая интеллигенция стран Африки не может оставаться равнодушной к судьбам своих народов. Нигериец Олусола Оке в статье «Фердинанд Ойоно и поиски Европы», опубликованной журналом «Презанс африкэн», пишет:

> «Африканская интеллигенция... отличается от западной тем, что на нее почтительно, снизу вверх, взирают африканцы, ожидающие, что она даст им ответы на то великое множество вопросов, которое порождает действительность».

Двадцать лет назад деятели культуры Африки были очень разобщены прежде всего из-за политики империалистических держав, которые воздвигли между интеллигенцией своих колоний языковые, этнические, культурные барьеры. Теперь эти преграды рушатся, африканская интеллигенция ощущает общность стоящих перед нею задач, поэтому закономерен и тот интерес писателей друг к другу, который весьма отчетливо проявился в последние годы, когда, по мнению многих исследователей, англоязычная и франкоязычная литературы Африки заметно сблизились и по уровню мастерства, и по тематике. Так, например, выступая на страницах «Презанс африкэн», нигерийские критики Олалере Оладитан и Олусола Оке разбирают произведения писателей франкоязычных — Фердинанда Ойоно [2], Камары Лэя, Сембена Усмана,— причем Олалере Оладитан в статье «Фаноновское прочтение африканского романа» проводит параллель между творчеством Сембена Усмана и Воле Шойинки [3], сравнивает их художественные методы. Проблемы, волнующие африканских писателей, остались в основном теми же. Интересно, что и произведения, которые находятся в центре внимания критики в настоящий момент, написаны пять, десять и даже пятнадцать лет назад. С одной стороны, это свидетельствует о появлении в африканской литературе собственных «эталонов», но с другой — о том, что африканская критика зачастую просто топчется на месте. Об этом, в частности, говорится в журнале «Уэст Африка», где под символичным названием «Больше риторики, чем реальности» опубликован обзор последних номеров «Презанс африкэн». Об этом же пишет в статье «Сознательный возраст» в журнале «Жён Африк» и известный французский африканист Жак Шеврне:

---

[1] «ИЛ» публиковала романы С. Усмана: «Тростинки господа бога» (1962, № 5, 6) и «Горячий ветер» (1964, № 11, 12); повесть «Почтовый перевод» (1966, № 8).

[2] Читатели «ИЛ» знают повесть Ф. Ойоно «Старый негр и медаль» (1957, № 12).

[3] «ИЛ» публиковала рассказы В. Шойинки (1965, № 6) и роман «Интерпретаторы» (1970, № 10).

«Необходимо избавиться от ложных проблем и начать настоящий диалог со своим народом... Среди таких ложных проблем мы охотно назовем споры, ведущиеся вокруг негритюда, и многочисленные дискуссии, посвященные обязанностям писателя... Странно и в то же время показательно: количество литературной продукции все уменьшается, а теоретические дебаты, наоборот, усиливаются».

Слова Шеврие проливают свет и на тот факт, что африканская пресса относительно мало говорит о «новинках»: во-первых, действительно интересных и серьезных книг, на которые критика сочла нужным прореагировать, появилось мало, а, во-вторых, многие известные писатели, раньше находившиеся в центре внимания, заняты сейчас иной деятельностью. Например, Воле Шойинка чаще всего упоминается в прессе в связи со своей литературоведческой работой «Миф, литература и африканский мир», переизданной в прошлом году с дополнениями. Сообщается о его режиссерской работе в театре. И, кроме того, о нем постоянно говорят как об одном из «титанов» нигерийской литературы, эталоне, которому противопоставляются молодые писатели. Та же роль «титана», при сопоставлении с последующим поколением, отводится и Чинуа Ачебе [1], который, насколько известно, ничего не написал в последние годы.

В 1973 году написана последняя повесть Сембена Усмана «Хала». В настоящее время он занят в основном в кино. В издательских каталогах на 1979 год объявлены романы Алекса Ла Гумы [2] «Время сорокопута» и Айя Квеи Армы [3] «Исцелители». Но рецензий на эти книги пока нет, разговор о них — дело будущего.

Из опубликованных в прошлом году статей проблемного характера большой интерес представляет краткое полемическое выступление президента ассоциации поэтов и писателей Камеруна Патриса Кайо «Дилемма, стоящая сегодня перед писателем Африки («Презанс африкэн»). В нем ставится вопрос: кем в действительности является африканский писатель — членом партии, чаще всего единственной в стране, или литератором, который должен бы многое ставить под сомнение? Кайо замечает, что в африканском контексте эти две функции обычно оказываются несовместимыми:

«...Член партии должен всегда подчиняться указаниям партии, в данном случае — правящим властям. Писатель не может идти безразлично в ритме, заданном властями, ибо сегодня в Африке власть в большинстве случаев не имеет какой-либо иной цели, кроме себя самой, и является, таким образом, чем-то вроде скрытого препятствия на пути прогресса. В этих обстоятельствах вместе с другими свободами исчезает и свобода самовыражения, условие, необходимое для того, чтобы литература выжила».

По мнению Кайо, прогрессивность литературы, выражающаяся в том, «чтобы опережать реальность, создавать для нее идеалы», таким образом сводится к нулю. Эта конкретная мысль Патриса Кайо отнюдь не универсальна — он критикует буржуазное общество. Слова Кайо применимы не ко всем странам Африки, тем не менее его характеристика отношений, возникающих между революционно настроенными писателями и правительствами тех африканских государств, которые пошли по капиталистическому пути, представляется вполне справедливой. Такие отношения действительно препятствуют развитию литературы критического реализма или «социальной сатиры», как называют многие критики основное направление африканских литератур последнего десятилетия.

«Многие писатели,— говорит Кайо,— предпочитают покрываться плесенью в молчании, не осмеливаясь или не желая преодолевать указанные препятствия. Особую роль в этом играет и цензура, а также издатели — «сторожевые псы буржуазии»... которые больше ценят конформизм писателя, его университетскую степень и положение в обществе, чем литературные достоинства его произведений».

Второй, не менее важной, представляется Патрису Кайо проблема оценки произведений африканских писателей. Он пишет, что у представителей африканской интеллигенции все еще силен «комплекс неполноценности, взращенный европейской средой». По этой причине многие самобытные начинания и инновации африканских писателей воспринимаются как дурное отклонение от некой «классической» формы.

«Элита воспринимает нашу литературу как удешевленную и, если произведение не понравилось западной критике, не признает его ценности. Как и в эпоху колониализма, погоду в нашей литературе продолжают делать зарубежные африканисты».

С этим связана и еще одна серьезная проблема — проблема читательской аудитории. Более десяти лет молчал, считая себя «пророком без слушателей», прекрасный

---

[1] «ИЛ» публиковала роман Ч. Ачебе «Человек из народа» (1967, № 3, 4).
[2] «ИЛ» публиковала роман А. Ла Гумы «Каменная страна» (1961, № 11), повести «И плетка, втрое скрученная...» (1965, № 12) и «В конце сезона туманов» (1972, № 12).
[3] «ИЛ» публиковала роман А. К. Армы «Осколки» (1976, № 3, 4).

камерунский прозаик Монго Бети [1]. Многие другие писатели также надолго, а иногда и насовсем отказывались от литературного творчества. Действительно, еще слишком часто между писателем и народом, от чьего имени он хотел бы говорить, лежит непреодолимая пропасть, связанная с общей непросвещенностью и нищетой масс, для которых, по словам Кайо, «кусок хлеба пока важнее, чем книга».

Отсюда мучительные поиски новых форм самовыражения, главная цель которых — сделать книгу такой же нужной, как этот «кусок хлеба». Жак Шеврие в упоминавшейся уже статье «Сознательный возраст» считает, как и многие другие критики, что в последнее время преобладающим направлением в африканских литературах стала «социальная сатира». Оперируя в основном примерами франкоязычных литератур Африки, он разбивает произведения этого направления на несколько групп. К первой из них он относит многочисленные «романы просвещения», например, «Двусмысленное приключение» сенегальца Амиду Кане, «Черное дитя» гвинейца Камары Лэя, переведенный на русский язык «Клембье» Бернара Дадье[2] с Берега Слоновой Кости, «несколько мистические, наполненные тоской и непониманием» романы «Взгляд короля» Камары Лэя и «Бесконечные ловушки» бенинца Олимы Бели-Кенума, известного советскому читателю по роману «Песнь озера».

Другая группа произведений «социальной сатиры» представляет собой попытку в «полуфантастической форме изобразить путь своих героев в джунглях современной Африки, где правят лицемерие и цинизм». Сюда относятся романы «Долг насилия» Ямбо Уологема[3] из Мали, «Тропический круг» гвинейца Алиума Фантуре и «Помни Рубена» Монго Бети («Помни Рубена» и последующий роман М. Бети «Перпетю» переведены на русский язык и опубликованы издательством «Прогресс»).

Собственно сатира на современное африканское общество представлена, по мнению Шеврие, произведениям Сембена Усмана, Анри Лопеса и Монго Бети. Диапазон звучания темы «социальной сатиры» у этих авторов достаточно широк: от безоговорочной веры в грядущее торжество народа в повести Сембена Усмана «Хала» до практически безысходного отчаяния последнего романа Монго Бети «Перпетю», где «героиня со своим символическим именем (от французского слова perpetuel — вечный.— И. Т.) воплощает судьбу страдающей и приговоренной к страданиям Африки».

Особняком, по мнению Шеврие, стоит сейчас в африканских литературах направление, в котором разочарованность писателя в известной степени заслонена воспеванием традиционного общества. В качестве наиболее яркого примера он называет вышедшие в 1976—1977 годах два последних романа малийца Сейду Бадиана «Кровь масок» и «Святые пиры», где детально и восторженно описываются обряды и обычаи, еще живые и поныне в африканской деревне. Сейду Бадиан, однако, вовсе не впадает в ту порой скучноватую «этнографизацию», которой грешат многие африканские романы. Все эти описания у него художественно оправданы, они создают фон духовной жизни современной Африки.

Интересны соображения Жака Шеврие по поводу появления в ряде стран Африки «действительно национальных литератур» — то есть «менее сентиментальных, напыщенных и не преследующих таких универсальных, всеобъемлющих целей, как литература 50-х и 60-х годов, а также менее элитарных и более приспособленных к восприятию и чаяниям простого народа». Это, как пишет Шеврие, литературы для всех африканцев, умеющих читать, привязанные своей проблематикой к конкретному региону или даже отдельной стране.

В целом нельзя не согласиться с мыслями критика, что именно таким путем должен идти процесс «укоренения» литератур в той конкретной действительности, которую они отражают, превращения их в литературы национальные. Однако следует заметить, что Жак Шеврие отнесся к этой серьезной и интересной проблеме несколько формально. Называя представителей «литературы укоренения», он не дает сколько-нибудь определенной характеристики их творчества и тем самым ставит на одну ступеньку самых разных писателей. Очень часто желание сделать свое произведение доступным как можно более широким массам африканцев приводит к тому, что автор сознательно или бессознательно примитивизирует его, чаще всего — за счет языка. Именно это, видимо, произошло с конголезским писателем Ги Менга, особенно в цикле повестей «Приключения Мони-Мамбу». А Менга назван Шеврие рядом с Франсисом Бебеем, знакомым нашему читателю по рассказам и роману «Сын Агаты Модио», одному из лучших произведений камерунской литературы последних лет[4]. Музыкальный, сочный язык Бебея можно с полным основанием назвать народным.

Действительно удачные образцы «литературы укоренения» — это произведения Сембена Усмана и Нгуги Ва Тхионго [5]. Они не стремятся намеренно упрощать ни язык, ни тематику, но, судя по откликам прессы, им удается говорить непосредст-

---

[1] См. об этом статью М. Бети — «ИЛ», 1964, № 6.
[2] Читатели «ИЛ» знакомы со стихами Б. Дадье (1969, № 2).
[3] Рецензию на этот роман см. в «ИЛ», 1969, № 6.
[4] В № 5 за 1979 г. «ИЛ» опубликовала повесть Ф. Бебея «Три юных чистильщика».
[5] Рецензии на произведения Нгуги Ва Тхионго см. в «ИЛ» 1965, № 6; 1970, № 10; 1973, № 9.

венно с народом. Реакция африканской прессы весьма показательна: наибольшее число журнальных статей за последнее время посвящено двум этим писателям. Оба они, не желая «покрываться плесенью в молчании», ищут те самые новые формы общения с аудиторией, о которых говорил двадцать лет назад Сембен Усман,— формы литературного общения посредством театра и кино, связанные с традициями устной литературы.

Сембен Усман — один из тех, кто не боится открыто высказывать свое мнение. Его повести «Почтовый перевод», «Вехи Чносане» и «Хала», выстроившись в своеобразный цикл, представляют собой яркое критическое описание разных слоев современного Сенегала — от крестьян до богачей нуворишей. «Хала» и проблемы, поднятые в ней, вот уже пять лет обсуждаются на страницах литературных журналов. Адриен Уанну в статье «Хала» — острая сатира на буржуазное общество Сенегала» (журнал «Презанс африкэн») пишет:

> «...Автор и здесь остается верен своему дидактическому реализму: ставить перед читателем те проблемы, которые важны народу, вызывать у читателя чувство ответственности за их решение. Главной в данном произведении является проблема зарождения в Сенегале (и во всей Африке) национальной буржуазии, интересы которой противоположны интересам народа и в которой уживаются «революционный» национализм и интерес только к своим личным делам».

Уже в романе «Божьи деревяшки» [1] (1960) Сембеном была изображена буржуазия-предательница, в «Хале» он еще более беспощаден. В центре повести образ процветающего дельца Эль Хаджи, который нажил богатство, обманом продав общинные земли и сделав своих земляков нищими. Один из них насылает на Эль Хаджи проклятие — халу, лишая его мужской силы. Тот теряет вкус к жизни, перестает заниматься делами и разоряется. Финал повести решен как фантасмагория. Чтобы избавиться от халы, Эль Хаджи должен пройти унизительный обряд «очищения»: каждый из обкраденных когда-то Эль Хаджи людей, а это нищие, калеки, прокаженные, проститутки, трижды плюнет в раздетого донага Эль Хаджи в присутствии его жены и взрослой дочери. Адриен Уанну считает, что хотя такой финал, где народ берет реванш над буржуазией, и «вымышлен от начала и до конца», однако «эта фантастическая победа предсказывает будущий триумф пролетариата и всего народа, его победу над правящим классом буржуазии».

Другой критик, Кестер Эшемен, в статье «Сембен Усман и миф о народе-спасителе» (журнал «Африк литтерер э артистик») отмечает, что писатель не желает быть «послушным прислужником буржуазии», он смело показывает, что она «мешает развитию общества». Реализм в «Хале» неразрывно сочетается с символистическим изображением бессилия буржуазии и торжества народа. Кестер Эшемен пишет:

> «Очевидно, что символика повести является отражением соответствующей идеологической настроенности писателя, не скрывающего своей веры в способность народа создать новую политическую и социальную структуру... стать тем героем, который один только и может совершить чудесные преобразования в опутанной проблемами постколониальной Африке».

Может быть, не сразу, но тем не менее последовательно подошел к тем же революционным идеям, что и Сембен Усман, кенийский писатель Нгуги Ва Тхионго. Одна из наиболее интересных статей, посвященных творчеству Нгуги, написана крупным южно-африканским поэтом Льюисом Нкози (журнал «Уэст Африка»). Нкози, как и многие другие критики, дает последовательный разбор основных произведений писателя, в том числе уже изданных на русском языке романов «Не плачь, дитя» и «Пшеничное зерно», а также нового его романа «Кровавые лепестки». О последнем романе Нкози пишет:

> «Кровавые лепестки» является не столько романом, сколько попыткой подумать вслух о проблемах современной Кении — острых противоречиях между городом и деревней, а также между добытым сомнительным путем благосостоянием нового африканского среднего класса и все ухудшающимся положением городских безработных и крестьян».

Анализируя достоинства романа, Нкози говорит, что именно в «Кровавых лепестках» «отчетливо виден основной сдвиг в творчестве Нгуги, идеологический по своей природе и представляющий собой переход к классовому анализу общества, отказ от столь характерной ранее для писателя абсолютизации национальных и расовых проблем».

Большое внимание прессы привлекает по-прежнему и литература Нигерии, где в последнее десятилетие сформировалось новое поколение писателей. Их юность пришлась на период завоевания независимости, военных переворотов 1966 года и войны в Биафре. В свое время, говорится в статье Олалере Оладитана «Государственные перевороты в произведениях нигерийских писателей последних лет», перевороты ма-

[1] В «ИЛ» этот роман печатался под названием «Тростинки господа бога».

стерски предсказывал Чинуа Ачебе в романе «Человек из народа». Авторы 70-х годов — Оби Эгбуна («Дочь министра», 1975), Феми Озофизан («Холерный колледж», 1975), Джон Мунони («Венок для девушек», 1973) — предлагают сатирическое описание такой действительности, «при которой всякая политическая деятельность, включая государственные перевороты, низводится до полного фарса».

Многие нигерийские романы последних лет связаны непосредственно с войной в Биафре. Значительное внимание прессы привлек прекрасный роман Исидоро Окпевхо «Последний долг» [1], о котором «Иностранная литература» уже писала. Интересную статью этому роману посвятил журнал «Афрископ».

Безусловно, о нигерийской литературе, как одной из самых сильных и интересных в Африке, следовало бы говорить особо. Интерес критиков вызывают не только произведения «титанов» — Воле Шойинки, Киприана Эквенси[2], Кристофера Окигбо[3],— но и более молодых писателей. В частности, Джеральд Мур в большой статье «Против «титанов» в нигерийской литературе» (журнал «Афрископ») рассказывает о литературном кружке «Опон Ифа», во главе которого стоит сотрудник Ибаданского университета Феми Озофизан, издающий поэтический журнал того же названия. О программе кружка в статье говорится следующее:

> «...он намерен влиять на сознание своего народа, не оставлять его в растерянности перед потоком макулатуры, которая сейчас наводняет Нигерию».

Кружок «Опон Ифа», считает Мур, в целом продолжает традиции «титанов», однако произведениям его членов свойственна большая простота формы и ясность содержания. Молодые писатели хотят рассказывать африканцам о реальной жизни, оставаясь при этом обыкновенными людьми, а не грозными судьями. Мур приводит в своей статье слова руководителя кружка Феми Озофизана:

> «Возможно, самая большая опасность сейчас — полностью поддаться нашему внутреннему гневу, вызванному растущими несправедливостями... поддаться ему настолько, чтобы перестать быть людьми».

Критик отвечает на это, что писатели из кружка «Опон Ифа» в основном избежали этой «самой большой опасности», и теперь им предстоит «стать выразителями надежд и гнева народа, что поможет им пройти через настоящее и достигнуть лучшего будущего».

Стремление найти новые формы общения с народной аудиторией, для которой романы на европейских языках все еще малодоступны, заставляют многих обращаться к жанру драмы. В последний год в прессе особенно часто появляются материалы, посвященные быстрому развитию африканской драматургии и театра. Например, переключился на драматургию один из членов кружка «Опон Ифа» Коле Омотозо, завоевавший известность в Нигерии как автор повестей и новелл. Джеральд Мур рассказывает в своей статье о его пьесе «Проклятие», в которой аллегорически изображено современное нигерийское общество. Клод Вотье в журнале «Жён Африк» сообщает о том, что известный конголезский поэт Чикайя У Там'си также обратился к театру, издав в 1977 году две пьесы: «Зулус» (история Чаки) и «Вуене — основатель». Не раз говорилось о чрезвычайно сложной для восприятия поэзии Чикайи. На этот раз, считает критик, он изменил не только своему жанру — поэзии, но и форме, постарался максимально приблизить ее к народной. «Чикайя самым серьезным образом ориентируется на фольклорные тексты»,— пишет Клод Вотье.

Драматургия Берега Слоновой Кости раньше была известна прежде всего по пьесам Бернара Дадье: «Беатрис из Конго», «Господин Того-Нини», «Острова Бури». В последние годы у Дадье появился серьезный «соперник» — Бернар Зади Зауру. Его пьеса «Глаз»[4] имела огромный резонанс в Африке. Фабула ее такова. Безработный африканец продает богатому американцу глаз своей жены, необходимый для операции. Об этом узнают другие бедняки, начинаются волнения, а когда несчастная женщина умирает, возмущение народа выливается в настоящий бунт. Вокруг пьесы, изображающей буржуазное общество Берега Слоновой Кости с весьма невыгодной стороны, в 1975 году разразился настоящий политический скандал. С успехом прошла историческая пьеса Зауру «Всадники» — о легендарном борце с колонизаторами Самори. В 1978 году, по сообщениям печати, драматург закончил еще две пьесы. В интервью журналу «Африк литтерер э артистик» Бернар Зади Зауру сказал, что мечтает о создании собственной театральной труппы, чтобы играть спектакли под открытым небом, подобно бродячим актерам, которых он считает своими учителями.

В прессе часто встречаются материалы о пьесах, предназначенных для постановки в самых примитивных условиях, в любом любительском кружке. Журнал «Африкэн артс», например, пишет о выходе в свет сборника пьес мало пока известных авторов из Уганды, Ганы, Нигерии, Камеруна и Замбии.

> «Эти пьесы выбраны отнюдь не как пример профессиональных экзерсисов или чисто литературных форм данного жанра, но, что уже само по себе инте-

[1] См. «ИЛ» № 8, 1978.
[2] «ИЛ» публиковала повесть К. Эквенси «Когда горит трава» (1963, № 8).
[3] Стихи К. Окигбо см. в «ИЛ», 1965, № 6.
[4] См. «ИЛ» № 11, 1975, раздел «Из месяца в месяц».

ресно, как пьесы для постановки на сцене. Они просты, сюжет их связан с непосредственной африканской действительностью, они даже могут стать весьма популярными в народе, что достаточно редко происходит с большинством современных интеллектуальных литературных произведений африканских авторов».

Журнал «Африка» рассказывает об успехе «Народного театра» Ботсваны, показывающего свои спектакли под открытым небом. «Театр назван «народным», потому что его спектакли предназначены как для грамотных, так и для неграмотных жителей страны», они идут на местных языках, а ситуации, изображенные в них, могут быть легко изменены в зависимости от обстановки. Недавняя пьеса Нгуги Ва Тхионго «Нгаайка Нденда» во многом соответствует таким требованиям: она была написана на языке кикуйю, поставлена в деревенском театре недалеко от Найроби и, судя по сообщениям прессы, пользовалась большим успехом. Сюжет ее прост и злободневен: богатый кенийский фермер горит желанием построить совместно с иностранной компанией фабрику по производству удобрений. Однако для этого ему надо прибрать к рукам и полтора акра земли своего работника. Фермеру удается уговорить работника «освятить» церковным обрядом его фактический брак. Чтобы оплатить церемонию, работнику приходится заложить землю. Он не в состоянии выкупить ее и лишается прав на владение участком. Богатый фермер покупает землю, а работник на собственном опыте убеждается в том, что и иностранные и местные богачи — одинаково бесчеловечные эксплуататоры. Спектакль не мог не вызвать гнева кенийских властей, и Нгуги был арестован. Вот что писал об этом журнал «Африкэн комьюнист»:

«...его арест не является случайностью, которая вызвана излишней осторожностью режима, борющегося с отдельными бунтарями-интеллигентами: идеи Нгуги и тот факт, что он н е с и х в н а р о д, вынудили кенийское правительство ликвидировать его влияние».

Желанием установить непосредственный контакт с народной аудиторией объясняется и появление большого числа экранизаций литературных произведений. Бесспорным лидером «литературного кинематографа» является Сембен Усман, который еще в начале 60-х годов назвал кино «вечерней школой Африки». В интервью журналу «Африк литтерер э артистик» Сембен заявил, что в настоящее время особую опасность для африканского кинематографа представляет коммерческое направление:

«...это фильмы, не только плохо сделанные, но и отражающие в себе, как в капле воды, ту мораль, которая находится на службе у правящих сил».

Писатель понимает, что пока «с помощью литературы можно обращаться лишь к очень небольшому числу людей», поэтому он переводит ее на язык кино. Его фильмы — это прежде всего экранизации его собственных литературных произведений: «Чернокожая из...», «Почтовый перевод», «Вехи Чиосане», «Хала». Многие из них отмечены премиями различных кинофестивалей. Главным героем фильмов Сембена является народ, о котором писатель говорит с уважением, с верой в его силы, с болью. О том, как трудно Сембену Усману достается общение с народом посредством кино, рассказывает статья «Сембен Усман и цензура», помещенная в журнале «Африка». В ней говорится, что уже в третий раз ставятся преграды на пути фильмов Сембена на экран. В первый раз это было с фильмом «Эмитай» (1971), рассказывающим об антиколониальном выступлении крестьян в Казамансе, которое было подавлено французской администрацией с необычайной жестокостью. Представители Франции пытались оказать давление на правительство Сенегала с тем, чтобы запретить показ этого фильма. В некоторых же странах Западной Африки, в частности в Береге Слоновой Кости, «Эмитай» запрещен до сих пор. Из следующего фильма «Хала», поставленного по одноименной повести, было вырезано около десятка сцен. Выпущенный в 1977 году фильм Сембена «Чеддо» (он был показан на Московском международном кинофестивале) вызвал в Сенегале настоящую бурю.

«Фильм Сембена символизирует сопротивление африканцев всем видам колониального проникновения в страну и всем видам культурной ассимиляции, или «обескультуривания».

То же самое можно сказать и о деятельности всех прогрессивных писателей Африки, которые, используя различные виды искусства, борются за создание подлинно народных литератур. За право говорить со своим народом.

И. ТОГОЕВА

Публицистика

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ХО ШИ МИН
Рисунок сделан в Москве в 1924 году немецким художником Эрихом Иогансоном.

ХО ШИ МИН

ПАМФЛЕТЫ И СТИХИ

Вступление, редакция переводов и примечания М. ТКАЧЕВА

Подбирая для этой публикации стихи и прозу Хо Ши Мина, я вспомнил одну давнюю встречу с алжирским писателем Катебом Ясином. Катеб, побывавший перед тем во Вьетнаме, где шла памятная всем нам война с американскими агрессорами, дал мне прочесть свою новую пьесу. В необычном, фантастическом театральном действе он решил вывести главные противоречия и проблемы нашего века. На первой странице рукописи стояло заглавие — «Человек в резиновых сандалиях». Так называли нередко президента Хо Ши Мина, одного из главных персонажей пьесы. Авторский выбор показался мне на редкость удачным. Сколько характернейших черт, идей и событий XX столетия — эпохи преобразующих мир революций и торжества социалистических идеалов, ставших реальностью на значительной части земного шара,— сколько их, словно в некоем оптическом зеркале, отражено в жизненном пути, делах и творчестве Хо Ши Мина, революционера ленинской школы, мыслителя, государственного деятеля и поэта!

Президент Хо Ши Мин не раз принимал в Ханое советских писателей. И по этим встречам он запомнился мне, как, конечно, и всем, кто видел его, человеком необыкновенной сердечной щедрости, скромности и простоты, за, казалось бы, отвлеченной исторической целью, формулами лозунгов и выкладками статистики всегда видевшим живых людей, насущные их потребности и мечты. Бесконечно требовательный к себе, до последних дней жизни, самозабвенно погружавшийся в работу, он стремился во всем, вплоть до мелочей, воздать должное стараниям каждого — от своих соратников по партии до фабричных рабочих и крестьян. Ему понятны были дела и заботы рабочего и землепашца, и он всегда находил идущие прямо к их сердцу слова, потому что сам был неутомимым тружеником революции.

Пожалуй, отчасти разгадка этих качеств президента Хо Ши Мина таилась под тростниковой крышей простого, уставленного скромной утварью дома в деревне Кимлиен (Золотой лотос) неподалеку от города Виня, где прошло его детство. Здесь жили его родители. Отец Хо Ши Мина, человек просвещенный, получил ученую степень на традиционных конкурсных экзаменах. Это давало ему право на чиновничью должность. Но какова была «служба» в колониальном Вьетнаме? Да и служить колонизаторам он не хотел. Зато свои знания он передал сыну. Там, в Ким-

лиене, можно было раньше повстречать стариков, чем-то неуловимо схожих с самим Хо Ши Мином. Они помнили его подростком и могли отвести вас к деревенской кузнице, где он просиживал часами, глядя на работу искусного кузнеца, к осененному бамбуками колодцу, где собирались сельские мальчуганы... И жили эти старики в таких же крытых тростником хижинах. А дети и внуки их и сегодня, как встарь, выращивали на окрестных полях рис...

Почему-то именно этот немудреный крестьянский дом вспомнился мне, когда впервые за стволами тенистых деревьев я увидел деревянный домик, который по просьбе Хо Ши Мина был построен для него в саду бывшего генерал-губернаторского дворца в Ханое, ставшего резиденцией президента социалистического Вьетнама. Там, во дворце, проходили официальные церемонии и приемы. Но жил и работал Хо Ши Мин в деревянном домике на сваях. Здесь все было скромно и просто, простота была его жизненным принципом.

И я, невольно замедлив шаг, подумал о том, какой удивительный и долгий путь пролег от порога той хижины в Кимлиене к ступеням скромного домика, словно бросавшего вызов затейливому каменному дворцу. Этот путь лежал через океаны, чужие материки и страны. В 1911 году Хо Ши Мин, нанявшись помощником кока на французское судно, отплыл из Сайгона и лишь через тридцать лет попал на родную землю, на этот раз нелегально перейдя северную ее границу. В 1942 году снова покинул Вьетнам и вернулся в 1944-м, чтобы руководить подготовкой к вооруженному восстанию.

Мы не будем пересказывать здесь биографию Хо Ши Мина, факты ее достаточно известны. Вспомним лишь, что долгий путь, о котором говорилось выше, пролег через вьюжную январскую Москву 1924 года, где он вместе с советскими людьми и коммунистами из разных стран мира шел за гробом великого Ленина, которого всю жизнь считал своим наставником и учителем. Он не раз еще бывал тогда в нашей стране, учился в Ленинской международной школе, участвовал в работе комиссий и конгрессов Коминтерна. Считая правду о первом в мире государстве трудящихся лучшей революционной пропагандой, он пишет «Записки потерпевшего кораблекрушение» — рассказ о том, как три человека — вьетнамец, африканец и европеец — попадают в Советскую Россию и какова она на деле, эта рожденная Октябрем республика. Произведение это нелегально распространялось во Вьетнаме...

История «Записок потерпевшего кораблекрушение» крайне заинтересовала меня, и, собираясь на встречу с Хо Ши Мином, я пометил в своем блокноте: «Не забыть — как писалась вещь: нет ли реальных прототипов?» (Выяснилось, что история эта — литературный вымысел; и единственный реальный персонаж, насколько это возможно, конечно, в художественном произведении — сам президент Хо Ши Мин)... Гравий негромко шуршит под ногами, и домик на сваях с каждым шагом все ближе. Уже виден в окошке и хозяин, склонившийся над пишущей машинкой. Негромкий стук ее отдавался в тишине сада. Президент, увидев нас, улыбнулся. Но, вставая, отстучал еще что-то — знакомое каждому пишущему человеку желание «закончить фразу». И вот он уже внизу. И мы — опять же как во вьетнамском деревенском доме,— оставив у входа свои башмаки, поднимаемся наверх.

У стены, рядом с окном,— письменный стол, над ним полки с книгами. На столе машинка (она, оказывается, весьма почтенного возраста), газеты — вьетнамские и иностранные, среди них наши «Правда» и «Известия». И на полке я тоже вижу книги на русском — два томика Ленина и растрепанный атлас мира с закладками. Хо Ши Мин, проследив за моим взглядом, говорит:

— Здесь книг мало. Это моя рабочая «диета».— Потом, улыбаясь, добавляет: — Вообще-то книжек у меня хватает. Только вот читать некогда... А писатели все пишут.

И снова смеется.

— Но ведь вы сами тоже пишете,— говорю я.

Он машет рукой и вдруг говорит по-русски:

— Я... нет, как это... горе-писатель!

Теперь уже смеемся мы все. А президент тотчас спрашивает, не придумала ли наша передовая наука способа растянуть сутки еще часика на три, чтоб все всё успевали? Он, мол, не ради долголетия интересуется; пусть дней в году будет столько же, просто сами дни подлиннее...

Я видел президента Хо Ши Мина на официальном приеме во дворце; там он держался, конечно, несколько иначе. А сегодня... И тут я ловлю себя на мысли, что, наверно, таким же веселым, даже несколько озорным, он нередко бывал в молодости, когда писал свои первые памфлеты.

Потом уже, внимательно разглядывая фотографии и портреты Хо Ши Мина, сделанные в двадцатые годы, я увидел серьезное, сосредоточенное лицо его: да, очень уж нелегко жилось ему тогда. И все же нередко где-то в прищуре глаз, в изгибе рта таилась смешинка.

Ну, а памфлеты... Русский читатель впервые знакомится с ними. В них много сарказма и юмора (не забудем, писал-то их Хо Ши Мин на неродном для него французском языке!). «Сетования Чынг Чак» построены на сочетании трагического и комического. Великая воительница вьетнамской древности (Хо Ши Мин, обращавшийся тогда к европейскому читателю, именует свою страну принятым в ту пору на

Западе названием «Аннам», а вьетнамцев — аннамитами) является во сне ничтожному отпрыску императорской династии Нгуен — ее в 1945 году свергнет Августовская революция. Героиня корит изменника, испытывающего ужас при виде призрака. Автор сопоставляет трусливого монарха (о нем он напишет позднее сатирическую пьесу «Бамбуковый дракон») с шекспировским Гамлетом. Хо Ши Мин знал Шекспира и, согласно некоторым источникам, читал его по-английски. Возможно, в этом памфлете и есть какое-то влияние Шекспира. Но, думается, автору все-таки была ближе старая вьетнамская классика.

К примеру, поэма великого Нгуен Зу (1765—1820) «Все живое», где в аллегорических образах мятущихся душ усопших показаны тяготы и несправедливости земной жизни. Даже пейзажный антураж поэмы удивительно схож с мрачной, гнетущей экспозицией памфлета. Открывая первую его страницу, вспомните, читатель, строки из поэмы Нгуен Зу:

Неясные тени меж тополей
стелются в эти часы.
Мерцают в кронах понурых груш
тяжелые капли росы...

И солнце скрылось, и ветер кричит,
и скорбно глядят небеса,
На мир опускается траурный мрак,
смолкают живых голоса...

(Перевод А. А. Штейнберга)

А ведь творения Нгуен Зу были и остаются любимейшим чтением вьетнамцев. Помню, как в тот день в домике на сваях Хо Ши Мин сказал: «Я всю жизнь перечитываю Нгуен Зу. Учусь у него человечности и искусству обращения со словом...» Вообще для вьетнамцев с их культом героев, памяти которых испокон века поклоняются в храмах и которые считались покровителями и заступниками страны, сам мотив связи былого и нынешнего времен и происходивших в обоих этих временах событий весьма характерен. Именно этот мотив звучит в «Сетованиях Чынг Чак», где автор то и дело обращается к великим теням. Да и впоследствии, будучи уже президентом, Хо Ши Мин живо интересовался исследованиями археологов и историков, видя прямую связь между славными деяниями предков и патриотическим долгом своих современников. Вспомним еще, что и в классических вьетнамских новеллах (предисловие к старейшему, сохранившемуся их собранию датируется 1329 годом) явление государям духов прославленных героев и воителей прошлого — сюжет весьма распространенный. Только у Хо Ши Мина сам сюжет этот несет дополнительную сатирическую нагрузку: ведь в классике тени великих и достойных являлись великим и достойным, а здесь прославленная воительница предстает жалкому фигляру.

Тем же приемом сочетания трагического и комического пользуется Хо Ши Мин в другом памфлете «Непристойные шутки, или Варен и Фан Бой Тяу», где мужественному борцу за свободу Вьетнама Фан Бой Тяу противопоставлен ренегат Варен, социалист, ради высоких государственных постов предавший интересы рабочих. Причем мы видим, что отступничество Варена — это не просто случайное грехопадение, а закономерный итог соглашательства и измены. (Заметим в скобках: памфлет этот предназначался в первую очередь читателям в колониях.) И образ Варена, и вся вещь в целом удивительно современны: мало ли и сегодня политиканов, разглагольствующих о прогрессе и освобождении трудящихся и всего человечества в целом, которые, подобно мсье Варену и его малопочтенным коллегам, постоянно «сжигают все, чему поклонялись, и поклоняются тому, что сожгли»?!

Третий памфлет «Инкогнито», изящный и ироничный, высмеивает не только «украшательские» потуги колонизаторов, но и буржуазную обывательщину, мутным болотом затопляющую «просвещенную и цивилизованную» метрополию.

Оговоримся напоследок: все эти три памфлета — лишь частица обширного публицистического наследия Хо Ши Мина, знакомого уже русскому читателю по прежним изданиям.

Поэзия Хо Ши Мина во многом неотделима от его публицистики. И когда я спросил президента, не потому ли он часто писал политические стихотворения, что вьетнамцы очень любят стихи и в этих случаях поэтическая форма как бы дополнительно работает на содержание, делая его притягательней, что ли, и убедительней, он сказал:

— Да, вы угадали, для меня поэзия и политика неразрывны.— Он помолчал и добавил: — А разве «чистая» поэзия — это не позиция своего рода? Не уход, если поэт занимается только ею, от борьбы со злом? Нет-нет, я понимаю, что поэзия, как, наверно, и всякое искусство, да и любая человеческая деятельность,— это еще и самоутверждение. Тут весь вопрос в том, во имя чего утверждает себя, как личность, поэт.

Потом он снова, в который уж раз, стал говорить, что поэтом себя всерьез не считает...

Спорить тогда с президентом я не решился. Но сейчас, перечитывая верстку выходящего скоро на русском тома избранных литературных произведений Хо Ши Мина, вспомнил, как Павел Григорьевич Антокольский в предисловии к переведенному им «Тюремному дневнику» Хо Ши Мина писал: «Мне кажется, он не прав, так решительно отрекаясь от своего по-

этического творчества». И думаю, читатель, открывающий для себя сегодня впервые переведенные на русский стихи Хо Ши Мина, согласится с поэтом.

Несколько необходимых пояснений. «Тюремный дневник», насчитывающий около ста стихотворений, был написан в 1942—1943 годах, когда Хо Ши Мин более года провел в заключении в Китае, брошенный без суда и следствия в тюрьму гоминьдановскими властями по ложному обвинению в шпионаже. Время от времени его перегоняли по этапу из города в город. Но вьетнамским коммунистам удалось установить с ним связь. В последние месяцы своего заключения он еженедельно пересылал известия о себе в Пакбо (горная местность в провинции Каобанг на севере Вьетнама), где находились многие руководители компартии, создавались вооруженные отряды и т. д. Свои послания Хо Ши Мин писал рисовым отваром на полях китайских газет, приходивших в Пакбо из южнокитайского города Лючжоу. При нагревании проступали строки писем, которые обычно сопровождались четверостишьями, вошедшими позднее в «Тюремный дневник». В 1960 году этот поэтический цикл Хо Ши Мина вышел в ханойском издательстве «Ван хоа» («Культура») отдельной книгой, где стихи президента, написанные на хачване — вьетнамизированной форме старого книжного китайского языка вэньяня, своеобразной дальневосточной «латыни» (на ханване написаны и некоторые более поздние стихи Хо Ши Мина),— переведены на вьетнамский. С этого ханойского издания и сделан упомянутый выше перевод П. Г. Антокольского. В 1978 году газета «Нян зан» поместила несколько не печатавшихся ранее стихов из «Тюремного дневника», два из них открывают нашу поэтическую подборку.

Да, вот еще что: многие стихи Хо Ши Мина посвящены детям. Жизнь его сложилась так, что семьей обзавестись он не смог. Как и все хорошие люди, президент Хо Ши Мин очень любил детей. Он всегда говорил в шутку, что все маленькие вьетнамцы — его внуки. В этой шутке была огромная доля правды. Он неизменно заботился о юных гражданах страны, писал к детскому празднику Середины осени стихи, часто встречался с ребятами. И сами дети тоже называли себя «внуками Хо Ши Мина». Помню, как не раз вьетнамские малыши, узнав, что мне посчастливилось видеться с президентом, просили рассказать про «дедушку Хо».

О детях, о молодежи, в которых он видел будущее страны, с любовью и надеждой писал президент в своем «Завещании». Огромное впечатление оставляет рукописный текст «Завещания», где видна правка самого Хо Ши Мина. Сколько усилий приложил он к тому, чтобы найти самые нужные, самые верные слова, больше сказать людям, остающимся на земле. Он скорбит, что мало сделал, не выполнил всего задуманного. И это не просто красивые фразы. Президент Хо Ши Мин, уходя из жизни, знал, сколько трудов и тягот ляжет еще на плечи его народа и созданной им партии, и жалел, что не сможет подставить под нелегкую эту ношу и свое плечо. Он не дожил до победы над американскими агрессорами и их сайгонскими прихвостнями, до воссоединения Вьетнама. Но в каждом успешном сражении, в каждой трудовой победе соотечественников президента была доля его энергии и воли, биение его сердца. Не случайно ныне Сайгон назван именем Хо Ши Мина! Он не успел, как хотелось ему, объехать братские и дружественные страны, поблагодарить их за помощь, оказанную Вьетнаму...

Хо Ши Мин завещал коммунистам Вьетнама сделать все от них зависящее для укрепления единства международного коммунистического движения. А ведь именно это единство, как и идеи пролетарского интернационализма, стали объектом яростных нападок со стороны пекинских раскольников. Мог ли Хо Ши Мин предвидеть, что спустя десять лет после его смерти и всего через четыре года после того, как на вьетнамской земле наступил долгожданный мир, пекинские правители, ослепленные великодержавными амбициями, одержимые манией мирового господства, пошлют свои орды против социалистического Вьетнама? Мог ли он думать, что оболваненные шовинистической пропагандой китайские солдаты будут сеять разрушение и смерть в приграничных районах Вьетнама, грабить добытое трудом и потом достояние вьетнамских крестьян и рабочих?! Что в своих преступлениях против человечности пекинская военщина превзойдет здесь, на вьетнамской земле, зверства колонизаторов и фашистов?! И что, наконец,— желая втоптать в грязь национальную гордость вьетнамцев и святыни их революции,— выдрессированные Пекином вандалы разрушат мемориальный музей в Пакбо и пещеру, где сам он скрывался когда-то от агентов колониальной охранки?

Вновь поднялись на защиту отечества сыновья и дочери Вьетнама. Плечом к плечу с ними снова встали Советский Союз и другие страны социалистического содружества. И опять слово «Вьетнам» стало мерой, которой народы мира оценивают политику государств и правительств, гранью, отсекающей благородство и правду от лицемерия и лжи, мужество и бескорыстие от алчности и бесчестия. Народ и армия Социалистической Республики Вьетнам разгромили захватчиков, освобождая от них свою священную землю. И на знамени, осенявшем их в этой борьбе, начертаны были слова Хо Ши Мина: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

СЕТОВАНИЯ ЧЫНГ ЧАК

Повелитель Аннама скоро будет «высоким гостем Франции» [1]. *В виде короткого приветствия мы посвящаем ему этот сон нашего товарища Нгуен Ай Куока, его верного подданного.*

Ночь уныло хлестал нескончаемый мелкий дождь. Бледная луна в отчаянии цеплялась за крыши хижин. Обливались слезами мокрые деревья. Ветер свистел в их усталой листве, и она заунывно шумела. Словно дьявольские руки, извивались ветви, рыдали измученные шквальными порывами ветра и воды. Аннамитский пейзаж с его пышной зеленью, обычно такой радужный и поэтичный при луне, стал бесконечно грустным. Все трепетало в агонии. Где-то таился злой рок.

Слабые огоньки благовонных свечей дрожали на изогнутых фитилях, отбрасывая на лакированные колонны дворца зыбкие тени и мерцающие блики. Евнухи, лениво развалившись в углу на лежащей на полу циновке, дремали. Тишина ползла по дворцу.

Только что трижды прозвучал сигнальный барабан. Тра-та-та. Вы, жители Запада — увы! — не знаете, что все это значит! Тра-та-та! Три удара — сигнал ночной стражи [2]; пятикратное их повторенье по-вашему означало бы три часа ночи. В этот ночной час совесть заставляет слушать свой властный голос. В этот час могилы исторгают своих обитателей, и они высвобождаются из полураскрытых саванов, чтобы бродить, испуская радостные вопли. В этот час человеческий мозг полон бредовых видений. Тра-та-та! Повторите три трижды — и вы получите девять, последнее из неделимых и немножимых чисел, которое, согласно императору Фу-си [3], символизирует вырожденье, упадок всего сущего и понимается как последний предел — зыонг кыу [4].

В этот час Сыну Неба снился сон. Он видел, как драконы, вырезанные на мебели, ожили, превратились в отвратительных змей, открыли выпученные, налитые кровью глаза. И фунгхоанги [5], птицы, символизирующие королевский сан, вытягивали свои длинные шеи, на которых топорщились перья, точили клювы и расправляли крылья, словно рассерженные мерзкие петухи. Все предметы из нефрита или драгоценных камней утратили свои краски и приняли землистый оттенок. Все вещи медленно кружились в танце и исчезали, исчезали. Потом появился какой-то бледный призрак под вуалью. Король вздрогнул от ужаса, потому что не все властители обычно наделены мужеством Гамлета, а еще меньше — его умом. Он хотел было натянуть на себя циновку и укрыться с головой, но не смог.

Величественный и гневный призрак обратился к хозяину дворца с такими словами:

«Ты узнало меня, несчастное дитя? Я — одна из основательниц этой прекрасной страны Аннам. Я Чынг Чак, которая в 39 году вместе со своей сестрой Чынг Ни и моими соотечественниками прогнала захватчиков, отомстила за своего мужа и освободила нашу страну [6]. Не дрожи так, дитя мое! И слушай внимательно мои материнские слова! Знаешь ли ты, что согласно тысячелетней традиции нашей древней страны Аннам император получает от неба власть над своим народом. Он считается Сыном Неба и Отцом и Матерью народа.

Чтобы быть достойным неба и выполнять свои высокие обязанности, властитель должен первым страдать, когда страдает его народ, и последним разделять с ним его счастье. Он должен подчиниться велениям неба, чью волю возвещает ему глас народа. Иначе он будет низложен небом, отвергнут предками и покинут народом.

Открой историю своей страны — и ты найдешь там среди твоих предков образцы добродетели и мужества, твердости духа и достоинства. Ли Бон (544 год) с горсткой повстанцев поднялся и сбросил ярмо китайского владычества [7]. Нго Кюйен (938 год) наголову разбил чужеземную армию, захватившую землю нашей родины [8].

Счастье и процветание царили при династии Динь [9]. Ле Дай Хань в 980 году, мужественно отказавшись подчиниться требованиям наших соседей, во много раз более сильных, чем он, одолел их и убил их предводителя [10]. Так он спас своих братьев от порабощения.

Монголы, которые смели на своем пути все, были разбиты нашими славными Чанами (1225 год) [11]. Ле Лой отважно стал во главе аннамитской революции и уничтожил режим жестокости и репрессий, установленный так называемыми покровителями [12].

Какой ужасный стыд, какое жестокое разочарование, какую мучительную горечь испытали бы твои предки, если бы с облаков увидели в рабстве народ, который они оставили свободным, в кабале — страну, которую они освободили, в бессилии — наследника их трона!

Хотя обычаи запрещали правителям нашей страны покидать священный дворец, мы, к сожалению, знаем властителей, оставлявших его.

В 1407 году Китай затеял против нас войну. Опираясь более на дух независимости и любовь к свободе, нежели на число и силу, Аннам вышел победителем. Но военные действия начались снова. Враг, понимая, что ему не одолеть нас силой, начал войну на измор. Чан Де Куи, который привел аннамитов к победе, видел, что народ истощен, голоден, истекает кровью. Он знал, что врагам нужен только он сам и что, заполучив его, они оставят аннамитский народ в покое. И тогда он сдался, сдался, чтобы сберечь кровь и жизнь своего народа. Когда же его, полоненного, увозили, он бросился в реку и утонул [13]. Достойную смерть он предпочел позорной жизни. И теперь каждый раз, когда восходит и заходит солнце, мириады золотых бликов собираются на поверхности прозрачной серебристой реки — словно вечный памятник бессмертной душе великого поверженного.

Затем были Хам Нги, Тхань Тхай и Зюй Тан [14] — твой предшественник. Все трое — изгнанники родины, высланные на чужбину теми самыми людьми, которые уверяют, будто они уважают наши обычаи и наши установления, и которые завтра намереваются сделать тебя экспонатом колониальной выставки, орудием империалистической пропаганды![15] Ты видишь, дитя мое, в анналах твоей страны не найти аннамитского правителя до такой степени закабаленного, императорскую поездку до такой степени жалкую. Ты уже совершил святотатство, поместив на священный алтарь своих предков отвратительное изображение этого сонного и пузатого белого, который провонял чесноком и смердит трупом. Зачем, да, зачем ты сделал это? А теперь ты собираешься покинуть пагоду предков. Твои пальцы не зажгут больше благовонных палочек в начале весны и в начале осени. Твои руки не коснутся больше жертвенных столов с приношениями при сборе первых фруктов и во время жатвы первого риса. Я прекрасно знаю, дитя мое, что все это — лишь устаревший обычай, но и ты знаешь, что это — единственный долг, который ты можешь еще исполнить по отношению к твоим предкам, единственное, что сохраняет твой престиж в глазах подданных.

Но ты сделаешь самое худшее. Ты будешь воспевать добродетель тех, кто эксплуатирует и притесняет твой народ. Ты будешь превозносить процветание своей страны, процветание, существующее лишь в богатом воображении эксплуататоров. Ты будешь льстиво восхвалять бесчисленные мнимые благодеяния цивилизации, которая проникла в твое королевство на остриях штыков и стволах пушек.

О, посмотри, посмотри же, несчастное дитя, посмотри, что творится вокруг тебя. Ты видишь — пробуждается Китай, обновляется Япония... Ты видишь — весь мир устремился вперед, и только твой народ, из-за тебя и твоих министров, погряз в отвратительном болоте невежества и рабства.

Посмотри на Корею, Египет и Индию, все эти страны поднялись, чтобы потребовать свои права, потребовать справедливости и свободы.

А ты в это время... Тише... Слушай! Ты слышишь?.. Ты слышишь эти крики?.. О, они идут, они идут, и нет им числа — все аннамиты, павшие на полях европейских войн. Они идут требовать то, что твои покровители и ты пообещали им и их братьям. Ответь же им! О, они негодуют, они уходят.

Да, они уже повернули вспять и уходят. Ты видишь их? Они уходят туда, где во всем своем великолепии поднимается солнце и гордо реет знамя Человечности и Труда. Да, именно там обретут покой души усопших, там будущее народа, которому ты так плохо служил!

Сейчас пропоет петух. Полярная звезда пересекает небо. Дивная музыка призывает меня. Прощай!»

Липкий пот покрыл лоб спящего правителя. Ему хочется кричать. Но он не может. Страх лишил его голоса.

Вошел евнух, отвесил три раболепных поклона и прошипел женским голосом:

— Го-су-сударь!* Из Верховной резиденции пришел приказ об отъезде!

НГУЕН АЙ КУОК

«Юманите», 24 июня 1922 года

«ИНКОГНИТО»

Из писем к моей кузине

— Это он!

— Нет!

— А я тебе говорю, это он!

— Ты уверена? Я видел его на ипподроме, он выглядел тогда более робким и смущенным, на голове у него был тюрбан, похожий на абажур, а пальцы унизаны перстнями.

— Должно быть, он все заложил в ломбард. Но посмотри на него хорошенько, разве ты не видишь — тот же приплюснутый нос, те же раскосые глаза, то же лицо лимонного цвета.

— Да, может, ты и права. Но что он делает здесь, в метро, и куда подевались все его мандарины и мандаринки?

— Возможно, он не взял их с собой, чтобы путешествовать инкогнито.

Таков был, моя дорогая кузина, диалог — я передал его точно — между двумя молодыми супругами, которые ехали в одном вагоне со мной и пожирали меня любопытными насмешливыми взглядами, притворяясь при этом, будто им до меня нет дела.

Разговор их далее шел так:

— Что же ты думаешь о нашем госте? — спросил молодой человек, принимая меня за его величество и полагая, что я не понимаю их.

— Очень уж он смешон в этих своих шелках со стекляшками,— отвечала его подружка.

— Ах, камни! Да ты сама не отказалась бы от таких камешков!

— Будь они у меня, я бы сразу постаралась их потерять, чтоб обо мне заговорили в газетах и я стала бы знаменитостью. А что ты думаешь о нем?

— Он приехал очень кстати. Доменная печь в Гамбе уже продана, с чемоданом Эра Миртель покончено, процесс по делу разрубленного на куски мужчины [16] не привлек внимания публики, поскольку покойный не принадлежал к светскому обществу, запас сенсаций готов был вот-вот истощиться, как Индокитайский банк, газетам даже нечем было заполнить свои страницы... И вдруг...

— Здесь пересядем, дорогой?

— Нет, на следующей... И вдруг в это время нас посетил король.

— Лично я предпочла бы Чарли Чаплина. К тому же королевские визиты обходятся слишком дорого.

— Вовсе нет. Ты помнишь колониальный бал в Опере? Чтобы взглянуть на наложниц камбоджийского короля и акробатов святого марабута из Конго [17], нужно было заплатить полторы тысячи франков, а теперь короля можно увидеть бесплатно, вот он, рядом с нами. Говорят, импресарио кукольного театра собирается заключить с ним контракт...

Поезд остановился, и супруги вышли, украдкой бросив на меня взгляд, а я, развеселившись, стал думать — думать о вас. Я снова мысленно увидел тот день, когда мы, словно два птенчика, сидели на коленях у нашего горячо любимого дедушки, а он рассказывал нам старинные истории. Вспомнился мне император Шунь [18], кото-

* Здесь в оригинале непереводимая игра слов, так как автор переводит на французский вьетнамское обращение к государю «Бе На» — «трон (монарх) нижний (земной)», что по-французски звучит как «trône sous», где «sous» (нижний) созвучно с «sou» (су — мелкая монета); таким образом, обращение это может быть воспринято на слух как «грошовый трон, грошовый государь».

рый, пожелав лично увидеть и узнать, доволен ли им народ, переоделся крестьянином и отправился бродить по стране, и русский царь Петр, работавший плотником на английских верфях. Но помимо этих великих «ряженых», желавших постичь жизнь народа, и в наши дни встречаются еще принцы и короли, путешествующие инкогнито, но только ради собственного удовольствия и по причинам, куда менее достойным.

Я не знаю намерений нашего «инкогнито». Быть может, он хотел выяснить, так ли счастлив французский народ под властью его друга Александра I [19], как народ Аннама под его собственной властью, пьет ли столько же вина и курит ли столько же опиума? Или хотел — на французский манер — научиться держать в руках крестьянский серп и молот рабочего, чтобы, вернувшись из путешествия, хоть немного улучшить жизнь бедных его подданных, «занов»*, о чем прежде никто и не думал? Или, устав быть великим, он захотел вкусить жизнь малого князя?**

Как бы там ни было, но со временем я, сам того не желая, превратился в его величество. Куда бы я ни явился, всюду на меня глазели, мне завидовали, улыбались, угождали, шли за мной по пятам.

Вы мне скажете, дорогая кузина, что так повернулось колесо фортуны. До сих пор все те, у кого белая кожа, считались в Индокитае цивилизаторами. Теперь настал черед тех, у кого кожа желтая, быть во Франции императорами.

Вы не можете представить, какой радушный прием нам оказывают здесь. Стоит появиться кому-нибудь из наших соотечественников, и тотчас вспыхивает всеобщий энтузиазм. Мы только и слышим на своем пути: «погляди на него», словно некие тайные и почтительные приветствия.

Но самое забавное в том, что и само правительство боится не узнать своего гостя и, чтобы не нарушить долг гостеприимства, принимает по-королевски всех аннамитов, приставляя к каждому свиту! Свитские эти служаки абсолютно неприметны, почтительны, бескорыстны и любезны. Они из кожи вон лезут, оберегая нас, и если б вы видели, как они следуют за мной с заботой и нежностью — точно мамаша, опекающая первые шаги своего малыша,— вы бы мне позавидовали. Они, можно сказать, наступают мне на пятки и стали моей тенью. А ежели им случится хоть на пять минут потерять меня из виду, они просто сходят с ума! Как же, посудите сами, не растрогаться до глубины души таким вниманием?

И теперь каждый раз, выходя из дому, я не могу скрыть своей гордости оттого, что я аннамит и у меня есть свой император.

НГУЕН АЙ КУОК

«Юманите», 19 февраля 1923 года

НЕПРИСТОЙНЫЕ ШУТКИ, ИЛИ ВАРЕН [20] И ФАН БОЙ ТЯУ [21]

Под давлением общественного мнения во Франции и Индокитае господин Варен официально пообещал заняться делом Фан Бой Тяу. Это всего лишь обещание, и, даже если предположить, что генерал-губернатор Индокитая верен своему слову, позволительно будет спросить, как и когда намерен губернатор Варен «заняться» этим делом.

Прежде всего он не станет заниматься им, раньше чем обоснуется в Индокитае как следует.

Но ведь он только еще собирается сесть на судно, а путь морем от Марселя до Сайгона занимает около четырех недель. Значит, в течение этих четырех недель Фан Бой Тяу будет томиться в тюрьме.

Прибыв в Сайгон, господин Варен, как того следует ожидать, будет захвачен, увлечен, затормошен, убаюкан, обласкан бесконечной круговертью приемов, приветствий и долгих речей. Затем последует триумфальный проезд через туземный город,

* Зан — подданный *(вьетнамск.)*.

** Здесь игра слов — намек на великих князей русской царской фамилии, известных прожигателей жизни.

заполненный тысячами желтых, которых Франция покорила силой штыков и судьбу которых вручила губернатору. И вот впервые в жизни глазам господина Варена предстанут тайны индокитайского города — на улицах, на тротуарах, в лавчонках. Во всю прыть мчатся со своими колясками рикши, шлепая по раскаленной мостовой босыми ступнями; истекают соком взрезанные арбузы; под навесами харчевен висят связки сосисок; выставил на всеобщее обозрение свой пуп какой-то китаец; лениво проходит мандарин с веером в руке и крестом Почетного легиона на груди. Какая кутерьма! Какое столпотворение!

Внезапно все замирает по мановению волшебной палочки или, вернее, хлыста из бычьих жил, которым машет капрал-европеец, вопя: «Грязные твари! Ну-ка проваливайте отсюда, грязные твари!» И бурлящая толпа вытягивается — неподвижная, молчаливая — вдоль тротуаров. Что же случилось? Сейчас проедет автомобиль господина губернатора. Вот он! А вон и сам губернатор!

— У него на голове треугольная шляпа! — шепчет какой-то маленький мальчик.

— Ой, какой красивый мундир! — восклицает девочка.

— Он собирается произнести речь! — кричит студент.

— У него на ногах сапоги! — вздыхает рикша.

— Борода густая, глаза пустые*,— бормочет премудрый конфуцианец.

Автомобиль господина Варена едет меж двумя стенами из человеческих существ, которые низко кланяются при его приближении. Одновременно нарастает крик: «Привет тебе, о великий мандарин! Привет!»

А Фан Бой Тяу тем временем остается в тюрьме.

Проездом из Сайгона в Ханой господин Варен остановится в Хюэ. Двор Аннама во главе с императором или императорской тенью поспешит навстречу высокому гостю — олицетворению Франции. Его величество Кхай Динь пригласит господина Варена в свой дворец, и господин Варен проследует туда. Его величество Кхай Динь пригласит господина Варена к столу, и господин Варен откушает там. Перед десертом Его величество встанет и торжественным шагом приблизится к губернатору; своими длинными тонкими пальцами, унизанными сверкающими рубинами и изумрудами, Его величество приколет к груди господина Варена высочайшую награду империи — орден Аннамского дракона. Итак, господин Варен награжден.

А Фан Бой Тяу тем временем остается в тюрьме.

Но давайте последуем — на крыльях воображения — за официальным шутником, господином Вареном. Последуем за ним до Ханоя, до двери центральной тюрьмы и далее — до камеры, где стенает наш досточтимый соотечественник.

Какое зрелище! Какая встреча! Человек, предавший французский пролетариат, политик, изгнанный собственными единомышленниками из сообщества, отрекшийся от своего прошлого, своей веры, своего класса, здесь оказался лицом к лицу с другим человеком, пожертвовавшим семьей и состоянием, лишь бы не видеть тех, кто захватил его страну и даже в изгнании вечно преследовал его, ведь это они заманивали его в бесчисленные ловушки, заочно приговорили к смерти, забив шейные колодки, бросили в тюрьму, где над ним днем и ночью нависает зловещий призрак гильотины.

Что же сейчас произойдет между презренным ренегатом и героем, апостолом, мучеником борьбы за независимость, которому поклоняются двадцать миллионов рабов?

— Я явился принести вам свободу! — объявляет Варен, протягивая Фан Бой Тяу правую руку, а левой приподнимая колодки, в которые был забит Бой Тяу в этой мрачной темнице.— Но взамен я прошу вас дать слово чести быть верным Франции, сотрудничать с ней: присоединитесь к ее усилиям в Индокитае во имя дела цивилизации и справедливости.

Я знаю, господин Фан Бой Тяу, величие вашей души и вашу жизнь, полную самоотречения и опасностей, и я первый — я, генерал-губернатор Индокитая,— воздаю вам дань высокого уважения. Но разве возвышенные идеи всегда наилучшие?

---

* Аннамитская пословица: так говорят о подлом человеке. *(Прим. автора.)*

И разве они всегда могут быть воплощены в жизнь? Увы, нет! И потом, бог мой, зачем нам и дальше упорствовать в нашей ссоре, ведь мы с вами — рука об руку — сможем сделать столько добра для Индокитая. Мы сможем вместе превратить вашу страну в великое современное государство, в доминион, в азиатскую Францию!

Ах, поверьте мне, господин Фан Бой Тяу, оставьте вашу идею возмездия, бросьте ваши былые планы и не пытайтесь больше поднять своих соотечественников против нас; наоборот, убедите их сотрудничать с французами, и, сделав это, вы обретете все — для вашей страны и для себя лично!

В этом смысле я бы мог привести вам в пример одного из ваших бывших помощников, господина Нгуен Ба Чака, который, как вы знаете, образумился и теперь на нашей стороне. Но если вас не убеждает пример вашего соотечественника, я могу сослаться на моих соотечественников, моих товарищей по коллежу, моих друзей по борьбе Густава, Александра, Аристида, Альбера, Поля и Леона [22], все они ныне прославились, и все то и дело сжигают все, чему поклонялись, и поклоняются всему, что сожгли. Чувствуют ли они себя от этого хуже? Нет, ничуть. Наша демократия, слава богу, добра! Да, доблестная французская демократия, которую я имею честь сегодня представлять у вас, снисходительна к людям, которые, как и я, отреклись от заблуждений юности.

Чего уж там, взгляните на меня, господин Фан Бой Тяу, на меня, который был социалистом и стал губернатором!..

И Фан Бой Тяу посмотрел на Варена. Но странное дело, слова Варена, казалось, проходили мимо ушей Бой Тяу, так вода не оставляет следа на листьях батата *, и невозмутимое молчание, которое он хранил во время этой тирады, судя по всему, поразило Варена.

Разговор не состоялся, но не потому, что один говорил на языке аннамитов, а другой — по-французски: рядом стоял мандарин, готовый служить им переводчиком. Просто — и это совершенно очевидно — Бой Тяу не понял Варена, как и Варен не понял Бой Тяу.

Разговор на этом закончился, или, во всяком случае, никому не известно о его продолжении. Правда, один охранник-аннамит, стоявший с ружьем у двери камеры, утверждает, будто разглядел через решетку, как слегка исказилось лицо знаменитого узника. Он клянется, этот хитрец, будто заметил, как кончики усов Бой Тяу слегка приподнялись разок и тотчас вновь опустились.

Если это действительно было так, то, возможно, Бой Тяу в этот момент улыбнулся улыбкой затаенной, неприметной и беззвучной, как полет мухи**.

НГУЕН АЙ КУОК

P. S. Другой свидетель разговора Варена с Фан Бой Тяу (но мы поостережемся назвать его имя) уверяет, будто Бой Тяу плюнул Варену в лицо; что ж, и это возможно.

«Пария» № 36—37, сентябрь — октябрь 1925 г.
Перевод с французского К. СЕВЕРОВОЙ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

КАМЕРА ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

Вот камера — три метра вдоль,
два метра — поперек.
Не поместиться и троим —
загнали четырех.
Не вытянешь усталых ног,
прилечь и не пытайся.
Полно народу, места нет,
и отдых нам не впрок.

---

* Любимая поговорка тонкинских крестьян. Листья батата гладкие и не промокают, вода, попадая на них, стекает тут же. *(Прим. автора.)*

** Здесь перефразируется выражение «смех мухи»; этим сравнением, по словам автора, обычно пользуются аннамиты, когда хотят описать загадочную улыбку людей своей расы. *(Прим. перев.)*.

ЧУВСТВУЮ ГОЛОД

Прежде чуть свет приносили еду,
нынче не балуют нас.
Завтрак вовремя не принесут,
видно, и в этот раз.
Позже и позже гремит замок,
ждать приходится дольше.
Может, пробило десять часов,
может, двенадцатый час.

ВЕЛИЧАВЫЙ ПАКБО[11]

Горы возносятся ввысь,
воды струятся в простор.
Дали какие! Какая ширь!
Ясный какой кругозор!
Речку Ленина вижу вдали,
дальше — вершина Маркса;
Как открыватель, даю имена
потокам и гребням гор.

Февраль 1941 года

ГЛЫБА

Скала — огромная глыба.
Скала, увы, тяжела.
Не сдвинуть ее в одиночку.
Не тронется с места скала.

Скала — огромная глыба.
Прочна она и тверда.
Пожалуй, и нескольким людям
Не сдвинуть ее никогда.

Скала — огромная глыба.
Скала, увы, тяжела.
Но множество рук наляжет —
Сдвинется эта скала.

Коль сможем объединиться,
Слить воедино сердца,
Любое нелегкое дело
Мы доведем до конца.

Французов прогнать и японцев.
Приблизить свободы час —
Это нелегкое дело
Важнее всего для нас.

Если мы воедино
Силы сольем и сердца,
Нелегкий бой за свободу
Мы доведем до конца.

21 апреля 1942 года

ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ

Эй, эй, земляки!..
Эй, эй, земляки!..
Рабочие и батраки,
Женщины и мужики,
Девушки и пареньки,
Дети и старики,

Воины-строевики —
Все, у кого две руки!
Те, у кого есть винтовка, взведите курки,
Те, у кого кирка, берите кирки,
Те, кто владеет клинком, точите клинки,
Вилы берите, серпы и дробовики.
Встретишь французских солдат — коли и секи!
Встретишь японский отряд — бери на штыки!
Тысячи их, войска их не так велики,
Нас миллионы, бесчисленны наши полки.
Долгие наши дороги врагам нелегки.
Мы неустанны, упорнее, чем чужаки.
Мы измотаем пришельцев, возьмем их в тиски,
Чтобы устали они от невзгод и тоски.
Силы растратят они — поглотят их пески.
Но возрастет наша сила всему вопреки.
Эй, эй, земляки!..
Эй, эй, земляки!
В битву идут партизаны, тверды и крепки,
Будут расти партизанские наши полки.
Эй, эй, земляки!..
Эй, эй, земляки!..

1942 год

ВЗОЙДЯ НА ГОРУ

Двадцать четвертого
в месяце жарком июне
Я одолел
горной тропы извивы.
Вот и вершина,
близким кажется солнце;
Там, за ручьем —
цветущая ветка сливы.

1942 год

СПАСИБО ЖЕНЩИНЕ, ПОДАРИВШЕЙ МНЕ АПЕЛЬСИНЫ

Спасибо тебе, подарившей мне
желтых плодов кулек,
Был я подарком твоим смущен,
но отказаться не мог.
После я думал: помни о тех,
кто посадил деревцо.
Пока созреет один апельсин —
сколько трудов и тревог!

Январь 1946 года

ВЕСТИ О БОЕВОЙ ПОБЕДЕ

Глядя в окно, вопрошает луна:
— Что, получилась строка?
— Мысли мои занимает война,
не до стихов пока.
Колокол вдруг прозвучал в горах,
сон разогнав осенний,
Звон возвестил, что победу в бою
наши стяжали войска.

1948 год

■ ■ ■

Когда решаются судьбы страны,
что значит собственный дом?
Пятьдесят девять стукнуло мне —
считать ли себя стариком?
Сначала надо врага одолеть,
добиться надо победы;
А день моего рожденья, друзья,
отметите вы потом [24].

1949 год

■ ■ ■

Горной тропинкой приходит гость,
всюду цветов аромат;
Чащей проходят наши войска,
птицы над ними парят.
Только что кончил я обсужденье
судеб войны и страны.
Соседского мальчика я зову,
лейку беру — и в сад.

■ ■ ■

Давненько я не слагал стихов,
увы, не писалось деду.
Попробую, может, получится что?
За рифмой иду по следу.
Кропаю. Страницу почти исписал,
но ускользают созвучья.
Вдруг слово меня осенило крылом,
и я срифмовал «победу».

Март 1968 года

Перевод с вьетнамского и ханваня А. РЕВИЧА

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Речь идет о визите во Францию вьетнамского императора Кхай Диня (правил с 1916 по 1925 г.), который фактически был марионеткой колонизаторов.

[2] В старину во Вьетнаме ночное, темное время суток, начиная с семи часов вечера, делилось на пять страж по два часа каждая.

[3] Фу-си — мифический китайский император; по некоторым преданиям — прародитель людей, научивший их рыболовству, скотоводству, создатель магических триграмм.

[4] Зыонг кыу — вьетнамская транскрипция названия одной из гадательных триграмм, упоминаемых в древнекитайской «Книге перемен».

[5] Фунгхоанг (фыонгхоанг — *вьетнамск.*) — феникс; дракон и феникс считались символами государя и государыни, олицетворением высшей власти.

[6] Чынг Чак и ее младшая сестра Чынг Ни в 40 г. н. э. подняли восстание против поработившего страну ханьского Китая. Согласно ряду источников, поводом к восстанию явилось убийство ханьским наместником Тхи Шатя — мужа Чынг Чак. Повстанцы освободили страну, сестры Чынг были провозглашены государынями, но затем восстание было потоплено в крови ханьскими войсками, обе сестры Чынг погибли.

[7] Ли Бон (Ли Ви) — вождь начавшегося в 542 г. восстания против китайского господства. После разгрома захватчиков, взойдя на престол, Ли Бон принял титул «Император Намвьета» и назвал государство Вансуан (Десять тысяч весен, Вечная весна). Однако уже в 545 г. в страну снова вторглись китайские войска. Все 58 лет существования государства Вансуан прошли в непрерывных войнах с феодальным Китаем.

[8] Нго Кюйен (899—944) — выдающийся полководец и государственный деятель; в 938 г. наголову разбил в устье реки Батьданг флот и армию китайской династии Южная Хань. В 939 г. Нго Кюйен провозгласил себя императором и основал свою столицу на месте древней столицы вьетов (Колоа), неподалеку от современного Ханоя. С этой даты начинается история независимого вьетнамского государства.

[9] Династия Динь основана выдающимся военачальником и государственным деятелем Динь Бо Линем (923—979), после того как он в 968 г. объединил распавшееся на крупные феодальные владения государство вьетов, провел ряд реформ, построил свою столицу в Хоалы (на территории современной провинции Ниньбинь). После смерти Динь Бо Линя на престол был возведен его шестилетний сын, через год лишенный власти.

[10] Ле Дай Хань (Ле Хоан) (940—1005) — один из главных военачальников и придворных Динь Во Линя, через год после смерти правителя был возведен на престол вместо его малолетнего сына. Китайский император династии Сун, формально считавшийся сюзереном вьетского государства, объявил происшедшую там смену власти «незаконной» и под предлогом «восстановления справедливости» двинул туда войска. В 981 г. Ле Дай Хань разгромил на реке Батьданг китайский флот, а также наступавшую сухопутную армию.

[11] В эпоху вьетнамской династии Чан, пришедшей к власти в 1225 г., трижды было отражено вторжение монгольской конницы и китайской армии, посланных правившей в Китае монгольской династией Юань: в 1258, 1285 и 1287—1288 гг. войны эти носили всенародный характер; массированные удары регулярных войск сочетались с партизанскими действиями.

[12] Ле Лой (1385—1433) — выходец из феодальной семьи, возглавивший всенародную войну против китайской династии Мин, которая захватила Вьетнам в 1407 г. под предлогом восстановления «законной власти». Китайцы, грабившие народ, установили жесточайший оккупационный режим: не только за противодействие захватчикам, но даже за соблюдение вьетских обычаев и ношение национального костюма полагалась смертная казнь Вьетнамцы не раз поднимались против оккупантов. В 1418 г. началось восстание под руководством Ле Лоя, охватившее широкие массы народа и завершившееся в 1428 г. изгнанием захватчиков. Термин «революция» можно употребить здесь лишь условно. Если народ и некоторые приближенные Ле Лоя связывали с борьбой определенные социальные идеалы, то целью Ле Лоя было создание независимого феодального государства с сохранением абсолютной власти монарха.

[13] Здесь не совсем точно рассказано об одном из выступлений против захвативших Дайвьет (Вьетнам) войск феодального Китая. В 1407 г. Чан (Де) Куи, принц династии Чан, восстал против оккупантов и провозгласил себя государем. С помощью примкнувших к нему военачальников он добился успеха, но затем неоправданными жестокостями оттолкнул от себя многих сторонников В лагере повстанцев начались заговоры и распри. В 1409 г. Чан Куи Кхоанг, также принадлежавший к роду Чан, поднял восстание в другом месте и провозгласил себя императором. Благодаря усилиям Чан Куи Кхоанга повстанцам удалось на время объединить свои армии. Они одержали ряд побед, но потом их стали теснить превосходящие силы захватчиков. В 1410 г. Чан (Де) Куи был захвачен в плен, увезен в Китай и казнен. В 1414 г. Чан Куи Кхоанг, взятый в плен, по дороге в Китай бросился в реку и утонул.

Необходимо отметить, что некоторые неточности в ссылках автора объясняются тем, что, живя вдали от родины, он был лишен возможности пользоваться историческими источниками и другими вьетнамскими изданиями, а уровень многих доступных ему тогда на Западе публикаций был недостаточно высок.

[14] Хам Нги, Тхань Тхай, Зюй Тан — императоры вьетнамской династии Нгуен (1802—1945). Хам Нги возведен на престол в 1884 г. подростком; попал под влияние патриотически настроенных приближенных, вызвал неудовольствие французов, лишивших его власти. Хам Нги бежал из столицы, в стране началось восстание (1885), которое колонизаторы окончательно подавили лишь в конце 90-х годов. Вместо Хам Нги в 1885 г. был провозглашен другой император, а сам он схвачен и сослан в Алжир.

Тхань Тхай (правил с 1889 по 1907 г.) почти неукоснительно следовал диктату колониальных властей, но в силу неуравновешенности характера вызвал недовольство французов, был низложен и сослан на остров Реюньон.

Зюй Тан (правил с 1907 по 1916 г.) — сын Тхань Тхая. Возглавил заговор, направленный против колонизаторов, бежал из контролировавшегося ими дворца, надеясь поднять восстание, но не нашел поддержки ни у народа, ни у правящего класса, был низложен и сослан на остров Реюньон.

[15] Визит Кхай Диня во Францию был приурочен к открытию колониальной выставки в Марселе в 1922 г., на которую были затрачены огромные средства, взысканные с самих колоний. По замыслу ее устроителей выставка должна была рекламировать «процветание» заморских территорий.

[16] Речь идет об убийствах, ставших сенсацией во французской прессе.

[17] Марабут — духовный наставник, пастырь в некоторых арабских странах; сам этот сан вряд ли существует в Конго, где очень мало мусульман, скорее всего, это юмористический образ, созданный автором, а не точная реалия.

[18] Шунь — мифический китайский император, царствование которого обычно изображается как «золотой век».

[19] Имеется в виду Александр Мильеран — президент Французской Республики (1920—1924). Здесь для сатирического эффекта автор дает его имя наподобие титулатуры монарха.

[20] Александр Варен — представитель правого крыла Социалистической партии Франции, депутат парламента; занимал ряд постов в колониальной администрации, был генерал-губернатором Индокитая в 1925—1928 гг., где пытался различными способами расколоть национально-освободительное движение.

[21] Фан Бой Тяу (1867—1940) — выдающийся общественный деятель и литератор, сторонник вооруженной борьбы с колониализмом. Находясь в эмиграции в Китае, Фан Бой Тяу в июне 1925 г. был схвачен в Шанхае французской тайной полицией, доставлен в Ханой и заключен в тюрьму. Волна протестов против его ареста прокатилась по всему Вьетнаму Власти были вынуждены судить Фан Бой Тяу при открытых дверях. Суд состоялся уже после публикации памфлета Хо Ши Мина, в ноябре 1925 г. Фан Бой Тяу был приговорен к смерти, но после широких выступлений общественности президент Франции был вынужден подписать указ о его помиловании: он был отправлен под надзор полиции в Хюэ.

[22] Гюстав Эрве (1871—1944), Александр Мильеран (1859—1943), Аристид Бриан (1862—1932), Альбер Тома (1878—1932), Жозеф Поль-Бонкур (1873—1972), Леон Жуо (1879—1954) — автор перечисляет здесь французских политических деятелей, которые, будучи, как и Александр Варен, членами Социалистической партии, изменили интересам рабочего класса.

[23] В Пакбо жил Хо Ши Мин в 1941 г. Отсюда он руководил деятельностью партии. В Пакбо собиралось Постоянное бюро ЦК Компартии Индокитая В мае 1941 г. здесь состоялся VIII (расширенный) пленум ЦК КПИК, принявший важнейшее решение о создании всенародного патриотического объединения — Лиги борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь).

Горы вокруг пещеры, где поселился Хо Ши Мин, были необитаемы, и он как бы создавал здесь свой собственный мир, давая названия окрестным вершинам и ручьям.

[24] В 1949 г. было предложено торжественно отпраздновать день рождения Хо Ши Мина; четверостишие было написано как ответ на это предложение.

◆

ДЕТИ ДВУХ МИРОВ

I. Тревоги Запада

ГАРРИ ТОБИНСКИЙ

Комната 24...

Очерк из журнала «Курсбух», ФРГ

Специальный номер западногерманского журнала «Курсбух», посвященный теме «Молодежь», мгновенно стал «бестселлером»: в первые же недели после выхода было распродано свыше 80 тысяч его экземпляров. О нем говорят, о нем пишут другие органы прессы. «Это один из самых страшных документов последнего времени,— утверждает известный западногерманский журналист,— я давно не держал в руках собрания текстов, которое бы меня так поразило».

Здесь рассказывают сами о себе совсем молодые люди: школьники, безработные, студенты, отбившиеся от дома девчонки, жертвы наркомании, завсегдатаи «дискотек». В их исповедях и размышлениях нет ничего особенно сенсационного, экзотического. Но все вместе они рисуют впечатляющую картину крайнего отчуждения: эти юноши и девушки, только лишь вступающие в жизнь, чувствуют себя посторонними в окружающем мире, который им отвратителен, с которым они не хотят иметь ничего общего. Журнал «Шпигель» писал по этому поводу о драматической «эмиграции молодежи из реальности взрослых... Речь идет о той немецкой молодежи, которой не желают видеть наши политики и какой она, однако, является в значительной своей части».

«Те, кто рассказывает здесь о себе,— подтверждает гамбургский еженедельник «Ди цайт»,— лишь маленькая верхушка громадного айсберга. Они не хотят иметь ничего общего с нами, с нашим буржуазным миром. Они не борются с ним... но они презирают его».

Мы публикуем в сокращении один из материалов этого номера — рассказ вчерашнего школьника — безработного из города Киля Гарри Тобинского.

Весеннее солнце заметно оживило и рынок труда. Согласно отчету федерального ведомства по вопросам труда число безработных снизилось на 98 500 человек, или на 9% к 1 млн. 400 тыс.

«Килер нахрихтен», 4 мая 1978

....and there were all now—in one place—a generation lost in space with no time left to start again.

Don McLeon[1]

«Модель «Германия»: я—где-то здесь, среди бетонных блоков, изуродованных деревьев, автомобильных выхлопов, испражняющихся собак, орущих детей, среди равнодушных людей с лицами из пластика. Где-то в «Модели «Германия», про которую еще неизвестно, что́ это, собственно, такое. Многообещающий выпускник, бросивший школу за год до окончания. Вот уже несколько месяцев без работы, без среднего образования. И живу по-прежнему дома с родителями.

Теперь я стою здесь: отверженный? меченый? Или эти слова означают просто лишь жалость к самому себе?

Стою у входа в городскую биржу труда. Вход переоборудован заново. Теперь тут стеклянные двери. Безликие, безжизненные. Пожалуй, хуже, чем прежде. И зачем их сделали такими? Наверно, входу в такое учреждение не полагалось выглядеть иначе. Просто нельзя. Кто их знает?

Они меня вызвали. Открыткой. Это было что-то новое. Обычно мне полагалось отмечаться у них раз в месяц. Я приходил сюда девять раз. Месяц за месяцем. И каждый раз повторялся один и тот же спектакль. Комната 24: неквалифицированные, подсобные рабочие. Длинный хвост долгой очереди. У дверей этой комнаты всегда поджидает больше всего народу. Часа через полтора попадаешь туда и ты. За письменными столами — двое служащих. Перед ними пара стульев. Садишься.

— Чем могу быть полезен? — спрашивает один из них.

Отвечаешь:

— Мне положено отмечаться у вас раз в месяц.

— Фамилия?

— Тобинский.

— Дувинский?

— Нет, Тобинский. Т, О, Б...

На свет извлекается розовая карточка с разными цифрами. На моей значится: регистрационная группа 1007, класс профессии 9832. Человек заглядывает в нее, роется в картотеке, достает папку и быстро пробегает взглядом дело.

— Работы все еще не нашли?

— Не-е.

— Н-да... Пока что у нас опять нет для вас ничего.

Он ставит в деле крестик, это значит, что в этом месяце я у них отметился. Затем опять водружает дело на место и возвращает тебе твою розовую открытку.

Можно было еще сказать: «Ничего не поделаешь» и «До свидания», а потом ехать домой. Все это продолжалось обычно пять с половиной секунд. И повторялось, как уже было сказано, почти дословно.

А что же на этот раз? На этот раз они мне прислали открытку: предлагается место подсобного рабочего в большом универмаге. То есть расставлять товары по полкам, мыть полы и подметать проходы. Особой любви к таким занятиям я никогда не испытывал, но после девяти месяцев... Словом, поехал туда. На автобусе. Было жарко. Поездка заняла два часа. Представился какому-то маленькому человеку.

Мы вошли в его кабинет. Он поставил печать и подписал открытку, которую прислали мне с биржи,— чтобы там знали, что я действительно у него был. Кроме моей еще десяток-полтора открыток валялось у него на столе. На меня это подействовало удручающе.

На обороте открытки оттиснут большой штамп: «В случае, если в работе вам будет отказано, прошу явиться в... часов в комнату...» Ну вот я и явился.

Коридоры тут длинные. Точь-в-точь такие, как на фотографиях, которые всегда показывают, когда в последних известиях сообщают статистику. Шлепаю по истертому линолеуму... Перед комнатой 24 дожидаются, как я и думал, десятка два человек. Некоторые разговаривают друг с другом. Про какой-то футбольный матч. Несколько ребят вроде меня. Может, и их посылали в тот же универмаг? Я хотел даже спросить, но как-то не решился. Я ужасно в себе не уверен. А вот они до чего спокойны! Или это спокойствие тоже форма неуверенности, страха?

Сажусь. Просидел, наверное, часа два. Еще кое-кто пришел после меня, они, видимо, спешили, и я их пропустил вперед. Наконец вошел сам. Один

[1] ...И вот все мы здесь сейчас — в одном месте,— поколение, затерянное в пространстве, и нет больше времени, чтобы начать снова. *Дон Маклеон (англ.).*

из служащих вопросительно уставился на меня. Я подал ему открытку, которую они мне прислали. Вообще-то человечек из универмага, поставив печать, должен был сам ее вернуть, но он решил сэкономить на почтовых расходах и отдал открытку мне.

— Мне сказали туда явиться. Я поехал вчера, но до меня уже наведались пять или десять типов. Они кого-то взяли.

— Типов?— переспросил он. Я смешался. С какой стати?

— Ну... хм, я хотел сказать... вроде бы типов.

— А-а. Ну-ну.

Он отложил открытку и что-то вычеркнул в списке.

— Н-да, ничего другого сейчас вам предложить не могу.

— Понятно. О'кей.

Единственный раз за девять месяцев мне предложили место. Тут и правда впору было потерять всякую надежду. А что дальше? Неужели так никогда ничего и не изменится?

Одно время я думал, что всем безработным, вот таким, как я, надо бы как-то организоваться. Но потом мне стало казаться, что это безнадежно. Можно ли что-то изменить? Как безработным вырваться из своей изоляции? И что делать дальше? Ведь все тут переменчиво. Одни были безработными, другие становятся. Как объединить эту все время подвижную аморфную массу людей?

Я сел в автобус и отправился домой. С небес уже не капало, зато опять стало жарко. Жарко и душно. Кругом все потели. В автобусе стояла вонь. Я чувствовал себя усталым. Казалось, дорога никогда не кончится. Я с трудом сдерживался, чтобы не зевать, и вдруг почувствовал, что совершенно выдохся. Я думал о детях, которые где-то голодали... Думал об Эфиопии. О миллиардах, которые тратятся на войну, и о пфеннигах, которые швыряют голодным, чтобы успокоить свою совесть.

По пути домой встретил знакомого парня. Мы были в школе, как говорится, приятелями. То есть я, скажем, знал, на сколько вопросов он ответил в последней контрольной по математике. Он шел мне навстречу по тротуару. Я увидел его и подумал, не повернуть ли назад. Но он меня уже заметил. Я продолжал идти, как будто его не вижу. Мы жили в одной части города, в новом квартале — оргия бетона, настоящие джунгли. Тысяч тридцать жителей. Я знаю из этого числа от силы пятерых. Он был одним из них.

Он направлялся ко мне. Мы не виделись полгода, хотя живем друг от друга меньше чем в километре. Я не знал, как мне с ним держаться. Он вроде бы изменился, во всяком случае внешне. Стал более серьезным на вид. Но и более неуверенным, нервным. И остригся коротко.

— Э! — обратился он ко мне довольно громко. — Как у тебя дела?

Я промолчал.

— Чем занимаешься?

— Так...

Что я мог ему ответить? Ужасно все это. Кого бы ты ни встретил, когда бы ты человека в последний раз ни видел, все равно не первый, так второй вопрос: «Чем занимаешься?» Как будто ничего для него важнее нет. Хотя по голосу и по всему ясно видно, что ни ты, ни твои занятия его совершенно не интересуют. Ему действительно это было без разницы.

— Так, то то, то се, — уклончиво ответил я.

Он смотрел на меня испытующе.

— А ты? — спросил я.

— Да так, школа. Скоро экзамены.

— Хм.

Мы замолчали. Я судорожно подыскивал какие-нибудь слова. Но он меня опередил:

— Скажи, как это тебе пришло в голову бросить школу?

Я пожал плечами. Вот чего я не выносил — давать кому бы то ни было отчет о том, что я думаю да почему...

О всяких там объективных причинах. Хемингуэй вон тоже бросил школу, разве нет? Бог ты мой, почему я оттуда ушел? Мало ли почему! Потому что невмоготу стало, когда эти якобы «социально мыслящие» учителя сразу прятались за свой авторитет, едва кто-то предлагал альтернативу. Потому что я не мог больше видеть, как ученики готовы утопить один другого, если могли на этом заработать лишние баллы; не мог смотреть, как рвут в клочья хорошие книги, как терзают хороших людей, как распространяют вокруг ненависть... Я бросил школу, наверное, потому, что меня мучило то, что других просто огорчало...

— А ты кончишь школу, что будешь делать? — Я спросил это просто так, ничего другого в голову не пришло.

— Наверно, в «бунд» пойду.

Меня прямо как обухом по голове. Он собирался в бундесвер. Добровольцем. Уму непостижимо. Что они там с ним сделали? Я же его все-таки знал, никогда он туда не хотел. Что с человеком случилось?

— Вот как! А с чего вдруг?

— Деньги... И вообще, уж сразу избавлюсь от всех забот.

Я покачал головой. Я вспомнил другое. Про то, что было у нас в школе. Про нашу школьную газету — мы ее всю делали сами, даже печатали. Вспомнил про Общество охраны природы. Про собрания, которые мы устраи-

вали, про листовки, которые распространяли. По его словам, ничего этого уже не было. Газеты, общества школьного самоуправления. Ничего.

Я вспомнил про демонстрации, в которых принимал участие. Он тоже был на некоторых. Что же произошло с тех пор? Что случилось?.. Я вспоминал свои грандиозные планы. Я хотел, например, основать газету, посвященную проблемам третьего мира. Она, по-моему, необходима. Мы тут психуем из-за своих неурядиц, а чего они стоят, если сравнить их с положением в большинстве других стран. Опять на ум приходили голодные. Дело было не только в том, что столько людей умирало, быть может, еще ужаснее, во что превращались живые из-за недостатка витаминов. Дети, умственно и физически отсталые. Фотография: 15-летние девочки, которые выглядели от силы как пяти- или шестилетние,— умели ли они говорить? На что было этим людям надеяться? На то, что все вдруг переменится?

Но это безнадежно. Все будет так, как сейчас. И мы к этому все привыкли. «Этот нормальный холод»,— как писал Вальтер Мосман. И ничего тут не поделаешь.

В двух вещах завидую я животным: они не знают, что грозит злому, и не ведают, что о них говорят.

Из Вольтера

Утром кое-как встаешь — встаешь, хоть это и не обязательно, хоть этого и не хочешь. Но надо ведь себя заставить, надо ведь как-то двигаться. Хоть это и кажется абсолютно бессмысленным, абсолютно бессмысленным.

Я пошел погулять, или как это там называется. Небо было серым-серым и блеклым. Пустая, высосанная, старая жевательная резинка. Небо было небом. Я шел под небом, по улицам, мимо людей, сквозь них и сам по себе. Я был один из них, я выглядел, как они, дышал, как они, и все же в чем-то я был не такой, как они.

Вернулся домой, вымыл посуду, заправил постели, посмотрел телевизор. Ничего. Нет, какой там ничего! Неужели так и будет продолжаться?

У себя в комнате я лег на кровать, на свою жесткую белую кровать. Лежал и думал. Как все-таки из этого выбраться? Я чувствовал, что-то надо было сделать, не то конец. Придет однажды день, и я не выдержу. Когда-нибудь я сдам. В конечном счете я верю: человек вынесет все, но сколько до тех пор успеет рухнуть!

Я долго лежал так, слушал, как на улице играют дети. Окно было открыто, и ветер шевелил занавески. Узор на занавесках очень напоминал мне тюремную решетку. Но может, это была игра воображения.

Наконец я встал, поставил пластинку и попробовал найти какую-нибудь удобочитаемую книгу. Книги и пластинки. Не может это быть для человека единственным содержанием жизни. Но человек ли я еще вообще? Мадди Уотерс пел: «I don't want to be a millionaire — to be a millionnaire you have to treat somebody wrong»[1]. Что-то в этом было. Мне это прибавляло мужества. Я читал «Тропик рака» Генри Миллера. И как будто появлялось вдруг обнадеживающее чувство, что я все-таки не один, что на свете еще много отчаявшихся людей.

Я услышал, как кто-то пришел домой. Кто-то с шумом открыл входную дверь. Я вскочил. Поставил книгу на полку и нервно снял с проигрывателя пластинку. Черт возьми, подумал я. Опять то же, опять был этот проклятый страх, страх, что кто-то чего-то от тебя сейчас потребует... Каждый раз, как кто-то приходил домой, возникал этот страх, и я ничего с собой не мог поделать. Наверно, это было сумасшествие.

Слышны были голоса. Там, в коридоре. Моя мать и двое родственников. Тетя и дядя. Господи, подумал я и запер дверь к себе в комнату. У меня не было никакого желания говорить с ними. Я взял наушники и опять стал слушать Мадди Уотерса. Но как-то не получалось. Не сейчас. Я все время прислушивался, не стучат ли ко мне в дверь. Никто не шел. Наконец я снял наушники, и меня опять окружили все эти звуки. Дети на улице, машины, малыш наверху, громкий голос матери за стеной. Я тотчас понял, что речь идет обо мне.

— Кто хочет работать, тот что-нибудь находит,— говорила тетя.

— Может быть,— отвечала мама.

Они пили кофе. Я представил их, как будто бы они сидели прямо передо мной. С куском пирога. Все эти слова я слышал часто. Нет, не часто. Всегда. Всегда, и только это. Как будто для них ничего другого не существовало. Как будто весь я состоял из одной безработицы.

Что-то во мне колотилось. Они в своей жизни никогда не сталкивались с моими проблемами. Но конечно, в них разбирались. Черт побери, думал я, как можно, чтоб меня всем этим пичкали?

[1] Не хочу быть миллионером — чтобы быть миллионером, надо с кем-то обращаться непотребным образом *(англ.)*.

На кой мне все эти премудрости из иллюстрированных газет?

Я стоял в своей комнате за дверью, меня подмывало выйти и сказать им что-нибудь такое. Но я этого не сделал. В этот момент я себя презирал.

А они все говорили. Не только о том, что меня касалось, что задевало меня, и задевало глубоко. Но слух мой улавливал именно это.

Явилась сестра.

— Я бы тоже не прочь немного побыть безработной,— сказала она.— Подумать только — ничего делать не надо, сам себе хозяин. Занимайся чем хочешь, честное слово.

— Хм,— произнесла мама.

Наступило молчание. Кто-то глотнул кофе.

— Если ненадолго — это ничего,— высказала свое мнение тетя.

Я слышал, как она чавкает, я прямо видел ее перед собой и испытывал почти ненависть. Слепую, безысходную ненависть.

— Нет, так можно в каком-то смысле совсем опуститься. Со временем. Потерять всякую выдержку.

Они, наверно, имели в виду не меня. Конечно не меня. Но попадали в меня. Прямо в сердце. Попробуйте это представить. Сомнения. Ненависть. Вопросы. Что они были за люди? Невозможно было вынести. И все-таки это продолжалось. Мне стоило бы, вообще говоря, посмеяться, ведь все, что они говорили, было смехотворно. Смехотворно, да только совсем не смешно.

— А что он, собственно, делает целыми днями? — спросил дядя.

Опять молчание.

— Не знаю,— сказала мама, помедлив.— Я совсем мало знаю про мальчика. По-моему, он все сидит дома, скучает, ко всему придирается.

— Почему ты его тогда не поставишь на место? Должен же он понимать, что к чему. Иначе из парня ничего не получится.

— Да, верно. Вот он носит длинные волосы. Он же этим показывает, что не желает быть как все. Ходить с такими волосами сейчас уже вообще не модно. Какая девушка захочет пойти за такого замуж? За человека, который не желает выглядеть как все? Никто не пойдет. И работы он так не найдет, это уж точно.

Я только мотал головой. Да что ж это такое? Невыносимо! Что они говорят? И неужели так думают? Я почувствовал к ним чуть ли не жалость. Но потом опять — гнев, презрение, ненависть.

И тут мой дядя выдал все до конца:

— При Гитлере бы такого не было, уверяю вас.

Нет, правда. Я не ослышался. Ну как это понять? Я буквально плюхнулся на постель. Проклятие, ворочалось во мне, я же **ваш** ребенок, я же не нарочно дошел до такого идиотизма. Вы все меня до этого довели. Разве нет? Или я не **ваш?**

Эти слова вопили во мне, просились наружу, и я чувствовал, что надо выкрикнуть их вслух, иначе нельзя было этого вынести. Что они были за люди? Что за люди? Что за люди! Но может, в том-то и дело: они были просто люди. Может, люди и были такими? Но как тогда выдержать в этом мире?..

Видит бог! Как часто я ложусь в постель с желанием, а то и с надеждой никогда больше не проснуться; а утром, открывая глаза, опять вижу солнце и чувствую себя несчастным.

Гёте. «Страдания юного Вертера».

Мне снилось свадебное пиршество. Мужчины в черных костюмах. Невеста в белом. Невеста? Нет, две, три, много невест. Со шлейфами. Совершенно безликие мужчины и женщины. Большой, празднично украшенный стол. Искусственное освещение. На столе лежат птицы, воробьи. Мертвые воробьи. Много-много. Одна из невест пытается разрезать воробья ножом. Не получается. Нож скользит. Никак не берет перья. Неуверенные взгляды. Нетерпеливые взгляды. Недружелюбные взгляды. И вдруг там оказываюсь я, совершенно голый. И пугаюсь собственного уродства. Невеста с ножом уставилась на меня.

— Я Рюбецаль[1],— говорю я,— гроза птиц.

Или это говорит отвратительное обнаженное нечто, обозначающее меня? Безликие люди вокруг — откровенные идиоты.

— Давайте, я сделаю.

Острая бритва. Тщательный надрез на брюшке. И ни капельки крови. Иссохшие внутренности. Бурное пиршество...

Спал я плохо. В мозгу засел дурацкий сон. Весь день заранее казался потерянным. Раскрыл газету. Какая-то дискуссия. В разделе экономики мне сразу бросилось в глаза:

«Весеннее солнце заметно оживило и рынок труда».

Ну невозможно! Проценты, числа, квоты, десятичные знаки... Неужели

[1] Персонаж немецких народных сказок.

только такой язык был понятен людям? А другого не существовало? Я читал: «уровень жизни», «стоимость досуга», «парк беззаботности», «близость к согражданам», «квота безработицы». Что должны были означать эти слова? Как будто речь в самом деле шла уже не о людях, а лишь о предметах, обстоятельствах, цифрах.

Наши газеты, книги, фильмы, новости, речи, песни прямо-таки купаются в этом безжизненном, в этом пластмассовом языке. Чем это не язык Большого Брата[1]? Его язык отравлял наш мир, подчинял наши мысли, речи, действия. Может, произошел незаметный захват власти?

Швырнул газету в угол. Глянул, нет ли чего в почтовом ящике. Ничего не было. Для меня ничего. А кто мне мог написать?

Я задумался. Была еще биржа труда в Штаде. Я как-то прочел, что они набирали тысячу сезонных рабочих для уборки овощей. Хотел податься туда. Я, правда, слышал, что работа была совершенно изматывающая, но выбирать особенно не приходилось. Вкалывать каждый день минимум по десять часов. Твердая аккордная оплата. Столько-то килограммов в час. Если верить объявлению на стене биржи — семь марок в час. Брутто или нетто? Семь в час плюс жилье.

[1] Речь идет о бездушном диктаторе — персонаже известного романа Оруэлла «1984 год».

Словом, я туда написал. Давно ли? Несколько дней, недель, месяцев назад. Никакого ответа. Не очень их это, видно, интересовало. Да и с чего бы. Я был один из миллиона. Из миллиона и четырех сотен.

Дурацкий сон, дурацкая газета, дурацкая биржа труда в Штаде! Сплошное разочарование, сплошное отчаяние!

Я выскреб все деньги, какие у меня были. Набралось около двадцати марок. Сел на первый же автобус и поехал в город. Я шел по торговым улицам, по зоне для пешеходов. Их было полно. Люди со своими покупками, своими детьми, своими собаками. Размалеванные, раскрашенные лица, всевозможные модные и немодные брюки, юбки, куртки, костюмы, шляпы, ботинки. Все как положено. И что-то еще притягивало мой взор. Были еще глаза. Глаза, которые были совсем другими. Глаза, в которых видно было отчаяние. Усталость. Уныние. Весь этот самообман. Просто тоска брала...

Отчего? Оттого, что тебя то и дело убивают? Каждый день понемножку? Вышвырнули тебя в этот мир и убивают при первой возможности. Родственники, неспособные что-либо понять, чиновники на бирже труда, которые ничем тебе не помогли, школьные приятели, решившие записаться добровольцами в бундесвер...

Неужели я пропал?..

Перевод с немецкого М. СЕРГЕЕВА

Из двух корреспонденций польского еженедельника «Культура»[1]

ВЛОДИМЕЖ КОЖИЦКИЙ

После нас — хоть потоп...

«Почти каждый вечер я хожу в евангелический клуб молодежи и курю там гашиш. Делаем мы это совершенно открыто... Я себя одурманиваю, чтобы не видеть всего того свинства, которое происходит в школе и дома»,— пишет в своем дневнике тринадцатилетняя Кристиана из Западного Берлина.

Из письма родителей: «В 1977 г. наша дочь вступила в молодежную секту «Дети бога». Раньше она совсем не интересовалась религиозными проблемами, но в течение нескольких часов два члена секты уговорили ее жить для бога. Вещи и сбережения она отдала «Детям бога». Через несколько дней она собирала милостыню на улицах... Мы приезжали к ней в Бремен, в колонию, где она поселилась. Мы не могли остаться с ней наедине, потому что все время она находилась под эскортом нескольких членов секты. У нас создалось впечатление, что она не властна над собой и не принадлежит себе, принимая решения. Мы спросили, занимается ли она проституцией. Она ответила, что занимается этим с мужчинами, которым «необходима любовь бога», а потом обращает их в веру свою, что делает это ради Иисуса...»

Ученица лицея из Франкфурта написала в сочинении на тему о своих планах на будущее: «Что же иное можно сделать в этом обществе и в этой системе, как не убежать?.. Я вижу, как люди извиваются или трусливо топчутся по кругу, и буду ста-

[1] Печатаются в сокращении.

раться по мере возможности избавить себя от этого». Ученик гимназии из Нижней Саксонии: «Карьера исключает достойную жизнь. Нужно выбирать одно или другое, так как обе возможности в современном обществе не могут быть реализованы».

Согласно западногерманской статистике, к разного рода религиозно-мистическим сектам принадлежит около 150 тысяч молодых немцев в возрасте от 16 до 28 лет. В течение последнего года в ФРГ около 600 детей совершили самоубийство. Почти 100 из них были моложе 14 лет, остальные — от 14 до 20-ти, две трети — мальчики, треть — девочки.

В Шлезвиг-Гольштейне собраны такие данные: число смертельных исходов, которыми кончились попытки самоубийства детей, удерживается здесь на одном уровне — 15 в год, начиная с 1969 года, зато число не удавшихся попыток возросло с 40 до 150. Из бесед с теми детьми, которых удалось спасти, стали известны мрачные цифры: каждый третий ребенок предпринимал по меньшей мере семь попыток самоубийства; 36% в течение нескольких месяцев говорили родителям и друзьям, что хотят лишить себя жизни; 90% утверждали, что, собственно, не собирались умирать — но и жить дальше, чувствуя себя такими несчастными, эти дети не хотели.

Анализируя, например, мотивы краж, психологи приходят к выводу, что речь шла не о приобретении таким путем каких-то вещей, но о своеобразной «пробе мужества», которая должна была подтвердить, что совершивший кражу ребенок — полноценный член общества.

Установлено, например, что половину всех краж в г. Оффенбахе совершили дети младше 14 лет. В большинстве своем это дети из разбитых семей, они имели неприятности в школе, считали себя ненужными. Кроме того, одним из мотивов совершенных правонарушений было неосознанное желание «наказать» родителей и воспитателей за их равнодушие...

Серьезная проблема — большое число молодых безработных, в том числе 15- и 16-летних, которые по окончании школы не могут найти места ни на предприятиях, ни в профессиональных школах: предприниматели отказываются финансировать школы при предприятиях и требуют денег у государства. Социал-либеральное правительство не может добиться соответствующих решений по этому вопросу. Число безработных моложе 20 лет колеблется в пределах 90—100 тысяч.

На этой резервной армии труда часто наживаются предприниматели, нанимающие молодых безработных на случайные работы. И их же подстерегают на углах улиц и у церквей миссионеры различных сект. Не так давно западногерманское правительство опубликовало данные о международных религиозно-мистических сектах, действующих также и на территории ФРГ. Начиная с середины 70-х годов, популярность и влияние сект постоянно возрастает. Секты расчетливо используют молодых людей, вымогая у них деньги и часто вынуждая заниматься вещами противозаконными и аморальными. Взамен они предлагают иллюзорное «равенство» и «освобождение от стрессов»...

Наиболее активны в ФРГ секты, возникшие в США; упомянем три из них: «Сайентолоджи черч», основатель и глава секты — автор научно-фантастических романов Ром Хеббард, источник доходов — оплата за посещение курсов, на которых обучают «чувству бессмертия».— «Секта Мун», глава объявил себя «новым мессией». Члены ее полностью порывают контакты с обществом, передают в секту все свое состояние. В результате Мун оказался властелином большой экономической империи (от экспорта чая до производства оружия). Секта известна своей агрессивностью и антикоммунистической направленностью. «Дети бога». Предводитель — американец Дэвид Берг. Возвещает «конец света», спасение — в принадлежности к секте...

Ученые-социологи утверждают, что мотивом вступления в секты является разочарование в обществе и страх перед будущим. Как и многие другие группировки, секты разрабатывают концепции «врага, с которым необходимо бороться и которого необходимо уничтожить». «Врагом» становится весь внешний мир: «чувство угрозы извне укрепляет внутреннюю солидарность группы, снимает напряжение, смягчает комплексы». Однако психологи подчеркивают, что в секте молодой человек все более утрачивает чувство реальности, что в результате порождает новые комплексы. И к этому времени жертва уже слишком слаба, чтобы вырваться из заколдованного круга...

ПЕТР ТРАВКА

Наркоманы

Двух молодых туристов из ФРГ, 19-летнюю девушку и ее 21-летнего друга, обнаружила мертвыми горничная одной из гостиниц в Амстердаме. В тот же самый вечер в туалете амстердамского кинотеатра нашли мертвым 36-летнего голландца. Около него на полу лежал шприц. Через два дня внимание прохожих привлек неподвижный человеческий силуэт в лодке, стоявшей на якоре в одном из амстердамских каналов. Полицейские извлекли из лодки труп 25-летней англичанки. Все эти «открытия» состоялись в одном и том же районе. Причина смерти во всех случаях — героин.

Местные власти на эскалацию смертельных случаев (только в августе 1978 года их зафиксировано пять) реагируют более чем спокойно. «Некоторые из них уже давно принимали героин — когда-то просто должен наступить конец»,— заявил представитель амстердамской полиции. Вообще здесь считают, что ситуация изменилась к лучшему. Полиции удалось в какой-то мере ограничить процветавшую прежде контрабанду наркотиков, осложнить существование торговцам наркотиками, которые уже давно съехались сюда из разных стран Западной Европы. Роль «столицы европейской торговли наркотиками», по мнению специалистов, Амстердам уступил Западному Берлину. Западногерманская пресса пишет о том, что рынок наводнен героином.

«В районе Нойкёльн сегодня рано утром был найден мертвым в своей квартире 21-летний Юрген Г. Рядом с трупом лежал шприц с остатками желтой жидкости»,— такого рода сообщения западногерманские газеты публикуют на последних страницах, читатели скользят по ним привычным взглядом. Для них в этом нет ничего нового. В Западном Берлине группа неизлечимых наркоманов особенно велика. Официально зарегистрировано 1700 человек, однако в действительности их число в несколько раз больше. «В течение одного уик-энда,— признает местная полиция,— мы иногда находим по четыре трупа»...

Угасающая свеча на фоне мрачной декорации; маленькая человеческая фигурка, затерявшаяся в черной пустоте, над ней огромная рука со шприцем; желтая корона над пустырем, напоминающим мусорную кучу,— такова тема коллажей 18-летней Ливии Б. из Западного Берлина. Только на одном из них — роза, светлая, на фоне темнеющего вечернего неба — символ надежды. Той надежды, за которую до последней минуты цеплялась Ливия Б. Она просила Отдел социального обеспечения дать ей денег на лечение, дать как можно скорее: «Я завишу от наркотиков, и каждый следующий день может мне стоить жизни. Умоляю вас еще раз не отказать мне в моей просьбе, я не хочу стать очередной жертвой героина. Прошу вас помочь мне снова превратиться в здорового, способного к труду человека». Однако ей уже не могло бы помочь даже самое быстрое решение. Журнал «Штерн» рядом с цветными репродукциями коллажей помещает черно-белую фотографию девушки в джинсах, простертой на белых плитах пола. Именно там, в общественном туалете на площади Ганзы в Западном Берлине — известном месте встреч наркоманов, был найден труп восемнадцатилетней Ливии. В ее сумочке оказалось неотправленное письмо, написанное в тот самый день.

...Как-то раз, когда она сбежала из дома, когда жизнь казалась безнадежной и тусклой, ее возлюбленный Ханнес нашел средство от хандры: он сделал девочке первый укол героина.

С тех пор каждый день проходил одинаково: добывание денег, поиски белого порошка, укол. Они с Ханнесом отправились в Амстердам, тогдашнюю «Мекку» наркоманов. Там жили впроголодь в каюте брошенного катера, деньги добывали, взламывая автомобили. Мать нашла Ливию в Амстердаме и увезла вместе с Ханнесом в Берлин, взяла и его к себе. Чтобы прокормить троих, работала утром продавщицей, вечером — официанткой.

Ливия, сознававшая, что катится по наклонной плоскости, много раз пробовала бороться с собой. Это были тяжелые дни. Несмотря на сильные успокаивающие и обезболивающие средства, Ливия кричала, металась в приступах бешенства, ее сотрясали судороги. «Это было страшно,— рассказывает отчаявшаяся мать.— Я растирала ей руки и ноги мазью против ревматизма, чтобы ослабить боль. Я держала ее изо всех сил,

когда она начинала метаться. Стену возле кровати обкладывала подушками, чтобы она не причинила себе вреда. Ничего больше я не была в состоянии сделать». Через несколько дней девушка вновь отправлялась на поиски героина. Деньги на героин к этому времени Ливия добывала одна — Ханнес попал в тюрьму. Несколько недель она работала в баре — ее служебные обязанности заключались в том, чтобы побуждать гостей заказывать спиртное. Потом — занятие стриптизом в каком-то шоу: через узкие щели-прорези в стене зрители рассматривали «живые картины». И, наконец, улица, последний укол на площади Ганзы...

Что здесь толкает к наркомании тысячи молодых людей? Одних — отсутствие работы и перспектив на будущее, других — личные катастрофы, желание убежать от жизненных трудностей или от собственных комплексов и ощущения безысходности. Случается и обыкновенное любопытство, поиск «непривычных ощущений», стремление вкусить от запретного плода. По мнению специалистов, достаточно пяти уколов, чтобы втянуться в порок...

В денежном выражении эквивалент этого массового «бегства от действительности» только в Западном Берлине составляет в день 1,3 млн. марок: именно на такую сумму, по подсчетам полиции, в городе продается в день героина — сумму, равную дневному обороту таких фирм, как «Порше» или «Кодак».

Одна датская газета назвала недавно Западный Берлин «новой европейской столицей торговли наркотиками». Отказываясь от сей сомнительной чести, западноберлинская администрация утверждает: то же самое происходит и во многих других столицах Западной Европы — просто здесь полиция действует более оперативно, на ее счету больше «обнаружений»...

Но можно ли «оперативностью полиции» объяснить, к примеру, количество смертельных случаев в Западном Берлине (84 в одном 1977 году — больше, чем в любом другом городе ФРГ, больше, чем даже в таких американских городах, как Сан-Франциско, Чикаго или Детройт)? Обнаружение и конфискация 8 кг героина в год — не такой уж большой успех, если учесть, что «дневная норма» Западного Берлина составляет примерно 5 кг и что одного грамма достаточно для 20 уколов; чтобы торговцам заполучить четырех новых клиентов, хватает одного грамма. Таким образом, дневного «рациона» города достаточно, чтобы привить порок 20 тысячам человек!

Недавно в Западном Берлине учреждено Специальное управление сената по вопросам борьбы с наркотиками. Сенат ассигновал 8,6 млн. марок на профилактику и терапевтические средства для жертв наркомании. Сумма эта весьма значительна, но, по мнению экспертов, составляет каплю в море потребностей.

По мнению представителя сената, в Западном Берлине действует только один ганг или несколько гангов, скооперированных по принципу картеля. «Эта банда не встречает здесь никакой конкуренции»,— утверждает уполномоченный сената Вольфганг Хекман. Местные торговцы-монополисты смогли установить произвольные цены. Они удерживают их на достаточно низком уровне, чтобы отобрать клиентуру у конкурирующих гангов во Франкфурте или Дюссельдорфе. За внешне хаотической деятельностью торговцев наркотиками в Западном Берлине кроется строгая организация. Борьба с этой торговлей чрезвычайно трудна. В сеть попадаются только мелкие рыбешки.

По сравнению с 60-ми годами порок значительно «помолодел»: девочки нередко попадают в его сети в возрасте 12—13 лет, мальчики в возрасте 14—16. Кульминационной точки наркомания достигает в группе 17 и 18-летних. Чаще всего эти подростки происходят, как показывает статистика, из самых низших слоев общества, 70% среди них посещали только начальную школу, из них треть и ее не закончила, две трети никогда не начинали обучаться какой-либо профессии. Безработица среди молодых — один из серьезных поводов, заставляющих их искать забытья. С момента приобщения к пороку судьбы молодых становятся почти идентичными. Физически и психически изможденные, с прыщами на лице и на руках, с язвами желудка, часто больные венерическими болезнями, они обитают в предназначенных на снос развалинах. Последняя стадия называется на полицейском жаргоне «куриной лапкой»— к этому времени руки сами сжимаются в кулак, а тело сотрясают судороги. Исследования показывают, что треть жертв порока — самоубийцы, которые уже не видели для себя никакого выхода.

Перевод с польского Э. ВЕНГЕРОВОЙ

II. Против ветра и течения

Отрывки из книги

Журнал «Арейто», выходящий в Соединенных Штатах с 1974 года, вокруг которого группируется радикально мыслящая кубинская молодежь, провел анкету среди живущих в США молодых кубинцев, в большинстве своем детьми покинувших Кубу после победы революции. Цель этой анкеты — показать процесс переоценки ценностей в сознании молодого поколения, приведший его в конце концов к признанию революционной Кубы. Полученные ответы (было опрошено около пятидесяти человек) составили книгу «Против ветра и течения», отмеченную в 1978 году премией латиноамериканского конкурса «Каса де лас Америкас» в Гаване. Со страниц этой книги, говорится в предисловии, «звучат голоса молодых, которые из глубины изгнания, выступая против ветра и течения, вопреки всем прогнозам и предсказаниям, заявляют о своей солидарности с кубинской революцией».

1

Отъезд

Как и все кубинцы, в эти переломные годы (1959—1960) мы жили в большом напряжении. Это был бурный период, когда в драматических столкновениях во всех без исключения областях жизни проявилось глубокое расслоение нашего общества. Мы смотрели на все это нашими детскими глазами: нас все необычайно волновало, все поражало воображение. Затем очень скоро мы оказались в самой гуще классовой борьбы — в то время как сами в происходящем разбирались, конечно, слабо. Произошел раскол в наших семьях. Произошло неожиданное превращение нас во «врагов». Нам трудно было это осмыслить. Ураган революции потряс нас до самого основания. В конце концов эйфория 1959 года завершилась спадом и кризисом. Самым тяжелым из всех видов кризисов, который поверг нас в агонию, длящуюся и по сей день.

Мои впечатления того времени? На это не так легко ответить... Национальный гимн в школе. Я стою в форме в строю... Воспоминаний масса, но дело даже не в них, а в их характере... Они будто сны, картинки прошлого, которого не было. Общее для всех этих впечатлений — осознание неразрывной связи с родиной, ощущение своих корней в ней. (То, чего лишает нас изгнание, заставляя чувствовать себя «временными».)

Помню, как я, одетая в красное и черное [1], пою революционные песни. Помню, что видела Че и Камило [2]. Они останавливались в одном доме на углу нашей улицы, и мы, дети, бегали туда и, открыв рты, разглядывали их. Еще помню революционные суды, происходившие в театре неподалеку от нас. Помню, как я кричала и возмущалась вместе со всеми. Потом обыск в нашем доме. Мама, отправляющаяся в Гавану на рассвете, чтоб ее не увидели и не догадались, что мы уезжаем. Помню историю с «Эль Энканто» [1] (мой родственник обвинялся в том, что подложил бомбу, от которой сгорел «Эль Энканто»), демонстрантов, проходивших мимо наших окон с требованием сурового приговора. Мы заперлись у себя в доме и боялись показаться на улице...

Вспоминаю, как сидела перед телевизором и слушала речь Фиделя и как мне нравилось собирать открытки из «Альбома революции». Помню также, что Камило казался мне очень симпатичным парнем. Однажды школьный автобус подобрал по дороге настоящего «барбудо» — бородатого повстанца с четками и цепочкой на шее, на мой взгляд, очень привлекательного. Мне тогда пришло в голову, что это Камило Сьенфуэгос, и я потом рассказывала, что со мной в одном автобусе ехал сам Сьенфуэгос.

Из последних дней на Кубе запечатлелись в памяти два эпизода: приготовления к отъезду, связанные с этим сложности и день отъезда. Особенно запомнились переживания в аэропорту, в частности впечатления от так называемого «аквариума» — места, где отъезжающие ожидали самолет, отгороженные от остающихся толстым стеклом, через которое можно было лишь смотреть

[1] Цвета революционного «Движения 26 июля».

[2] Камило Сьенфуэгос — национальный герой революционной Кубы, погибший в 1959 г.

[1] Большой универсальный магазин в Гаване.

и обмениваться знаками. Переход в «аквариум» — это было начало разлуки, которая одними из нас воспринималась как незабываемый, но необратимый жизненный этап, а другими — как поступок, которого они никогда бы не совершили, будь на то их воля.

В аэропорту скопилось очень много народа и царила ужасная неразбериха. Самое страшное было войти в «аквариум». Мы простились с плачущим отцом, моя сестра рассталась со своим женихом. Какой-то старик у входа заметил, что я плачу, и старался меня утешить. Те, кто находился в «аквариуме», уже не могли из него выйти. Оставшиеся снаружи с такой силой налегали на стекло, что мне казалось, оно треснет и упадет на нас. Мало-помалу я потерял представление о времени. Потом мама сердилась на меня, потому что мне надо было в уборную, и она не знала, что со мной делать. Наконец, обратились к девушке-«милисиана», и она проводила меня в туалет. Я подумал: в чем дело? Почему для этого понадобилась «милисиана»? Но мамины нервы, очевидно, были на пределе.

...Наши знакомые пугали нас ожиданием в аэропорту — говорили, что при осмотре вещей раздевают, обыскивают и т. д. На самом деле служащие гаванского аэропорта оказались гораздо вежливее, чем обслуживающий персонал в других аэропортах, с которым мне приходилось иметь дело. Наши вещи осмотрели, но ничего плохого нам не сделали. Меня с братом пропустили в «аквариум». Мы должны были пройти мимо нескольких «милисианос», девушек и парней в форме народной милиции, отвечая на вопросы и показывая руки. Нас спросили, что мы везем с собой. Потом мы вышли на площадку, где проверяли чемоданы, а потом вернулись в «аквариум», сели и стали ждать. Мы не знали, куда глядеть — то ли на плачущих или застывших в молчании соседей (все боялись, что рейс отменят), то ли на своих родителей, дядей, тетей, двоюродных братьев и сестер за стеклом... Мама надела черные очки моей сестры... раньше она никогда их не носила, ей хотелось скрыть слезы. Слезы лились рекой в этот день. Я впервые увидел в тот день, как плачут мужчины — мой отец и молодой господин, который сидел рядом со мной в «аквариуме», помню, что у него были голубые глаза. Еще помню одного мальчика с табличкой на груди, где были написаны адрес и телефон в Майами. В тот день было много детей, весь «аквариум» был заполнен ими, взрослых было мало... Молчание длилось до того момента, когда самолет оторвался от земли. Тогда все стали громко рыдать, и я припоминаю, что сквозь слезы едва мог разглядеть уходящую вдаль землю Кубы. Я чувствовал страх и полную незащищенность.

Не вызывает сомнения, что большинство наших старших считали кубинскую революцию недолговечной, тем не менее они скрывали от нас истинную причину нашего отъезда в США, так как не хотели, чтобы мы были в курсе событий.

Мои родители сказали, что мы с сестрой едем в Соединенные Штаты на год учиться. Мы смотрели на это путешествие как на развлечение. Наши родственники ездили в США изучать английский язык, мы знали, что это доступно лишь людям со средствами. Для нас было игрой воображать себя богачами, которые отправляются учиться за границу.

Поездка в США считалась у нас престижной. Я воображал себе эту страну по кинофильмам, иллюстрированным журналам и рассказам побывавших там знакомых. Америка представлялась мне идиллическим раем.

Одним из распространенных, но совершенно беспочвенных аргументов для отправки детей в США был якобы готовящийся на Кубе закон о лишении «patria potestad»[1]. Кроме того, пронесся нелепый слух, что детей родителей, лишенных «patria potestad», будут отправлять в Россию. Горькая же правда заключалась в том, что многие потеряли своих детей навсегда, отправив их в Соединенные Штаты.

В нашем доме резко изменилось настроение, как только у моего отца отобрали имение. Сразу же люди Фиделя стали плохими, безбожниками, грубиянами, невеждами и т. д. Особенно часто повторялась фраза «patria potestad». Так мне и ответили, когда я спросил, почему мы уезжаем с Кубы.

Моего отца на фоне политической жизни Кубы можно было бы назвать либеральным буржуа. Думаю, что в 1959 году он поддерживал революцию, хотя и небезоговорочно. Он поддерживал революцию, потому что был против режима Батисты. Его представления о программе преобразований в стране сводились к уничтожению коррупции, проведению ряда демократических реформ и установлению более справедливой власти. Речь для него не шла о глубоких социальных преобразованиях, он всегда смотрел на «барбудос» с некоторым подозрением. Я помню первую речь Фиделя по телевизору. Мне кажется, это было в Сантьяго-де-Куба. Мы ее слушали по радио. Мой отец, помню, то-

[1] Здесь: «родительские права».

гда сказал: «Этот человек чересчур часто говорит слово «народ».

С моей, внеклассовой тогда, точки зрения, путешествие в США представлялось развлекательной прогулкой. Более того, я радовался, что наконец-то стану американцем. Мне стыдно сейчас в этом признаться. В то время я рассуждал так: «Мы против Фиделя, мы хорошие, значит, они плохие». Однако мне приходила в голову и другая мысль: «Но почему же, черт возьми, весь наш квартал за Фиделя?»

В начале революции энтузиазм моих родителей заставил меня собирать открытки из «Альбома революции», фотографии Фиделя и Че и т. д. Когда взгляды взрослых стали меняться и обратились против революции, я ничего не мог понять. Почему я должен считать плохим то, о чем раньше мне говорили как о хорошем?

Последние недели перед отъездом я очень волновался. Как раз в это время контрреволюция перешла в наступление. Ежедневно совершались диверсии, взрывались бомбы. Помню, я много раз читал в газетах списки «милисианос», убитых или раненных ночью на улицах города. Я ждал близкого вторжения на Кубу танков и самолетов, как во время второй мировой войны. Часто я не спал по ночам от тревоги и волнения.

Одобрительная позиция моих родных по отношению к революции оставалась твердой в дни аграрной реформы (мы не владели землей), во время национализации латифундий и предприятий иностранных компаний (обе акции были встречены аплодисментами), но заметно поколебалась, когда несколько домов, которые мы сдавали внаем, перешли в руки их обитателей. Отношение к революции стало враждебным, когда государство национализировало магазины моего отца на условиях, не удовлетворявших его..

Тем не менее было немало семей, особенно из мелкобуржуазной среды и трудящихся слоев населения, чей конфликт с революцией шел не по линии материальных интересов, а по линии идеологической. Чаще всего речь шла об антикоммунистических настроениях на религиозной почве.

В начале 1960 года у меня возникло эмоциональное неприятие революции. В основе его лежала моя религиозность. Я не мог осмыслить то, что происходит, вот и все. Теперь, анализируя ситуацию, я понимаю, что во время второй мировой войны и в годы «холодной войны» на Кубу был обрушен интенсивный огонь антикоммунистической пропаганды, в результате слово «коммунизм» превратилось в некий устрашающий жупел. Можно сказать, что пропаганда, влияние католической религии и мой юный возраст в совокупности привели к тому, что я оказался не в силах постигнуть смысл грандиозного революционного процесса на Кубе.

Вспоминаю, что я, как и другие ребята нашего квартала, состоял в местном молодежном патруле и мне хотелось участвовать в компании по ликвидации безграмотности...

В день, когда пришло разрешение на выезд, после долгих споров со своей семьей и с самой собою, я сказала служащему министерства внутренних дел, который вручил нам документы, что хотела бы отложить отъезд. Я надеялась убедить семью не уезжать или разрешить мне остаться. Чиновник министерства согласился отсрочить отъезд на шесть месяцев. Потом началась борьба. Отец умолял меня ехать, тринадцатилетняя сестра, для которой поездка представлялась очередным развлечением, рыдала и обвиняла меня в том, что я «ломаю ей жизнь». Потом началось паломничество друзей и родственников. Все это продолжалось до тех пор, пока мы не погрузились в самолет.

Революционная Куба, которую мы покинули не по своей воле... живет в наших воспоминаниях, в нашей надежде снова увидеть ее.

Я очень счастлив, что до отъезда за границу мы много путешествовали по стране, и это дало мне возможность узнать Кубу. Сколько раз позднее я совершал эти путешествия во сне! Во сне или в воспоминаниях я направляюсь на запад, пересекаю Виньялес, слушаю там соловьев, затем следую до Пинар-дель-Рио, до Гуане, где вдыхаю запах сосен. Потом поворачиваю на восток: Паленке-де-Матансас, Матансас, Юмури, Варадеро, Карденес, Лас-Вильяс, Тринидад, Камагуэй, Хибара, Пуэрто-Бониато, Сантьяго и Гуантанамо... Нет, мне нужно снова увидеть все это и выучить новые названия провинций...

Полет из Гаваны в Майами... Помню, что он прошел без приключений. Первый шок произошел при встрече с американским чиновником по иммиграционным делам, который без лишних слов поставил в моем паспорте штамп с пометкой «эмигрант». Зная, что как эмигрант не смогу вернуться на родину, я пытался объяснить ему, что я студент, а не беженец, но он лишь пожал плечами и вернул мне документы. Потом нас встретили родственники в аэропорту, и мы сразу же отправились вместе с ними в супермаркет. Это был обязательный визит для всех вновь прибывших эмигрантов.

Первым препятствием, с которым мы столкнулись по приезде, был язык. Многие из нас изучали английский в частных школах и думали, что легко справятся с проблемой языка. Однако, сойдя с самолета, мы сразу же обнаружили, что находимся в состоянии полной некоммуникабельности. Но трудности, с которыми мы сразу же столкнулись в эмиграции, касались не только языка.

Мой дядя, с которым мы жили, приехав в Майами, на Кубе был владельцем аптеки, и у него был большой дом. Здесь, в Майами, он развозил на рассвете молоко, жил в небольшой квартирке, всегда был усталый и в плохом настроении. Он признавался, что никогда не думал, что дела его обернутся таким образом в этой стране всеобщего благоденствия.

2

Предыстория радикализации

Конфликты в связи с ассимиляцией

В течение нескольких лет, когда я училась в школе на Среднем Западе, меня не оставляло чувство скованности. Я казалась себе чужой всем и не такой, как другие. Из-за этого я стала очень робкой и забитой. Мне не с кем было говорить о своем прошлом до того момента, как я поступила в колледж. Но там было еще хуже. Со мной обращались как с «редкой птицей», потому что мои одноклассницы впервые имели дело с существом, не принадлежащим к их культуре. Меня спрашивали, носят ли на Кубе одежду. Я отвечала, что нет, и что из-за жары мы ходим голые, и весь день проводим на банановых деревьях. Хоть я и старалась обратить все в шутку, меня очень мучили такие разговоры, и я много времени спустя не могла их забыть.

Первый год в США я была воспитанницей в школе у монахинь. Это время не прошло бесследно. Оглядываясь назад, я вижу, что опыт, полученный в этой школе, немало способствовал моей радикализации. Первые столкновения возникли в связи со стремлением как можно скорее нас ассимилировать. На первых порах речь шла о еде, манере одеваться, привычках и т. д. Затем язык. Нам запретили говорить по-испански. Нас было двенадцать девочек, все мы тосковали по родителям, с которыми расстались первый раз в жизни. Наши воспитатели этого не поняли. Постепенно мы узнали, что с нами обращаются иначе, чем с другими воспитанницами. Нас нагружали лишней работой; если мы с чем-нибудь не справлялись, нас заставляли дополнительно трудиться, в то время как работу остальных не проверяли. Нам запрещали заходить в спальни других девочек, а в конце месяца выстраивали в очередь и распределяли между нами зубную пасту и мыло. Девочки-американки смеялись над этим. Каждую неделю одна из монахинь-воспитательниц отзывала нас в сторону, чтобы напомнить, как нам повезло, что мы уехали с Кубы. Мы должны быть счастливы, говорили нам, что живем в Соединенных Штатах, и нужно молиться за то, чтобы все кубинские дети могли уехать, и за наших родителей, оставшихся на Кубе. Они уверяли нас также, что рады оказать нам покровительство и помощь.

Это были самые тяжелые и неприятные минуты в нашей жизни, потому что они говорили одно, а делали совершенно другое. Я не чувствовала себя ни счастливой, ни благодарной, напротив, именно в этом заведении я научилась ненавидеть. Я ненавидела США, ненавидела школу, ненавидела монахинь.

Матекамб, Кендалл, Флорида-сити, Опалокк — вехи фантастической эпопеи, которую еще предстоит написать. Эпопеи лагерей, разбросанных в южной части Флориды, куда направлялись тысячи кубинских детей в начале шестидесятых годов. Предыстория нашей радикализации начинается именно в этих лагерях.

В аэропорту я обнаружила, что никто меня не встречает. Здесь находилось несколько человек из лагеря, которые должны были заботиться о детях, приехавших без родителей. Меня привезли к отцу Уолшу, он занимался детьми, которых родители отправили в США, испугавшись закона о «patria potestad». Отсюда меня направили в лагерь во Флорида-сити.

В момент моего прибытия там в основном были девочки моложе восемнадцати лет. Мальчиков было меньше. Руководили всем монахини Лурдского колледжа. Еще там жили несколько семей, так называемых houseparents, на попечении которых находились отдельные группы ребят.

В доме, куда меня поселили, было три спальни. В одной жила дочь сеньоры и ее подруга по колледжу. В другой спали houseparents. В третьей, самой большой комнате, стояло пять двуспальных кроватей, на которых спали десять человек детей.

Кормились мы по очереди в большой столовой, которая находилась в другом здании. Медпункт размещался в доме, похожем на казарму. Там жили доктор с женой и несколько больных детей, спавших на раскладушках.

Существовало там и нечто вроде школы без разделения на классы. Научиться в ней чему-либо было, естественно, трудно, да ни у кого не было желания заниматься, всех волновали другие проблемы.

В лагере нам пришлось брать на себя определенные «роли», например роль матери, хотя никакого опыта в этом отношении у нас не было. Многие дети плакали и просились к своим мамам, приходилось что-то придумывать.

Когда мне сказали, что я буду учиться в колледже и получать стипендию, я подумала, что это шутка. Многие провели в лагере долгое время и так и не добились стипендии. Я же жила здесь неполных три недели. Мне казалось, что меня разыгрывают.

Однако в три часа ночи сеньора меня разбудила и спросила, сложила ли я чемодан, так как в пять часов нужно было выезжать. С чемоданом не было затруднений — всего-то и было у меня две смены белья.

Несмотря на недолгий срок, который я провела в лагере, когда я встречаю когонибудь оттуда, даже если мы не были знакомы, я испытываю к этому человеку чувство духовного братства. Это время нельзя забыть. Существует особая связь между теми, кто прошел это испытание.

Я ехала вместе с подругой по лагерю. Нас посадили в самолет, где не было ни одного знакомого лица, к тому же мы не знали ни слова по-английски...

Мы прилетели в чикагский аэропорт в три часа ночи. Нас оставили в отделении, где разгружают вещи. Было холодно, нам хотелось есть...

Колледж, куда нас привезли наконец, был расположен среди чистого поля (несколько больших зданий на открытом пространстве). Через какой-то темный переход нас провели в такой же темный коридор, где мы успели заметить несколько любопытных голов, высунувшихся из дверей. Затем нас накормили в большой столовой (здесь я впервые познакомилась с настоящей американской кухней).

Так начались три долгих года, которые оставили неизгладимый след в моей жизни. Это было существование, порою вполне сносное, порою тяжелое. Не то чтобы с нами плохо обращались. Напротив, к нам здесь относились хорошо, но нас никогда не оставляло ощущение потери. Нам чего-то не хватало, мы были лишены чего-то очень важного в жизни. Конечно, дело было и в языке, но теперь-то я знаю, что нас мучила более значительная потеря. Язык был лишь производной величиной, хотя и это вносило в нашу жизнь немало осложнений.

Меня вызвали в кабинет директора, потому что я целый месяц не готовил домашних заданий. Я знал слово homework[1], а учительница употребляла синоним assignment, который я не понимал. Поэтому я ничего не делал. Недоумевал, что за школы в этой стране, где ничего не задают на дом. Когда я был у директора, мне предъявили много обвинений, но я не понимал, чего от меня хотят.

Впервые я начала оглядываться назад и пересматривать целый ряд вещей, когда работала в Опалокке, лагере, куда привозили детей, которые уезжали с Кубы без родителей. Здесь я спрашивала себя много раз о причинах, заставивших родителей отправить своих детей одних в Америку. Я пришла к выводу, что состояние истерии, в котором они пребывали, в не малой степени питалось проповедями служителей религии... Любой человек, имевший представление о Соединенных Штатах и о том, что ждет кубинских детей там, должен был крикнуть им: «Не совершайте этого варварства!»

Мы выучили английский. Это было вопросом жизни. Мы доходили до того, что стали стесняться говорить на родном языке. И это был еще один этап, который нам предстояло преодолеть.

В моей жизни был период, когда я стыдилась своих родителей из-за того, что они разговаривали на улице по-испански, да еще к тому же очень громко, так что все вокруг понимали, что мы иностранцы. Я же старалась стереть барьер между собой и американцами, почти забыла испанский и говорила только по-английски. Позднее, уже в университете, я постаралась восстановить родной язык, и это стало первым шагом в процессе моего «открытия» самой себя и революции.

В Соединенных Штатах оказывается сильнейшее давление на людей иной культуры и национальной принадлежности, чтобы подчинить их господствующей культуре. Все непохожее, чужое считается второсортным. Когда я учился в средней школе, я ощущал неприятие моего «кубинства» со стороны моих американских друзей. Было время, когда я стеснялся, что я кубинец, и делал все, чтобы забыть родную культуру. Дошло до того, что я произносил свое имя на английский лад, пытаясь сойти за американца. Мне не хотелось, чтобы мои товарищи приходили ко мне домой, из-за того, что родители говорили по-английски

[1] Домашнее задание *(англ.)*.

с акцентом. Но все было тщетно, и мое происхождение всегда было поводом для насмешек даже среди самых близких друзей.

В конце концов мы столкнулись с проблемой собственной идентичности. Мы в совершенстве овладели английским, однако это не сделало нас американцами. Помимо всего прочего нас просто не хотели считать таковыми.

С другой стороны, мы столкнулись с тем обстоятельством, что мы уже не были такими кубинцами, как наши родители или наши сверстники, выросшие в гетто Майами и не находившиеся в очень тесном контакте с окружающей культурной средой.

Разочарование в США

В мире мифов, в котором мы росли и воспитывались и который нам выдавали за реальный, Соединенные Штаты представлялись нам землей свободы и изобилия, страной, в которой рабочий имеет собственный дом и каждый год новый автомобиль, государством с самыми лучшими школами, самыми талантливыми изобретателями, где каждый может достичь всего...

Процесс разочарования проявлялся в самых различных формах и был тесно связан с потерей детской наивности и веры во всемогущество взрослых.

Разочарование в Соединенных Штатах сыграло большую роль в изменении мировоззрения молодежи, воспитанной в американизированных слоях общества.

Вначале у меня был идеалистический взгляд на Кубу и на действительность Соединенных Штатов — следствие атмосферы, в которой я воспитывался. Все разговоры о нищете, безграмотности, плохом питании, детской смертности, отсталости рождали реакцию недоверия. Соединенные Штаты в моем представлении были страной, похожей на Кубу, но только еще богаче. Там не было расовой дискриминации, не было бедности, рабочие зарабатывали много денег... Прошли долгие годы, прежде чем мое сознание освободилось от этих мифов.

Помню, что дома, на Кубе, мы пошли в кинотеатр «Мирамар» и смотрели военный фильм, который кончался гимном американской морской пехоты. Весь зал подпевал, хлопая в такт ладонями. Для нас американцы были храбрецами, которые выигрывали все войны, героями комиксов и фильмов.

Вспоминаю, что я посещал club[1] и что этот club назывался «Big Five»[2]. Колледж, в котором я учился, носил название Habana Military Academy[3] и т. д. Короче говоря, американизация начиналась уже на этом уровне, проникая затем во многие другие области жизни, в том числе и в язык.

Процесс радикализации, я думаю, начался с разочарования... Черт возьми, говорил я себе, эти люди, которые вызывали во мне такое восхищение на Кубе, здесь подвергают меня дискриминации. Вблизи они были совсем не похожи на бесстрашных и благородных героев кинобоевиков.

Самые тяжелые впечатления остались у меня от первых восьми месяцев в эмиграции. Мы пережили безработицу, расовую дискриминацию, недостаток в питании, неуверенность в завтрашнем дне. Все это заставило меня позднее принять близко к сердцу проблемы пуэрториканцев, негров, индейцев и других угнетенных меньшинств в этой стране.

У меня сохранились печальные воспоминания о детстве, которое я провел во Флориде. Отчасти это связано с отношением местных жителей к неграм. Для негров существовали отдельные водопроводные краны, в автобусах они могли занимать лишь задние места, а над задней дверью красовалась табличка: «Места для негров от этой двери назад». На юге в те времена негры жили в сегрегационных кварталах, и после определенного часа им не разрешалось выходить на улицы, где жили белые. Я никогда не смогу забыть этого.

Обращение с неграми в США мне показалось таким жестоким и издевательским, что на меня не произвела никакого впечатления патриотическая болтовня, которую я слышал в школе. Я не поверил бы, если бы не видел собственными глазами, что на футбольных матчах во Флориде негры должны были сидеть на отдельных трибунах, не защищенных от солнца. Мне стыдно было смотреть на то, как женщина-негритянка пробирается на

[1] Клуб *(англ.)*.
[2] Большая пятерка *(англ.)*.
[3] Гаванская военная академия *(англ.)*.

задние места, в то время как впереди полно пустых мест.

Я уверен, что это стало решающим фактором в моем политическом формировании. Я уже не мог поверить в добрые намерения Соединенных Штатов, и это мешало мне по-прежнему смотреть на те области американской жизни, которые раньше вызывали во мне восхищение.

Однажды во время расовых волнений в Селме я присоединился к демонстрации протеста и завершил этот день тем, что распевал во все горло «We shall overcome»[1] в негритянской церкви.

Расизм на личном опыте

Я жил в Пуэрто-Рико, когда меня призвали на военную службу, и я попал в США, где проходил военную подготовку. Я почти не говорил по-английски. Тут-то я и почувствовал впервые, что значит быть латиноамериканцем и не знать английского языка. Именно в армии я впервые столкнулся с расизмом и впервые усомнился в истинной ценности представлений, которые мне внушили дома об этой стране... Со мной произошла любопытная вещь. Моя защитная реакция на расизм выразилась в том, что я стал называть себя кубинцем, хотя, живя с раннего детства в Пуэрто-Рико, считался пуэрториканцем. Мне говорили: «Puerto Rican»[1], а я отвечал: «No, I am Cuban»[2]. Чтобы избежать дискриминации, которой подвергались пуэрториканцы, я трусливо отрекся от них и заявлял: «Нет, позвольте, я не пуэрториканец, я кубинец...» То есть намекал на то, что кубинцы лучше пуэрториканцев. Так у меня в голове поселилась мыслишка, что мы, кубинцы, лучше пуэрториканцев, потому что мы белые, а они черные.

Но скоро я получил один очень полезный урок и понял, что кубинец, пуэрториканец — разница невелика, spick is a spick[3]. Это значило, что моя попытка ускользнуть от дискриминации потерпела полное фиаско, потому что для расистов все мы были «spicks» и низшей расой. Именно в это время во мне произошел перелом, я стал развивать в себе чувство собственного достоинства и гордиться тем, что я латиноамериканец. Во мне созревала готовность к борьбе против расизма.

Когда я учился в пятом классе в народной школе во Флориде, я впервые столкнулся с проявлением расизма. Учительница-американка, которой было, наверно, около пятидесяти лет, обращалась со мной как с животным,— мне было тогда всего 10 лет. Она никогда не произносила правильно мое имя, несмотря на то что я каждый раз поправлял ее. Она относилась ко мне совсем иначе, чем к другим ученикам... Некоторые американцы называли меня «spick».

Когда мне было примерно 13 лет, мы переехали в один поселок на севере Флориды. Вспоминаю свой первый школьный день. Я дожидался на остановке автобуса. Подошли школьники-американцы, увидели, что у меня волосы зачесаны назад, и стали меня толкать и дразнить. Очевидно, потому, что я был непохож на них и они никогда раньше не видели кубинцев. Я не пошел в школу и вернулся домой в слезах.

Я жил в лагере в Кендалле, где за кубинскими детьми присматривала американская пара — муж и жена.

Раньше наш воспитатель работал сторожем в тюрьме для малолетних преступников, многие из которых были пуэрториканцами. Этот господин решил обращаться с нами как с преступниками. Я оказывал ему отчаянное сопротивление тогда, но только позднее понял истинную причину его отношения к нам. Он был расистом (впрочем, как и многие другие здесь) и относился с ненавистью и презрением ко всем латиноамериканцам, независимо от того, преступники они или нет.

Мы жили в одном поселке штата Виргиния. Мои однокашники были заражены расовыми предрассудками, и из-за этого я часто дрался с ними. Мои родители уверяли меня, что они еще маленькие, не ведают, что творят. Но вскоре я убедился, что взрослые в этом отношении были еще хуже.

Я поступил в детскую футбольную команду, но когда там узнали о моем происхождении, меня выгнали, открыто заявив мне, что не принимают негров и латиноамериканцев, и никто за меня не заступился. Я потерял тогда окончательно уважение к авторитету взрослых.

Расизм в этой стране казался мне необъяснимым, неоправданным и жестоким. Старшие закрывали на него глаза, и все это накапливалось в душе и осталось там навсегда. Когда я обращался за объяснениями к родителям, они отвечали: «Они ничего не понимают, ты лучше их». Они предпочитали уйти от разговора, вместо того чтобы объяснить, что такое расизм и к чему он ведет. Но мы были латиноамериканцами, о чем североамериканское общество нам постоянно напоминало. И это стало основным фактором, сформировавшим мало-помалу мое сознание.

[1] Пуэрториканец *(англ.)*.
[2] Нет, я кубинец *(англ.)*.
[3] От английского spick and span — щегольской. Здесь: пижон, щеголь; уничижительное прозвище латиноамериканцев.

[1] Мы победим *(англ.)*.

Двойное изгнание: отчуждение от эмигрантской среды

Наши отношения с эмигрантской средой довольно сложны. С одной стороны, мы часть этой среды, с другой — мы стали чувствовать себя далекими от взглядов, образа жизни и моральных ценностей кубинской эмиграции.

Не последнюю роль здесь сыграла также наша бурная реакция на расизм, с которым мы сталкивались беспрерывно, в том числе и в своей среде.

Однажды во время обеда в доме друзей моих родителей кто-то сказал, что негры, без сомнения, низшая раса и являют собой переходный вид между обезьянами и белыми. В силу моего возраста мне было нелегко преодолеть робость и возразить этому человеку, но я сделал это и выступил в защиту негров, эволюции, а заодно и гражданских прав.

Можно сказать, что мой первый сознательный шаг к отходу от эмиграции был вызван расистскими настроениями в ее среде. Я очень сблизился с неграми. Моя старшая сестра влюбилась в мулата, и в нашей семье это вызвало ужасную панику и сопротивление со стороны родителей. Я же поддерживал сестру и был против своей расистской семьи.

От кубинской эмиграции меня оттолкнул расизм. Когда я была подростком, я очень интересовалась индейской культурой народов Латинской Америки. Мы жили в Майами, и когда я сказала, что хотела бы поехать в Южную Америку, на меня посмотрели как на сумасшедшую, так как там жили грязные индейцы.

Таким образом, еще до того, как изменились и созрели наши политические взгляды, которые затруднили наши отношения с семьей и эмиграционной средой, существовали причины, подготовившие окончательное расхождение.

Перевод с испанского М. КАНТОРОВИЧ

(Окончание в следующем номере)

III. Я встаю в шесть утра...

Из ежемесячного журнала «Нойе дойче литератур», ГДР

Один мальчик пишет: «Лучшее в жизни — это детство», а другой: «Самое печальное было то, что родители развелись. Для меня это был тяжелый удар».

Девочка пишет: «Порой мне ужасно хочется еще раз начать все сначала, всю жизнь», а другая: «Больше всего я люблю рисовать, играть, делать смешные вещи».

Почти девятьсот детей написали о своем, дне, о своей жизни, поделились с нами своими заботами и мечтами. Мы выбрали для журнальной публикации несколько отрывков, просто опасаясь переутомить читателя. Большинству ребят, которые нам написали, двенадцать лет. В этом возрасте я был охвачен тоской по неведомым дальним странам и приключениям и отнюдь не думал о прочном жизненном положении, а уж тем более не помышлял о будущей семье.

С тех пор в мире произошло столько изменений, детские мечты тоже переменились. На сегодняшних детей обрушивается поток информации, порой телевидение и кино оказываются ближе отца с матерью.

Жизнь ребенка начинается с совершенной открытости и потому на свой лад демонстрирует все те факторы, которые определяют лицо эпохи и общества, как хорошие, так и дурные.

Дети пишут: «Я каждый день занимаюсь тимуровской работой. Мне хочется улучшить жизнь ребят в других странах, и я участвую в движении солидарности».

Но пишут и другое: «Пусть все остается как сейчас. Мне хотелось бы жить без забот. И когда-нибудь зарабатывать много денег».

В наше время дети и взрослеют раньше, и знают больше, чем мы в их возрасте, трезвее смотрят на мир. У большинства есть конкретные обязанности, жизнь у них упорядочена, да и будущее подчас тоже четко запрограммировано — и учеба и специальность. Может быть, это и хорошо, что дети с младых ногтей знают, чего хотят, однако не исключено, что при этом останется меньше места для непосредственного удивления чуда каждого дня, поэзии и волшебству, способностью, к которому мы одарены в детстве. Об этом тоже не следует забывать.

Двадцать лет назад, в ноябре 1959 года, единогласно была принята Декларация ООН о правах ребенка. Перечитывая ее сегодня у нас в ГДР, так и хочешь поставить возле каждого из десяти пунктов программы галочку: «выполнено».

Только ведь суть Декларации этим не исчерпывается. Ибо по сей день существуют проблемы, мимо которых ни один гражданин нашей республики не способен пройти равнодушно: еще многие миллионы детей в мире не имеют постоянного крова, недоедают, гибнут под бомбами, становятся сиротами.

Тревога и ответственность остаются при нас, они будут всегда при нас — пока растут дети. Сопутствуя радости и счастью.

БЕННО ПЛУДРА, детский писатель

С 1978 года я встаю в шесть утра. Так я для себя решила. Проснувшись, сразу бужу своего хомячка, проверяю, как ему живется. Потом иду в ванную, а в семь часов слушаю по радио передачу «Семья Финдиг». В 7.10 мы с Ролъфом — это мой брат — готовим завтрак. В школу я выхожу в 7.40, потому что живу очень близко. После уроков забегаю домой, отношу портфель к себе в комнату и здороваюсь с бабушкой и папой. Потом иду к своей пионервожатой. Мы обсуждаем, что будем делать на этой неделе, и готовимся к совету дружины, он бывает по средам, раз в две недели. Потом я делаю уроки и играю с друзьями.

Больше всего я боюсь, что родители разведутся, но надеюсь, этого никогда не будет, потому что они до сих пор отлично понимают друг друга. И все-таки как знать?

Я очень люблю рисовать, играть, озорничать, и еще мне хочется стать лучше. Правда, ужасно хочу выполнять все свои обещания и не лениться писать письма. Хочу, чтобы все меня понимали, в том числе и брат. Особенно брат.

Брат частенько и здорово действует мне на нервы (впрочем, он умеет быть и хорошим другом). Что мне в нем не нравится? То, что он не всегда меня слушается. Он упрямый. С родителями у меня отношения хорошие. Я многим им обязана, например, новой комнатой. Мне жутко нравится, когда комната обставлена по-современному. По воскресеньям с утра мы с братом воюем с отцом, потому что он вечно сердит маму. А мы ее защищаем.

Я часто и охотно помогаю родителям. Например, три раза в неделю хожу в магазин, когда мама занята у себя в школе или с прабабушкой. Папа пишет диссертацию. Он будет доктор общественных наук. А мама — учительница в Панкове.

Друзей я выбираю, конечно, не по отметкам. Иначе их было бы у меня очень мало. Я дружу с детьми, с которыми мне интересно и которых я хорошо понимаю (а они меня).

Я хотела бы стать учительницей, как мама, или ветеринаром. Мне хочется многого добиться в жизни. Написать диссертацию, набраться опыта. А миллионы мне ни к чему.

КАТРИН ДИТЦЕЛЬ, 12 лет

Рисунок иллюстрирует публикацию журнала «Нойе дойче литератур».

Когда на улице идет дождь, ревет буря, а я лежу в теплой постели, читаю и отдыхаю, мне очень хорошо. Я придумываю, например, что было бы, будь я директором. Я бы сделал так, чтобы в столовой учителя становились в общую очередь и ели то же, что и все. Или я бы запретил учителям быть такими строгими.

И вообще, я бы сказал взрослым, что им незачем воображать перед детьми. Себя я бы пожелал никогда не робеть перед девочками. А еще я бы хотел уметь колдовать и превратить себя в образцового человека. Может, тогда и дома стало бы лучше.

Маму я очень люблю, потому что она не очень строгая. Но когда я чего-нибудь не делаю, она грустит, и мне ее жалко. Потому я ее и люблю и делаю все, что она велит. Она очень-очень добрая. Но это замечаешь, если знаешь ее долго-долго.

А вот папу не разберешь. То говорит, что я молодец, а то болваном называет, неизвестно, дескать, что из меня вообще получится. Он, конечно, хочет как лучше, но ему не мешало бы почаще прислушиваться к маме и не ссориться.

С сестрами жить можно, но только если они младшие. Моим 11 и 9 лет. Если они наглеют и упрямятся, приходится закручивать гайки. Когда мы не в ссоре, они мне нравятся, но брат наверняка был бы лучше. Когда родителей нет дома, за сестер отвечаю я. А это не так просто. После обеда я хожу в магазин, и вообще все на мне. На каникулах я с удовольствием работаю в магазине, крашу забор и хожу за покупками. Родителям я помогаю печь пироги. Очень мне это по душе, потому что тогда мне перепадает немножко теста. Еще я мою посуду, но не очень охотно.

Я люблю бывать у дедушки и бабушки, там работы поменьше, они не заставляют меня вкалывать: ты, мол, внучек, отдыхать приехал. А пироги я у них пеку сам, они знают, что я это люблю.

После десятого класса я бы хотел за два года выучиться на слесаря, получить в армии права шофера грузового автомобиля и потом работать водителем; построю или куплю дом за городом и заведу троих детей, а еще приобрету собаку и легковую машину или мотоцикл. А может, не женюсь и буду жить один и делать что хочу. Так и при социализме можно. Главное, чтобы был мир. Иначе никаких планов на будущее не построишь. Нам нужны счастливые люди, и родители, у которых есть работа, и дети, которые едят досыта и ходят в школу. Вот это и есть самое главное.

РАЛЬФ ГЕРТЛЕР, 13 лет

Самый лучший день недели — среда.

В 6.00 я встаю. В 6.30 делаю зарядку. С 6.40 до 6.50 умываюсь и убираю постель. В 6.50 я одеваюсь, потом мы завтракаем, и я ухожу в школу, но, к сожалению, без особого удовольствия.

После школы мы обедаем. Потом убираем свою комнату. В среду на дом не задают, поэтому мы занимаемся пионерскими делами или чем-нибудь еще.

В 17.30 у нас ужин. А в 16.00 нам дают молоко с пирогом. По средам в 18.30 у нас клубный день. Разные классы распределяют по отрядным комнатам, мы мастерим, слушаем сказки или еще что-нибудь делаем.

В 20.00 ложимся спать. Тогда мы включаем настольные лампы и читаем.

Самое важное для меня — дом. Родителей у меня нет, поэтому я живу в детском доме. Это мой второй родной дом. Тут мне очень нравится.

Самый замечательный день в моей жизни был тот, когда мне подарили самокат. Мне тогда было не то три, не то четыре года, старшая сестра мне купила. И брату тоже. К сожалению, через месяц он уже сломался.

Самые печальные события в моей жизни — это смерть мамы в 1975 году и смерть папы в 1976-м. Больше всего я люблю читать или рисовать. (Но по рисованию у меня только «2» [1].) И петь я люблю — шлягеры, а иногда детские и юношеские песни, и еще мне нравится смотреть телевизор.

Я очень боюсь умереть или попасть под машину. Или в полночь идти через лес.

Школу я не люблю. Когда по расписанию математика, я с удовольствием пошел бы только на этот урок, потому что математичка самая лучшая учительница. Учительница немецкого и истории тоже ничего. Только я немецкий не люблю, хуже всего орфография. Учитель труда у нас очень строгий, он, конечно, иногда тоже шутит, но чаще всего нам приходится оставаться после уроков. Он тогда говорит: «Когда ты должен прийти?» А мы отвечаем: «Во вторник, в 15.00».

В своей жизни я не могу ничего изменить. Есть такая песня, там в припеве поется: «Принимай жизнь такой, как она есть». Но, по-моему, это неправильно. Можно что-то изменить. Только я еще не знаю что!

Я в детском доме с братом. Ему 14 лет. Кроме него у меня еще три сестры и два брата. Всего нас семеро детей. Правда, сестер детьми не назовешь, у них у самих уже дети. А двум другим братьям 20 и 22 года. Франк — ему 20 — помолвлен. С братьями я дружу.

[1] Оценка, соответствующая нашей «четверке».

В своей детдомовской группе я агитатор, провожу политзанятия. В школе я председатель совета отряда.

Я хочу стать автослесарем или воспитателем. Хочу, чтобы у меня было двое детей и хорошая жена. Еще мне хочется иметь машину. А жить я бы хотел здесь, в Магдебурге.

РИМ БЕРНД, 12 лет

У меня нет ни братьев, ни сестер. Поэтому иногда я нуждаюсь в обществе родителей, особенно когда скучно. Только у них всегда нет времени, вот и приходится искать друзей. Друзей я завожу легко, мне нравится играть с ними. Конечно, иной раз ссоримся, но дружбы без этого не бывает. Очень важно, что я помогаю родителям по хозяйству. Правда, не часто, но если мне хочется чего-то хорошего — например, чтобы мама вечером поиграла со мной,— помогать приходится, а то у нее не хватит на меня времени.

Жизнь у меня не печальная, но когда я слышу сообщения о преступлениях — например, в Чили,— прямо мороз по коже дерет.

Самое замечательное из того, что я помню,— Пионерская республика, я туда попал, потому что там был папа. Ну и еще — как родители хлопочут и заботятся обо мне, когда я болею. Иногда я упрямлюсь, плохо себя веду или отказываюсь сходить вместо мамы в магазин, но стоит подумать, как они обо мне заботились, и я сразу с удовольствием все делаю. У меня несколько хобби: рисование, вышивка, марки и катание на велосипеде. Но больше всего люблю читать. У меня целый шкаф книг. Каждый месяц я хожу в библиотеку и беру книжек пять, не меньше, но времени хватает не всегда и иной раз пятую книгу прочесть не успеваю.

Больше всего я боюсь войны. Чего о ней только не рассказывают! Тысячи мертвых, калеки, которые всю жизнь только и могут, что есть да смотреть. Следующая война наверняка была бы атомной. Если она начнется, то будет уничтожен весь мир, созданный учеными и вообще умными людьми. Еще я боюсь нейтронной бомбы. Но когда я думаю, как надежно защищена наша ГДР, страх понемногу проходит.

Честно говоря, в школу я хожу не очень охотно. Но никуда не денешься, а то ведь и от мировой науки отстать можно. Я всегда рад каникулам, а когда опять нужно в школу, тоже радуюсь.

В классе я первый ученик, и поэтому мне уделяют больше внимания. Приходится только следить за собой и не хвастаться своими успехами, вообще-то я этого не делаю, но склонность такая у меня есть.

С учителями отношения хорошие. Если я болею, они досадуют, что меня нет, потому что я помогаю им работать. Без меня им почти что не справиться с преподаванием.

Живу в новостройке. Мне там не очень-то нравится. Раньше мы жили в коттедже на одну семью. У меня, правда, не было своей комнаты, зато было место для игр — большой сад. Там можно было носиться сколько хочешь. А теперь у нас только маленький садовый участок. Покопаться, конечно, можно, но не больше. Но это все пустяки. После переезда я попал в другую школу. Раньше я был в «образцовом классе», средняя оценка по классу — «2». А в новой школе — всего «3». Этот переход заставил меня еще больше поднажать. Но мне не нравится коллектив. В нашем классе есть один хулиган, ужасно противный. Занимается всякими глупостями, а если кто-нибудь скажет классному руководителю, хулигану сразу обо всем доносят дружки, и потом они устраивают драку. Лучше бы уж мы опять переехали.

В школе я председатель совета отряда и поэтому веду все заседания и собрания пионерской группы. Но мне приходится туго, потому что в нашем классе верховодят хулиганы, а у них круговая порука.

Папа мой — шофер такси, и я вижу его редко, даже если очень повезет, все равно не больше двух дней в неделю. Никак не выходит побыть с ним подольше. Он часто привозит мне подарки от пассажиров, и я очень радуюсь. Мама — бухгалтер. У нее тоже не хватает времени на меня. Я взял на себя уборку квартиры пылесосом и магазин. Вытирать посуду на кухне приходится редко, там места мало. Но если приходится, я сержусь. А мама становится совсем грустная.

Дома у меня много друзей. Я играю с ними, когда есть время. Из-за переезда я очутился в трех километрах от своего лучшего друга. Но мы все равно часто ездим друг к другу.

Я хотел бы стать детским врачом или хирургом, хотел бы иметь двоих детей, машину и, если удастся, собственный дом. Мне хочется как можно больше скрасить старость родителям.

ГЕРАЛЬД ЦАНДЕР, 12 лет

Лучший день в моей жизни был, когда я сумела впервые написать письмо бабушке. Когда мы учились писать первые буквы, я страшно радовалась. Первые два предложения — вообще чудо. Что я люблю? Петь люблю. Хожу в хор, а вечером пою маме песни, которые там выучила. В моей жизни родители имеют очень большое значение. Они ведь обо мне заботятся. Конечно, бывают минуты, когда хочется остаться одной, но они быстро проходят. Люблю смотреть телевизор. Верно, в чересчур больших дозах телевизор вреден для здоровья, но ведь и научиться кое-чему можно, правда? В школе

я отвечаю за всю школу, а кто отвечает за всю школу, ну-ка? Правильно, председатель совета дружины. Дома, конечно, все по-другому. Мне приходится только мыть посуду и ходить в магазин. Конечно, я и еще кое-что делаю, по собственному почину. Беру шефство над отстающими учениками и помогаю тем, кто много пропустил, нагнать класс. Занимаюсь тимуровской работой.

Здесь, в ГДР, у меня есть друг. Он всегда готов помочь и хороший товарищ. После обеда мы иногда встречаемся, катаемся на велосипедах или развлекаемся.

Как я представляю себе будущее? Хотела бы в 22 года выйти замуж. Муж должен выглядеть примерно так: темноволосый, темноглазый и чтобы умел хорошо целоваться. Я бы хотела, чтобы первый ребенок родился у меня в 23 года, мальчик. А по профессии я хочу стать косметичкой. Муж должен быть очень славным и вежливым, но не паймальчиком.

ЗИЛЬКЕ РАНКЕ, 12 лет

Я не могу без друзей. Мне обязательно нужен человек, с которым можно поделиться и радостью и горем, которому можно рассказать все-все.

Самое замечательное событие в моей жизни — это то, как я поймал первую щуку. Я смотрел на воду, и вдруг поплавок как нырнет! Леска натянулась. Я подсек и потом еще часа два водил щуку, пока она не уморилась. Я вытащил ее на берег, счастливый и усталый. Она была длиной 75 см и весом 4,7 кг. Я очень люблю рыбалку. Чаще всего я развожу костерок, жарю рыбу и представляю себя Робинзоном Крузо. Очень грустно мне было, когда я потерял подругу. Мы три года дружили, а потом я вдруг стал ей нехорош. Теперь она дружит с другим мальчиком. Я очень переживал и даже из дому не выходил.

С родителями у меня отношения хорошие. Они меня не балуют, но для моего хобби не отказывают ни в чем. С младшим братом мы тоже ссоримся редко. А самое главное — есть у меня хороший друг, тоже рыболов. Мы отлично понимаем друг друга и живем душа в душу.

Будущее я представляю себе так: сначала я пойду в полную среднюю школу. Потом поступлю в университет им. Гумбольдта и выучусь на адвоката. Потом женюсь и открою юридическую практику. Заведу автомобиль, ребенка и коттедж. На Шверинском озере у меня есть сарайчик для лодки.

БЕРНД РОСНЕР, 13 лет

В моей жизни очень важное значение имеют отношения с родителями, с друзьями, школа, трудовой коллектив. Мой брат — рыбак на океанском траулере. На рождество их судно потерпело бедствие. И самое радостное было узнать, что брат жив-здоров, если не считать легкой раны на голове.

Очень грустно было, когда развелись родители. Но об этом писать нельзя — я лично не могу.

У меня есть восьмидесятилетняя бабушка. Она живет с нами, но уже почти не ходит и часто болеет. Я ее очень люблю и больше всего боюсь, что она умрет.

В сильные штормы мне немножко страшно за брата, хотя я знаю, что траулер так просто не потонет.

Больше всего мне нравятся прогулки с родителями или поездки по воскресеньям к знакомым и к моему другу в Фридрихсвальде. Зачастую я не очень-то по-доброму вспоминаю школу и особенно наш класс. Все у нас идет из рук вон плохо. От уроков никакого толку. Учителя с нашим классом справиться не могут. Я бы с радостью поменяла школу и жила не в Берлине, а в каком-нибудь маленьком городке (например, в Темплине или Йоахимстале).

С родителями отношения нормальные. Хотя родители в разводе и я живу с мамой, я три раза в неделю бываю у отца.

Друзей у меня масса. Расскажу об одном. Ему шестнадцать с половиной, и он учится в десятом классе. Познакомились мы в лагере, на каникулах. Бабушка у него повариха. Мы очень подружились. По субботам мы с мамой навещаем его бабушку. Тогда мы и встречаемся. Часто пишем друг другу. Если у меня какие-нибудь неприятности, всегда можно посоветоваться с ним. В нашем доме живут четверо пожилых людей. Я ношу им уголь и хожу в магазин. Но вообще надо больше помогать маме по хозяйству, а то я сколько раз увиливала.

Мне бы хотелось закончить десятый класс с хорошими и отличными отметками. Потом я бы хотела закончить трехгодичное профтехучилище, получить аттестат зрелости и специальность химика в Лойна-Буна. После этого я бы хотела поступить в пединститут им. Крупской в Галле и стать учительницей математики и химии. После окончания института я в большом городе ни за что не останусь. Еще я хотела бы выйти замуж и иметь двоих-троих детей.

РУТ ПРИНЦХОРН, 13 лет

Я человек не слишком прилежный и, честно говоря, больше всего люблю поесть и поспать. Ну, еще люблю животных и трушу. Многого боюсь, но больше всего, что однажды совершу большую ошибку, которая испортит мне отношения с товарищами по школе. Я ужасно злюсь, когда вижу, как разбазаривают еду. Ведь в мире столько детей, которые не едят досыта и умирают с голоду. Если бы эту еду отдать им, вот они

бы обрадовались! Социализм, по-моему, значит счастье, потому что при социализме дети бесплатно ходят к врачу и в школу. Никто не голодает.

Деревня наша большая и красивая. Недавно у нас появилась новая школа, новая амбулатория и еще много чего. В поселке есть площадка для игр, но только малышам туда очень далеко ходить. Я бы подумала насчет новой площадки.

Мне бы хотелось стать учительницей русского языка. В 21 год я хотела бы выйти замуж и иметь двоих детей. Детей я буду очень любить.

ГАБРИЭЛА КУНЕРТ, 12 лет

У нас была одна хорошенькая девочка, маленькая такая, с длинными волосами. Как я потом узнал, она мной тоже интересовалась. Однажды вечером после концерта на родительском собрании она первая начала: «Может, поцелуешь меня на прощанье?» Я за девчонками не очень-то бегаю, но когда такая девочка просит, устоять не могу.

В моей долгой жизни еще столько всего! Я собираю марки и читаю утопические, фантастические, научные книги или романы про любовь. Мне всегда немного страшновато, когда я сгружаю сено или стою возле лошади. Раз уже было: лошадь неожиданно лягнулась, и я полетел в кучу навоза. В одних плавках! Очень обидно, когда в магазине нет коллекционных марок. Дома я хожу за дровами и углем и, к сожалению, должен делать уроки.

У меня есть хороший друг. По характеру мы совсем разные, но отлично понимаем друг друга. Я бы хотел стать электриком, как отец и брат.

Вот и все.

ТОМАС ЛИНДЕР, 13 лет

Самое лучшее время в моей жизни — это рождество. Так бывает каждый год.

Особенно я дорожу родителями, потому что они меня воспитывают. Но родители развелись, и это очень-очень печально.

Но в общем мне везло, например, на день рожденья в восемь лет мне подарили аккордеон, и я научился играть. Играть на аккордеоне очень люблю.

В школе у меня хорошие отношения с директором и с некоторыми учителями. Но когда в классе кто-нибудь меня бьет, я боюсь защищаться и очень переживаю. Обидно, когда человек гораздо сильнее тебя показывает на тебе свою силу.

Я отвечаю за уборку постелей, мытье посуды, кормежку для домашней живности (у нас восемь кошек и волнистый попугайчик), еще я накрываю на стол к ужину, а потом убираю со стола. В школе я шефствую над отстающим учеником из нашего класса.

По-моему, самое главное в наше время — это мир, высокий жизненный уровень, право на образование.

Я хочу стать поваром, жениться и иметь четверых детей.

ЭКХАРД ФЛОК, 12 лет

Вот самая лучшая моя история: я еще ходил в детсад, когда это случилось. У нас дома жил хомячок. Самочка. А в детском саду тоже был хомячок, которого все по очереди брали домой на воскресенье. Подошла моя очередь, и я ужасно обрадовался. Принес хомячка домой и посадил к нашей самочке. Сначала все было тихо. Но немного погодя самец кинулся на нашу самочку: чуть не заел. Мы их рассадили. Прошло некоторое время, кажется, месяц, и нам показалось, что наш хомячок заболел. Но дело-то не в том — у него появились детеныши! Наутро я подбежал к клетке и заглянул внутрь. Там в маленьком гнездышке лежали три хомячонка, к обеду их было уже пятеро. Вечером я посмотрел — девять штук! Я ужасно обрадовался. Малыши были совсем голенькие, и глазки у них были закрыты. Через две недели они мало-помалу обросли шерсткой, и моя мама их раздала. Замечательная история, правда? Я ее никогда не забуду.

А теперь самая грустная история. Когда я учился в первом классе, моего хомячка парализовало. Он почти даже не ползал по клетке и ничего не ел. Потом заболели глазки, и он почти ослеп. Я жутко переживал. На другой день пришел из школы, а хомячок лежит в клетке совсем тихо и не двигается. Сперва я подумал, что он спит, но когда потрогал, почувствовал, что он совсем окоченел. Сначала я даже не понял, что произошло, но потом догадался, что он умер.

Я расплакался и долго горевал. Мне так было его жалко. Я плакал, плакал, пока мама не пообещала завести другого зверька. Но я все равно горевал. На следующий день я его похоронил за домом. С тех пор я повзрослел и вообще совершенно перестал бояться. Такие переживания нужны каждому человеку.

ШТЕФФЕН ЗАЛЬЦМАН, 12 лет

Самое замечательное — это то, что у меня молодая и добрая бабушка. Она для меня как вторая мать. У нее лучше всех. Жаль только, езжу к ней лишь на каникулах.

Я ужасно боюсь потерять родителей и бабушку. Даже представить себе такое не могу. Что у меня будет за жизнь? Сейчас я еще хожу в школу, причем с удовольствием. Но иногда меня такое зло берет, что надо ходить в школу, и я прямо ликую, когда приходит последний учебный день. С учителями лажу не всегда. Много разногласий. Учителям следовало бы иногда и откровенные мнения выслушивать. В школе я

председатель совета отряда. В целом у меня много друзей дома, и для других людей я делаю довольно много. Особенно пожилым — помогаю ходить за покупками и т. д., при этом мы часто говорим о социализме, и все считают, что социализм должен быть везде. Я тоже так думаю.

Мне бы хотелось стать детским врачом, удачно выйти замуж и иметь двоих детей. И я бы очень хотела жить и работать при социализме.

СИМОНА АДАМ, 12 лет

Для меня очень важны родители. Я сразу это замечаю, стоит только уехать на некоторое время из дому. Я тогда ужасно скучаю по ним.

У нас квартира-новостройка в хорошем районе, и я тут нашла себе друзей: одну девочку и одного мальчика. Это замечательно! Сижу на подоконнике и читаю современные рассказы — это просто восхитительно. В голову приходят всякие странные мысли: вот вырасту, найду себе хорошего друга, а он не будет меня понимать, и я ему совсем-совсем не понравлюсь. Что мне тогда делать? Надо, наверно, понять его. Или я еще боюсь, что капиталисты нападут на ГДР и начнут войну.

Лучше бы я выросла в какой-нибудь дальней деревушке, чем в столице округа. По-моему, жизнь в деревне богаче впечатлениями. Кроме того, я люблю животных, которые живут на воле, а в деревне таких много. И еще о родителях. Мы с ними друзья. Только иногда я боюсь задавать им вопросы про мою будущую жизнь. Не знаю, как они отреагируют. Вдруг засмеют. С братом и с сестрой мы ладим. Но я люблю и поспорить с ними. И все-таки, если я уезжаю, мне без них очень плохо.

В школе я отвечаю за совет дружины, пытаюсь вести заседания и организую в классе политбеседы на уроке обществоведения.

У меня есть подруга, с которой можно поговорить обо всем, и друг, с которым я часто делаю уроки. К другу я иногда хожу после школы, и мы играем в карты или в футбол. Еще я переписываюсь с девочкой из Польши, мы познакомились в 1977 году в лагере на Балтике, в Ястшембе-Гуре. Мы регулярно пишем друг другу. Конечно, я шефствую над одним из учеников нашего класса и помогаю старикам переходить через дорогу. А вот дома надо бы помогать побольше.

Я бы очень хотела попасть в полную среднюю школу, а потом стать учительницей истории и физкультуры. Когда я вырасту, мне бы хотелось жить где-нибудь далеко в деревне в домике на одну семью.

КЕРСТИН ШТРАУС, 13 лет

Иногда мне ужасно хочется начать все сначала, всю жизнь, хотя в целом я своей жизнью довольна. Конечно, бывают и неприятности, но ведь от этого никто не гарантирован.

Встаю я в 6.30, умываюсь, одеваюсь и накрываю стол к завтраку.

В половине восьмого выхожу из дому. До школы рукой подать: две минуты — и я на месте. Только войдешь в школьный двор, а там ребята. Мы крепко жмем друг другу руки. Потом рассказываем приключенческие фильмы. На больших переменах, после того как попью молока и поем, я захожу в пионерскую комнату. Там мы с пионервожатой обсуждаем задачи и поручения. Дома я делаю уроки и помогаю старшей сестре мыть посуду. Когда у меня заседание совета дружины или гимнастика, я делаю уроки позже. Мама приходит домой в пять, и мы ужинаем. Мы с Керстин моем посуду, вытираем ее и собираем ранцы. Потом смотрим телевизор. В половине девятого ложимся спать.

Я очень люблю бывать с родителями, проводить с ними время, вместе отдыхать — все это очень для меня важно. Например, мы всей семьей ездили в Саксонскую Швейцарию, здорово было!

Родителям я помогаю. Мы достраиваем свой дом (на две семьи). Я помогаю папе, а сестра большей частью помогает по хозяйству.

В школе бывает по-разному. Иногда я хожу туда с удовольствием, а иногда без. Но директор у нас хороший. Отличный человек. Всегда приветливый и отзывчивый. Мне он всегда говорит: «Ну, старшенькая». Мне он ужасно нравится и остальным тоже. Конечно, не только поэтому. Он умеет разговаривать с нами. И веселый. Шутит, открывает нам дверь, и когда бы ты его ни встретил, у него всегда хорошее настроение. Наша пионервожатая тоже хорошая, и мы можем поделиться с ней своими проблемами.

В нашем классе я дружу с одним мальчиком и с одной девочкой. В друге я особенно ценю отзывчивость, товарищеское отношение и понимание. А еще мне нравится его улыбка.

Подруга у меня тоже хорошая, она рассказывает мне, о чем она думает, о своих проблемах и заботах, а я рассказываю о моих. Иногда мы, бывает, и ссоримся, если я открыто высказываю свое мнение, но через пару дней опять миримся.

Желаю всем людям испытывать чувство радости.

ЗУЗАННА ЮЛЬЦЕ, 12 лет

Перевод с немецкого Н. ЦАРЕВОЙ

◆

Антирубрика

САКИ

РАССКАЗЧИК

Перевод с английского
ЮРИЯ ЗАХАРОВА

Стоял жаркий полдень, и в вагоне поезда было душно. До следующей остановки в Темплкомбе оставался еще час езды. В вагоне ехали маленькая девочка, девочка поменьше и маленький мальчик. Состоящая при детях тетя забилась в угол, противоположное ей угловое место занял какой-то холостяк, человек для своих попутчиков совершенно посторонний, остальное же пространство купе бурно оккупировали дети. Их манера разговаривать с тетей, лаконичные, но настойчивые высказывания напоминали назойливый полет над ухом мухи, которая упорно отказывается понять, что ее прогоняют. Восклицания тети в основном начинались со слов «Не делай этого», реплики же детей открывались словом «Почему». Холостяк же вообще ничего не говорил.

— Не делай этого, Сирил! — воскликнула тетя, когда мальчик принялся выбивать густые клубы пыли из диванных подушек.— Погляди лучше в окно,— добавила она.

Ребенок нехотя подвинулся к окну.

— Почему овец выгоняют вон с того поля? — спросил он.

— Наверное, их просто перегоняют на другое пастбище, где травы больше,— слабым голосом ответила тетя.

— Но здесь же полно травы,— возразил малыш.— Здесь вообще, кроме травы, ничего нет.

— Ну, значит, на другом пастбище трава лучше,— сделала тщетную попытку тетя.

— А почему она там лучше?— мгновенно последовал неизбежный вопрос.

— О, погляди-ка на тех коров!— воскликнула тетя.

Коров и быков почти на каждом поле вдоль полотна железной дороги было хоть пруд пруди, но голос тети звучал так, как будто она вдруг увидела что-то на редкость диковинное.

— Почему на другом поле трава лучше?— стоял на своем Сирил.

Хмурое выражение лица холостяка начало переходить в сердитую гримасу. Суровый, лишенный всякого сочувствия к людям человек, решила про себя тетя, которой все никак не приходил на ум хоть сколько-нибудь удовлетворительный ответ о качестве травы на другом поле.

Тем временем девочка поменьше отвлекла внимание всех от злополучной травы, начав декламировать «По дороге в Мандалей». Помнила она только первую строку, но свои ограниченные знания сумела использовать с максимально возможным эффектом. Она повторяла эту строчку опять и опять мечтательным, но весьма решительным и очень громким голосом, отчего у холостяка сложилось впечатление, что кто-то поспорил с девочкой, что ей нипочем не суметь произнести ее две тысячи раз подряд без остановки. И что свой заклад спорщик явно проиграл.

— Идите все сюда слушать сказку,— объявила тетя после того, как холостяк два раза подряд посмотрел на нее и один раз бросил взгляд на звонок к проводнику.

Безо всякого энтузиазма дети переместились в угол купе, где сидела тетя. Было совершенно очевидно, что в их глазах репутацией хорошей рассказчицы она не пользовалась.

Низким и доверительным голосом она начала вялое и прискорбно-скучное, то и дело прерываемое громкими капризными вопросами слушателей повествование о маленькой девочке, которая всегда хорошо себя вела, и с которой поэтому все хотели дружить, и которую в конце концов все друзья бросились спасать от бешеного быка, поскольку так высоко ценили ее моральные качества.

— Разве они не бросились бы ее спасать, веди она себя хуже?— потребовала ответа маленькая девочка.

Именно этот вопрос вертелся на кончике языка и у холостяка.

— Ну конечно бросились бы,— начала неубедительно отпираться тетя.— Но я не думаю, чтобы они так уж спешили ей на помощь, если бы она не нравилась им так сильно.

— В жизни не слышала более дурацкой сказки,— с глубоким убеждением заявила маленькая девочка.

— Такая чушь, что я даже сразу перестал слушать,— добавил Сирил.

Девочка поменьше от комментария по поводу рассказа воздержалась, поскольку давным-давно возобновила прерванную было декламацию любимой строки.

— Что-то непохоже, чтобы вы пользовались успехом как рассказчица,— вдруг подал из своего угла голос холостяк.

Тетя мгновенно подобралась для отражения неожиданного нападения.

— Очень трудно подобрать историю для детей и интересную и понятную,— ответила она сухо.

— Я не согласен с вами.

— Тогда, может, вы сами попробуете им что-нибудь рассказать,— контратаковала тетя.

— Расскажите! — потребовала маленькая девочка.

— Жила-была маленькая девочка по имени Берта, — начал холостяк, — которая необыкновенно хорошо вела себя.

Вспыхнувший было интерес аудитории мгновенно начал затухать — все истории и сказки казались скроенными на один лад, кто бы их ни рассказывал.

— Она всегда была послушной, никогда не лгала, была опрятной, молочные пудинги ела так, как будто это были пирожки с вареньем, всегда безупречно делала уроки и очень вежливо себя вела.

— Она была хорошенькая?— спросила девочка поменьше.

— Не такая, конечно, хорошенькая, как кто-нибудь из вас,— ответил холостяк,— но зато она была ужасно хорошая.

Это вызвало волну благоприятной реакции на рассказ: слово «ужасно» в сочетании с хорошим поведением представляло собой новинку, которая говорила сама за себя и вносила, казалось, тот элемент реализма, которого не хватало рассказам тети о жизни детей.

— И такая она была хорошая,— продолжал холостяк,— что за свое хорошее поведение получила несколько медалей, которые всегда носила на платье. Медаль за послушание, медаль за прилежание и медаль за примерное поведение. Это были большие металлические медали, и они всегда звякали друг о дружку, когда она ходила. А поскольку в городе, где она жила, трех медалей сразу не было больше ни у одного ребенка, все знали, что она — ребенок необычайно сверххороший.

— Ужасно хороший,— процитировал Сирил.

— Все только и говорили о том, какая она хорошая, и в конце концов о ней прослышал принц и сказал, что раз она такая хорошая, он разрешает ей раз в неделю гулять в своем загородном парке. Прекрасный был парк, и туда никогда не пускали детей, так что Берте выпала особая честь.

— А овцы в парке были? — поинтересовался Сирил.

— Нет,— ответил холостяк,— овец там не было.

— Почему не было? — последовал неизбежный вопрос на ответ.

Тетя позволила себе улыбку, которую можно было даже охарактеризовать как усмешку.

— Овец в парке не было потому,— объяснил холостяк,— что маме принца однажды приснился сон, что ее сына убьет либо овца, либо упавшие с полки часы. Поэтому принц никогда не держал ни овец в парке, ни часов во дворце.

Тетя подавила восхищенный вздох.

— А принца убили часы или овца?— спросил Сирил.

— Он до сих пор еще жив, так что нам трудно судить, правдивый ли был сон,— ответил холостяк невозмутимо,— итак, овец в парке не было, но он кишмя кишел поросятами.

— А какого они были цвета?

— Черненькие с белыми мордочками, черненькие с белыми пятнышками, совершенно черные, серые тоже с белыми пятнышками и совсем белые.

Рассказчик сделал паузу, чтобы дети могли полнее представить себе все богатства парка, затем продолжал:

— Берта очень расстроилась, увидев, что в саду не было цветов. Она ведь со слезами на глазах обещала своим тетям, что не сорвет ни одного принадлежащего принцу цветка, и ей

очень хотелось сдержать слово, поэтому она попала в довольно глупое положение, когда поняла, что в парке нечего рвать.

— А почему там не было цветов?

— Потому, что их все съели поросята,— быстро ответил рассказчик.— Садовники объясняли принцу, что цветы и свиньи несовместимы, но он выбрал свиней, а не цветы.

Решение принца было встречено одобрительным бормотанием аудитории — ведь столь многие люди поступили бы на его месте наоборот.

— Но в парке было много других прекрасных вещей. Пруды с золотыми, голубыми и зелеными рыбками; деревья, на которых сидели красивые попугаи, умеющие говорить умные вещи по первой же просьбе; певчие птички, поющие все популярные мелодии. Берта ходила по парку взад и вперед, наслаждалась и думала про себя: «А если бы я не была такой необычайно хорошей, меня никогда не пустили бы в этот прекрасный парк и я никогда не получила бы такого удовольствия от всего, что здесь увидела». а ее медали звякали друг о дружку и напоминали ей о том, какая же она хорошая. И как раз в этот момент в парк забежал огромный волк, чтобы поймать себе на ужин поросенка пожирнее.

— А какого он был цвета?— спросили дети, проявляя немедленно возросший интерес.

— Цвета грязи, с черным языком и бледно-серыми глазами, сверкающими неописуемой яростью. И первою, кого он заметил в саду, оказалась Берта — ее безупречно чистый фартук блистал такой белизной, что был виден издалека. Берта тоже увидела волка, увидела, как он к ней крадется, и ей сразу же захотелось, чтобы ее лучше вообще никогда не пускали в этот парк. Она понеслась со всех ног, а волк понесся за ней огромными прыжками. Берта сумела добежать до зарослей мирта и спряталась в самом пышном кусте. Волк бегал от куста к кусту, вынюхивая ее, черный язык свисал изо рта, бледно-серые глаза яростно сверкали. Берта очень перепугалась и подумала: «Если бы я не была такой необычайно хорошей, я сейчас была бы дома и в безопасности».

Однако мирт пах так сильно, что волк не мог учуять Берту, а кусты были такие густые, что сколько бы он ни высматривал ее, все равно бы не увидел, так что он решил пойти лучше поймать себе поросенка. Но Берта так дрожала со страха, что медаль за послушание звякнула о медали за прилежание и примерное поведение. Волк уже уходил, как вдруг до него донесся звон медалей, он остановился и прислушался — медали звякнули снова прямо в кусте подле него. Он ринулся в заросли, яростно и торжествующе сверкая бледно-серыми глазами, вытащил Берту наружу и сожрал всю до последней крошки. От нее только и осталось что туфли, клочья одежды да три медали за то, что она была хорошей.

— А поросята не пострадали?

— Нет, они все спаслись.

— Начало у сказки плохое,— прокомментировала девочка поменьше,— зато конец отличный.

— Самая лучшая сказка, которую я слышала,— с убеждением заявила маленькая девочка.

— Вообще единственная хорошая сказка,— добавил Сирил.

Рисунки венгерского художника ТИБОРА КАЯНА

Маленький ГУТЕНБЕРГ

Мнение же тети с их оценками разошлось:

— В высшей степени неприличная история для маленьких детей! Вы подорвали плоды многих лет упорного воспитания!

— Во всяком случае,— ответил холостяк, собирая свои вещи и готовясь покинуть вагон,— я заставил их тихо просидеть десять минут, чего вам никак не удавалось добиться.

«Вот бедняга,— подумал он о ней, шагая по платформе станции Темплкомб,— теперь с полгода, а то и больше эти дети будут все время приставать к ней на людях, требуя неприличную сказку».

ФРЭНК О'КОННОР

КАК Я РЕВНОВАЛ МАМУ

Перевод с английского МИХАИЛА ЗАГОТА

Всю войну — первую мировую — отец был в армии, и до пяти лет я почти совсем не знал его и ничего плохого о нем сказать не мог. Иногда я просыпался и видел — рядом с моей кроватью стоит кто-то большой в военной форме, держит свечку и смотрит на меня. Иногда слышал, как рано утром хлопала дверь и по булыжной мостовой, удаляясь, стучали подбитые гвоздями ботинки. Так он появлялся, так он исчезал. Словно дед-мороз — всегда таинственно.

Под утро я обычно забирался в большую мамину кровать, и когда отец ночевал дома, приходилось тесниться, но в общем-то его визиты мне даже нравились. Он курил, и от него исходил приятный с кислинкой запах, брился — за этой процедурой я следил как завороженный. Каждый раз он оставлял груду трофеев-сувениров — ножи с рукоятками из стреляных гильз, немецкие каски, знаки отличия, кокарды, пуговицы и прочие военные штуки,— которые, как считал отец, могли пригодиться и аккуратно хранились в длинной коробке на комоде. Отец вообще любил собирать разный хлам — пригодится, утверждал он, может все. Когда его не было, мама разрешала мне подставить стул и порыться в его сокровищах. Сама-то она была о них не слишком высокого мнения.

Во время войны мне жилось спокойнее всего. Окно моей комнаты выходило на юго-восток. Мама завешивала его занавесками, но это мало что меняло. Каждое утро я просыпался с рассветом в самом что ни на есть солнечном настроении, готовый излучать свет и радость. От вчерашних забот не оставалось и следа. Жизнь, как никогда впоследствии, казалась простой, понятной и полной всяких возможностей. Я высовывал из-под одеяла ноги — они у меня назывались госпожа Левая и госпожа Правая — и заставлял их обсуждать дела на предстоящий день. Госпожа Правая участвовала в беседе с большей живостью и всегда выражала свое мнение очень наглядно. Госпожа Левая была мне не так подвластна, и ее роль обычно сводилась к покачиванию в знак согласия.

Они обсуждали все на свете: куда мы сегодня с мамой пойдем, что дед-мороз принесет мне на рождество, как сделать, чтобы жилось нам еще веселее. Тут, например, речь часто заходила о младенце. Мы с мамой об этом никак не могли договориться. На нашей улице младенцы были у всех, кроме нас, но мама считала, что завести младенца мы сейчас не можем, потому что стоят они семнадцать фунтов и шесть шиллингов, вот вернется папа с войны, тогда и купим. Я недоумевал. Вон Дженисы купили младенца, а всякий знает, что семнадцать с половиной фунтов им не по карману. Значит, подыскали младенца подешевле, а мама, наверное, на таком деле не хотела экономить. Но мне казалось, уж слишком она разборчива. Такой младенец, как у Дженисов, нам вполне бы подошел.

Обсудив планы на день, я вставал, пододвигал к окошку стул и поднимал раму — не очень высоко, только чтобы высунуть голову.

Потом я шел в мамину комнату и забирался в большую кровать. Мама просыпалась, и я начинал рассказывать ей обо всех своих затеях.

После завтрака мы отправлялись в город — слушали мессу в церкви святого Августина, молились за отца, ходили по магазинам. Если бы я только знал, к чему приведут мои молитвы.

Однажды утром я влез на большую кровать и обнаружил там отца, который по своей дед-морозовской привычке явился нежданно-негаданно, но утром вместо военной формы он надел свой лучший синий костюм, а мама была на седьмом небе от счастья. Я не видел, чему тут особенно радоваться, потому что без формы отец был такой, как все, но мама сияла, она объяснила мне, что бог услышал наши молитвы, и мы первым делом пошли в церковь поблагодарить его за то, что отец вернулся домой в добром здравии.

Вот уж счастье-то! В тот же день к обеду отец вышел в домашних шлепанцах, напялил на голову старый грязный берет, чтобы уберечься от сквозняка, закинул ногу на

ногу и принялся с серьезным видом что-то говорить маме, которая взволнованно его слушала. Мне, ясное дело, не понравилось, что мама волновалась, это портило ее красоту, и я перебил его.

— Подожди, Ларри,— мягко сказала мама.

Она всегда говорила так, когда к нам приходили какие-нибудь непрошеные гости, поэтому я не обратил внимания и продолжал гнуть свое.

— Пожалуйста, помолчи, Ларри,— с раздражением произнесла она.— Ты не видишь, что я разговариваю с папой?

После обеда отец, по просьбе мамы, повел меня погулять. На этот раз мы пошли не в сторону окраины, а к центру города, и я уже было обрадовался — может, с отцом все-таки не так и плохо? Но радовался я напрасно. Прогулку по городу мы с ним понимали совершенно по-разному. Его совсем не интересовали трамваи, пароходы, лошади — казалось, ему только и надо что поболтать со всякими дядьками его возраста. Когда я хотел остановиться, он просто продолжал идти дальше и тянул меня за собой. Зато когда останавливался он, у меня не было никакого выбора. Если он собирался простоять долго, то обязательно прислонялся к стене — это я сразу заметил. Когда он прислонился к стене второй раз, я просто взбесился. Он, наверное, собирается торчать тут целую вечность! Я стал тянуть его за пальто и брюки. Мама, когда я ей очень докучал, приходила в ярость и кричала: «Ларри, веди себя как следует, или я сейчас тебя отлуплю», отец же оказался на удивление стойким — в ответ на мои выпады он и бровью не повел, стоял себе и улыбался. Я посмотрел на него, прикинул — а может, взять и заплакать? Да нет, его и слезами-то не прошибешь! В общем, гулять с ним было все равно что с горой. Он либо не замечал, что там путается и копошится у него под ногами, либо снисходительно усмехался сверху вниз, с заоблачной вышины. Казалось, он так поглощен разговором, что больше и выдумать трудно.

За чаем снова началось «Я разговариваю с папой», но теперь дело осложнялось тем, что отец держал в руках вечернюю газету и каждые две минуты опускал ее и рассказывал маме, что он там интересного вычитал. Это был запрещенный прием. Один на один, по-честному, я бы еще мог побороться с ним за мамино внимание, но когда он брал себе в помощь столько народу, у меня не оставалось никаких шансов. Несколько раз я все же пытался перехватить инициативу, но безуспешно.

— Когда папа читает, ты должен вести себя тихо,— раздраженно оборвала меня мама.

Одно из двух: либо ей на самом деле больше нравится разговаривать с папой, чем со мной, либо он обладает над ней какой-то жуткой сверхъестественной властью и она просто боится сказать правду.

— Мамочка,— сказал я ей в тот вечер, когда она укладывала меня спать,— как ты думаешь, если я сильно-сильно помолюсь, бог пошлет папу обратно на войну?

Она на мгновение задумалась.

— Нет, милый,— ответила она с улыбкой.— Скорее всего не пошлет.

— А почему, мамочка?

— Потому что война уже кончилась, мой милый.

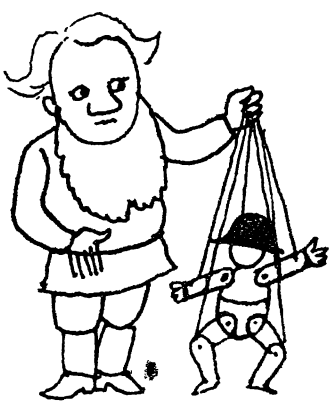
— Но ведь бог, если захочет, может начать новую войну, а, мамочка?

— Он не захочет, мой милый. Войны начинает не бог, а плохие люди.

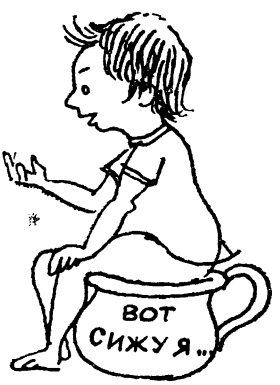
— Вот оно что! — протянул я.

Это меня немного разочаровало. Возносят бога, возносят, а ему, оказывается, не все под силу.

На следующий день я проснулся в обычное время, недовольство рвалось из меня наружу, как шампанское из бутылки. Я вытянул ноги и заставил их провести долгую беседу — госпожа Правая жаловалась, что отец долго портил ей жизнь, но она в конце



Маленький **ТОЛСТОЙ**



Маленький **АНДЕРСЕН**

концов сумела упрятать его в «дом». Я плохо себе представлял, что это за «дом», но чувствовал, для моего отца это самое подходящее место. С головой, пухнувшей от всяких мыслей и планов, я доплелся до соседней двери и в полутьме влез на большую кровать. С маминой стороны места не было, и я пробрался в середину между ней и папой. Я как-то упустил из виду, что он здесь, и несколько минут сидел между ними, как мумия, и ломал голову: что мне с отцом делать? Я раза два-три пихнул его ногой, он что-то забормотал и потянулся. Теперь мне стало удобно, но проснулась мама и дотронулась до меня рукой. Я с комфортом откинулся на теплую подушку и стал посасывать большой палец.

— Мамочка! — промурлыкал я радостно и громко.

— Ш-ш-ш, милый,—прошептала она.— Не буди папу!

Это была новая опасность, судя по всему, куда более серьезная, чем «Я разговариваю с папой». Ведь я так привык каждое утро обсуждать с мамой планы на день!

— Почему? — сурово спросил я.

— Потому что наш бедный папочка устал.

Такое объяснение выглядело малоубедительным, и вообще что это еще за сюсюканье: «наш бедный папочка»? Я всегда был против таких телячьих нежностей, они мне казались неискренними.

— А-а,— легонько пропел я. А потом сладеньким таким голосом:— А ты знаешь, мамочка, куда я хочу с тобой сегодня пойти?

— Нет, милый,— вздохнула она.

— Я хочу пойти на реку и половить новым сачком колюшек, и еще я хочу поиграть в «лису и собак», а...

— Не буди папу! — сердито прошипела она, прикрыв мне рот рукой.

Но было уже поздно. Он проснулся. Что-то пробурчал и потянулся за спичками. Потом недоуменно уставился на часы.

— Хочешь чайку, дорогой,— спросила мама кротким и заискивающим голоском, каким никогда не говорила. Можно было подумать, что она испугана.

— Чайку? — с негодованием воскликнул он.— Да ты знаешь, который час?

— А потом я хочу пойти на старую дорогу,— громко продолжал я, боясь, что, если меня будут перебивать, я что-нибудь забуду.

— Сейчас же спи! — резко оборвала меня мама.

Я захныкал. Эти двое не давали мне сосредоточиться, а помешать мне высказать утренние планы было все равно что срубить дерево на корню.

Отец поднялся рано, приготовил чай и принес чашку маме, но не мне.

— Мамочка,— закричал я,— я тоже хочу чаю!

— Конечно, милый,— терпеливо сказала она.— Вот, попей из маминого блюдечка.

Это было уже слишком Кому-то придется уйти — нам с отцом нет места под одной крышей. Я не хочу пить из маминого блюдечка, я хочу, чтобы в моем доме со мной считались, обращались как с равным! Специально, чтобы позлить ее, я выпил весь чай и ничего ей не оставил. Она молча снесла и это.

Но когда вечером мама укладывала меня спать, она мягко сказала:

— Ларри, обещай мне, пожалуйста, одну вещь.

— Какую?

— Не приходить по утрам и не беспокоить нашего бедного папочку. Обещаешь?

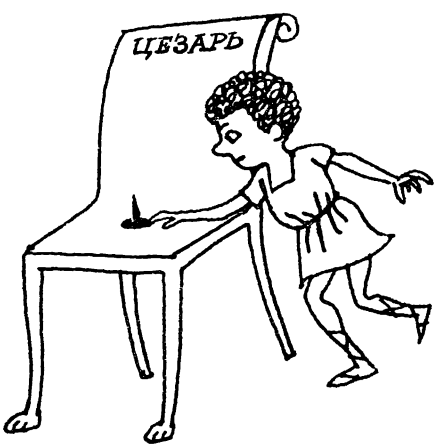
Опять «наш бедный папочка»! Я уже относился с подозрением ко всему, что касалось этого невозможного человека!

— Почему? — спросил я.

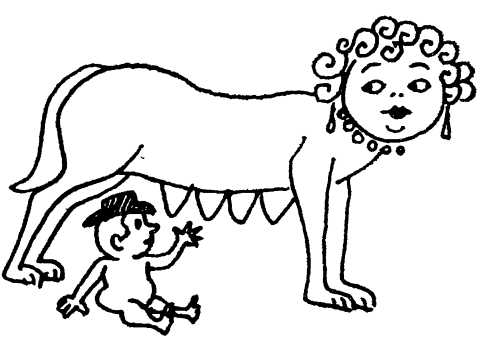
— Потому что наш папочка сильно устает и не высыпается.

— Почему же он устает, мамочка?

— Ну, ты ведь знаешь, что когда папа



Маленький БРУТ



Маленький ФЕЛЛИНИ

был на войне, мамочка брала денежки на почте, правда?

— У мисс Маккарти?

— Да. А теперь у мисс Маккарти денежек больше нет, поэтому их нам должен приносить папочка. Знаешь, что может случиться, если он ничего не принесет?

— Не знаю,— ответил я.— А что?

— Ну, может быть, нам с тобой придется ходить к церкви и просить милостыню. Стоять и просить, как просили несчастные старушки по пятницам. Ведь нам же не хочется просить милостыню?

— Нет,— согласился я.— Не хочется.

— Так ты обещаешь, что не будешь приходить по утрам и будить папу?

— Обещаю.

Да, решил я, придется пойти на такую жертву. Я знал, что денежки — это вещь серьезная, и мне совсем не хотелось вместе со старушками просить по пятницам милостыню возле церкви. Мама разложила вокруг моей кровати игрушки — утром, куда бы я ни вылез из кровати, я обязательно наткнусь на одну из них.

Я проснулся и сразу же вспомнил о своем обещании. Встал, устроился на полу и стал играть — казалось, прошло бог знает сколько времени. Потом я взял стул и еще бог знает сколько времени смотрел в окно. Неужели отцу не пора вставать? Неужели никто не напоит меня чайком? Солнечного настроения не было и в помине — я изнывал от тоски, да к тому же и от холода, от жуткого холода!

Наконец я не выдержал. Я пошел в соседнюю комнату. Места с маминой стороны опять не было, я стал перелезать через нее, и она, вздрогнув от неожиданности, проснулась.

— О, господи, да ты весь продрог! — печально сказала мама, ощупывая меня.— Ладно, я разрешу тебе остаться, только обещай молчать.

— Но я не могу молчать, мамочка,— заскулил я.

— И знать ничего не желаю,— твердо отрезала она, и в этом было что-то новое.— Папа хочет спать. Можешь ты, наконец, понять это?

Я все понял — даже слишком хорошо понял. Я хочу разговаривать, а он хочет спать — чей это дом, интересно знать?

— Мамочка,— возразил я не менее твердо.— Пусть тогда папа убирается отсюда.

Она не сразу нашлась, что сказать.

— Ну вот что,— услышал я наконец ее шепот.— Либо ты лежишь и помалкиваешь, либо шагом марш в свою комнату. Выбирай.

Какая несправедливость! Я предложил такой разумный выход, а она даже не удосужилась мне по-человечески ответить. Я со злостью пнул отца ногой — мама не заметила, но он заворочался и встревоженно открыл глаза.

— Который час? — испуганно спросил он.

— Еще рано,— елейным голоском произнесла она.— Это всего лишь ребенок. Спи... Ларри,— добавила она, поднимаясь с кровати,— ты все-таки разбудил папу, сейчас же иди в свою комнату.

Несмотря на спокойный тон, я понял — она не шутит и я могу потерять все свои законные права, если немедленно не вступлюсь за них. Она подняла меня, и я издал такой вопль, что можно было разбудить и мертвого, не говоря уже об отце. Он застонал:

— Что за несносный ребенок! Он хоть когда-нибудь спит?

— Это просто привычка, дорогой,— мягко ответила она, хотя явно была раздосадована.

— Ну так пусть отвыкает! — закричал отец. Он вдруг стянул на себя все простыни и отвернулся к стене, потом взглянул на нас через плечо — из простыни торчали только два маленьких злобных и темных глаза. Видно, я здорово его допек.

Чтобы открыть дверь, маме пришлось поставить меня на пол, я тут же вырвался и с визгом кинулся в дальний угол. Отец подскочил на кровати.

— Заткнись же, щенок! — взревел он.

Я был настолько ошеломлен, что даже перестал кричать. Никто и никогда не разговаривал со мной в таком тоне. Я обалдело посмотрел на отца — его всего перекосило от ярости. Главное, я ведь сам молил бога, чтобы это чудовище вернулось домой живым и невредимым! А бог? Он-то куда смотрел?

— Сам заткнись! — не помня себя, выкрикнул я.

— Что-о? — зарычал отец и, как дикий зверь, выпрыгнул из кровати.

— Мик, Мик! — бросилась к нему мама.— Что ты, не видишь, ребенок к тебе еще не привык!

— Я смотрю, он у тебя тут вырос, да ума не вынес,— продолжал греметь отец, дико размахивая руками.— Отлупить его надо по одному месту, будет знать!

Никто еще не наносил мне такого гнусного оскорбления. У меня аж все помутилось перед глазами.

— Себя отлупи! — истерично закричал я.— Себя отлупи! Заткнись! Заткнись!

Тут терпение его лопнуло, и он кинулся на меня. Сграбастал, правда уже с некоторым сомнением,— ведь все это происходило на глазах у потрясенной мамы,— и все кончилось одним легоньким шлепком. Но я просто осатанел — от одного унижения, что меня бьет какой-то чужой дядька, совершенно чужой дядька, который и с войны-то вернулся, потому что я, как последний дурачок, похлопотал за него перед богом. Я визжал, как поросенок, прыгал босиком по полу, а отец, неуклюжий и волосатый, в своем армейском белье, бешено сверкал глазами, нависая надо мной, как готовая обвалиться гора. Наверное, именно тогда я и понял — он тоже ревнует маму. А она стояла рядом, и казалось, что сердце ее разрывается между нами. Вот и поделом тебе, злорадно подумал я. Сама это заслужила.

С этого утра жизнь моя стала сплошным адом. Мы с отцом вступили в состояние войны, открытой и явной. И он и я постоянно совершали вылазки в лагерь противника, он старался отбить маму у меня, а я — у него.

Когда она сидела на моей кровати и рассказывала мне сказку, ему вдруг позарез становились нужны какие-то старые ботинки. А когда с мамой разговаривал он, я вовсю громыхал игрушками — показать, что мне до них нет никакого дела. Как-то вечером он, придя с работы, устроил ужасную сцену — я, видите ли, взял его коробку и играл со всеми этими бляхами, кокардами и ножами. Мама подошла и забрала у меня коробку.

— Ты не должен брать папины игрушки без его разрешения, Ларри,— строго сказала она.— Папа же твои не берет.

Тут отец почему-то посмотрел на нее так, словно она его ударила, и, скривившись, отвернулся.

— Это не игрушки,— проворчал он, глядя в коробку — все ли там на месте.— Среди этих «безделок» есть очень редкие и ценные вещи.

Но время шло, и я видел — битву за маму выигрывает все-таки он. Хуже всего было то, что я никак не мог постичь его метод, понять, чем он так уж привлекает маму. Он уступал мне по всем статьям. Он говорил с деревенским акцентом и чавкал во время еды. Какое-то время я думал, что его козырь — это газеты, и я стал сам сочинять новости и рассказывать их ей. Потом я решил, что все дело в курении, которое лично мне нравилось, и, взяв его трубку, я стал ходить с ней по дому и слюнявить ее, пока он меня на этом не застукал. Я даже пытался чавкать за едой, но мама только сказала, что я не умею вести себя за столом. В конце концов я временно сложил оружие. Придется подождать, пока стану взрослым и смогу дарить маме кольца — наверное, все дело в этом.

Но в то же время я хотел, чтобы он понял — я не сдался, а просто выжидаю. Както вечером он так разболтался с мамой, что у меня уши готовы были завянуть, тут-то я ему и выдал.

Маленький МАДАЧ
(автор «Трагедии человека»)

— Мамочка,— начал я,— знаешь, что я сделаю, когда вырасту?

— Нет, милый,— откликнулась она.— И что же?

— Я женюсь на тебе,— спокойно заявил я.

Отец загоготал в полный голос — не принял меня всерьез. Да, здорово он умеет притворяться! А мама, несмотря ни на что, моим словам обрадовалась. Наверное, ей было приятно узнать, что в один прекрасный день она освободится из отцовских пут.

— Вот будет здорово, да? — с улыбкой спросила она.

— Очень даже здорово,— убежденно подтвердил я.— Потому что мы с тобой купим много-много младенцев.

— Вот и замечательно, милый,— безмятежно сказала она.— Один у нас появится очень скоро, и тебе будет веселее.

Тут я чуть не запрыгал от радости — ведь это значит, что хоть мама и потакает отцу, мои интересы она тоже не забывает. Да и Дженисам мы сразу нос утрем.

Но радовался я напрасно. Прежде всего мама стала какой-то жутко озабоченной — наверное, все думала, где взять семнадцать с половиной фунтов,— и хотя отец теперь стал приходить домой позже, я на этом деле ничего не выиграл. Она перестала ходить со мной гулять, чуть что сразу вспыхивала, как спичка, и шлепала меня по поводу и без повода. Иногда я даже думал: вот, накликал младенца на свою голову! Только и делаю, что сам себе порчу жизнь!

Уж накликал, так накликал! Я невзлюбил его с первой же минуты. Он даже появиться-то не мог тихо — когда его принесли, орал так, что стены дрожали. Ребенок требовал к себе уйму внимания. Мама совсем на нем помешалась и бежала по первому его зову, даже когда он явно работал на публику. Мама сказала, что мне с ним будет веселее. Ничего себе, веселее! Он целый день спал, а я должен был ходить вокруг дома на цыпочках, чтобы, не дай бог, его не разбудить. Насчет того, чтобы не будить отца, разговоров больше не было. Теперь я жил под новым девизом: «Не разбуди сынулю!» Я не мог понять, почему этот изверг должен спать круглые сутки, а не как все нормальные люди? И как только мама отворачивалась, я будил его. Иногда я даже щипал его, чтобы он не заснул. Как-то раз мама меня поймала за этим, и мне досталось на орехи.

Однажды вечером я играл во дворе в паровозики, и тут в калитку вошел отец. Я сделал вид, что не замечаю его, и сказал вслух, будто разговаривал сам с собой:

— Если здесь появится еще один дурацкий младенец, я ухожу из дому.

Отец остановился как вкопанный и оглянулся через плечо.

— Что, что ты сказал? — строго спросил он.

— Да это так, про себя,— ответил я, стараясь не выдать своего волнения.— Ничего особенного.

АНТИРУБРИКА

Маленькая **АГАТА КРИСТИ**

Не сказав ни слова, он ушел в дом. Я-то ничего не имел в виду, так, хотел просто попугать, но это предупреждение дало удивительные результаты. Отец вдруг стал со мной добрым и ласковым. В общем-то, я его вполне понимал. Мама ведь из-за «сынули» совсем голову потеряла. Даже во время обеда она, бывало, вскакивала из-за стола, и с блаженной улыбкой гугукала ему в колыбельку, и отцу велела делать то же самое. Отец в такие минуты всегда держал себя в руках, но лицо у него было такое удивленное, что он, наверное, совсем не понимал — чего от него хотят? Он жаловался, что «сынуля» плачет по ночам, но мама только сердилась: мол, если он и плачет, значит, ему что-то нужно,— чистой воды выдумки, ничего ему не было нужно, просто кричал, потому что не хотел лежать один. На маму было жалко смотреть — неужели она не понимает таких простых вещей? А отец, хоть мы с ним и воевали, он все же соображал, что к чему. Он видел этого «сынулю» насквозь, и вот теперь ему стало ясно, что и у меня все эти фокусы вот где сидят.

Как-то ночью я в испуге проснулся — рядом со мной кто-то лежал. В первую секунду у меня мелькнула безумная мысль — это мама, наконец-то она одумалась и бросила отца навеки, но я тут же услышал, как в соседней комнате разоряется «сынуля», а мама причитает: «Ты мой милый, ты мой хороший», и сразу понял — это не она. Это был отец. Он лежал рядом с открытыми глазами, тяжело дышал и, кажется, был свиреп, как тигр.

Потом до меня дошло, отчего он так рассвирепел. Пришла его очередь. Он выселил из большой кровати меня, а теперь выселили его самого. Мама не считалась ни с кем, только с этим вреднющим сосунком, «сынулей». Мне стало жаль отца. Я сам прошел через это, к тому же с детских лет был человеком великодушным. Я стал гладить его и говорить: «Не надо, не надо». Он ответил не очень-то впопад:

— Ты тоже, что ли, не спишь?

— Да ладно, давай лучше обними меня поудобнее,— предложил я, и он, в общем-то, меня послушался. Обнял. С некоторой опаской, так я бы сказал. Оказалось, он очень худой, но все-таки это было лучше, чем ничего.

А на рождество он постарался — подарил мне настоящую игрушечную железную дорогу.

Маленький **НОБЕЛЬ**

◆

Среди книг

Издано в СССР

ГОВОРИТ ДЖАННИ РОДАРИ

Джанни Родари. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй. Предисловие А. Алексина. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. Москва, «Прогресс», 1978.

Понимая, что название его новой книги прозвучит непривычно для наших читателей, которые так любят Родари — сказочника, сам автор обратился к советскому читателю с предисловием к этой необычной книге, в котором он пишет:

«Не надо воспринимать «Грамматику фантазии» как какую-то мою «поэтику», мою «систему» или сборник рецептов для приготовления сказок; она — всего лишь скромный экскурс в область фантазии как орудия познания действительности. Путь, следуя которому окунаешься в гущу жизни, а не витаешь в облаках. Если хотите, оружие для борьбы, а не щит...

Идея, лежащая в основе «Грамматики фантазии», проста: она сводится к тому, что воображение не есть привилегия немногих выдающихся индивидов, что им наделены все. Советский психолог Л. С. Выготский сказал это на сорок лет раньше меня, так что никакой Америки я не открыл... Но дело в том, что идеи прокладывают себе путь очень медленно, и надо неустанно двигать их вперед».

В связи с выходом на русском языке этой своеобразной по форме книги, обобщившей творческие раздумья Джанни Родари, по просьбе нашего журнала известный итальянский критик и переводчик советской литературы Дино Бернардини встретился с писателем и взял у него интервью.

Дино Бернардини: «Грамматику фантазии», только что переведенную на русский язык, критики считают квинтэссенцией твоей писательской деятельности.

Джанни Родари: Думаю, что «Грамматику фантазии» можно считать своеобразной биографией моей фантазии, потому что в ней я использовал все приемы повествования, к которым прибегал до сих пор. Эти приемы я находил не сразу, опробовал разные манеры письма сначала в собственной творческой лаборатории, а затем несчетное число раз с детьми, к которым я постоянно обращался, чтобы в непосредственном общении с ними придумывать истории не по своему писательскому вкусу, а по вкусу детей, с учетом их знаний, уровня понимания. Так что, хотя эта книга и написана «на едином дыхании» и за короткий срок, года четыре или пять тому назад, практически я ее создавал всю жизнь, вынашивая не менее тридцати лет, с тех пор как передо мной возникла эта тема, навеянная фантазией. Само собой разумеется, эти темы потребовали затем углубленного изучения многих книг, но для меня их чтение явилось своеобразным оттачиванием той темы, с которой я впервые столкнулся у Новалиса,— темы вымысла и значения логики для фантазии. Впоследствии при первой же возможности я всегда отдавался разработке этой темы. Должен сказать, что в этом мне помогли филологи, семиотики. И гораздо меньше — художественная литература.

— Но по форме это все же своеобразная автобиография, вернее, биография твоей фантазии.

— Откровенно говоря, я старался писать эту книгу в форме популярного очерка, а отнюдь не академического труда. Быть может, в этом была моя ошибка, потому что тогда ею, глядишь, заинтересовались бы и серьезные ученые, которые отнеслись к ней, напротив, скептически, не считая Туллио де Мауро[1]. Он отозвался о ней как о «класси-

[1] Видный итальянский ученый-лингвист *(прим. ред.)*.

ческой» вещи, и такой отзыв доставил мне, конечно, большое удовольствие. Можно было нашпиговать книгу сносками, цитатами, библиографией, но мне показалось, что весь этот аппарат лишь утяжелит книгу, которую я адресовал самой широкой публике — школьным учителям, простому народу. И я как будто достиг своей цели, потому что книга разошлась очень широко. Она переведена также на испанский и словенский языки. Готовятся переводы на японский и французский.

— На днях, когда я тебе звонил, чтобы договориться об интервью, у тебя еще не было русского перевода «Грамматики фантазии». Теперь, я вижу, ты его получил. Что ты можешь сказать о советском издании, о его графическом оформлении?

— По-моему, качество советской книжной продукции сильно улучшилось за последнее время. Это, несомненно, прекрасное издание. У книги замечательная твердая обложка, в ней хорошо получились фотографии, это настоящие фотографии, а не какие-то бледные пятна или разводы, которые встречаются в других изданиях. Книга сделана с большим вкусом, графически привлекательно, типографски умело, на бумаге хорошего качества. Мне кажется также совершенно правильным, что редакция поместила на виду оба названия книги—на итальянском и на русском языках. В общем, это прекрасное издание, особенно меня подкупил зеленый тон надежды, который преобладает в ее оформлении.

— Ты один из самых популярных зарубежных писателей в СССР, где твои книги выходят крупными тиражами и где литература для детей считается не второстепенным жанром, а настоящей литературой. Как ты оцениваешь в этом плане положение в других частях света, в частности в Италии?

— По правде говоря, популярность в Италии ко мне пришла позднее, но все же пришла, и теперь меня постоянно приглашают в школы, библиотеки, дома культуры. Сейчас у нас в любом классе нет такой книги для чтения, в которой вы не наткнулись бы на одну-две из моих присказок. Но, конечно, нельзя не признать, что итальянские тиражи моих книг не идут ни в какое сравнение с советскими. Что же касается детской литературы в целом, в основе недооценки ее значения в Италии лежит известное высказывание философа Б. Кроче, писавшего семьдесят лет тому назад, что детской литературы как таковой не существует, а есть лишь книги, которые дети выбирают по своему вкусу, будь то «Дон Кихот», «Робинзон Крузо» или «Ариосто». Книг же для детей, говорил он, не бывает. Хорошо, если бы так думал один этот философ, но примерно так же относились к детской литературе и многие другие. Тем более что большинство итальянских детей во времена Кроче были неграмотны, а школ не так уж много, и легко было рассуждать о том, что не существует книг для детей, ибо было мало детей, посещавших школу. Так что это—один из типичных случаев, когда философия обобщает существующее положение дел. В странах же, где дети окружены большей заботой, где труд и эксплуатация несовершеннолетних как в городе, так и в деревне были отменены раньше, чем у нас, например в Германии и Англии, детская литература пользовалась гораздо бо́льшим уважением. Не говоря уже об Андерсене, который стал самым известным и знаменитым детским писателем своего времени, хотя и писал сказки для детей. И все же подобное разделение литературы весьма искусственно, рано или поздно оно должно исчезнуть. Разумеется, останутся профессионалы и специалисты по общению с детьми младшего возраста, когда книга является чем-то вроде подготовительной школы для чтения, своеобразной посредницей между миром детей и миром взрослых. Но с течением времени границы между тем, что читает ребенок, и тем, что читает взрослый, должны все больше размываться. Я полагаю, что так будет во всех странах.

— Ты говорил о переводах «Грамматики фантазии» в других странах. А другие твои произведения пользуются успехом у зарубежной публики?

Помимо всех социалистических стран, где мои книги широко расходятся среди читателей, можно отметить ФРГ и Австрию, где мои произведения удостоены официальных наград. Все мои книги переводятся также в Англии, хотя тираж их мне не известен. В последние годы переводы моих книг появились и во Франции. Неплохо расходятся мои книги в Испании. В Японии, насколько мне известно, на основе моих книг ставят радио- и телепередачи для школьников. В целом, пожалуй, мои книги в этих странах расходятся хорошо, хотя и не в таких исключительных масштабах, как в социалистических странах и тем более в Советском Союзе, где мне повезло в том смысле, что моим переводчиком выступил мастер такого класса, как Самуил Маршак, благодаря которому мои «побасенки» получили вторую жизнь на русском языке. Полагаю, что это обстоятельство сыграло решающую роль в судьбе и моих последующих книг.

— Значит, ты считаешь, что твоему успеху в СССР, помимо качества переводов, способствовали те же факторы, которые определили твой успех в других странах?

— В западных странах, как мне кажется, мои сочинения получили несколько иное истолкование, чем в Советском Союзе. Мне думается, что лишь в СССР был до конца понят фантастический замысел моих книг, не говоря, конечно, об их содержании. В других же странах прогрессивные или левые издатели были привлечены прежде всего содержанием, но зачастую забывали о его фантастическом аспекте.

— Позволь мне задать тебе вопрос, с которым я уже обращался к итальянским и советским писателям, хотя и получал вся-

кий раз противоречивые ответы. Считаешь ли ты возможным дать в переводе совершенный эквивалент оригинала литературного произведения? И какая в этом смысле разница между поэзией и прозой?

— Я бы решительно отделил прозу, в том числе художественную, от поэзии. В самом деле, перевод прозаического произведения возможен и он может иметь определенную ценность. Что же касается поэзии, то перевода, передающего все богатство оригинала, по-моему, не существует. Я сравниваю переводы с языков, которые я знаю (иногда мне это удается проделать даже с некоторыми стихотворениями, написанными по-русски, хотя и не всегда), и на основе лингвистического сопоставления прихожу к выводу, что поэтический перевод—это совсем не то, что прозаический, потому что поэзия относится к тому виду творчества, которое отталкивается от музыки языка, от его звуков и слов. Короче говоря, в поэзии созидание гораздо больше зависит от смыслового механизма, чем в прозе, ведущую роль в нем играет язык, стимулирующий воображение, а сам звук неотделим от творческого процесса. Напротив, в прозе можно представить себе такой перевод, который, возможно, и не передаст всю ценность оригинала, но будет отличаться красотой. Возвращаясь к поэзии, хочу сказать, что я читал Гейне как по-немецки, так и по-итальянски в переводах XIX века. И все же, несмотря на то что переводы были неплохими, я должен сказать, что это уже не Гейне. То же самое можно сказать и о переводах Гёльдерлина... На мой взгляд, поэзия либо вообще не переводима, либо переводится для того, чтобы дать представление о ее содержании, которое само по себе не передает действительную поэтическую атмосферу оригинала. Если речь идет о русском стихотворении, то оно существует только на русском языке, если это, разумеется, подлинно поэтическое произведение. Если же речь идет о народных или детских «побасенках», подобных моим, то здесь возможен более свободный перевод...

— То, что ты из скромности преуменьшаешь свои заслуги, делает тебе честь, но я думаю, что дело здесь не в уровне или качестве стихотворной продукции. При переводе, конечно, можно улучшить или ухудшить оригинал, но в любом случае это будет другая вещь. Но ты согласен, что когда перевод приобретает самостоятельное значение, он становится важным явлением в истории культуры, подлинным литературным текстом?

— Конечно, но я остаюсь при своем мнении. Мне кажется, что невозможно перевести Маяковского на итальянский язык, а Монтале—на русский. Поэтов надо читать в подлиннике.

— Не хочешь ли ты в заключение сказать что-либо советским читателям?

— Могу лишь сказать, что я очень доволен тем, как широко знают мои книги в Советском Союзе. Я особенно благодарен советскому читателю за то признание, которым он меня удостоил, за участие в моем утверждении как писателя.

Издано за рубежом

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Jerzy Stefan Stawiński. Młodego warszawiaka zapiski z urodzin, Warszawa, Czytelnik, 1977.

Ежи Стефан Ставинский. Записки молодого варшавянина о днях рождения. 1977.

Есть какое-то удивительное очарование в групповых любительских снимках — школьного или институтского выпуска, дворового братства или фронтовых друзей. Рассматриваешь их, и чудится, будто, остановив мгновенье, они на веки вечные запечатлели нас именно такими, какими мы были «на самом деле». Но у снимков этих есть одно странное свойство: человек стареет, меняется, все чаще и всякий раз на иной лад вспоминает прошлое — и словно бы видит на них «совсем иного себя». А это пробуждает желание заново пережить пережитое, попытаться понять и осмыслить его, взглянуть на себя и своих сверстников как бы со стороны и издали, великодушно простив наивность, заблуждения и ошибки молодости, но и строже, по праву старшего, оценив сделанное или несделанное.

Нечто подобное нередко происходит и в искусстве, когда художник спустя много лет возвращается к темам и героям первых своих произведений. Так, видимо, случилось и с Ежи Ставинским — видным польским прозаиком, сценаристом, кинорежиссером, автором хорошо у нас известной психологической повести-исследования «Час пик». В последней своей книге он рассказывает о том, с чего, по существу, начинал в середине пятидесятых годов,— о польском сентябре 1939 года, об оккупации, о Сопротивлении и Варшавском восстании. Но это возвращение к давно вроде бы и хорошо знакомой теме во многих отношениях оказалось, как представляется, неожиданным.

Первые книги Ежи Ставинского, особенно рассказы о трагической доле варшавских повстанцев 1944 года, его сценарии, по которым выдающиеся режиссеры Анджей Вай-

да и Анджей Мунк поставили фильмы, заложившие основы знаменитой польской школы кино,— все это был горький расчет писателя с недалеким тогда прошлым. Сам он в одном из недавних интервью признался, что в пятидесятые годы писал о войне «под влиянием злости и боли», не позволяя дать волю чувству, стремясь убеждать и убедить только фактами — такими, какими они тогда ему виделись.

Теперь же, полагает Ежи Ставинский, пришла пора, когда раны зарубцевались и можно взглянуть на все пережитое спокойно, «замахнуться на объективность», а значит, полнее и теплее рассказать о поколении, встретившем войну, не перешагнув еще порога собственного двадцатилетия. Не только о горечи, растерянности и бедах, но также и о подвиге, доблести, славе простых поляков, тех, кого, по словам героя «Записок...», обуревали в те дни чувства стыда и унижения, вызванные сентябрьской катастрофой, в которой повинны были правители переставшей уже существовать санационной Польши.

Итак, опять война? Можно ли тут не повториться после того, как тема эта разрабатывалась польской литературой почти три десятилетия? Тем более что Ежи Ставинский, казалось, уже давно и рассчитался, и распрощался с войной в своих произведениях. А для него она никогда не была просто неиссякаемым источником, откуда, как писал он еще в 1968 году в повести «Час пик», произвольно черпают «вдохновение» разные авторы, «часто руководствующиеся не внутренней необходимостью, а соображениями выгоды, которую дает эксплуатация этой выигрышной темы».

Ежи Ставинского и в литературе и в кино все больше притягивала к себе злоба дня сегодняшнего. А если он и касался минувшей войны, то отводил ей весьма скромное место: она чаще всего присутствовала в его книгах как воспоминание, как пояснение и комментарий к событиям и характерам польской повседневности конца шестидесятых — семидесятых годов. Его перо становилось все ироничнее, он начал отдавать явное предпочтение бытописательству, окрашенному в сатирические тона. Несколько лет назад, например, Ежи Ставинский выпустил «Дневник путешествия по трем морям и одному океану» (1973)—нечто среднее между повестью-скетчем и романом-фельетоном. Все шестеро героев этой книги предстают эдакими современными мещанами с претензией на интеллектуальный снобизм. Правдами и неправдами каждый из них раздобывает билет на теплоход-сухогруз, который, прозаически выполняя свой производственный план, бороздит омывающие Европу моря. А пассажирам остается лишь наслаждаться бездельем, солнцем, достопримечательностями и базарами портовых городов. К тому же двое из них, томимые комплексами, разгоняют скуку тем, что выдумывают себе «славное прошлое», втягивая в эту нелепую игру остальных попутчиков.

Безжалостно и зло расправляется Ежи Ставинский в этой книге с тем, что считает духовным паразитированием на памяти народной о тягостных днях фашистской оккупации, о героике борьбы против гитлеризма на фронтах второй мировой войны и в подполье. Не без сарказма заставляет он одного из «отпускников» рассказывать поистине швейковские байки о бесшабашно-романтическом «ура-патриотизме». О том, скажем, как выпущенная с подводной лодки торпеда вместо того, чтобы поразить фашистский крейсер, каким-то непостижимым образом сворачивает с полпути, угождает в подлодку, разбивая ее на две части и разбрасывая экипаж по морю. О том, как бравая команда, выбиваясь из сил и лязгая зубами, распевала патриотические песни, хотя вода заливала глаза и рот, а кто-нибудь то и дело исчезал под волной. О том, как люди, едва вынырнув, торопились набрать побольше воздуха в легкие, дабы продолжать петь.

В «Записках молодого варшавянина» никто, умирая, не поет: тем, кого расстреливали на варшавских улицах, фашисты предусмотрительно заливали гипсом рты, а те, кто в дни восстания воевал на развалинах города, не провозглашали никаких лозунгов просто потому, что из-за ни на минуту не утихавшей канонады никто бы ничего не услышал. Да и вообще война в новой повести Ежи Ставинского предстает совершенно не такой, какой она была в его книгах и фильмах по его сценариям лет двадцать назад. Она как бы поворачивается к нам иной, повседневной своей стороной. Она требует от человека больше, чем героизма в открытом бою. Автор «Записок...», лаконично и деловито рисует будни оккупированной Варшавы. И этого достаточно, чтобы понять, какой великий подвиг заключался лишь в том, чтобы в течение многих лет сохранять и поддерживать в себе и окружающих стойкость духа и непреклонную веру в необходимость вытерпеть, выжить, выстоять.

В новой повести Ежи Ставинского молодые люди не только воюют, совершают подвиги, гибнут. Они живут, любят, страдают, ревнуют на войне, которая стала их жизнью, а победа в ней, победа любой ценой — самой благородной и высокой целью в этой жизни. Ведь они, замечает автор «Записок...», принадлежали к очередному поколению народа, порабощенного и угнетаемого, который для того, чтобы оставаться сильным духом, принужден был возвести смерть на поле брани в ранг наивысшей добродетели. И тем не менее в «Записках...», повествующих о трагической судьбе поколения двадцатилетних, расплачивавшихся кровью за ошибки, просчеты и предательства правителей довоенной Польши, о любви, принесенной в жертву будущему, писатель не прибегает к мрачным тонам и краскам. Картина, которую он рисует, печальна и драматична, но печаль светла, а от драматизма не веет горечью.

И еще один парадокс: эта картина точна в мельчайших бытовых деталях, она не схематична, она объемна, она, как отмечали многие польские критики, чуть ли не впер-

вые с такой поразительной достоверностью передает не только реалии, но и саму атмосферу оккупированной Варшавы. Но при этом повесть Ежи Ставинского — в отличие от его же «военных» книг двадцатилетней давности — никак нельзя отнести к «литературе факта». Напротив, «Записки молодого варшавянина» как-то нарочито беллетристичны, их композиция подчеркнуто искусственна, вообще вся манера, в которой они написаны, демонстративно литературна.

Повествование разбито на четыре неравные главы, в каждой из которых герой вспоминает о дне своего рождения, о 24 сентября 1938, 1939, 1943 и 1944 годов. Даты эти выбраны отнюдь не случайно: канун мюнхенской сделки западных держав с Гитлером, ставшей прологом второй мировой войны; последние дни героической обороны Варшавы; начавшийся и все яснее ощущавшийся после Сталинграда и Курска перелом в войне; наконец, трагический финальный аккорд Варшавского восстания (о котором нашему читателю известно из произведений различных авторов, в частности из книги «Воспоминаний и размышлений» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова). И в подобного рода заданности «Записок...» есть, думается, своя неумолимая логика. Ежи Ставинский, который «старше» своего героя на неполных три месяца, сказал как-то, что даты жизни его сверстников совпали с датами и ключевыми событиями в жизни польского народа, иными словами — просто у его поколения, людей 1921 года рождения, «такая уж историческая биография».

Знакомо-книжной, поначалу по крайней мере, может показаться и положенная в основу повествования история молодого человека, который в конце сентября 1939 года встречает девушку, с первого взгляда покорившую его сердце, ставшую его женой ровно через пять лет, но погибшую на следующий же день во время трагического «исхода» варшавских повстанцев по канализационным трубам города. (Об этом «исходе», о котором в «Записках...» только упоминается, Ежи Ставинский и Анджей Вайда рассказали много лет назад в ставшем уже классическим фильме «Канал».) Присутствует тут и непременный в таких историях «третий», тот, кому еще до войны девушка собиралась отдать сердце и руку. Но эта столь обычная в обыденной жизни история любви, ревности, верности, столь тривиальный, казалось бы, треугольник приобретает в «Записках молодого варшавянина» новое звучание и новый смысл. «Как я теперь замечаю,— признается герой Ежи Ставинского,— эти мои воспоминания никогда не возвысятся до уровня литературного произведения, потому что едва сложится та или иная ситуация и наметится конфликт или драма, позволяющие глубже проникнуть в психологию героев, как кого-то из них тут же сражает внезапная смерть. И наш драматический треугольник тоже был разрушен не нашими поступками, а вмешательством гестапо».

Наконец, рассказ в повести ведется от имени героя «Записок...», который подробно, час за часом, описывает свои дни рождения, но вместе с тем вспоминает и о том, что было раньше, и о том, что... случится потом. Не из-за этого ли «смешения времен» война в «Записках...» предстает и как живая реальность, и как память о ней, память, обогащенная опытом прожитых с тех пор десятилетий? Годы, разделяющие героя «Записок молодого варшавянина» и их автора, Ежи Ставинского, польского писателя поколения, становящегося в литературе уже старшим,— как бы присыпали пеплом все жестокое и жуткое, все, так властно взывавшее тогда к мщению, все, делавшее человека столь категорически бескомпромиссным в поступках, словах, мыслях. Воспоминания о самой кровавой в истории человечества войне для поколения героя и автора «Записок...» превратились сегодня в воспоминания о молодости. А ведь у таких воспоминаний свои законы: чем больше проходит лет, тем плотнее окутываются они дымкой ничему не подвластной ностальгии по давно и безвозвратно ушедшему.

«Записки молодого варшавянина» относятся, пожалуй, к жанру той традиционно пользующейся большим успехом у читателя прозы, в которой, как некогда писал еще Н. А. Добролюбов, мы прежде всего ищем «наслаждения для чувств» и потом ценим ее как «предмет для размышления». В своей новой повести Ежи Ставинский откровенно взывает к чувству и сердцу читателя, к его опыту и воображению. И может, именно потому, что писатель, доверившись прежде всего собственному чувству, так лично, с такой пронзительной искренностью говорит о своих ровесниках, товарищах по оружию, которые, как сам он заметил еще в повести «Час пик», в своей недолгой жизни успели стать только героями, о юношах и девушках, которых не испортила никакая будничность и не запятнал никакой компромисс,— может, потому именно «Записки молодого варшавянина» представляют собой оригинальный и правдивый набросок к портрету польского поколения, вынесшего на своих плечах столь многое. Того поколения, которому сегодня уже перевалило далеко за пятьдесят. Того поколения, которое несколько долгих и мрачных лет прожило одной только Родиной, не имея права ни на какую иную мысль. И эта жизнь, замечает герой-рассказчик «Записок...», «была величайшим самопожертвованием, ибо питалась не сиюминутным настроением, не мимолетной страстью, иллюзией или борьбой за лучшее существование, а привитым понятием и неуловимой, нематериальной потребностью... иррациональной верой во что-то, чего нельзя сосчитать, взвесить, измерить тоннами или метрами, обменять на наличные деньги, что не повысит жизненный уровень и вообще не принесет никакой конкретной выгоды».

Сегодня, через четверть века, вновь возвращаясь к однажды уже описанным собы-

тиям, Ежи Ставинский не без доброй грусти и не без мудрой иронии говорит о максимализме и романтических иллюзиях своих сверстников той поры. О серьезности, глубине и стойкости, которые отличали тогда отношения молодых людей. О том, что служило им в те дни и годы самой надежной защитой от всякой будничности, пошлости, грязи, приспособленчества к обстоятельствам, которые, казалось, действительно были сильнее их. О слезах, которые не стеснялись проливать молодые бойцы Сопротивления над купленной из-под полы пластинкой, вслушиваясь в звуки Пятой симфонии немца Бетховена в истязаемой немцами-фашистами Варшаве. О людях, которые умели и не страшились чувствовать сильно, до конца, всем сердцем, еще не научившись стыдиться этого. Он рассказывает о верности и благородстве, о рыцарском отношении к женщине и сопернику. Одним словом, обо всем, что нигде и никогда не может и не должно показаться несовременным, незлободневным, старомодным.

Война в «Записках молодого варшавянина» занимает центральное место, но все же не она их главный герой. Просто это еще один чуть сентиментальный, чуть романтический, чуть ироничный романс о влюбленных. Еще одно повествование о том, какой прекрасной и чистой может быть «любовь до гроба» — даже на войне, среди ужасов крови и страданий, даже если расхожее выражение это и приходится употреблять не в переносном, а в самом прямом его, в самом беспощадном смысле. Еще одна история любви.

А. ЕРМОНСКИЙ

«ПОЧЕМУ Я МОРЕ ТАК ЛЮБЛЮ?..»

Jean-François Brierre. Images d'argile et d'or. Dakar, Lès Nouvelles Editions Africaines, 1977.
Жан-Франсуа Бриер. Глиняные и золотые картинки. 1977.

Новый сборник стихов известного гаитянского поэта Жана-Франсуа Бриера[1], живущего в настоящий момент в эмиграции, в Сенегале, посвящен детям. Во время пребывания поэта в Москве мы попросили его рассказать об этой книге.

Я уверен, что детство живет в нас независимо от возраста. Что такое поэзия? Что такое поэт? Не сомневаюсь, что поэтом можно быть только до тех пор, пока в душе остаешься ребенком, пока не утрачиваешь способность по-детски радоваться жизни. А что такое радость? Каждый понимает ее по-своему. Для меня истинная радость — даже не само ощущение счастья, а то сокровище, то воспоминание о счастье, может быть минутном, которое сохраняется на долгие годы, в том числе и память о детстве. Сама по себе старость ужасна, но и ее переносишь легче, если в твоем сердце живет детство. Мне кажется, эта способность и определяет ценность и успех стихов любого поэта. Вспомним, сколько поэтов в течение всей жизни обращаются к детским воспоминаниям, светлым и притягательным. Взять хотя бы Сен-Жон Перса, который никогда не забывал своего детства, проведенного на Гваделупе, и оно было постоянным мотивом его творчества.

Когда мы вместе с нашим знаменитым поэтом Жаком Руменом, у вас в стране его хорошо знают, находились в гаитянской тюрьме, то я вспоминал свое собственное детство и детство моих детей. Только это и помогло мне тогда выстоять.

Сейчас я живу в эмиграции. Трудно передать состояние человека, вынужденного жить в изгнании, оторванного от родины, но страстно мечтающего туда вернуться. Такой человек нигде не чувствует себя как дома, он напоминает внезапно выключенную машину, в которой никто не нуждается. Только в вашей стране я чувствую себя среди друзей. И вот выдержать это существование мне снова помогают воспоминания детства. Хотя и незримо, но прочно они связывают меня с утраченной, но не забытой родиной.

Вот почему я подарил свои новые стихи детям — я так и написал в посвящении: «Маленьким внучатам от их дедушки, изгнанного из своего отечества и страны детства». Однако вы не найдете в этой книге ни одной ноты отчаяния или грусти. Просто мне хотелось оживить окружавший меня в детстве мир — светлый, теплый, домашний: деревья-птицы, тишина-музыка, холмы, ветры. Одно стихотворение так и называется «Ветер»:

Не видимый никем, он дышит где-то рядом,
То благостен и тих, то буен и речист,
Заглянет в комнату, пройдется робко садом —
И вдруг разбойничий подымет рев и свист.
Надеждой светлою наполнив паруса,
Он завтра их швырнет в водоворот кипящий.

И снова на заре зашепчут голоса
Под пальцами его в завороженной чаще...
Вздыхая жалобно у зябнущей калитки,
Он комкает листвы прощальные открытки[1].

Хотелось передать то неповторимое ощущение, когда все кажется исполненным особого значения и волшебства. И еще — напомнить историю моей родины:

Ты знаешь, почему я море так люблю?
За то, что по нему уверенно и смело
К далеким островам летели каравеллы,
И было море благосклонно к кораблю,
Который в давний век отплытий и открытий
Без прадедов моих дорогою морской,
Цепями скованных, снедаемых тоской,—
Из нашей Африки к далекому Гаити.
Их цепи тяжкие в моей душе гремят,
И сердце бьет в груди цепям и морю в лад.

[1] Стихи Ж.-Ф. Бриера печатались в советской периодике, в том числе в «ИЛ» № 4, 1969; № 10, 1970.

[1] Переводы стихов М. Ваксмахера.

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

«ОБЗОР» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Болгарский литературно-художественный журнал «Обзор», орган Комитета культуры Союза болгарских писателей и Национальной комиссии Народной Республики Болгарии по делам ЮНЕСКО (главный редактор журнала — известная поэтесса Лиляна Стефанова), с 1979 года начал выходить на русском языке.

Председатель Комитета культуры Людмила Живкова обратилась на страницах журнала с приветствием к редакции и читателям: «От всего сердца желаю читателям необъятной советской земли, читателям других социалистических стран и прогрессивным людям всего мира, которые знают и любят русский язык, радостных встреч с болгарским искусством, с достижениями деятелей болгарской культуры».

Открывает номер речь Людмилы Живковой, произнесенная ею на открытии Дней советской культуры в Болгарии.

В номере помещены поэма Любомира Левчева в переводе Евгения Винокурова и статья Пантелея Зарева о поэте, стихи погибшего в 1916 году поэта Димчо Дебелянова и слово о нем со-

«Чувство прекрасного» — так называется статья в журнале «Славяни», посвященная художникам — оформителям детских книг. В ней говорится, что «болгарские художники, чье искусство ценится очень высоко, продолжают совершенствовать свое мастерство, о чем свидетельствуют многочисленные премии, присуждаемые им на родине и за рубежом». На снимке: одна из иллюстраций к статье «Чувство прекрасного».

(Журнал «Славяни»)

ветского поэта Владимира Соколова и болгарского поэта Веселина Андреева. Представлена проза крупнейших прозаиков Болгарии — Павла Вежинова и Эмилиана Станева и статья Стояна Каролева «Яркий живописец и ваятель» о творчестве Э. Станева, скорбное известие о кончине которого пришло вскоре после выхода первого номера журнала «Обзор» на русском языке.

В рубрике «Изобразительное искусство» помещена статья Аксинии Джуровой о творчестве художника Светлина Русева и дан богатый иллюстративный материал.

Значительное место редакция уделила освещению культурного сотрудничества Болгарии и Советского Союза — это и интервью с Эмилем Александровым, заместителем председателя Комитета культуры НРБ, и материалы о творческом сотрудничестве в области кино, музыки, театра, и широкая панорама опубликованных в стране произведений советских писателей.

В «Обзоре» также представлен юмор — прозой, стихами, карикатурой.

Завершает номер рубрика «Коротко о разном», в которой дана хроника культурной жизни страны.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОМАН ДЖОНА УЭЙНА

В последние годы Джон Уэйн отошел от собственно художественного творчества. Сферой его интересов стала преимущественно литературная критика и преподавательская деятельность. Поэтому вышедший недавно в издательстве «Макмиллан» новый роман писателя «Исповедь продавца индульгенций» сразу же привлек внимание британской критики.

В романе, пишет рецензент журнала «Лиснер» Джон Меллорз, переплелись две истории. Одну рассказывает сорокалетний Гас, сценарист, приехавший после мучительного развода в Уэльс, где он надеется излечиться от тоски и чувства одиночества, нахлынувшего на него после разрыва с женой.

Постепенно выясняется, что история Гаса — это всего лишь история, которую пишет истинный герой романа, некий пятидесятилетний романист, наделяющий своего героя автобиографическими чертами.

В дальнейшем повествование развивается в двух планах — как история Гаса и как история самого романиста. Причем оба плана постоянно перемежаются, взаимоотражая друг друга.

Рецензент пишет, что «Исповедь продавца индульгенций» — заглавие Джон Уэйн заимствовал из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера — это «роман в романе», жанр, получивший довольно широкое распространение в современной западной литературе.

АВТОБИОГРАФИЯ АЛЕКА ВО

«Хорошее вино сберег доселе» — так назвал свою автобиографию Алек Во, романист, историк, географ, эссеист. В этой книге, пишет К. Сайкс в журнале «Букс энд букмен», охвачен период с 1932 по 1969 год. В ней не просто прослеживается литературная карьера автора, но весьма убедительно, с привлечением большого количества фактического материала, «воссоздается эпоха». Алек Во, отмечает К. Сайкс,— признанный мастер короткой зарисовки, особенно интересны созданные им портреты: его брата — известного романиста Ивлина Во, Сомерсета Моэма и других писателей, с которыми он был близко знаком.

В 30-е годы Алек Во посетил Советский Союз. Он пробыл в стране всего лишь семнадцать дней и потому, как замечает он сам в автобиографии, не смог составить полного представления о Советском Союзе. Тем не менее, пишет К. Сайкс, его короткие зарисовки страны представляют интерес.

ВЕНГРИЯ

ПАМЯТИ ЖИГМОНДА МОРИЦА

Второго июля исполняется сто лет со дня рождения классика венгерской литературы Жигмонда Морица. Эта дата широко отмечается в Венгрии. Еще в прошлом году был создан юбилейный комитет, который обратился с воззванием ко всему населению Венгрии, к читателям, к работникам культуры «достойно отметить 100-летний юбилей, сделать лучшие произведения писателя всенародным достоянием не только на родине, а и во всем мире».

Зимой этого года венгерский литературный еженедельник «Элет эш иродалом» сообщил о мероприятиях, проводимых в стране в связи со знаменательной датой.

Главное событие — торжественное заседание в Национальном театре — состоится 2 июля, затем будет проведено совместное заседание Венгерской Академии наук, Союза писателей и Общества венгерских литературоведов, на котором с докладами о жизни и творчестве Морица выступят известные ученые, писатели, критики.

На родине писателя, в селе Тисачече, будет установлен памятник Жигмонду Морицу работы скульптора Имре Варга. По всей стране, в местах, связанных с пребыванием Морица, откроется ряд мемориальных музеев.

В г. Ньиредьхазе состоится международный симпозиум по драматургии Морица, в нем примут участие зарубежные переводчики, в том числе советские.

Венгерское радио и телевидение организует серию передач, посвященных Морицу, в которую войдут инсценировки его произведений.

Пройдет также традиционная Неделя книги, к которой приурочены юбилейные издания Морица: в различных сериях выйдут такие его известные произ-

В канун 100-летнего юбилея Жигмонда Морица венгерские кинематографисты обратились еще к одному произведению писателя и создали по мотивам повести «Не могу без музыки, без песни» одноименный фильм.
Автор сценария писатель Габор Турзо, режиссер Ференц Шик; в фильме заняты известные актеры венгерского кино: Шандор Остер, Аги Сиртеш, Хильда Гобби, Клари Толнаи, Эржи Матэ, Тери Тордаи и многие другие.
На снимке: кадр из фильма «Не могу без музыки, без песни».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ведения, как романы «Барские затеи», «Счастливый человек», «Факел», «До самой зари», повесть «Сиротка», двухтомник «Драмы», сборник сказок, а также литература о Морице — монографии, статьи, биографические очерки.

В специальном кинозале Королевского замка будут демонстрироваться фильмы, сделанные по произведениям Морица.

В Советском Союзе творчество Морица стало известно еще при его жизни: в 1926 году в издательстве «Земля и фабрика» (ЗИФ) вышел его роман «Золото в грязи». Систематическое издание произведений Морица на русском языке и языках народов СССР началось после второй мировой войны. В 1953 году увидели свет сразу два издания Морица: сборник рассказов, изданный в серии «Библиотека «Огонька», и сборник «Венгерские повести и рассказы» в Гослитиздате. В 1954 году там же вышел роман «Родственники» и еще одна книжка «Рассказов». В 1954 году этот сборник вышел на украинском языке, а в 1956 году роман «Родственники» — на литовском.

Важной вехой в развитии советской «морицианы» следует считать 1958 год, когда был выпущен двухтомник «Избранное», в который вошли роман «Родственники», повести «Мотылек» и «Птица небесная», 38 рассказов и 10 публицистических работ.

Еще с одним романом — «Барские затеи» — познакомились советские читатели в 1961 году, а в 1962 году большое, важное и интересное издание предприняло издательство «Искусство», выпустив сборник пьес Жигмонда Морица. В 1963 году советская библиотека Морица пополняется романом «Жаркие поля» («Художественная литература»), в том же издательстве в 1965 году выходит сборник «Венгерская новелла», куда вошел и ряд ранее у нас не издававшихся рассказов писателя, а спустя пять лет в серии «Народная библиотека» выпускается массовым тиражом еще один сборник рассказов «Жужанна в Клагенфурте». В Киеве в издательстве «Днипро» на украинском языке выходит роман «Родственники» в переводе Ю. Шкробинца.

В год столетия Жигмонда Морица советские читатели получат еще две книги его произведений: в Москве выйдет однотомник «Избранное», в который вошли наиболее значительные рассказы писателя, большая половина которых публикуется на русском языке впервые, и три неизвестных еще до сих пор советскому читателю повести «Не могу без музыки, без песни», «Ласточки вьют гнездо» и «Сиротка».

ВЕНЕСУЭЛА

РОМАН О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Известный писатель и профессор Центрального университета Луис Бритто Гарсиа вторично удостоен премии «Каса де лас Американас».

«Главная тема моей новой книги «Открытое слово»,— сказал он в интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде»,— общность исторических судеб и национальных культур латиноамериканских народов...

Сегодня Соединенные Штаты Америки,— подчеркнул он,— стремятся не только контролировать экономику и направлять политику латиноамериканских стран, но и вторгаться в область культуры народов нашего континента. Сосредоточив в своих руках столь эффективные и популярные средства массовой информации, как радио и телевидение, а также киноиндустрию и полиграфическую промышленность, они ведут настоящую войну в сфере культуры,

обрушивают на латиноамериканцев град «отравленных стрел», навязывая чуждые нравы и обычаи, дегуманизированную мораль «общества потребления», паразитическую идеологию американского империализма, в сущности, лишая нас подлинной свободы слова.

Достижения революционной Кубы в области национальной культуры со всей ясностью указали путь к освобождению от этой зависимости. И это тем более знаменательно, что на повестке сегодняшнего дня самой историей поставлен вопрос о необходимости защиты самобытной культуры народов Латинской Америки».

ГДР

«КИППЕНБЕРГ» ДИТЕРА НОЛЛЯ

Издательство «Ауфбау» выпустило новый роман Дитера Нолля «Киппенберг», над которым писатель работал много лет (см. «ИЛ» № 2, 1971).

Герой романа — Иоахим Киппенберг — ученый, работающий в области естественных наук, сотрудник одного из научно-исследовательских институтов. Талантливый, инициативный человек, Киппенберг в свое время, придя в институт, пытался многое изменить, внести новую свежую струю в работу научного учреждения. Постепенно он смирился с обстановкой, которую создал руководитель института, стал его зятем и «правой рукой» и перестал думать о каких бы то ни было преобразованиях. Материалы большой, интересной работы, открывавшей новую главу в науке, уже два года спрятаны в несгораемом шкафу только потому, что не получили одобрения у шефа.

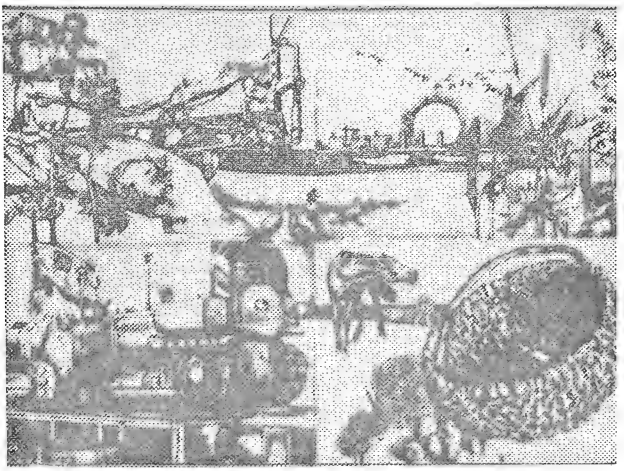
В романе рассказано о двух неделях, которые перевернули жизнь Иоахима Киппенберга. Группа, которой руководит Киппенберг, наталкивается на проблемы, невольно заставляющие его вспомнить о том, что он загубил большую научную работу и потерял себя как ученого. Его «прозрению» способствует и встреча с молодой девушкой Евой, которая видит в нем идеал человека и ученого и именно у него ищет ответа на волнующие ее вопросы. Киппенберг понимает, что надо решительно менять свое отношение к жизни и к работе: он как бы переживает второе рождение.

В интервью еженедельнику «Зонntаг» и газете «Берлинер цайтунг» Дитер Нолль ответил на многие вопросы корреспондентов и рассказал о том, как создавался роман. «История Иоахима Киппенберга» — это и попытка рассказать об эволюции человека, и размышления о всей нашей действительности, и в какой-то мере рассказ о моем собственном развитии. Меня часто спрашивают, почему после второй части «Приключений Вернера Хольта» не последовало третьей части, которая была обещана читателям. Дело в том, что я просто не мог ее написать. Мне надо было оторваться от этой фигуры, которая была во многом автобиографической. Мне нужно было создать нового героя, который бы больше соответствовал тому периоду, о котором я хотел писать,—периоду конца 60-х годов. Таким героем мне и кажется Иоахим Киппенберг. Роман о Киппен-

ГАБОН

Фильм «Завтра новый день» имел большой успех на шестом фестивале африканского киноискусства в столице Верхней Вольты Уагадугу: он был снят по автобиографической пьесе президента Габона Омара Бонго. Поставил его режиссер Пьер-Мари Донг, съемки проводила группа французских кинематографистов во главе с продюсером Клодом Барруа, бывшим ассистентом известного французского режиссера Клода Лелюша. Свою последнюю роль в фильме «Завтра новый день» сыграл известный сенегальский актер театра и кино Дура Мане (на снимке — слева). Он погиб во время съемок в автомобильной катастрофе.
На снимке: кадр из фильма «Завтра новый день».

(Журнал «Жён Африк»)



Герент Рихтер многие свои работы посвящает молодежи. На снимке: гравюра художника «Молодежь — на трактора!», демонстрировшаяся на выставке его гравюр и рисунков в Берлине.

(Газета «Берлинер цайтунг»)

берге писался трудно и долго, я много раз переделывал книгу, и то, что получилось теперь, совсем не похоже на первоначальный вариант. Вместе с романом менялся и я сам, и я надеюсь, что сейчас смогу вернуться к теме Вернера Хольта, но уже совсем с других позиций».

Новый роман Дитера Нолля высоко оценили рецензенты журналов и газет Германской Демократической Республики. «Это — книга о честности перед собой и перед обществом»,— пишет рецензент еженедельника «Зоннтаг». «Нолль поставил важные вопросы — о персональной ответственности, о выходе из творческого тупика, о возможности начать жить по-новому»,— пишет «Берлинер цайтунг». «Новый роман Дитера Нолля — важная и нужная книга»,— отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд».

ИТАЛИЯ

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ДВАЖДЫ

В 1967 году писательница Анна Мария Ортезе опубликовала роман «Бедные, но простодушные», удостоенный литературной премии «Стрега». В начале этого года издательство Мондадори выпустило новый роман Ортезе «Шляпа с пером», представляющий собой как бы новый вариант «Бедных, но простодушных». Теперь история его героев, Беттины и Джиллиата, рассказана в форме воспоминаний о прошлом, причем рассказана уже с позиций сегодняшнего дня. А почему, собственно, нельзя дважды рассказать по-разному одну и ту же историю, если она того заслуживает?— спрашивает критик Пьетро Далламано в рецензии на роман в литературном приложении к газете «Паэзе сера». Хотя персонажи и ситуации в обеих книгах почти идентичны, это, по существу, разные произведения, ибо основные проблемы, которые только вставали перед героями в первом романе, только намечались и предвиделись, во втором ими прочувствованы и осознаны.

Ортезе повествует о борьбе, идеалах, жизненных трудностях двух представителей послевоенного поколения — юноши и девушки, с их страстной и чистой любовью. Этот любовный роман вместе с тем — портрет целого поколения, сугубо личное в нем переплетается с общественно значимым. Поэтому эту историю любви можно назвать в известной мере романом идеологическим и даже политическим. Именно в этом Далламано видит его главное значение. «Шляпа с пером» восходит к самому началу переживаемого Италией и итальянцами кризиса, определяет болезни и подсказывает противоядия. В 1967 году, когда вышел роман «Бедные, но простодушные», мы только начинали ощущать эти болезни и еще не слиш-

На снимке: на переднем плане писательницы Анна Мария Ортезе (справа) и Мария Беллончи — одна из организаторов литературного конкурса «Стрега».

(Газета «Паэзе сера»)

ком сильно. Сегодня же дело обстоит по-другому, все выглядит куда более серьезно, если не трагически»,— пишет критик.

Автор романа показывает, как иллюзии и надежды молодежи на немедленное преобразование общества, сталкиваясь с жестокой реальностью, развеивались, менялось (незаметно, но непреодолимо) само итальянское общество, вся итальянская действительность.

«Быть может, в общих корнях жизни и литературы — секрет той атмосферы, которой проникнуты страницы романа? Секрет этот называется значительность, масштабность. Анна Мария Ортезе — большая писательница, это прилагательное мы употребляем крайне редко. Так порадуемся же, что оно вышло из-под нашего пера без всякого усилия, ибо оно справедливо»,— заключает свою рецензию Далламано.

ПОЛЬША

ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

В течение Международного года ребенка в Польше будет издано 550 названий книг: повестей, произведений научной фантастики, сказок, стихотворений, рассказов, загадок, легенд.

Крупнейшее издательство детской литературы «Наша ксенгарня» приступила к выпуску книг, занесенных в почетный «Список им. Х. К. Андерсена» (Януш Домогалик, Ирена Юргалевич, Ганна Ожоговская, Войцех Жукровский, график Януш Грабянский).

За последнее десятилетие польские детские книги удостоились на международных книжных ярмарках и выставках свыше ста премий и дипломов, а «Наша ксенгарня» удостоено премий в Милане, Сан-Паулу, Софии, Париже, Москве и Познани за высокий уровень полиграфического и художественного исполнения, за вклад в мировую культуру в области детской литературы.

Януш Корчак написал для детей и юношества множество рассказов и повестей, в том числе дилогию «Король Матиуш Первый» и «Король Матиуш на необитаемом острове». Издательство «Наша ксенгарня» в «год Корчака» в шестой раз выпустило «Короля Матиуша» с прекрасными иллюстрациями Ежи Сроковского, за которые художник получил серебряную медаль на Международной выставке полиграфического искусства в Лейпциге в 1959 г. Книга о смелом мальчике, который в своем королевстве хочет искоренить всякую несправедливость, полюбилась ребятам многих стран. Об удивительном воплощении замысла писателя в иллюстрациях художником Ежи Сроковским пишет в журнале «Нове ксёнжки» известный польский художник Шимон Кобылинский.
На снимке: иллюстрация Ежи Сроковского к «Королю Матиушу».

(Журнал «Нове ксёнжки»)

Ежегодно в Польше выходит в свет 30 миллионов экземпляров книг для детей и юношества, издаются журналы общим тиражом 120 миллионов экземпляров.

Помимо издательства «Наша ксенгарня» детские книги выпускаются «Польским издательским агентством», издательством «Искры» (литература для юношества) и другими.

Большой популярностью пользуется серия, выходящая в «Нашей ксенгарне»,— «Важные дела девушек и юношей». Издательство выбрало из книг, вышедших в этой серии, лучшие рассказы виднейших детских писателей и выпустило сборник под названием «Между нами». В сборнике повествуется о жизни, радостях и печалях современных де-

вушек и юношей, их проблемах, конфликтах, первых шагах в поисках своего места в жизни, в выборе моральных ценностей.

Свыше 100 названий книжек будут изданы в этом году, как сообщает журнал «Нове ксёнжки», для самых маленьких. Среди них — «Локомотив» Юлиана Тувима с красочными иллюстрациями Ю. М. Шанцера. Это будет его восемнадцатое издание тиражом 150 тысяч.

Для детей среднего возраста будет издано 70 названий книг. Среди них — шестой том «Приключения Квапишона» Б. Бутенки, четырнадцатая книга «Приключения Тытуса, Ромка и А'Томка» Х. Ю. Хмелевского, «Загадочный Арре» Юзефа Хена, «Ужасные близнецы» Збигнева Жакевича и другие.

В книгах для старшего возраста на первом плане стоит современная повесть, поднимающая насущные и нередко очень сложные и болезненные проблемы возмужания, проблемы поисков своего места в жизни, истинных моральных ценностей («Телемак в джинсах» А. Багдая, «Это любовь?» Д. Беньковской, три повести о зверях Януша Пшимановского, полюбившегося советской детворе автора повести «Четыре танкиста и собака», «Белый ягуар» Аркадия Фидлера, «У змеи большие глаза» Моники Вариенской). Книги эти вводят юного читателя в историю, традиции и жизнь родной страны, а также в широкий мир, учат любви к родине, уважению и дружбе с другими народами, формируют в соответствии с идеалами социализма идейно-моральные и общественные взгляды.

РУМЫНИЯ

НА ФЕСТИВАЛЕ «СЕРВАНТИНО»

Бухарестский драматический театр имени Ноттара ежегодно выезжает на гастроли за рубеж. Коллектив выступал в Париже, Копенгагене, Кёльне, Белграде, Лиссабоне, Афинах и других городах мира. Последнее турне театра проходило в Мексике, где он принял участие в международном фестивале «Сервантино» в Гуанахуато. Среди других его участников были театральные коллективы Колумбии, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании, ГДР, Испании, СССР, США, Франции.

Бухарестский театр показал спектакль «Восьмой день с утра», антивоенный пафос которого нашел горячий отклик у зрителей. Газета «Диа» писала: «Пьеса «Восьмой день с утра» построена на четких социальных и политических предпосылках, это философская дискуссия о человеческом существовании, призыв к солидарности».

1500-Я КНИГА

«Критерион» — крупнейшее издательство Румынии, выпускающее книги на языках народов, населяющих страну. Директор «Критериона» Домокош Реза в беседе с нашим корреспондентом сказал, что недавно издательство отметило своеобразный юбилей — выход в свет 1500-й книги. За 1978 год было издано десять романов на венгерском, немецком, сербском, украинском языках. Вышли два тома десятитомного словаря венгерского языка, объемистый труд «История трансильванской книги», в которой прослеживается история книгопечатания в Трансильвании начиная с XVI века, книги по фольклору (к примеру, Иван Рябушак собрал и подготовил к печати материалы по украинскому фольклору), философии, театру, живописи, музыке.

В 1979 году издательство еще больше расширило свои планы — готовится антология словацкой поэзии и прозы на языке оригинала, сборник липованских песен на русском языке, книга татарского фольклора — тоже на языке оригинала.

На Третьем коллоквиуме по проблемам румынской комедии, состоявшемся в Галаце, Большая премия была присуждена пьесе известного прозаика и драматурга Теодора Мазилу «Сонное приключение» в постановке театра «Пьетра Немиц». Отвечая на анкету еженедельника «Ромыния литерарэ», Т. Мазилу сказал: «С тех пор как мне стало известно, что я смертен, я почувствовал себя свободным человеком, ясным оком взирающим на все, что делается вокруг... Я писал и буду писать комедии в меру своих скромных сил, потому что люблю красоту мира и не приемлю всего того, что может затмить ее».
На снимке: сцена из спектакля «Сонное приключение».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

Авторы этого номера

АНТОНИО АГОСТИНЬО НЕТО — ANTONIO AGOSTINHO NETO (род. в 1922 г.).

Ангольский поэт и общественно-политический деятель. Президент Народной Республики Ангола. Председатель МПЛА — Партии труда. Лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» и международной литературной премии «Лотос».

На русском языке изданы поэтические сборники «С сухими глазами» и «Звездный путь». Стихи А. Нето печатались также во многих советских периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

О творчестве поэта см. в «ИЛ» (№ 2, 1978) статью М. Курганцева «Во имя единственной цели».

Предлагаемая читателю подборка составлена из стихотворений первого издания сборника «Священная надежда», вышедшего в Италии в 1968 году.

ЕЖИ СТЕФАН СТАВИНСКИЙ — JERZY STEFAN STAWIŃSKI (род. в 1921 г.).

Польский писатель, кинодраматург, режиссер. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Участник антифашистского Сопротивления в Польше, был узником фашистских концлагерей. Литературную деятельность начал в 1949 г. Автор романов и повестей «Свет во мгле» («Światło we mgle», 1952), «Катерина» («Katarzyna», 1955), «Не заходя в порты» («Nie zawijając do portów», 1970), «Дневник путешествия по трем морям и одному океану» («Pamiętnik z trzech mórz i jednego oceanu», 1973).

По повестям, рассказам и сценариям Е. Ставинского поставлено много фильмов, получивших широкую известность, в том числе и в нашей стране: «Канал», «Эроика», «Дезертир», «Покушение», «Крестоносцы», «Шесть превращений Яна Пищика», «Разводов не будет» и др.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством писателя, напечатав повести «В погоне за Адамом» (№ 4, 1964), «Пингвин» (№ 12, 1965), «Час пик» (№ 4, 1968).

Мы предлагаем вниманию читателей новый роман Е. Ставинского «Записки молодого варшавянина» («Młodego warszawiaka zapiski z urodzin». Warszawa, Czytelnik, 1977), за который он был удостоен премии Министра культуры и искусства I степени.

Статью А. Ермонского об этом романе см. на стр. 276.

ШАТАЛОВА ЗИНАИДА ЕФИМОВНА

Советский переводчик, занимается польской литературой, театром и кино. В ее переводах издавались романы и повести И. Неверли, З. Ненацкого, М. Патковского, М. Жулавского, Е. Ставинского, пьесы Т. Ружевича, Е. Брошкевича, З. Налковской, А. Осецкой, киносценарии К. Брандыса, К. Кутца и др. Переводческая деятельность З. Шаталовой отмечена в Польше премией Объединения польских авторов «ЗАИКС» за 1973 г.

МОРИС КАРЕМ — MAURICE CARÊME (1899—1978).

Бельгийский поэт. Печататься начал в середине двадцатых годов. Автор многочисленных книг стихов для взрослых и детей — повестей, сказок, притч и басен, в их числе «Волшебный фонарь» («La Lanterne magique», 1947), «Особняк» («Hôtel bourgeois», 1926), «Похититель искр» («Le voleurs d'etincelles», 1956), «Брабант» («Brabant», 1967), «Арлекин» («Arlequin», 1970), «Северное море» («Mer du Nord», 1971) и др.

Переводы его стихотворений печатались во многих советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе» (№ 4, 1965), в книгах «Европейская поэзия XX в.», «Из современной бельгийской поэзии» и др. На русском языке вышел также сборник «Стихи для детей».

О творчестве Мориса Карема см. вступительную статью М. Кудинова.

Публикуемая подборка составлена из стихотворений сборника «Песни» («Complaintes». Paris, Nathan, 1975).

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — MARTIN WALSER (род. в 1927 г.).

Немецкий писатель, драматург, публицист (ФРГ). Окончил Тюбингенский универ-

ситет. Литературную деятельность начинал как режиссер, автор радиопьес и рассказов. Перу М. Вальзера принадлежат: сборник «Самолет над домом» и другие рассказы» («Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten», 1955), романы «Супружества в Филиппсбурге» («Ehen in Philippsburg», 1957), «Половина игры» («Halbzeit», 1960), «Единорог» («Das Einhorn», 1966), «Болезнь Галлистля» («Die Gallistl'sche Krankheit», 1972), «Крушение» («Der Sturz», 1973), повесть «Бегущая лошадь» («Ein fliehendes Pferd», 1978), пьесы и другие произведения.

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством М. Вальзера, опубликовав его очерк «Наш Освенцим» (№ 10, 1966), пьесу «Дуб и кролик» (№ 2, 1974). Статью о нем Д. Затонского «Штрихи незавершенного портрета» см. в № 7, 1977 г.

В этом номере печатается его роман «По ту сторону любви» («Jenseits der Liebe». Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1976).

СТЕЖЕНСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературовед, переводчик с немецкого. Автор ряда работ по литературам ГДР и ФРГ, в частности книги «Литературная борьба в ФРГ» (совместно с Л. Черной, 1978). Переводил произведения А. Зегерс, Б. Узе, В. Кёппена, М. фон дер Грюна, З. Ленца, П. Шаллюка и др.

РЖЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА.

Советский критик и литературовед, кандидат филологических наук, член Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор статей о французской литературе XIX—XX веков и методологии современной критики.

РОССИЯНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1921 г.).

Советский литературовед, переводчик. Автор книг и статей по венгерской литературе. В его переводах выходили произведения Й. Дарваша, М. Йокаи, Д. Костолани, К. Миксата и др.

НИКОЛАЕВСКАЯ АЛЛА ГЕОРГИЕВНА

Советский литературный критик. Автор статей по английской литературе и культуре XX века.

ХО ШИ МИН — HÔ CHÍ MINH (1890—1969).

Выдающийся революционер и деятель международного коммунистического и рабочего движения, основатель Компартии Вьетнама, первый президент социалистического Вьетнама. Настоящее имя — Нгуен Тэт Тхань — Nguyên Tât Thành; в 20-е годы начал писать в левых французских газетах под псевдонимом Нгуен Ай Куок — Nguyên Ai Quôc (Нгуен-патриот). Под этим именем вел революционную и политическую работу; с начала 40-х годов принимает партийный псевдоним — Хо Ши Мин (Умудренный).

Во Вьетнаме и других странах не раз издавались его речи, работы, посвященные актуальным проблемам революционного и национально-освободительного движения, вопросам внешней и внутренней политики Вьетнама, а также публицистика и стихи.

Помещенные в этом номере памфлеты и стихи Хо Ши Мина на русском языке печатаются впервые. Переводы сделаны по следующим материалам: «Несколько неопубликованных ранее стихотворений из «Тюремного дневника» («Thêm môt sô bãi tho' cuá tâp «Nhât ký trong tù») — газета «Нян зан» («Nhân Dân», 13 мая 1978), Хо Ши Мин, «Стихи» («Hô Chí Minh — «Tho'», Nxb «Văn Hoc», Hã-Nôi, 1970), Нгуен Ай Куок — «Рассказы и очерки» (Nguyên Ai Quôc — «Truyên và ký», Nxb «Văn hoc», Hã-Nôi, 1974).

Публикуемые тексты взяты из готовящегося к печати в издательстве «Прогресс» тома — Хо Ши Мин, «Избранное», которым открывается 15-томная «Библиотека вьетнамской литературы» на русском языке.

ТКАЧЕВ МАРИАН НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский писатель и переводчик. Автор рассказов, очерков, художественных и документальных теле- и радиосценариев, статей о литературе Вьетнама и других стран Востока. Перевел с вьетнамского около двадцати книг современной и классиче-

ской прозы, а также сказки, детские стихи и др. Некоторые из его работ удостоены премий и переводились за рубежом.

■

САКИ — SAKI (псевдоним Гектора Манро — H. H. Munro, 1870—1916).

Английский писатель-юморист, мастер короткой новеллы. Автор нескольких сборников рассказов, в том числе «Реджинальд» («Reginald», 1904), «Реджинальд в России» («Some of his works are Reginald in Russia», 1910; в 1908 г. писатель в качестве корреспондента два года провел в России) и двух романов.

На русском языке в «Библиотеке «Огонька» был издан небольшой сборник его рассказов. Предлагаемая вниманию читателя новелла «Рассказчик» («The Story-Teller») взята из антологии короткого рассказа («Short Story. A Thematic Anthology». New York, Charles Scribner's Sons, 1965).

■

ФРЭНК О'КОННОР — FRANK O'CONNOR (настоящее имя — Майкл О'Доновен, M. O'Donovan; 1903—1966).

Ирландский писатель. Автор романов, литературоведческих работ и этнографических книг. Наибольшую популярность принесли А'Коннору рассказы. Переводы некоторых из них публиковались в советских журналах.

Предлагаемый рассказ взят из его сборника «Мой эдипов комплекс» («My Oedipus Complex», 1963).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/IV 1979 г. А 03202. Подписано в печать 17/V 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,92.

Тираж 688 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.) Зак. 1212

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ИЛОНА ЭДЕЛЬ (ГДР). Моя кошечка пьет

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394